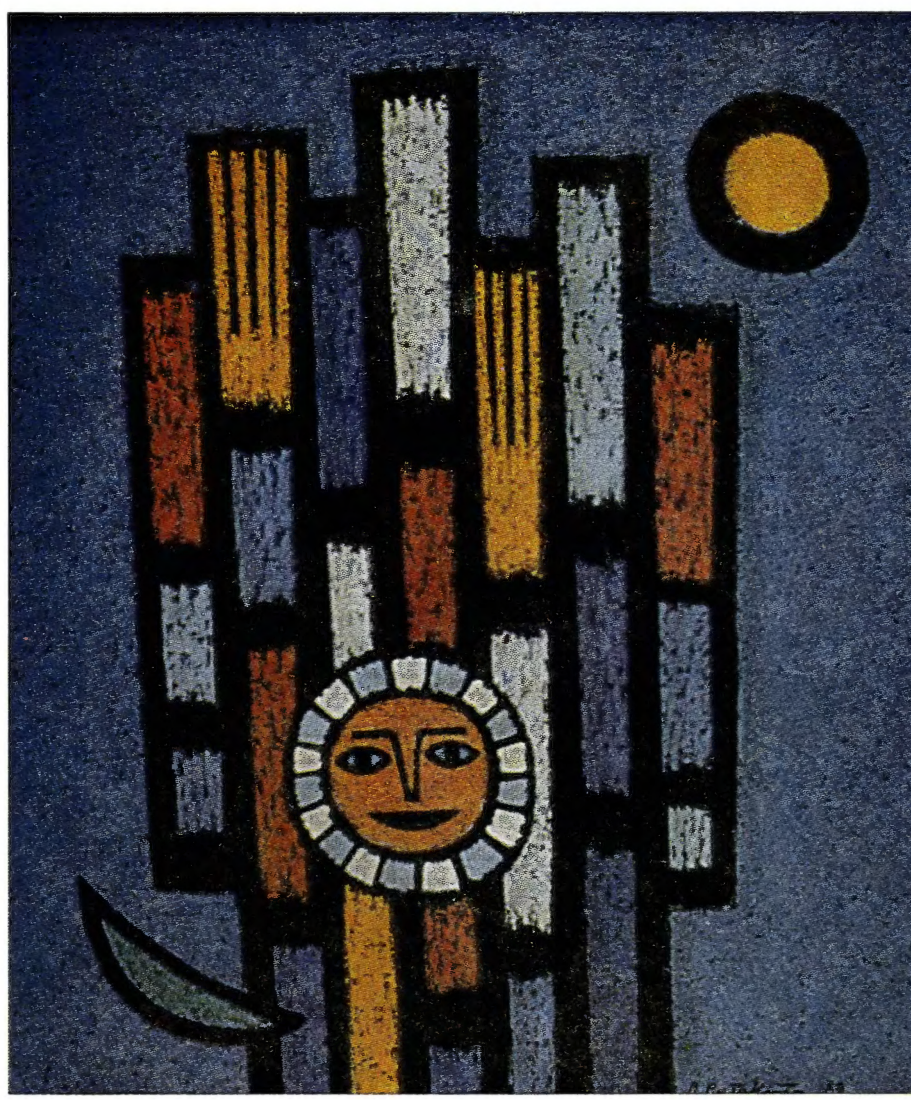
11.1972

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Издательство «Известия» Москва

11 НОЯБРЬ 1972

СОДЕРЖАНИЕ

ЖАН-ПЬЕР ШАБРОЛЬ — Пушка «Братство» *(Роман. Перевод Н. Жарковой и Б. Песиса)* 3

СЕСАР МИРО — Антипеснь *(Перевод Марка Максимова. Вступление С. С. Смирнова)* 91

АНДРЕЙ ПЛАВКА — Влюбленный в жизнь *(Окончание. Перевод Л. Лерер и С. Пархомовской)* 99

КАДДУР М'ХАМСАДЖИ — Цветы ноября *(Рассказ. Перевод Н. Световидовой)* 180

АДВАР АЛЬ-ХАРРАТ — Вокзал *(Рассказ. Перевод В. Шагаля)* 190

Критика

М. ЛАНДОР — Высокая проза «красного десятилетия» (К спорам о тридцатых годах в США) 190

Д. ЗАТОНСКИЙ — Страница австрийской литературы 205

Писатель и время

О времени и о себе (Интервью с Алфредо Диасом Гомесом) 210

Публицистика

К 50-летию СССР

ИОАН ГРИГОРЕСКУ — Вместо маршрута 219

ВАСИЛЕ НИКОРОВИЧ — Между Ригой и Иркутском *(Перевод М. Фридмана)* 220

———

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ — Во власти Молоха *(Вступление и перевод Э. Венгеровой)* 226

БЕНДЖАМЕН СПОК — Достойное и недостойное *(Отрывки из книги. Перевод И. Ирбрусова. Послесловие С. Вишневского)* 232

Культура и современность

Заметки на полях

Л. Симонян — Надо победить! Н. Новиков — Наука о будущем: есть ли у нее будущее? К. Мяло — Музыка в «индустриальном обществе» 245

Изобразительное искусство за рубежом

АЛЕКСАНДР РОМАНЕНКО — «И смолою пахнет порох...» 255

Среди книг

Издано в СССР

Борис Слуцкий — Свобода петь... А. Ермонский — Ирония и надежда Станислава Дыгата. В. Ошис — Свет и тени 258

Издано за рубежом

А. Опульский — Поэзия романтика, оптимиста, жизнелюба. Ю. Добровольская — Главное — знать. Е. Гениева — Дорога в «гринландию». А. Карлов — Размышления над шестьюстами страниц «Глупостей» 263

Из месяца в месяц

271

Авторы этого номера

287

На цветной вкладке: «Народ в борьбе». (Выставка югославских художников.)

На обложке: картина югославского художника ЛАЗАРА ВУЯКЛИИ «В честь победы». 1969 г.

ЖАН-ПЬЕР ШАБРОЛЬ

Пушка «Братство»

РОМАН

Перевод с французского Н. ЖАРКОВОЙ и Б. ПЕСИСА

Посылаю Вам рукопись, оставленную мне Флораном Растелем, моим прадедом. Добавил к ней по Вашей просьбе свои заметки о последних днях его жизни.

Обычно считается, что коммунарам, спасшимся от расправы или избежавшим каторги, «повезло»,— однако мой прадед никогда бы не употребил такого слова, особенно по этому поводу. То были замечательные люди.

Публике отчасти известны его труды, посвященные рабочему законодательству, роли профсоюзов, его политические эссе о стихийности масс, о конфронтации свободы и практической деятельности, об анархизме и автократии, об основных противоречиях человеческой натуры. Надо признать, что все эти труды проникнуты духом весьма умеренного социализма. Менее известна та роль, которую мой прадед играл в организации Международного Бюро труда, ибо он сознательно затушевывал свои заслуги в этой области. Флоран Растель неизменно отказывался появляться на политической арене.

Последние годы его жизни протекали в нашем маленьком городке N. Все кругом звали его просто дедушка Флоран. Овдовел он рано, но до последних дней жизни не переставал вспоминать свою Марту. Он был убежден, что она не погибла, а живет где-то в другом месте. В возрасте восьмидесяти трех лет — было это в дни Народного фронта — он весело и беспечно готовился к поездке в Советский Союз. Он слышал, что группа оставшихся в живых коммунаров лечится в санаториях Крыма. Моей матери, то есть его внучке, лишь с огромным трудом удалось отговорить деда от этой поездки, явно немыслимой для человека его возраста.

Первые дни войны в Испании как бы вернули ему молодость — последнюю вспышку молодости. Он любил повторять андалусскую поговорку: «Каким родился, таким и умрешь».

Летними вечерами, когда вся наша семья собиралась к ужину, родители обычно отряжали меня разыскивать деда по кабачкам или у соседей. Начав говорить о социальной революции, он забывал о времени.

В последние годы он порой утрачивал ясное представление о действительности, однако разума никогда не терял. Помню, как-

то в воскресенье он послал меня купить ему лупу, что я и сделал, упросив хозяина, вопреки правилам, открыть мне магазин. Дед, видите ли, «узнал» Марту на баррикадах Барселоны, снимок был помещен в одном из номеров «Иллюстрасьон» — и все показывал мне брюнеточку-каталонку лет пятнадцати-шестнадцати, стоявшую на мостовой и размахивавшую красным флагом.

Скончался дедушка Флоран в 1940 году, по печальному совпадению — если только это вообще было совпадением — сердце его перестало биться в тот самый день, когда эсэсовцы промаршировали под Триумфальной аркой. Поэтому-то он и не увидел Гитлера, которого величал «цепным псом крупного капитала», велевшего запечатлеть себя в тот момент, когда он обозревает Париж с вершины Сакре-Кер, собора, воздвигнутого в благодарение святой деве за подавление Коммуны.

Последнее замечание.

Два или три раза в год, бывая в наших краях, я обязательно делаю крюк и заезжаю в N., чтобы поклониться его праху на бедном кладбище. Случается, я обнаруживаю на могиле деда скромный букетик цветов. Однажды ранним утром я спугнул кого-то, кто тоже пришел поклониться его могиле. Я успел разглядеть только силуэт смуглой девчушки в рваной юбчонке.

А на могиле дедушки Флорана лежали три красные гвоздики, еще влажные от росы.

Из письма к издателю.

В 1870 году Флорану Растелю было семнадцать лет. В течение десяти месяцев он вел предлагаемый читателю дневник. Текст дневника напечатан обычным шрифтом.

■

В 1914 году господин Растель в возрасте шестидесяти одного года снова берется за свой дневник. Совсем другой Растель правит собственные записки, многое сокращает, кое-что добавляет.

Вставки шестидесятилетнего Растеля напечатаны курсивом.

■

С 1936 по 1939 год уже восьмидесятилетний дедушка Флоран перечитывает свой дневник в последний раз.

Добавления старика напечатаны жирным шрифтом.

ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ

Понедельник, 15 августа 1870 года.
11 вечера, Рони-су-Буа.

Наши похождения начнутся завтра, в сущности уже начались. Тележка, груженная доверху, во дворе, заведем сейчас Бижу в оглобли — и дело с концом, слышно, как он, несчастный наш старикан, стучит копытом у себя в стойле, с которым в преклонные свои годы

расстается надолго, а может быть, и навсегда (ему тоже не удалось подремать нынче ночью).

Пишу в мансарде, что над столовой в самом дальнем углу чердака, у перегородки. Туда мы набили сена и отаву тоже набили так плотно, что сено все время шуршит, даже доски вспучились и поскрипывают, еще бы — шестьсот тридцать семь копешек, я-то их считал, времени хватало, небось сам на собственном горбу перетаскал. Недаром на Иванов день мне минуло семнадцать.

Ночь-то какая роскошная. Небо вырядилось: выставило напоказ свои сокровища. Все звезды, как одна, явились на перекличку, даже те, что никогда глаз не кажут — то ли слишком они молодые, то ли слишком старые,— и спят себе преспокойно. Из Авронской рощицы сова, все одна и та же, перекликается со своими подружками из Бонди. Там, где леса, где Урк, вплоть до Марны — поля и нивы, насквозь пропеченные дневным зноем, томятся в бессоннице. Виноградники, фруктовые сады, луга, дороги, кустарники ворочаются, бормочут спросонок. Тужится край вздыбить влажную землю, но, вспотев от усилий, снова лубенеет, широко открыв глаза в ожидании зари. В Нейи и Вильмомбле кое-где еще поблескивают огоньки — там жгут свечи, лампы, там брешут собаки — словом, обычная возня не унимается. Со стороны Гранд-Пелюза словно бы зарево: солдат аванпоста поддерживает в лагере огонь.

В беседочке грохочет посуда — значит, мама уже поднялась и увязывает новый тюк; а куда, спрашивается, мы его приткнем? И так самую большую повозку с дощатыми боковинами завалили поклажей до того, что к моему чердачному окну подступают деревянные козлы, три тюфяка с трех кроватей, комод со всеми пожитками, тюки белья, корзины с посудой, бочонок самого лучшего вина, мешки с картофелем, с поздними бобами, с ранними яблоками; сбоку приторочены стулья, на них — стенные часы, приткнули кое-как копешку соломы, другую — сена, а под самым низом ящик — он мне вместо чемодана — с моими книгами *(а именно: «Робеспьер» Гамеля, «Марат» Бужара, «Эбертисты» Тридона).* Сами мы пойдем пешком, хотя наш старикан Бижу не слишком-то избалован.

Забористый храп: Предок еще спит.

В ту субботу явились к нам капитан с двумя лейтенантами инженерных войск. Не слишком-то разговорчивые. Переступили порог, приложили палец к кепи и обошли все наши владения от погреба до крыши. Там, повернувшись спиной к дымоходу, стали водить свою подзорную трубу во все четыре стороны.

Кстати, между собой они разговаривали.

Когда сели на коней, капитан с седла спросил:

— Где хозяин?

Имел в виду папу.

— Где-то там с Базеном,— ответила тихо мама и даже руку протянула в сторону Лотарингии. А лицо у нее какое было!

— Владельцы?

— Нет, арендаторы. Дом и земля принадлежат мосье Валькло.

— Вам дается сорок восемь часов, чтобы очистить ферму.

Мама начала было возражать, но капитан только плечами пожал:

— Здесь будет установлено орудие. Подходящая местность. Удобнейшая.

Я крикнул:

— Никогда пруссаки не дойдут до Марны!

Тут капитан впервые посмотрел на меня.

— Это почему же?

— Мы их ружейными залпами остановим.

Любезно улыбнувшись, капитан спросил:

— Возраст?

— Семнадцать.

Один лейтенант бросил:

— Да, отстает еще матушка-провинция!

А второй:

— На здешней почве, господин капитан, все растет быстро. Вытягивается в длину, вроде крепкое, зато внутри пусто.

Оба, фыркнув, пришпорили коней. Поскакали по направлению к Вильмомблю. И даже когда лошади перескочили через живую изгородь, я все еще слышал их смех с Буассьерской дороги. С тех пор мама и носится по дому от погреба до чердака, но оглядывается она на свое прошлое, смотря на наше добро. И время от времени цедит сквозь зубы:

— Да разве все увезешь!

— Значит, хозяйское и оставим хозяину,— отрезал Предок.

— Но это же нехорошо будет по отношению к мосье Валькло,— заметила мама.

— Обычно-то он сам приходит за своей долей, и даже раньше срока...

— Не нужно так говорить, дядя. Мосье Валькло всегда с нами хорошо обращался. В шестидесятом году он моему деверю очень большую услугу оказал.

И мама пошла напоминать Предку, что когда дядя Фердинан уехал в столицу, то его как раз приютил наш хозяин.

— Не забывайте этого, дядюшка Бенуа. Мосье Валькло уступил деверю квартиру в Бельвиле. И как же нам всем повезло, что в такой беде мы можем приютиться у невестки.

Кроткая, незаметная, мама редко позволяла себе вмешиваться в мужские споры, но всякий раз, когда отец или дед громили эксплуататора — читай: владельца нашей фермы,— она заводила целую волынку об его «благодеяниях».

— По-моему, сейчас самое время поддерживать добрые отношения с мосье Валькло,— гнула свое мама,— хотя бы уж потому, что поселимся мы у моего деверя, значит, останемся все при том же хозяине, в его же владениях.

— А зачем ему об этом докладывать? — заметил дед.

— Да как же не доложить-то?

— А так, что здесь, на его землях, на его ферме, вы ему, мосье Валькло то есть, с лихвой за все уже уплатили, а там вы просто поселитесь у его жильца и никакой ему от этого выгоды не будет — даже платы дополнительной.

Значит, так. Мама, дядя Бенуа и мы с Бижу отправляемся на заре в Париж.

Париж! В Париже я был всего только раз, в четырнадцать лет. Было это в шестьдесят седьмом году, ездили мы туда по случаю Всемирной выставки. От города, от его улиц остались смутные воспоминания. Ехали туда — я дремал себе в повозке, ехали оттуда — без просыпу спал от усталости.

В сущности, от Парижа в памяти сохранились только казаки на низеньких мохнатых лошадках, мексиканцы в пончо, длиннокосые китайцы, арабы, андалусцы, индейцы с перьями на голове, египтяне, толпившиеся вокруг мумии, баварские девицы верхом на бочках пива — словом, все народы земного шара. И все это тараторило и текло расходящимися кругами по коридорам волшебного дворца в форме овала, занявшего все Марсово Поле, а кругом непорочно-белые статуи, восточные ковры, ювелирные изделия, локомотивы из Англии, сани-

тарный поезд из Америки; все это заключалось на пространстве между Высшим военным училищем и Сеной, по которой бегали маленькие суденышки, а над головой кружил первый воздушный шар с двумя корзинками — творение господина Надара.

— Вся эта ярмарочная феерия нам в четыре миллиона франков встала, потому что за все, как положено, расплачивается простой народ,— ворчал Предок.

По правде сказать, он мне сильно портил удовольствие и сам это отлично понимал. Уснащая чтение газет республиканской яростью, он утверждал, что это входит в курс моих «университетов» наравне с французским языком, энциклопедистами, Великими Предками девяносто третьего года, и Бриссо, и Бабефом, и Прудоном...

Папа посмеивался в усы, мама отворачивалась. Она никак не одобряла дедовых методов воспитания. Начал он учить меня азбуке, когда мне еще и пяти не было, и мама кричала, что дело кончится менингитом. В представлении бедной моей мамы учиться читать и писать при наших достатках — это пустая трата времени и ненужная роскошь. В страдную пору она просто не давала нам свечи.

А дед похрапывает себе с приятностью, будто читает из-за моего плеча то, что я тут написал. Храпит и улыбается.

Откровенно говоря, еще долго после Выставки шестьдесят седьмого года я дивился не машинам, не гулянью, не прибывшим на празднество государям, даже не новейшим открытиям — алюминию, этому магическому металлу, прочному, как железо, и легкому, как перышко, или диковинной в те времена жидкости, зовущейся керосин,— нет, самым ярким пятном в моих воспоминаниях осталось чудище, выставленное Пруссией, знаменитая пятидесятитонная пушка, изготовленная в Эссене герром Круппом и стрелявшая снарядами в пятьсот килограммов весом.

Нынче ночью даже куры и те не спят. Слышно, как они хлопают крыльями и злобно кудахчут. Знаю, знаю, о чем думает мама, привязывая клетку с курами к боковине повозки. Крикнул ей из окна:

— Лишь бы пруссакам не достались, да?

— Ложись-ка лучше спать!

Сердится, что ее раскусили.

Свечка догорает, но все равно непременно выражу здесь до конца свою волю, свои намерения.

Но и в этой решимости опять-таки следует видеть влияние Предка, который десятки раз при мне печалился: «Вот если б я вел дневник, ведь я такого навидался, столько пережил!..»

До последнего времени, пожалуй, и не стоило браться за дневник. О чем мне было писать — о своем детстве, что ли, о детстве деревенского мальчика, об уроках (весьма своеобычных) дяди Бенуа по прозвищу Предок, о том, как я помогал родителям обрабатывать землю господина Валькло? А вот теперь столько будет всего! Я купил (разбив для этой цели копилку) десять толстых тетрадей в черной молескиновой обложке и дюжину карандашей. Сложил все это добро в старый заплечный холщовый мешок. Папа отдал его мне, а мама сшила ему новый, когда он уходил на войну.

Даю торжественную клятву самому себе вот на этой самой странице: никуда и никогда не двинусь без этого солдатского мешка. Пусть моя канцелярия хлещет меня по боку.

«Перо повострее сабли будет»,— говаривал Предок.

Я рано начал пробовать свои силы в писании. Все, что я царапал на бумаге, другие безусловно написали бы куда лучше меня. Все мои иллюзии как рукой снимало от одной ухмылки Предка.

Есть у меня воля, есть самолюбие. И чтобы решимость моя была как сталь, закалю-ка ее в горниле суеверия: дневник начат, если прерву его, то накличу на себя беду.

Однажды я, словно между прочим, спросил деда, как делается вот такая литература, как писать про самого себя.

— Записывай все.

— Как так все?

— Все, что входит в тебя через глаза, уши, нос, кожу, язык и сердце.

— Но ведь... будет и хорошее, и плохое.

— Плохое — это то, что входит в тебя через глаза и уши, но не твои, а чужие.

Такие разговоры, должно быть, очень нравились нашему старому чудаку. Мы часто беседовали с ним о форме и содержании, соблюдая деревенские обычаи: летними вечерами сидели на опорной стенке под орешиной, зимними долгими сумерками — у камелька, и пламенный поклонник Гюго под треск цикад или поленьев учил меня смаковать и уважать наш прекрасный язык.

Прежде чем задуть фонарь на повозке, мама крикнула:

— Фло, а ты ничего важного не забыл?

Карандаши и тетради в солдатском мешке, ну а самое важное у меня в голове, у меня в сердце, самое важное — это завтра.

И раз Предок после долгих уговоров согласился ехать с нами... Записав эти последние строчки, я отошел от окна и сейчас погашу свечу.

Сентябрь 1914 года.

Пишу на той же ферме в Рони, которую я купил после смерти господина Валькло, благо у меня было отложено немного про черный день. Неужели снова придется удирать? Ходит слушок, что немцы на Марне. Уже почти месяц, как я — без особой охоты — взялся за эти давно забытые тетради. От нечего делать, от душевной растерянности. В роковые часы вот так проверяешь, что уцелеет, что останется. Мой сын сражается где-то на дорогах вторжения. Каким-то будут представлять мои внуки далекого предка, который «сражался за Коммуну»?

Лучший из этих внуков недавно погиб на Эбро. Он был бойцом Интернациональных бригад. Этот-то все понял.

Вторник, 16 августа 1870 года.
Два часа пополудни. Застава Монтрей.

Бижу, мама, Предок и я вот уже больше трех часов томимся здесь, топчемся на одном месте.

Голова нашей колонны застряла где-то у заставы. Молодой фермер из Бри-сюр-Марн, пустив галопом коня, проскакал мимо всей нашей колонны по обочине дороги. Минут через двадцать воротился уже шагом и объяснил нам: въезд в город перегорожен баррикадой — либо надо ехать в объезд, либо ждать, пока ее разберут. Через четверть часа группа беженцев из нашей колонны ринулась вперед и, окружив лейтенанта и двух нестарых еще мобилей, приступила к ним с вопросами.

— Терпение, терпение! Те, кто сложил баррикаду, сейчас ее раскидывают. Это ведь тоже работа: сначала сделай, потом сломай. Еще вчера вечером путь был свободен, никто блузников с этой улицы не трогал, ничего от них не требовал, и вдруг нате вам: их разобрало вроде как по малой нужде — выскочили из домов среди ночи и давай булыжники из мостовой выворачивать.

Офицер многозначительно повертел указательным пальцем около виска. Выпросив у кого-то из наших табачку, солдат, набивая трубку, ворчал:

— С этими, туда их, голодранцами, которые прутся из Эльзаса, парижане еще слезы кулаками вытирать будут. В воскресенье в Булонском лесу уже укрепление построили.

— Вот тут мы не отстаем,— хихикнул второй.

Удары заступов известили нас, что баррикаду сносят. Женщины из нашей колонны собирались кучками по пятеро, шестеро и, стоя кружком, тесно сдвинув лбы, болтали за повозками, а мужчины тем временем расселись на откосе. Из рук в руки переходили вкруговую вино, табак, газеты и письма.

Наслушалась вдоволь дорога разных небылиц. Кое-кто распускал язык, но такого разносчика панических слухов мигом осаживали. У самой заставы завязалась драка.

Тогда, в середине августа 1870 года, хотя уже бродило глухое беспокойство, мало кто мог вообразить себе размеры грядущих бедствий. Слухи, так сказать, частного порядка как оглашенные спешили на подмогу официальному бахвальству, раздуваемому прессой. Простой люд порастерял свой пресловутый здравый смысл. Да и мало кто знал об этапах вторжения. Впрочем, как можно было поверить такому: 4-го пруссаки атакуют и уничтожают дивизию генерала Дуэ под Виссамбуром, 6-го прорывают фронт под Фрешвилером и Вертом и разбивают наголову Мак-Магона, в тот же день истребляют под Шпикереном нашу знаменитую Рейнскую армию, которой командовал лично император. А там пошло: Эльзас захвачен неприятелем, французские войска отступают с боями. В течение последующих недель лишь постепенно и с огромным трудом выяснялось, кто же за это в ответе — за незнание сил противника, за путаницу в подтягивании войск, за слабость французской артиллерии с ее бронзовыми пушками, заряжавшимися по старинке с дула, за бездарность генералов... Но у заставы Монтрей ни один из крестьян, пробиравшихся в Париж, и не вздумал бы обвинить в этих бедах режим, а тем паче особу императора. «Повинуясь всеобщему желанию», Наполеон III передал командование армией маршалу Базену.

Колонна тронулась, мужчины, сбившись группками, шагали втроем, а то и вшестером возле чьей-нибудь лошадки и с увлечением твердили о том, какие здесь мощные форты, что есть еще у нас резервы и во Франции, и в Алжире, есть гвардия мобилей, франтиреры, гарнизоны Национальной гвардии, целых два миллиона защитничков, да и ружей хватает, даже с избытком хватает. Шагая

веско и медлительно, глаз от родной земли не подымая, эти землепашцы упорно, каким-то звериным инстинктом пытались найти былую веру — и находили.

Бижу принюхивался к следам, покачивал башкой влево-вправо, влево-вправо, чтобы легче было шагать. Коняга ничего не имел против баррикад, пусть даже с ними поспешили. Уже в самом пригороде новая остановка: пришлось уступить путь встречной колонне, на нашу ничуть не похожей: ни стенных часов, ни тюфяков, венчающих мирно покачивающуюся гору поклажи,— а тачки, гроздья тачек, а из них — пучками лопаты: землекопы из окрестностей Парижа идут работать на укреплениях.

По нашим рядам дрожью проходит радость. Еще немного, и мы готовы назвать эту шумную толпу не слишком-то надежных поденщиков легионом героев.

■

Надеялись мы добраться до заставы к одиннадцати, прибыли в полдень, а сейчас уже четыре пробило.

С бескрайнего закатного горизонта незаметно поднялся, ширясь, какой-то гул.

— Гром?

— Да нет, Флоран. Вслушайся получше.

Шло из города, взбухало из потаенных глубин, из недр Сите, перепрыгивало через Сену, перескакивало через Бастилию, пласталось над Шароном, Бельвилем и Менильмонтаном, доходило сюда, сюда доходило, до заставы Монтрей, доходил ропот сотен и сотен тысяч мятежных душ, двойной заслон ненависти, бунтарства фасадов, эскорт гнева — это вырывался из ворот столицы, как из зева медной трубы, рев Парижа.

Весело встряхивая бубенцами, в белоснежной упряжи, в щелканье бичей чистокровные английские и ирландские рысаки, испанские гнедые, венгерские жеребцы и казачьи лошадки в яблоках грациозноюным галопом уносили вдаль обитые внутри стеганым шелком, огербованные снаружи экипажи шикарных завсегдатаев Бульваров, Елисейских Полей, Булонского леса, кареты, двухместные купе, такие легкие, что, кажется, приплясывают на ходу, фаэтоны, вознесенные на двух огромных хрупких колесах, восьмирессорные коляски, и при каждой — четверка форейторов.

Только мелькнули — кончик кринолиновой оборки проехался по кожаному фартуку кузнеца, луна положила жемчужинку на задний двор, бросил, призывая к атаке, барабан четыре такта Оффенбаха, блеснула молния, будто над громовым ворчанием давних бурь.

Гробовая тишина сопутствует удалому бегству шикарных парижан, тех, кто покидает столицу накануне сражения. Народный ропот начинается сначала потише, поглуше, снова громчает. Его осколки взрываются рядом с повозкой, запряженной Бижу.

— Почему это их на восток несет?

— В Бельгию удирают.

— Они-то все знают, не беспокойся. Знают, что уланы уже здесь рядом!

— Но они же на врага напорются.

— Какого врага? Ихнего или нашего?

Как сабельным ударом, невнятный гомон толпы рассекает голос, явно женский,— это кричит торговка рыбой:

— Да они не так пруссаков боятся, как Парижа!

Начинает накрапывать дождь, крупные редкие капли падают на столицу, как на раскаленную печь.

— Ну, Бижу, поторапливайся! — кричит Предок.— Уже конюшней, клячуга ты моя родненькая, тянет, если только это конюшня.— И он добавляет специально для меня: — Скоро вся семья в сборе будет.

Мне хочется задать старику один вопрос, но задать его легче, обняв Предка за плечи:

— Почему им позволяют бежать?

Старик только взглядывает на меня. Ну и ученичок ему попался!

Наконец-то мы минуем заставу, наконец-то нелюбимый Париж! Фермер из Бри-сюр-Марн обгоняет нас — низко пригнувшись к холке лошади, он скачет прямо без седла. И весело бросает мне:

— Вот ведь: те, кто там, внутри, хотят поскорее наружу, а те, кто снаружи, хотят поскорее внутрь.

Вдоль фасадов в два-три ряда стоят люди и смотрят на своих «эмигрантов». По обеим сторонам шоссе толпится простой люд — и ни слова, ни жеста. Наперекор нависшему низко небу, наперекор редким, весомым каплям дождя, наперекор всему даже тишина и застылость Парижа источают очарование — просто непонятно, но зато неоспоримо. Мощь и нежность.

Два слова к моей монографии о Дозорном тупике в Бельвиле.

Уже само название говорит о моих литературных притязаниях. В первое время нашего пребывания в тупике осенью 1870 года под этой рубрикой я собирал все сведения, которые черпал отовсюду. Постепенно меня захватила сама жизнь квартала, и поэтому я вел эти записи спустя рукава. Итак, только теперь, поздней осенью 1914 года, я взялся пересматривать эти записи и постарался по силе возможности дополнить их теми сведениями, какие получил впоследствии, в частности от Эмиля де Лабедольера, историка, специально изучавшего Париж при Наполеоне III. Хочу надеяться, что предпринятая мною работа отвлечет меня от жестокой реальности войны, которая мне по прошествии сорока лет все больше и больше начинает казаться, так сказать, переизданием.

В те времена, о которых я пишу в дневнике, только-только произошло присоединение Бельвиля к Парижу.

Дядя мой Фердинан в возрасте двадцати лет прибыл в Париж и поселился в Дозорном тупике. До этого времени он жил с нами в Ронису-Буа. Работал он на дому ткачом, а в бессезонье помогал отцу по крестьянству. После появления ткацких станков он остался не у дел и вынужден был уйти из родного дома. Папа порекомендовал своего младшего брата единственному знакомому парижанину — все тому же господину Валькло. Наш хозяин предложил дяде Фердинану жилье **(откуда как раз выселил неплатежеспособных съемщиков).**

■

На фронтоне виллы, принадлежащей господину Валькло, еще до сих пор можно разобрать старинную надпись: «ВИЛЛА ДОЗОР». По существу это был богатый загородный дом еще в те поры, когда сам Бельвиль считался просто живописной деревушкой, расположенной на горе неподалеку от Парижа.

Постепенно тупик превратился в кишащий народом городишко. К 1870 году от бывшего господского парка остались только два каштана, один — перед кузней, другой — перед типографией; от роскошной виллы — лестница в два марша с колонками вместо перил, веду-

щая к нише, где стояла небольшая статуя Непорочного зачатия... Вчера, то есть 21 ноября 1914 года, обошел я все эти места. Ремесленников прежних никого не осталось, тупик зовется по-новому, и хотя по-прежнему он кипуч и трудолюбив, говорят здесь с пикардийским акцентом или с северным: это опять, уже во второй раз, прихлынули с Севера беженцы. Но мне все чудится, будто я, прежний, семнадцатилетний, приехавший из Рони на повозке, запряженной нашим старым Бижу, шагаю по Дозорному тупику.

На нижнем этаже, напротив кузницы трудился тогда сапожник, а рядом была распивочная «Пляши-Нога». На крашеной железной вывеске на фоне ухмыляющейся рожи была намалевана босая нога с растопыренными веером пальцами. В зале с низко нависшим потолком нарисованная неискусной рукой фреска изображала попов, генералов, домовладельцев и полицейских, громящих наш тупик. Кто-то уже потом подрисовал им вместо шляп остроконечные каски. На ленте было написано: «Грабь голытьбу!»

Едва я вошел в тупик, как запах мочи сдавил мне глотку, но здесь пахло также типографской краской, опилками, кожей, металлом — трудом пахло. И запахи отстали от меня, только когда я поднялся по лестнице, ведущей в наше жилье, вернее, в теткину квартиру.

Среда, 17 августа 1870 года, тем же вечером.

Вечереет, я пристроился у узенького окошка мансарды, выходящего в Дозорный тупик, и пишу. Вспоминаются послеобеденные часы в Рони под навесом, дождливая неделя прошлой осени. Мы ждали, когда разгуляется и можно будет снимать яблоки, а пока Предок комментировал мне «Речи Лабьенуса», памфлет Рожара против Наполеона III, «этого лжецезаря современности». Как сейчас, слышу стук дождевых капель по черепичной кровле, дождь разошелся уже не на шутку, а Предок, он же дядюшка Бенуа, тем временем читает мне с выражением статьи Валлеса против войны.

■

Перед въездом в тупик Предок, ведя Бижу под уздцы — Гран-Рю спускалась так круто, что повозка чуть не налезала на круп нашего коняги,— снова сказал мне:

— Поди разузнай, здесь ли живет тетка или нет. Чтобы по этакой кишке пробраться, надо бы коня распрячь!

Никогда парижские улицы не могли похвалиться тишиной, а в те дни, когда столица готовилась к осаде, она превзошла самое себя.

Единственным — и к тому же весьма скудным — источником света был газовый фонарь с выбитыми стеклами над вывеской в кабачок. Невидимое в темноте кишение наползало на вас криком, ревом, кудахтаньем, мяуканьем, лаем. На каждом шагу мы чуть ли не наступали на кур и детвору. При тусклом свете, падавшем из огромных окон мастерской и окошек кабачка, можно было разглядеть силуэты двух каштанов, третий — еще неподвижнее, чем первые два,— еле-еле вырисовывался справа от арки у подножия разваливающегося дома; всматриваясь, я не без колебаний узнавал сглыбившегося страшного попрошайку с протянутой рукой.

Детвора вдруг, как по волшебству, исчезла с площадки, я же очутился нос к носу с пушкой. Еще шаг — и мне загородило дорогу жи-

вое чудище высотой в шесть футов и столько же футов в ширину с лоснящимся, как булыжник, черепом, с безволосой физиономией, голое по пояс, с целыми гектарами розовой, подрагивающей, сплошь покрытой пупырышками кожи. На плече он нес крошечную девчушку с шапкой соломенных волос. Завидев нас, она быстро спрятала свою закопченную мордашку за блестящим розоватым черепом гиганта. А он схватил хозяйским жестом печную трубу, домкрат и пару колес, из которых ребятня соорудила пушку.

Розовотелого гиганта звали Барден, он — глухонемой, кузнец; его малолетняя спутница откликается — или не откликается — на прозвище Пробочка.

— Кого это ты ищешь?

Это второе явление ошеломило меня еще больше, чем первое. Я уставился на говорившую. Пробочка эта не поражала ростом, ничего в ней особенного не было. Девушка или девочка? То ли четырнадцать, то ли двадцать. Очень смуглая, низенькая, пухленькая, юбчонка рваная, раздерганный корсаж — такую и пожалеть можно. Зато глаза огромные, темные, грозовые глаза. Говорит на ужасающем диалекте парижских окраин, почти карикатурном. Каждая фраза, вернее обрубок фразы, сводится к ничем не оправданным усечениям, отчего спотыкливая ее речь и вовсе становится непонятной. Мне приходится повторять свои вопросы, а ей свои ответы. И это «ты» ex abrupto[1] меня тоже совсем огорошило.

— Мадам Растель?.. Растель? А с виду она какая, твоя тетка?

— Не знаю, я ее сам никогда не видел.

— Да в этой навозной куче до черта разных бабенок!

Смугляночка возникла передо мной в нечистом свете тупика, как некий его дух, как нимфа девственного леса, фея Вивиана этой отнюдь не сказочной Броселианды.

Тогда я описал своего дядю.

— Ага! Фердинан, который в солдаты ушел! Его супружницу Трусеткой кличут! Вот, гляди, два окошка под самой крышей. На самом верху. Она только что с работы пришла.

Хотел было ее поблагодарить, но она уже ускакала. Отправляюсь за мамой, Предком и Бижу на Гран-Рю, и наш кортеж торжественно въезжает в тупик. У крыльца виллы нас окликает какая-то мегера весьма внушительного вида:

— Эй, вы, неужто у вас хватит нахальства вот так и въезжать сюда без спросу?

Груда колыхающихся жиров, обтянутых ситцем в горошек, а рядом — лохматый пес, левретка и пудель.

Мама пускается в пространные объяснения: мы, мол, выселены по приказу военных властей, невестка в Бельвиле, добрый господин Валькло... но вдруг рядом раздается чей-то звонкий голосок:

— Не теряйте зря времени и молодости, м-да! Не ее это собачье дело.

Опять черномазенькая нимфа Дозорного тупика.

— Чертовка приблудная!

— А ты, мокрица, заткни лучше свое хайло и исчезни, а то я на весь Бельвиль крик подыму, созову Национальную гвардию, Флурансовых молодцов, господа бога и самого Бланки! Через пять минут от тебя живого места не останется! Народищу сбежится в тупик — тыщи! Стены и те рухнут.

Чудодейственные слова. Путь свободен.

Нет, не Вивиана она. Она — Марта.

---

[1] Здесь — с налету *(лат.)*.

■

Мама и тетя ссорятся. Это уже третий раз после нашего приезда. Через тонкую перегородку мне все слышно. Слова становятся резче, голоса ожесточеннее. Боюсь, что Предок — нас с ним поселили на мансарде — спит вовсе не так крепко, а просто делает вид, что спит. Тетка никак не может понять, почему мы не отделались от «лишнего рта» — теперь это выражение в моде,— от этого старика, который нам даже не родственник, никто нам.

Мама пытается урезонить невестку: Предок нам больше, гораздо больше, чем просто родственник, старик выучил ее сына не только читать и писать, он научил его самостоятельно мыслить и выражать свои мысли. Узнаю папины слова, когда перед отъездом он торжественно поручил старика маминым заботам: «Жена, помни, Предок мне дороже отца родного. Мы его вечные должники. Что бы ни произошло, куда бы вы ни поехали, Флоран и ты, ни под каким видом его не оставляйте...» Так говорил папа, и мама запомнила каждое его слово. Даже сейчас я не могу слышать их без волнения, но тетку Альберту такими пустяками не проймешь. «Ну и платите свои долги каждый за себя! — вопит она.— Каждый живет, как ему нравится, но живешь-то только один раз. Плевала я на ваши великие принципы и семейные тайны!»

Мама сказала, что будет вносить половину квартирной платы, но это предложение потеряло всякий смысл после моратория 10 августа, отсрочившего платежи на время осады. Надо также признать, что теткина квартира состоит всего из двух тесных комнаток мансарды, куда, судя по всему, еще прибудет народу.

Голос за перегородкой становится все громче, а слова все недвусмысленнее: «Ни на что эти старики не годны! Да, да, только жрут все, что в погребах и подвалах запасено, а потом еще притащат в дом с улицы разные болезни!»

И тут она взялась за Бижу...

Четверг, 18 августа 1870 года.
Полдень.

Вот уж никак не мог бы вообразить, что у дяди Фердинана такая жена. Красива-то она очень! Высокая, держится прямо, крепкая, вся как сбитая. Шея длинная, прекрасный овал лица, глаза чуть раскосые, голубые, а когда злится, то серые. Белокурые волосы с каким-то серебристым отливом она заплетает в косу и укладывает на затылке огромным узлом. Нынче утром видел в полуоткрытую дверь, как она, еще непричесанная, открывала ставни, а солнечные лучи вонзались в золотой поток ее волос, доходящих до бедер... Ей тридцать пять — столько же, сколько и маме, но мама выглядит лет на десять старше, а уж разделяет их по меньшей мере двадцать лет!

Тетка спит с мамой и со своим ребеночком в первой комнате, во второй, где приютились мы с Предком, стоит коксовая плита, здесь же кастрюли, ведра и посуда...

Я привязал Бижу ко второму каштану. Отсюда он мог без помех любоваться вывеской: «Гифес, печатник. Типография. Литография».

Владелец типографии господин Гифес — человек еще молодой. Из-за худобы он кажется выше ростом. Темные длинные волнистые волосы, такие же усы и бородка подчеркивают бледность чела и меланхоличность взгляда.

Со всех сторон набежала детвора, живо заинтересованная нашими с Бижу передвижениями.

Тут из дальнего тупика ко мне подковылял сапожник господин Лармитон. Колченогий, крупноголовый, с кудрявыми бакенбардами и шевелюрой, сохранившейся только на затылке, в очках с толстыми стеклами. Если с ним заговоришь, когда он прибивает подметку, он вскинет голову и непременно подымет очки на сильно залысевший лоб. Прежде чем обратиться ко мне, он плюнул себе на ладонь, а когда разговор был окончен, снова набрал полный рот гвоздей.

— Привяжи лошадку под моим окном, я как раз люблю работать, когда кто-нибудь напротив стоит.

Под окном, на столике, сбитом из ящика,— три пары уже починенных ботинок.

— Как бы он вам их не сжевал!

— Никогда он себе такого не позволит, он же знает, что я его пригласил.

Собачонка сапожника, белый спаниель с двумя черными подпалинами — одна вокруг глаза, вторая на спине,— подошла и обнюхала катышки Бижу, который принял ее авансы весьма благосклонно. Она оказалась такой же гостеприимной, как и ее хозяин.

■

Когда в 1860 году брат папы, Фердинан Растель, вступил на парижскую мостовую, ему было ровно двадцать. Он познакомился с Альбертой Рашевской — она была значительно старше его, и у нее уже был пятилетний сынишка по имени Жюль. Помню, как сейчас, удивление и ужас моих родителей, когда до них дошла весть, что дядя, не прожив в Париже и трех месяцев, успел жениться, да еще на женщине с ребенком.

В Дозорном тупике и за его пределами, чуть ли не по всему Бельвилю, тетя Альберта известна всем и каждому под кличкой Трусетка.

Пятница, 19 августа 1870 года.

Предку удалось удачно разрешить один вопрос, а именно: свой личный...

Вечерами, когда тетя возвращается с работы, мы едим все вместе в мансарде — она же кухня,— где мы спим с Предком. Наша хозяйка ни разу не обратилась к старику, даже смотрит куда-то поверх его славной мохнатой физиономии, обросшей седой бородой. Во время этих унылых трапез разговор без передышки вертится вокруг того, что каждый обязан вносить свою посильную лепту,— кстати сказать, до сих пор мы питаемся только теми продуктами, что привезли с собой из Рони,— вокруг того, что сейчас пустуют десятки квартир, так как трусы, а может, просто кто похитрее, смотались из Парижа, так что без особых хлопот можно было бы при желании...

А сегодня тетка нам заявила:

— Завтра приезжает мой сын Жюль с одним своим приятелем. Тот постарше его года на три. Очень славный парень... Должна я их куда-то поместить или нет?

Мы сидели на кроватях, на одной — Предок с мамой, на другой —

я с теткой, тарелки держали на весу и толкались коленками, до того узкий проход. Старик не спускал глаз с раскрасневшегося лица тетки, а она брюзжала:

— Конечно, я вас вот так сразу на улицу не выброшу...

Она Предка ненавидела, я это чувствовал. Но сколько ни ломал головы, не мог догадаться за что.

— Пусть хоть кто-нибудь один уедет,— цедила тетка сквозь зубы,— только один, и то легче будет. Положение не из веселых, вы сами в этом не сегодня завтра убедитесь. Придется хочешь не хочешь...

Предок отдает тарелку маме. Тетка берет мою. Старик подбирает крошки, рассыпавшиеся у него по животу и коленям, подбирает не спеша, аккуратно, а женщины тем временем уходят в соседнюю мансарду.

— Иди-ка сюда, сынок.

Он закрывает двери.

Мы стоим рядом, я смотрю на него. Я выше его на голову.

— Поди приведи маму.

Сколько ему лет? Семьдесят? А может, и меньше. Теперь, когда он выпрямился, он просто мощный старец без возраста.

Когда мама пришла, он скомандовал:

— Мать пускай встанет на верху лестницы, а ты, сынок, посреди коридора стой. Что бы вы ни услышали, что бы ни произошло, никого туда не пускайте.

Он указал на вторую мансарду, где под злобной рукой гремела посуда.

Предок подождал, пока мама займет свой пост, затем открыл дверь второй мансарды и не спеша закрыл ее за собой. Мгновение тишины — и вдруг пронзительный крик. Крик не ужаса, не боли, а скорее всего удивления. И сразу — перекушенный стон, но его заглушает довольное ворчание набившего свою утробу хищника.

Время для нас с мамой в этом темном вонючем коридоре тянется бесконечно долго.

— Флоран!

Тетя поправляет сбитый на сторону шиньон. При свете свечи блестит ее розоватая кожа. Вдоль тонкого длинного носа стекает слеза. Она протягивает мне свой кошелек.

— Беги скорее, Фло, к Бальфису и возьми нам на вечер четыре бифштекса, только смотри, чтобы были побольше, с дедов кулак.

Сидя на своей постели, Предок раскуривает трубочку.

Вечер.

Сейчас под нашей мансардой идет митинг.

— ...В прошлый понедельник, пятнадцатого августа, был праздник империи, их империи. Так вот, они даже не посмели спеть «Тебя, боже, славим». Сейчас им не до праздников, душа у них в пятки ушла!

Гифес, взгромоздившись на крышу пристройки столяра Коша — самую высокую из всех крыш Дозорного,— вещает оттуда; все жильцы высыпали к окнам, но и внизу на дворе тоже толпа. Мальчишки и девчонки облепили все соседние кровли — типографии, столярной, кузни, расселись на нижних ветках обоих каштанов... Сбежались отовсюду, даже из Менильмонтана, из Шарона, от Пер-Лашеза и еще с десяток из Гутт-д'Ор.

— ...Каждый день несет нам новые беды, на фронтах разгром, войска беспорядочно бегут! Наши храбрые парни ждут хоть одной, только одной, хоть самой маленькой победы, а мы уже ничего не ждем! Уже ничего не ждем от империи! Только от Республики, от нас самих мы можем ждать победы над прусскими захватчиками и их королем!

Дыхание нашего тупика не умещается в его легких — этих облепивших крыши толпах; вот-вот сдвинутся со своих мест камни мостовой; из необъятной груди, стиснутой волнением, рвется крик. Оратор переводит дух. Стены домов еле заметно дрожат. Это на улице Анвьерж, где проходит железная дорога, поезд ныряет в туннель и одышливо сипит, прежде чем пройти под улицей Пуэбла, Гран-Рю и улицей Вера-Крус.

— ...Париж, Франция, наш народ готов к бою. Где император? Где императрица? Где их ублюдок? Никто не знает... То и дело перебрасывают генералов с места на место! Эти идиоты уже в прятки начали играть! Теперь наш губернатор — Трошю. Он правит столицей, которая требует одного — оружия. А он только хрипит в ответ, что уповает на старинный девиз Бретани, откуда сам родом: «С божьей помощью за родину!».

Взрыв неистового смеха сотрясает весь тупик.

— ...Вы только послушайте, что пишут эти трусы: «Это Париж 1792 года, бессмертной эпохи, когда пушка по тревоге подняла всю столицу, когда на башнях собора Нотр-Дам реяло черное знамя, когда вербовка солдат происходила прямо на площадях!» Вчера мы, и только мы, славили Великую Революцию, Конвент, Народную армию и солдат Второго года. И нас за это бросают в тюрьмы. Видно, и впрямь они здорово перетрусили!

Молодой типографщик вытягивает свои длинные руки:

— ...Париж 1793 года вот он — здесь. И все мы великий братский народ. И вы, санкюлоты, вы отвечаете: «Здесь!»

Кажется, весь тупик подымается до крыш мансард: в едином порыве люди расправляют плечи, набирают полную грудь воздуха. «Здесь!» Из-под сводов выкатывается крик, достигает Сены, Люксембургского сада, южных окраин, неприступных фортов.

— ...Издыхающая империя призывает граждан записываться в ряды Национальной гвардии, но берут лишь тех, кто может купить себе форму! А у кого есть на это гроши? У вас есть?

— Нет,— яростно выдыхает тупик.

— Пушек, пушек, пушек!

Одна из последних группок слушателей выбирается из нашего тупика, скандируя эти слова на мотив «Карманьолы». Под сводами арки гулко звучат их голоса и разносятся далеко-далеко.

Припев спускается со склонов Бельвиля, переходит из уст в уста, и в каждом голосе сила, несущая пушку к сердцу Парижа.

Суббота, 20 августа 1870 года.

Повсюду валяются газеты. Подыми и читай. Положение ухудшается день ото дня; позавчера еще продавцы газет кричали: «Отечество в опасности», а вчера уже: «Вторжение!» Наша оборона прорвана по всему фронту, наша армия разгромлена. Эльзас и Лотарингия заняты неприятелем, пруссаки уже появились в Нанси, в Понт-а-Муссоне, затем Коммерси, топот их сапог все ближе и ближе. Бельвилю не терпится.

— Читать умеешь?

Марта в неистовстве. Она тычет пальцем в середину газетного листа.

— Читай!

Бывало, я пытался представить себе единственную во всей моей жизни любовь: она непременно должна была быть высокой тоненькой блондиночкой, скромной, года на три-четыре моложе меня. Марта не соответствует ни одному из этих пунктов.

— «Законодательное собрание подавляющим большинством голосов отклонило проект левых, правительство выслушало немало жестоких истин и грозных упреков. «Пора решить, готовы ли мы сделать выбор между спасением родины и спасением династии!» — воскликнул господин Гамбетта».

— Ой, Гамбетта,— обрадовалась Марта,— это тебе не пустяки. Он красный, он наш человек.

В мае прошлого года Гамбетта был торжественно избран от Бельвиля; это были первые настоящие красные выборы, проходившие под лозунгом социального переустройства, о котором говорится в так называемой «Бельвильской программе». По словам Марты, это известно всем. Марта искоса заглядывает в газету и, подперев рукой подбородок, корчит гримасы.

— А внизу что?

— Это о модах.

— Читай скорее.

— «Цветущая корзина», Итальянский бульвар, д. 30, предлагает своим клиенткам, приютившим у себя раненых солдат, тройной одеколон, секрет изготовления коего принадлежит гг. Пино и Мейеру. Дамам, отправляющимся на морские купания, настоятельно советуем не забыть взять с собой крем «Снежинка» — отбеливающее средство, великолепно снимающее морской загар».

А еще ниже сообщение: «Общество южных железных дорог Австрии предупреждает грузоотправителей, что ж.-д. сообщение в Западной части Германии через Страсбург—Форбах прервано; Общество не дает никаких гарантий грузоотправителям, перевозящим свои товары из Швейцарии через Линдау, Базель и Женеву».

— Да ты, шут тебя возьми, мог бы салон держать не хуже нашего Мумута!

Мумутом окрестили здесь бывшего парикмахера, настоящее его имя Батист Метель. Целыми днями он сидит у окошка нижнего этажа, того, что выходит на водоразборную колонку. Как только кто-нибудь из жилиц отправляется за водой, Мумут вскидывает голову со съезжающими к кончику носа очками, взгляд его загорается, рот приятно округлен: этот за словом в карман не полезет. Когда он уж чересчур разойдется, мадам Фаледони — позументщица с нижнего этажа, Мари Родюк — торговка пухом и пером с третьего и в серединке Селестина Толстуха, мастерящая бумажные цветы и гирлянды, сурово его осаживают. По утрам Мумут зычным голосом сообщает своим дамам последние газетные новости. А Торопыга — сын гравера, притаскивая газеты прямо из типографии, где работает его отец, сообщает слухи, которые в газетах не печатаются, а ходят в редакционных кулуарах.

Мумут, Торопыга и еще многие, многие другие...

Нынче, когда я набрасываю портреты тех дней, мне хотелось бы подретушировать их, потому что я знаю их судьбы, но я не могу, иначе пришлось бы переписывать все заново.

Здесь, у колонки — блаженный уголок, и редко какая женщина покидала рай без вздоха сожаления, таща два ведра воды домой, где нет хлеба, нет света и хнычет детвора, а муж, сидящий без работы, с горя спускает тем временем последние три су, полученные в ломбарде. Надо же выпить в кабачке дядюшки Пуня, который сам раньше был рабочим, да только ему повезло. «Пляши-Нога» никогда не пустует. Не только тупик, но даже, пожалуй, весь квартал поставляет ему клиентов. Кабачок служит также конторой по найму рабочей силы. В прокуренных зальцах толпятся бронзовщики из литейной братьев Фрюшан, расположенной в двух шагах на перекрестке улиц Ребваль и Ренар, десяток сборщиков с фабрики Годилло, наладчики от Гуэна в Батиньоле, клепальщики и два медника от Кая в Вожираре, где делают локомотивы. Один из них все твердит, что на этой каторге долго не протянешь: как надоест, он сразу же уйдет из ихнего караван-сарая и наймется туда, где потише, где «эти сволочи не будут тебя дергать», а будет всего только один мастер, да еще покладистый. Лихо расправив плечи, он единым духом опрокидывает стаканчик сивухи. Зовут его Бастико, он гигант с лишенной растительности физиономией, с перебитым носом. Второй медник, Матирас, с рыжей бородой веером, ухмыляясь, подтверждает, что его дружок действительно уйдет — это он не зря говорит,— но все равно рано или поздно вернется к Каю или Гуэну, уже бывали тому примеры. Все дело в том — если, конечно, верить рыжебородому,— что Бастико, и в данном случае он не одинок, никак не может приноровиться к новым методам работы. Он прирожденный ремесленник и, как это у них принято, вечно опаздывает, прогуливает все понедельники, а порой захватывает и утро вторника, ворчит, устраивает стачки — словом, по выражению хозяев, «лезет в рабочие союзы».

В ту пору мой слух не был еще приспособлен к языку и акценту парижских окраин. С другой стороны, я, как и все новички, мучался всеми муками пуриста. Мне было даже как-то неловко передавать подлинный язык Бельвиля. Даже перу больно было точно воспроизводить то, что резало мне слух, а при вторичном прочтении своих дневников меня просто коробило. Я довольствовался тем, что скупо переводил на обычный язык то, что приходилось мне слышать, исключая кое-какие моменты.

Каждый вечер, когда наш тупик может передохнуть от грохота ломовиков, доставляющих товары, Леон, гарсон у Пуня, выносит наружу четыре скамьи, козлы и доски. Ну и начинается застолье. Все это кричит, пьет, хохочет и поет до зари. При свете кенкетов на побагровевших физиономиях блестит пот и грязь. Черные мозолистые лапищи взмывают в воздух, будто крылья летучей мыши. Борода, каскетка, блуза и рабочие штаны здесь обязательны. А вот бороденка, подстриженная а-ля Наполеон III, котелок, плащ и рединготт — это уже для буржуев, квартирующих по ту сторону ворот. Окна их домов выходят на Гран-Рю, а к Дозорному тупику они повернуты задом, и видны отсюда только высокие стены с узенькими, забранными решеткой окошками, откуда никогда не выглянет человеческое лицо. Ну, а если твое собственное окошко под крышей выходит в тупик, хочешь не хочешь, а слушай разговоры и песни. Это горланят в ночи собутыльники в «Пляши-Нога».

Иной раз из окошка мансарды высунется чья-нибудь жена позвать мужа, а иной раз пускается в путь с младенцем на руках, малыши постарше цепляются за ее юбку.

Литейщик Барбере, загружающий печи у братьев Фрюшан, залепил своей половине парочку затрещин, так что она быстрехонько отправилась к себе на площадь Вольтера, где они живут, а вернувшись, он доверительно объясняет своим собутыльникам:

— Как это она в толк не возьмет, что я целых четырнадцать часов проторчал в этом пекле и имею наконец право не торчать на нашем чердаке, где и повернуться-то негде, шутка ли — сундук и пять кроватей, а тут еще ребятишки орут и эта пискля хнычет. Ох, вот если б моя супружница сумела устроиться так, как жена Вормье!

Жена Вормье, чернорабочего, больного чахоткой, пошла в полицию и записалась как гулящая. Впрочем, записаны они или нет, женщины — но только женщины, посещающие «Пляши-Нога»,— давно потеряли добродетель. На весь Бельвиль особенно славятся две: Дерновка — дебелая блондинка, до ужаса размалеванная, и долговязая брюнетка по кличке Митральеза, потому что, как только она откроет рот, полный зубов, и начинает крыть всех и вся, кажется, что стреляет картечница, изобретенная капитаном Рефи.

Подобно Опере, подобно «Комеди Франсэз» кабачок Пуня выдвинул своих Мишо, своих Агар. Наша знаменитость — Дюран, прозванный Нищебрат, тощий, общипанный и в общем-то молчаливый поденщик, в котором алкоголь пробуждает бурные ораторские страсти. Тогда он подымется, скинет каскетку, обнажив при этом заостренный к макушке череп с проплешинами, и откроет свою страшную пасть. Вообще-то и у мужчин и у женщин — обитательниц тупика рты не в блестящем состоянии, но, пожалуй, ни у кого нет такого страшенного, как у Нищебрата с его кривыми пеньками.

В общий гомон ввинчивается пронзительный его голосок:

— Расскажу я вам, нищие братья, о моем будущем, о нашей судьбе, о судьбе всех нас, бедняков! Распространяться не буду, и вот почему: если не помру раньше срока от застарелой золотухи, проскриплю еще несколько мерзких лет в богадельне для бедных.

— Если только там место найдется!

— И кончишь, как Меде.

Все взоры обращаются к согбенному силуэту попрошайки: это он в углу у ворот протягивает за подаянием руку, ветхая каскетка сползает ему на глаза.

— А ведь был литейщиком у Деневер-Ленево в Лурсине, в свое время на всю округу гремел,— буркает себе под нос Матирас.

— Этот человек,— возглашает Алексис, молоденький типографщик,— произвел в четыре раза больше того, что потребил.

И начинает громить захребетников-капиталистов. Пряди длинных прямых волос елозят по лицу, на носу подпрыгивают очки в такт обвинительной речи «против людей, которые ничего не производят, которые жиреют за счет того, что девяносто девять их братьев из ста лишены самого необходимого».

Разгневанные сотрапезники машинально оглядываются на закрытые ставни второго этажа виллы. Хозяин этой квартиры — единственный «капиталист» во плоти и крови, которого они видели. Но господин Валькло неделю назад уже покинул Париж со всем своим добром и домочадцами.

Вот о чем шумит ночной Бельвиль, и отголоски застольных бесед доходят до окошка мансарды, где я царапаю эти строчки, а мама только что заснула и спит беспокойно, как мышка.

Воскресенье, 21 августа 1870 года.
Примерно полдень.

Марта может говорить о политике с не меньшим пониманием, чем рабочий, член Интернационала, а через минуту уже носится, играя в салочки. Она верховодит над десятком, если не больше, ребят постарше из нашего тупика, а мелюзгой то командует, то нянчится с ними, словно родная мать. Она знакома со всеми знаменитостями нашего квартала: с Огюстом Виаром, с Жюлем Бержере, с интернационалистом Остином из Бютт-Шомона, с журналистом Люспиа, с сапожником Гренке, который, как только где ее завидит, еще издали кричит: «Привет, Марта!» А уж о самых лучших, тех, кто в тюрьме или от тюрьмы скрывается, и говорить нечего. Знает она бланкиста Ранвье и героя Бельвиля прославленного Флуранса.

Темноволосая девчонка рассказывала мне о них, а сама и так и эдак вертелась перед витриной аптеки, стараясь пошире раздуть свои юбчонки: «Нет, ты только посмотри, знаешь, как мне кринолин пойдет!»

Раскрыв от изумления рот, я уставился на чернявенькую коротышку Марту, на ее округлившиеся от восторга глаза. Умела, что ни говори, она поражать людей. Но это было еще не все:

— А теперь, Флоран, я открою тебе мой самый-самый большой секрет!

И Марта показала мне свой тайничок.

Я и сам знал, что каждый в детстве обзаводится своим тайником. К примеру, я облюбовал себе ямину под корнями засохшего дуба, за изгородью у ручейка, и все лето там играл. Но тайник Марты— это была уже не игра.

Убежище ее помещалось в бывшем чуланчике, чудом уцелевшем на втором этаже рухнувшего дома и как бы повисшем над развалинами. Снаружи ни за что и не заметишь. Тайник свой она «меблировала» — притащила тюфяк и три довольно приличных одеяла, была там и начатая бутылка вина.

— Можешь, когда хочешь, приходить сюда ночевать,— торжественно заявила Марта.

Затем, как полагается настоящей хозяйке, переменила тон, будто извиняясь перед гостем:

— Только свечи у меня нет, нарочно ничего не зажигаю, чтобы снаружи не засекли.

Даже ребята из числа ее самых верных рыцарей не знают о существовании тайника. Ее подопечная детвора до последнего времени собиралась в пристройке Коша за досками, но сейчас там не повернешься: в предвидении осады столяр пополнил запасы досок.

Через горизонтально идущую трещину виден буквально весь тупик от ворот до дома. Между двух камней в стене, смежной с тайником, аккуратно удален цемент. Если приложить глаз к этому отверстию, то внизу откроется зала «Пляши-Нога».

— А им снизу ничего не заметно. Ну сам скажи, здорово ведь устроено? Разве нет?!

Понедельник, 22 августа.
Сразу после пробуждения.

На Восточный вокзал все прибывают и прибывают раненые. Несколько ребятишек из тупика и мы с Мартой отправились туда вче-

ра после обеда в надежде получить хоть какие-то сведения о наших отцах. Мы бегали по платформе среди носилок, солдат, санитаров, братьев милосердия, дам-благотворительниц, раздававших раненым вино в стаканах и бульон в чашках. Я орал: «Кто видел Растеля? Из сто шестого линейного полка, бригады Буриен-Дефёя?» Филибер, старший сын торговки пером: «Бригадира Родюка, четвертый гусарский?» А Шарле — маленький горбун — сын позументщицы: «Артиллериста Фаледони...»

Подошел еще один поезд, из вагонов высыпали таможенники — их отрядили в Париж рыть укрепления. По бульвару Мажента дефилировали во главе с барабанщиком пожарные в блестящих касках, согнанные в столицу со всех концов Франции.

На площади Шато-д'О обучали добровольцев — за неимением ружей они орудовали палками, тросточками, а то и зонтами. Тут были чиновники, студенты, принарядившиеся рабочие, каменотесы в белых тиковых куртках с красным поясом и красным шейным платком, плотники, каменщики, художники... и даже один гарсон из кафе.

Мы дотемна шатались по Парижу: Марта, Торопыга, Пружинный Чуб, Адель и Дезире Бастико, Шарле-горбун, оба Родюка, оба Мавореля и я. Впервые я по-настоящему выбрался за пределы Бельвиля. Но если верить Марте, сейчас Париж уже не Париж. Дело в том, что самые богатые богатеи удрали. Значит, народу в роскошных кварталах поубавилось. Во всяком случае, в особняках. Но все-таки на улицах людей и суеты хватает. Так мне кажется. Потому что тем, кто остался, не сидится дома, их тянет прочь, хочется поговорить, узнать новости, просто потолкаться в толпе.

Деревья повалили и пустили стволы, сучья, даже листья на потребу обороны, понаделали корзин — в них переносят землю и патроны для взрывчатки. Работы не прекращаются ни на минуту, даже ночью. От света фонарей, нацепленных на подпорки, любой предмет отбрасывает длинную тень, пляшущую по мостовой,— и булыжники, и земляные валы, и редуты, и палисады с амбразурами, и куртины, и шанцы, и пушки, которые проезжают мимо, и ядра, которые складывают пирамидками. Только что прибыл батальон мобилей — все зеленая молодежь в штатском, они бродят возле походного госпиталя, возле походных кухонь, в одной руке у каждого ружье, в другой — положенный по довольствию хлеб; воскресный люд кружит у их лагеря, гонимый голодом, голод еще сильнее разбирает эту ослабевшую, трепещущую от всплесков надежды и гордости толпу...

Ночь.

Придется мне теперь совсем не спать: у нас появился вор. Проходя мимо бочки, Предок машинально ударил по ней ладонью и по звуку догадался, что она наполовину пуста. Нам удалось забрать с собой на мансарду только самое необходимое — белье, посуду, а все остальное-то куда девать? Надо найти ворюгу, и немедленно! Прошлой ночью у нас сперли самый лучший наш тюфяк. Мама возмутилась и заявила, что обратится в полицию. Тетка начала орать, вмешался Предок — и о полиции больше ни слова.

То и дело я откладываю карандаш и озираю наше добро. Стенные часы лежат на самом верху поклажи плашмя, и поэтому повозка в темноте похожа на огромную пушку — вчера я видел, как такие везли. Под окном сапожника дремлет Бижу. Когда у него затечет нога, он переступит и копытом, звонко стукнув о камень, высечет искорку.

Догадывается ли он, верный наш коняга, что корму для него осталось всего на полутора суток?..

Если «Пляши-Нога» — предпочтительное место сборищ горлопанов и рассказчиков, то уголок у водоразборной колонки облюбовали себе философы и ораторы. На ступеньках виллы устроились рядком Кош-столяр, последователь Прудона, и Гифес-печатник, интернационалист; их слушают ремесленники, подсевшие к своим окошкам глотнуть свежего воздуха: цирюльник, причисляющий себя к эбертистам, бланкист-сапожник и гравер Феррье — якобинец.

Спокойным своим голоском столяр предвещает близкую эру федерации: «Кто сказал «Свобода», говорит «Федерация». Федеративная система — единственная, при которой обе стороны, вступающие в договор, выигрывают, а не теряют в правах; то же насчет собственности и авторитета».

С тех пор, как мы приютили у себя в Рони Предка, этот словарь и эти идеи стали для меня привычными — они как бы вошли в семейный круг. Поначалу сбитый с толку и самими обитателями тупика, и их лексиконом, я, помнится, повсюду прислушивался к завязывавшимся спорам, так как они хоть отчасти напоминали мне чудесные вечерние часы у нас дома. Таким образом, жители Бельвиля, раньше отпугивавшие меня, стали мне как-то ближе. Предместье можно сравнить с табаком: от первой выкуренной трубки тошнота подступает к глотке, но только от первой. Примерно то же самое получилось, когда Марта сводила меня в Зал Фавье. Увлечение клубами было делом не новым. С 1848 года после февральских дней свобода объединений и ассоциаций, принесенная Второй республикой, вызвала к жизни множество клубов, из которых немало осталось в памяти людской.

Перепуганные успехом клубов и распространяемой ими революционной заразой, власти запрещали дискуссии по определенным вопросам. Каждый день газеты публиковали список запретных тем. Таким образом, клубы постепенно перестали выступать в открытую и выражались обиняками, что усыпляло бдительность неизменно присутствовавшего на всех заседаниях комиссара полиции, рядом с которым восседал писец, без передышки скрипевший пером. Беседы у нашей водоразборной колонки были в известной мере повторением клубных дискуссий, только в более мирных тонах.

Нынче вечером речь идет о том, что толпа народа, забив улицу Вриллер, осаждает Французский банк, рассчитывая обменять бумажные деньги на золото. Хроменький сапожник клеймит правительство за то, что оно не может прекратить безобразия:

— Куда там! Оно покровительствует крупным спекулянтам. Директора фабрик и богатейшие негоцианты добиваются у власти разрешения обменять бумажные деньги на золото под предлогом того, что им-де легче расплачиваться с рабочими. За две недели золотая наличность банка уменьшилась на сто двадцать миллионов!

— Одни спекулируют на акциях, другие — на брюхе,— ворчит Мумут, и вот уж наш парикмахер-эбертист принимается стричь и брить «хищников от коммерции».

— Девятого августа,— перебивает его Гифес,— Фавр внес законопроект: «Создать Национальную гвардию, предоставив ей право самой назначать офицеров, и немедленно раздать ружья всем гражданам, способным носить оружие». Однако правительство не так-то уж торопится проводить в жизнь собственные указы, это же слепому ясно! Ничего, народ его скоро заставит!

— Еще как заставит-то, прямо пинком под задницу!

Не знаю, кто именно — интернационалист, бланкист, якобинец или прудонисты,— но кто-то, возможно, и владеет ключом от грандиозных проблем, стоящих перед человечеством, но как бы я тщательно ни отсеивал все их предложения, я так и не пойму, какого же пути держаться мне, чтобы разрешить мои семейные и личные трудности.

Вторник, 23 августа.
Под вечер, писано в тайнике Марты.

День быстро клонится к закату. В типографии зажгли лампы, но не слышно стука машин, хотя несколько рабочих уже явились; господин Гифес и Алексис устроили небольшое собраньице вместе со своими друзьями-интернационалистами.

Заглядываю в дыру, которую так ловко провертела в стене Марта: зала «Пляши-Нога» уже полна; накурено, хоть топор вешай.

Нынче вечером я сижу и все думаю, думаю...

Было это в ночь с воскресенья на понедельник — всего только позавчера, подумать только! Позавчера! Мы возвращались от заставы Трон к нам в Бельвиль и вдруг видим — впереди трусит Торопыга, Адель, Пружинный Чуб и все прочие, даже Шарле-горбун. Только мы пересекли улицу Рокетт, как вдруг в сотне шагов от нас распахнулась дверь какого-то кабачка, оттуда вывалилась пьянчужка, ну просто пугало какое-то, и окликнула Марту:

— Эй, вшивуха! Двадцати монет у тебя, часом, не завалялось? А то нечем глотку смочить. Как бы твоя бедняжка старуха от жажды не окочурилась!

Моя черномазенькая, настоящий крепыш, оттолкнула попрошайку и ускорила шаг. Тут я вблизи разглядел эту женщину, бессильно привалившуюся к стене, ее опухшую физиономию, всю в густой сетке синих прожилок, крупный угреватый нос, редкие волосы, висевшие слипшимися от грязи желтыми прядями, маленькие налитые кровью глаза, причем от правого осталась только щелочка, так как синяк захватил даже скулу; но проходя мимо, я поймал взгляд, в котором светилось мучительное недоумение, жалкий, обнаженно человеческий взгляд.

Я догнал Марту:

— Ты ее знаешь?

— А то как же! Это моя мать.

Вторник, 30 августа.

Пруссаки расстреляли первых франтиреров, захваченных в плен; прусский король назначает в Эльзасе и Лотарингии своих префектов.

«Крейццайтунг» — одна из самых влиятельных в Берлине газет — справедливо опасается гражданской войны во Франции. «Кельнская газета» грозит нам нашествием двух миллионов человек, «Аугсбургская газета» заявляет: «Да цветет германская нация и да сгинет романская!» Эти сообщения, перепечатываемые парижскими газетами, дополняют рассказы раненых под Виссамбуром, Фрешвилером, Форбахом, и все это подливает масла в огонь: надо-де сжигать живьем пруссаков.

Как-то вечером в кабачке, когда самые громогласные ненавистники пруссаков окончательно распоясались, типографщик вдруг спокойно заявил:

— Двенадцатого июля прошлого года, за неделю до объявления войны, парижская федерация Интернационала уже понимала грозящую нам опасность. Тогда мои друзья и я выпустили воззвание, гласившее: «Братья германцы, во имя мира не слушайте продажные или раболепные голоса, цель коих обмануть вас насчет подлинного умонастроения Франции... Наши и ваши дивизии, как на этом, так и на другом берегу Рейна, только усилили полную победу деспотизма... Трудящиеся всех стран, к чему бы ни привели наши совместные усилия, мы, члены Международной ассоциации трудящихся, не признающие более границ, шлем вам как залог нерушимой солидарности привет и наилучшие пожелания от тружеников Франции».

Я буквально задрожал от страха за тщедушного типографщика. Патриотический вой в «Пляши-Нога» сменило тяжкое, как свинцовая туча, молчание. Я наблюдал за Пливаром и еще двумя медниками — вступив в Национальную гвардию, эта троица еще сильнее распалилась в своей ненависти.

Гигант Бастико поднялся, оперся кулаками о край столешницы:

— Гифес, ты бы и сейчас тоже такое воззвание подписал?

— Подписал бы не колеблясь.

Наверно, их удержала только необычайная отвага этого бледного, узкогрудого человека, которого они могли пришибить пальцем. Бастико молча опустился на скамью. И вечернее оживление, обычно царившее в «Пляши-Нога», само собой сникло.

■

Вот уже три или четыре дня, как министр внутренних дел заявил официально:

— Армия наследного принца, отступавшая согласно сообщениям, возобновила свой марш на Париж. Но Париж находится в состоянии обороны, и правительство рассчитывает на патриотизм населения.

А через несколько часов новая депеша сообщила народу, что прусские дивизии, выступившие из Понт-а-Муссона, движутся форсированным маршем на столицу.

Люди буквально окаменели: осада Парижа! Да нет... неужто все это — истинная правда? А вы уверены, что мы просто-напросто не разыгрываем комедию для всего света, да и для нас самих?

Одни хлопают себя по лбу, другие щиплют себя — проснись, мол! — третьи совсем раскисли. Газеты Второй империи полны революционными, уже забытыми фразами: «Народ, к оружию...» «Великолепная голытьба...» «Двадцатилетние генералы, вышедшие из разночинцев...» И все мурлыкают «Республика нас зовет!» Пока вспоминают только музыку. Но и слова не так-то уж далеко, на самом кончике языка.

Академические перья не унимаясь льстят Парижу, как старой приговоренной любовнице, обреченной врачами на смерть: «...Осада Парижа, этой Мекки новых верований, этих Афин современной мысли...»

А когда экстаз утихает, они вдруг трезвеют: «Об этом ведь говорилось. Нам было прекрасно известно, что в Париже назначена встреча трех прусских армий, но надо сознаться, что каждому из нас эта угроза казалась фантастической, ничего общего не имеющей с реальностью».

Когда слухи о предполагаемой осаде подтвердились, весь Бельвиль вздохнул чуть ли не с облегчением. И напротив, опровержение слухов, разоблачение этой всесветной комедии бросило бы наших бедняков на соломенные тюфяки, свалило бы на пол их хибарок, узнай они вдруг, что отдали, оказывается, последний свой грош, плоть свою и душу ни за что, ну, скажем просто — расплатились за дипломатический шантаж. Ведь им-то неведомо, что живут они в Мекке современных верований, в Афинах философии завтрашнего дня! Они не знают даже того Парижа, который осматривают иностранцы — ни Елисейских Полей, ни Тюильри,— так-таки и не знают ослепительного града, столицы, чарующей весь мир. А знают они только вертепы, да выщербленные мостовые, да мрачные каморки, да город-шлюху, где мрут они от непосильной работы и нищеты, мрут деды, мрут отцы, мрут сыновья. Вот он, их Париж. Ради его прекрасных глаз они отдают все, они, которые ничем не владеют.

Лишь для одних богатеев Париж — это сама гармония, само очарование...

А у наших-он, Париж, в печенках сидит.

■

При малейших признаках тревоги население нашего тупика словно удваивается. А через две-три минуты все уже кипит.

По приказу генерала Трошю идут аресты «лишних ртов». Полицейские без передышки проводят массовые облавы. Любой, не имеющий профессии, средств к существованию, объявляется «лишним ртом», но забирают также и тех, кто говорит плохие слова, плохо причесан, плохо построился, плохо поселился,— словом, всех бедняков и тех, кто вовсе и не бедняки даже, и в первую очередь — плохо думающих.

— Лишние рты — это как раз и есть чревоугодники! — заявляет Мумут.

Дозорный тупик начеку. Быстроногий мальчишка выставлен в качестве караульного на Гран-Рю — там, где повыше и откуда все видать. При первом же появлении стражников и префектов он подает сигнал: вопит во всю глотку.

— Одного шпика, даже двух или даже полдюжины бояться нечего,— поясняет мне Марта.— Бояться надо, когда полиция тучей идет. Потому что в Бельвиле одному шпику сразу каюк.

После бойни на Лотарингском участке фронта прибывают все новые и новые раненые.

Среда, 31 августа.
10 ч. 15 м.

У тупика до предела натянуты нервы: гораздо чаще, чем раньше, начинается руготня, дело доходит до настоящих ссор, а то и до кровавых драк. Старые обиды как бы переживают вторую молодость. Только сейчас цирюльник и сапожник растащили Фаледони и Мари Родюк, которые вцепились друг в друга у колонки и обе брякнулись в грязь. Мари Родюк нет еще тридцати; она маленькая, живая, личико у нее похоже на круглое розовое яблочко и все в веснушках, совсем так же, как у ее старшего сынка Филибера. Удивительное дело: из горла этой карманной дамочки рвется чудовищный бас, а с губ огром-

ной ширококостной Фаледони еле сочится тоненький скрипучий дискант. Это несоответствие особенно поражает, когда две эти кумушки схватываются друг с другом. Позументщице уже под пятьдесят, и движется она неспешно, зато кулак у нее костлявый и тяжелый. Она вечно жалуется, что с третьего этажа, где Мари Родюк мастерит свои панаши, к ней летят перья. Мумут вторит ее жалобам, а мама, которая помогает позументщице делать галуны, объяснила мне, что если пух осядет на свиных жилах, которые она обматывает золотой канителью и шелком, то придется потом переделывать все заново. Мама поселилась у позументщицы и работает на нее, поэтому по долгу службы ей тоже полагается ненавидеть торговку пером, но она никакой неприязни к ней не испытывает. Вообще ссоры возникают беспрерывно, и мотивы их разнообразны, равно как и их чисто механическая повторяемость, например, из-за петуха тетушки Фалль, который будит на заре весь наш тупик.

Мужчины ссорятся и бьются зверски, до крови — в отличие от женщин, у которых ссоры киснут, бродят годами и конца им не видно. Причин для женских драк множество — зависть, уязвленное самолюбие, сплетни, грязь; а мужчина бьется из гордыни, за неловко сказанное слово или потому, что пропустил лишний стаканчик.

Таков был народ в повседневной своей жизни. Таким я его открыл для себя, свалившись с высоты своих семнадцати лет. Для нас в Рони народ был Очарованным Принцем из волшебной сказки под названием «Революция». Предок говорил мне, сидя у камелька, о Свободе, о Республике, о Социализме — и все это, равно как и прогресс и будущее, могло быть делом рук только лишь великого и великолепного умельца, народа, отборной частью которого является рабочий класс. Народ виделся мне богатырем из старинных фолиантов с яркими картинками. Огорченный мелочностью, злобой, эгоизмом и алчностью наших деревенских соседей, я утешал себя: «Ведь они крестьяне, и только крестьяне, но есть еще народ, настоящий рабочий народ, есть совсем новый класс фабричных рабочих Парижа, есть пролетариат, чистый, светлый...»

Как-то вечером, когда Вормье отколошматил свою супружницу, когда этот рогоносец Пливар обозвал свою тухлой щукой, а Фалль с Бастико сцепились у столика, за которым храпел мертвецки пьяный Нищебрат, я приступил к Предку:

— Ну скажи, скажи, разве вот это пролетариат, народ?!

— Представь, сынок, что да.

И он еще улыбался, старый хрыч!

Тупик то хмуро, то злобно поглядывал на четыре огромных, забранных решеткой окна на втором этаже виллы «Дозор». Против них сосредоточена вся социальная ненависть — ненависть к хозяину, к буржуа, к империи. В тупике не грозят кулаками небесам — для этой цели вполне годен второй этаж.

Марта все устроила.

Мы перебрались к Серрону — она устроила; сено для Бижу — опять она; место под навесом кузницы для нашей пустой повозки — опять-таки она...

Иногда я ловлю на себе ее взгляд, не простой взгляд. Вот, например, сейчас я было подумал, что она хочет объясниться мне в любви — как бы не так, держи карман шире:

— Флоран, обязательно научи меня читать.

Но прозвучали слова эти как любовное признание.

Суббота, 3 сентября.
Утро.

Слухи о разгроме армии и капитуляции переполошили весь Бельвиль. Сейчас здесь не разговаривают, а рычат. Прохожие перекликаются через форточки с посетителями «Пляши-Нога». Тупик почти не спит.

Одиннадцать часов вечера.

Над тупиком реет знамя. Красное. Его водрузили на Непорочном зачатии. Не поздоровится «святой шлюхе», как выражается Мумут. Древко примотали веревкой к вскинутой руке, благословляющей нищий люд тупика. Огненный цвет Революции полощется среди листвы второго каштана.

Вообще в Бельвиле много знамен — и красных, и трехцветных. Национальные гвардейцы уже не расстаются со своей формой, а главное — со своим оружием.

Весь народ высыпал на улицу. Еле-еле можно продраться вперед, скользя между группками людей. То там, то здесь запевают сатирические куплеты в адрес Наполеона III.

Взобравшись на повозку или примостившись к столбу фонаря на перекрестке, разглагольствуют ораторы. К тупику обратился с крыши своей типографии Гифес. Он только что вернулся с Больших бульваров, где парижские гвардейцы избивали кастетами граждан, кричавших о крахе империи.

Вести о разгроме под Седаном подтверждаются, две или даже три французские армии окружены, и им остается одно — безоговорочная капитуляция. Император не то взят в плен, не то погиб.

— Но в Тюильри,— восклицает типографщик,— больше боятся революции, чем поражения, больше боятся парижан, чем пруссаков!

В качестве доказательства он приводит тот факт, что в Бовэ отправили арестантский вагон с заключенными из тюрьмы Сент-Пелажи, в подавляющем большинстве — политическими.

— ...Граждане, это же наши братья, лучшие из лучших! И отправляют их так спешно из страха, что завтра сам Париж разобьет их оковы!

И тупик в ответ рычит.

Гифес терпелив от природы, объясняет он все ясно и понятно: империя готова пожертвовать Францией, лишь бы спасти династию. Семнадцатого августа император решил, по совету Трошю и Мак-Магона, вернуться в Париж вместе с еще свежей Шалонской армией, встать у стен столицы и таким образом охватить с флангов части, которые подлежат смене. Но императрица, оставшаяся на время отсутствия Наполеона регентшей, убеждена, что возвращение проигравшего войну императора только развяжет революцию. Мак-Магон повиновался. Надеясь спасти монархию, он губит Францию, а также, и в первую очередь, Шалонскую армию, которую он в хаосе бессмысленных маршей и контрмаршей двинул против двух тысяч немецких солдат, победоносно и прочно удерживавших позиции. А тем временем императрица Евгения переправляет свое имущество за границу. Мы сами видели, как к заставе тянутся обозы фургонов с ее гербами.

— ...Парижу и Франции не на кого больше рассчитывать, кроме нас! Будьте готовы! Завтра забьют барабаны, зазвучит набат. Выходите все на зов Бельвиля! Да здравствует Республика! Да здравствует Социальная революция!

Тупик подхватывает, пылко повторяет эти здравицы. Кажется, будто и сон у всех пропал: люди не хотят расходиться, расставаться.

В «Пляши-Нога» медник Матирас во все горло затягивает старую песенку еще 48 года:

Все народы нам родные братья,
Все тираны нам заклятые враги...

Понедельник, 5 сентября.
4 часа утра.

У нас Республика!

И мы тоже слили свой клич с бурей, опрокинувшей империю.

Позади меня на роскошном ложе бастиона Валькло спит тихо, как мышка, Марта; голая ее нога свешивается над улочкой, левая ступня обмотана мокрой тряпкой.

Занимается заря, заря первого дня нашей Республики. Спать мне не хочется; ноги ноют, я закутался потеплее.

Вчера утром над Бельвилем стоял перезвон колоколов — возможно, и не в нашу честь, вчера ведь было воскресенье,— ну и пусть! Бронза пела на колокольне св. Иоанна Крестителя, она воспевала мятеж. Били барабаны от Менильмонтана до Ла-Виллет, от Бютт-Шомона до предместья Тампль. Под звук оркестра проходили батальоны Национальной гвардии.

Над ликующим народом — щедрое солнце, блестит оружие, пестрят военные мундиры — вроде праздник в честь Свободы. Там, где можно охватить взглядом толпу — с высокого места или с верхней части бульвара Бон-Нувель, угла улицы Люнь,— казалось, будто эти потоки каскеток, шляп, косынок, кепи пляшут. И впрямь, люди не просто шли — они продвигались вперед, повинуясь внутреннему ритму гимна, изредка припев его взлетал над толпой, но у каждого непрерывно пело и пело в душе:

Республика нас зовет,
Умеем побеждать и умирать умеем!

Подобно тому как проносится ветер над колосящейся нивой, так над бульварами от площади Мадлен до Бастилии проносились крики: «Долой империю! Да здравствует Республика!..» Марта вцепилась всей пятерней мне в плечо и подпрыгивала на месте, надеясь увидеть, что делается впереди нас, и мурлыкала себе под нос: «Ну и длинный этот Флоран! Чисто редька, чисто спаржа!» По взрывам смеха, доносившимся с бульваров, можно было достаточно ясно судить о ходе событий, как в Седане, так и в парламенте, и в Тюильри — разгром и распри... *(Разгром армий, бежавших при Бомоне, запертых в котловине у Седана и попавших там в тиски из железа и огня семисот орудий, которые двести тысяч пруссаков наводили с высоты на этот городок. В Законодательном собрании Жюль Фавр внес предложение о низложении Наполеона III, но воздержался потребовать отставки депутатов. Депутатам левой хотелось бы провозгласить Республику, но они боялись развязать Революцию и привести страну к социализму.)*

Перед церковью Мадлен рабочие предместья удивленно замедлили шаг: там стояли прекрасно вооруженные национальные гвардейцы, в полной форме, только брюки ужаты в талии: форма из батальонов буржуйских округов.

В блузе или пальто, в кепи или шляпе, построившись где колонной, где группами, а то и просто поодиночке — кто как — Париж стекался на площадь Согласия.

— Иди же! — крикнула Марта, хватая меня за руку.— А то затрут, чертова башка. Я желаю сидеть в литерной ложе — и гроша ломаного не заплачу.

Вдруг перед нами открылся проход.

...То, что происходило в зале заседаний Законодательного собрания, я помню очень смутно.

Марта тащила меня за собой через огромные залы, под сводами перекатывались крики, топот людей. Добравшись до трибун, она подобрала свои юбчонки, перешагнула через перила, вскочила на скамью правых депутатов. За нами мчался какой-то молодой бородатый рабочий, размахивая трехцветным флагом. Рабочие, буржуа и национальные гвардейцы, демонстративно срывавшие королевских орлов со своих киверов, теснились на трибунах, выкрикивая без устали только два слова: «Позор» и «Республика».

Председатель Шнейдер спасся бегством. Его кресло занял один из манифестантов *(бланкист Гранже).*

Очевидно, заседание снова началось; когда именно, я так и не заметил и не мудрено: ораторам, депутатам и не депутатам приходилось говорить с толпой, затопившей Бурбонский дворец.

Мои размышления прервала Марта:

— Сиди здесь, Флоран, я тебя найду. Главное, не трогайся с места. А то затеряешься, умник.

— А ты куда?

— Есть охота.

Через несколько минут моя чернявенькая притащила четыре куска пирога и полбутылки шампанского.

— Нашла лавку?

— Нашла что нужно, вот и все! Неужели ты воображаешь, что в этой лачуге еду на подносах разносят?

На трибуны наседали нетерпеливые:

— Хотим Республику!

— Социальную!

— Двадцать лет уже ждем!

— Да поторопитесь вы, черт вас побери!

Парни вскакивали на скамьи и стояли там, размахивая руками, топотали ножищами — чуть депутатам пальцы не отдавили.

— Тише! Гамбетта!

Вот его стали слушать.

Даже Марта перестала жевать. Прославленный оратор не стал долго распространяться:

— Граждане... мы заявляем, что Луи-Наполеон Бонапарт и его династия никогда больше не будут править Францией. С этим покончено.

Строгий зал заседаний Законодательного собрания задрожал от криков восторга.

— А Республика? — повторяли самые упорные.

— На Гревскую площадь, живо!

И Марта схватила меня за руку.

— А зачем?

— Сама не знаю, все идут.

Парижане сотнями, тысячами неслись куда-то по набережной, как оглашенные. Самые молодые первыми добежали до ратуши.

Гревская площадь — просто луг, там полевые цветы, некошеные травы, а над ними рощицами — ружья, листвой — знамена; под солн-

цем она живет своей скрытой, хлопотливой жизнью, благоухает себе как деревенские просторы.

История здесь перевернула страницу, совсем рядом с нами, за этими высокими окнами. Люди, стоявшие плечом к плечу, расступались, чтобы дать дорогу шествию, что с триумфом несло к ратуше каких-то бородачей, широко размахивавших руками.

— Это Валлес!

— Кто, кто?

— Жюль Валлес, журналист. В прошлом году он был социалистическим кандидатом.

— Да никакой это не Валлес, а Рошфор!

— Бланкисты высадили решетки в тюрьме Сент-Пелажи и освободили своих.

— Ну и ну! Эти и другие были приговорены к смертной казни за события в Ла-Виллет.

Знакомые встречаются, незнакомые знакомятся. Первым делом каждый говорит, из какого он квартала, а сказав о себе, потом интересуется вами: «Ну, как там у вас, в Бельвиле?» Но на этой площади, где была провозглашена революционная коммуна 1789 года, тысячи и тысячи взглядов прикованы к очагу парижских мятежей, к ратуше, где были сформированы временные правительства 1830 и 1848 годов.

— Все Жюли там собрались.

— Какие такие Жюли?

— Жюль Симон, Жюль Ферри, Жюль Фавр...

— Остерегайтесь Жюлей!

— Будем надеяться, что там Бланки...

— Узник задаст перцу этим депутатишкам.

— По-моему, это Гамбетта говорит...

Гамбетта или не Гамбетта — ораторы на балконе не переводились.

А когда прибыли солдаты с опущенными к земле штыками, когда они начали брататься с рабочими, поднялась толчея и Марту свалили. Я нырнул в гущу толпы и обнаружил, что она лежит плашмя — как еще не затоптали ее. Я поднял Марту.

— Флоран, туфля пропала!

Я снова нырнул, энергично работая плечами, боками, и наконец нащупал две туфли, правда, обе с правой ноги. А Марта посеяла с левой.

— Мою найди.

— Да ты ногу до крови расшибла. Сейчас промою.

— Плевать я хотела, найди мою туфлю.

Хотя она отбивалась как бешеная, я дотащил ее на руках до берега. Пока она оплакивала свою туфлю — это была единственная ее новая, приличная пара,— я обмыл ей в Сене ногу, потом перевязал чистым носовым платком — мама выдает мне чистый только по воскресеньям.

За нами то опадал, то снова вдруг все заполнял собой рокот толпы. Это Гревская площадь приветствовала Республику, ее правительство, ее министров... Очевидно, с целью поддержать народный энтузиазм в минуты затишья между двумя выступлениями с десяток рабочих и студентов дотащили бюст императора до середины моста и, торжественно раскачав его, швырнули в реку, возродив церемонию похорон в открытом море.

Солнце скользило к небосклону, и там за гребнями крыш высвечивало прицепленные к фронтонам алые знамена. Марта задремала, прикорнув у меня на руках. Шею мне щекотало теплое ровное дыха-

ние. У моей груди медленно и глубоко вздымалась ее грудь. Вечер сегодня выдался по-летнему прекрасный. Среди грозового гула толпы я слышал уханье, удары, радостные клики бывших подданных его императорского величества, срывавших со стен ратуши позолоченных чугунных орлов.

Должно быть, я тоже задремал. Марта растолкала меня и шепнула, чтобы я, не показывая вида, взглянул вверх и послушал, что там говорится.

Там, наверху, стояла какая-то супружеская пара, явно буржуа, и, опершись на парапет, с умилением любовалась нами. Пока я следил за ними из-под полуопущенных век, к ним подошла еще одна пара, и вот что мы услышали с Мартой:

— Господи боже, да это вы, мадам Пакуле? Добрый день, мосье Пакуле! Значит, вы тоже сюда явились?

— Нынче воскресенье, лавка все равно заперта. И потом, надо же прогуляться.

— А скажите-ка... Чем это вы здесь так залюбовались, что даже повернулись спиной к Истории?

— Видите, на берегу парочка заснула. Как раз когда вы подошли, я сказала мужу: «Ты только погляди, какие душеньки!..»

— Должно быть, гризетка и студент, ох, если бы они все были похожи на этих. Хочется надеяться, что худшего мы избежали! Возможно, торговля не так уж сильно пострадает.

— Скажите-ка, мосье Пакуле, вы приняли меры предосторожности на случай осады? О, не беспокойтесь, я не спрашиваю, какие именно.

— В наше время, мосье Мегорде, все предосторожности, увы... Кто знает, как еще повернутся общественные дела. Достаточно взглянуть на эту лавину демагогии! Только разжигает самые низменные страсти. В данном случае...

— В данном случае, мосье Пакуле, иной раз полезно опередить события. Вот возьмите, к примеру, вашу витрину с этим гербом...

— Вы имеете в виду императорскую эмблему, мосье Мегорде?

— Именно, я вот чего боялся — как бы ее не сорвали сами манифестанты.

— Мое искреннее желание — чтобы у наших депутатов хватило мудрости и предвидения, как у нас, скромных лавочников, мосье Мегорде. Надеюсь, их прижмут, красных!

— Вы их видели, мадам Пакуле? Мы с мужем наблюдали, как под нашими окнами текла вся эта бельвильская нечисть.

— Эй, вы! Паскудишки!

Это взвыло само Презрение. Дрожа от ненависти, Марта, так и не найдя более сильных слов, повернулась к ним лицом. Потом описала полукруг, прочно встала на широко расставленных ногах, низко опустила голову и, задрав свои юбчонки, показала им зад.

Вдруг, охнув, подскочила, тряся в воздухе босой ногой. Я был уверен, что она не только порезала ногу, но и вывихнула лодыжку.

Итак, пришлось мне от самой Сены до нашего тупика тащить ее на руках. Уткнув подбородок мне в плечо, она в полусне шептала мне на ухо:

— Какой же ты высокий! Какой сильный! Мужичок мой, травинка моя! — Покусывала мне мочку уха и снова начинала шептать: — Ты длинный, как день без хлеба, ты тяжелый, как золото, ты мой славный песик, верно я говорю?

Мы пересекли Париж, направляясь в кварталы бедноты, мы брели среди кучек людей, а они окликали нас:

— Эй, влюбленные! Если вам комната нужна, идите-ка в Тюильри! Со вчерашнего вечера там свободно!

Все предместье Тампль облепило окна, забило все балконы. Теперь шуточки сыпались на нас сверху:

— Эй, верзила, на случай осады мясом запасаешься?

Мы торжественно вступили в Бельвиль под градом соленых шуток. Первое, что я заметил, войдя под арку, был гигантский императорский герб, прислоненный к балкам в качестве трофея нашего тупика. Какой-то пьяница мочился на него. Меде, нищий, не спуская глаз с бронзового позолоченного хищника, сидел с протянутой рукой.

В «Пляши-Нога» без счета чокались за Социальную республику. Все окна были распахнуты, все лачуги пели.

Вторник, 6 сентября.

Императрица смылась. Гюго возвращается.

■

Слесарь Мариаль — первый солдат, вернувшийся к себе домой в тупик.

Он, пожалуй, даже красив незатейливой и грубоватой красотой — такой бывает деревенская утварь. Прямой крупный нос, мощные челюсти и сильно выступающие скулы обрамлены бакенбардами, они, как и густая грива волос, каштанового цвета с проседью, поблескивающей серебром, что выгодно подчеркивает загар лица. Под полосками бровей — причем одна выше другой — блестят глаза, черные, небольшие. Взгляд пронизывающий.

Мариаль получил в наследство слесарную мастерскую, большое, ныне закрытое помещение, расположенное слева от ворот тупика. Вместе с инструментом дядюшка Мариаль передал сыну любовь к рукомеслу. Сын трудился со всем тщанием вплоть до того дня, когда из-за денежных затруднений ему пришлось взять заказ, от которого его мутило,— «рыцарские мечи».

Было это в ту пору промышленного расцвета, когда буквально в один день на бирже создавались колоссальные состояния. Нувориши тоже хотели иметь замкц и предков. Им требовались фамильные портреты и рыцарские доспехи.

Настоящие доспехи и кинжалы стоили дорого, и раздобыть их было нелегко, вот в Париже и возникла новая отрасль промышленности, специализировавшаяся на подделках.

Императрица Евгения считала делом чести появляться на балах полуобнаженная, вся в побрякушках из алюминия. Поэтому-то при Наполеоне III отнюдь не зазорно было фабриковать средневековое оружие, сетчатые кольчуги, кирасы, алебарды, палицы, стилеты и рапиры, стопроцентно поддельные, но прекрасной работы.

Мариаль оборудовал мастерскую, заказал два станка, обзавелся двумя компаньонами, снял целый третий этаж, как раз над кабачком. Дела пошли превосходно благодаря стилетам и мечам. Увы, чем больше Мариаль прикапливал деньжат, тем тошнее ему становилось. Он уже видеть не мог все эти эфесы, все эти литые оконные переплеты. Как-то

вечером он решил для себя лично и ради собственного своего удовольствия смастерить настоящую вещь, как раньше. Но как он ни бился, все оказалось зря. Фабрикуя целыми днями «средневековые» пакости, он, как говорится, потерял сноровку. А уж если ремесленник превращается в мастера подделки — обратного пути ему нет. Когда началась война, Мариаль оглядел свои руки и сказал, обращаясь к ним: «Раз вы разучились делать годные вещи, попробуем вас на другом ремесле».

И пошел в артиллеристы.

Его сосед столяр Кош бросил ему:

— А ты в самый, что называется, срок вернулся. Во время осады артиллерия всегда сгодится.

— Нечего мне тут делать.

— А почему, позволь узнать? Теперь небось не за императора будешь из своей пушки палить.

— Нечего мне тут делать. Хватит с меня.

Национальные гвардейцы и патриоты решили, что тут не все чисто. Как-то вечером Мариаль переложил лишнего в «Пляши-Нога». И пошел...

Служил Мариаль в резервном артиллерийском полку, приданном Шалонской армии. Целый месяц их глупейшим образом гоняли туда и обратно, но пушкари на эти марши не жаловались — особенно с тех пор, как их направили на смену потрепанным пехотным частям. Тридцатого августа они таким образом попали в окрестности Седана. Наш слесарь спасся только чудом.

Мариаль хлебнул еще винца, потом обратился к столяру Кошу:

— Покажь-ка мне свои руки.

Барден, которого чуть не до слез растрогала эта исповедь, тоже выставил обе свои лапищи. Мариаль задумчиво провел пальцем по мозолистой ладони кузнеца и пробормотал:

— Это другое, это не кровь.

— Прудон написал примерно так,— объявил Кош: — «Ум рабочего не только у него в голове, он также и у него в руках».

Гифес спросил слесаря:

— А сейчас что ты рассчитываешь делать?

— Да сам не знаю.

— Не знаешь — и ладно,— заключил типографщик,— теперь ты на всю жизнь наш.

■

На взгляд нашего тупика, нет ничего общего между тем снарядом, который выпускаешь по врагу, и тем, которым враг бьет по тебе. Одно дело — наши убитые, другое — ихние. Единственно кто выше таких страстей, это приверженцы Интернационала, такие, как, скажем, Гифес и Алексис да еще двое-трое старых неисправимых мятежников, оригиналов вроде нашего Предка.

В разгневанных, недоверчивых и неблагополучных предместьях поговаривают о создании в каждом квартале специального комитета бдительности, уполномоченного контролировать действия новых муниципалитетов, бесстыдно навязанных ратушей [1].

Идея контроля шла от Интернационала, он-то не сидел сложа руки. Вечером 4 сентября активисты собрались вместе с Федеральной

[1] Имеется в виду правительство, возникшее 4 сентября 1870 года, в котором преобладали враждебные народу элементы.

палатой рабочих ассоциаций и потребовали муниципальных выборов, отмены всех законов против свободы печати, собраний и ассоциаций, политической амнистии, немедленного ареста бывших должностных лиц империи, а также их агентов, в частности всех членов так называемых «бригад безопасности». То же собрание, происходившее на площади Кордери, приняло послание немецкому народу.

Мы с Пружинным Чубом вернулись домой уже в темноте, руки у нас затекли, ладони были все липкие, потому что мы от предместья Тампль до Бютт-Шомона расклеивали красные афиши с призывом к немцам. «Так они сюда и пойдут, так тебе и будут читать, что тут написано»,— с горечью ворчал старший сынок Селестины. Трижды мне пришлось переклеивать афиши, которые он налепил вверх ногами, а ведь я ему двадцать раз объяснял, что где большие буквы, там верх.

И вдруг под аркой у входа в наш тупик — два гвардейца с саблями наголо, в сапогах, в круглых каскетках без козырька, зато с перышком, в широких красных мундирах, стянутых поясом, а за пояс заткнуты два пистолета.

Движением подбородка они показали нам: проходи, мол. И крикнули: «Via!»

Мы запротестовали: мы же здесь живем. Они о чем-то с минуту посовещались на незнакомом нам языке, потом один из них повернулся и крикнул: «Пальятти». На его зов приблизился каменотес. Он был в такой же форме, что и эти двое. Нас пропустили.

— Что это у них за форма такая?

— Гарибальдийская.

Шестнадцать свечей в четырех подсвечниках освещали поистине феерическую картину. Я даже ущипнул себя, а то бы ни за что не поверил, что Нестор Пунь самолично притащил из своей квартиры два вольтеровских кресла, застлал стол белоснежной скатертью, расставил дорогую посуду, разложил серебряные приборы. И хозяин «Пляши-Нога» и его слуга подавали без фартуков, в чистеньких рубашках.

В темном уголке возле кузницы были привязаны семь чудесных, явно офицерских лошадок.

Четверо офицеров, тоже в красных мундирах, ужинали и, сдвинув лбы, негромко переговаривались с сидевшими за соседним столом, тоже аккуратно накрытым, но, конечно, без этого шика.

Пальятти подтолкнул меня к почетному столу. В кресле важно восседал наш Предок.

— Это он, ваш мальчуган? — спросил человек, сидевший напротив Предка, мягким голосом.

— Да, он.

Кресло повернулось в мою сторону.

— Я Флуранс.

Флуранс! Дня не проходило со времени нашего прибытия в Париж, чтобы кто-нибудь не говорил о Флурансе, хоть и по-разному говорили.

Сын знаменитого физиолога, Густав Флуранс, еще не достигнув двадцати лет, становится ассистентом отца в Коллеж-де-Франс. Будучи обвинен в том, что на своих лекциях он задел церковь, Флуранс бежит за границу. В 1866 году он спешит присоединиться к повстанцам на Крите. Вернувшись в Париж, Флуранс публикует в газете своего друга Рошфора «Марсельеза» серию статей «Армия и народ». В 1869 году его приговаривают к трем месяцам тюрьмы по обви-

нению в организации двух публичных собраний в Бельвиле. Одиннадцатого апреля он пишет из тюрьмы Маза:

«...Что касается обвинения во враждебном подстрекательстве и неуважении к правительству, что мне равно инкриминируется, то я считаю наисвященнейшим долгом гражданина, о чем заявлю в своей защитительной речи, подстрекать своих сограждан к иным чувствам, чем любовь и уважение к правительству, которое нарушает все свои обязательства, губит Францию и, к величайшему нашему позору, приведет нас к новому Ватерлоо и новому вторжению...»

Через шестнадцать месяцев Наполеон III капитулировал в Седане.

Арестованный во время манифестации 7 февраля 1870 года и приговоренный к ссылке, Флуранс бежит в Грецию.

В августе 1870 года Флуранс возвращается через Швейцарию, его арестовывают как прусского шпиона, но он снова, в последнюю минуту, спасается от расстрела и возвращается в родной Бельвиль.

Освобождая мне место рядом с собой, Флуранс отстегнул свою великолепную турецкую саблю и положил ее прямо на камчатную скатерть между серебряным соусником и хрустальным графином с белым вином.

— Бери, малыш, тут еще осталось крылышко цыпленка.

Он рассказывает о своем последнем деле на Востоке, о своем аресте и вмешательстве его друга Рошфора, который спас его, когда он находился буквально на волосок от дюжины пуль. Словам его жадно внимает весь тупик.

— Можешь остаться Флоран. Ты нам понадобишься.

А мне больше ничего и не нужно.

Флуранс намеревается взять в свои руки дела Национальной гвардии здесь, в Бельвиле, рассчитывая ее образцово организовать. В качестве примера он приводит недавние восстания в Польше и на Крите.

Нынче ночью звуки разносятся как-то особенно далеко. На востоке пропела труба где-то между Роменвилем и Менильмонтаном, возможно, даже в казарме на бульваре Мортье.

Люблю твои вина, твои небеса,
Нивы и тучные твои стада,
Темные твои сосновые леса,
Хижины твои и твои города,
Люблю твой старый Париж,
О моя Франция!

После долгого молчания Флуранс затягивает вполголоса:

Гордых твоих сынов
И три твои революции,
О моя Франция!...

Тут он замечает, что мы с Предком навострили уши:

— Эту песню сочинил гражданин Жан-Батист Клеман. Наши друзья-бланкисты вызволили его из тюрьмы Сент-Пелажи. Он получил год за «оскорбление императора и за подстрекательство к различным преступлениям».

Он снова замолк в раздумье, потом начал:

— Пушек! Пушек! Мы сумеем заставить правительство раздобыть пушки, отлить пушки и отдать их нам, слышите, нам!..

Снова молчание, потом вождь критских мятежников откинулся на спинку кресла и поднял глаза к небу. И когда он сказал:

— Предместья — это наши мятежные горы: Монмартр, Бютт-Шомон, Бютт-о-Кай... и Бельвиль, мой Бельвиль! — мне почудилось даже, что он обхватил своими длиннющими руками чуть ли не половину Парижа.— Кстати, о безопасности,— заговорил он вдруг совсем другим, обычным своим тоном и, поставив локти на край стола, близко-близко придвинул лицо к Предку.

Тот скомандовал мне:

— А теперь, Флоран, оставь-ка нас одних.

Я поспешил распрощаться и направился к вилле.

Едва только я приоткрыл двери, как на меня набросилась, видать, кошка. И одновременно я услышал вопль Марты:

— Сволочь! Дерьмо!

Наша смуглянка всегда меня озадачивала. Она была маленькая, но крепкая, и мне пришлось собрать все силы, имевшиеся в моем непомерно длинном костяке, иначе я никогда бы ее не одолел. Когда же наконец я скрутил ей руки за спиной, повалил на ковер, придавил ей живот коленом, а для верности еще прихватил зубами ей ухо, она ухитрилась все-таки ободрать мне ногтями физиономию.

— Сволочь! Дерьмо деревенское!

Утолив свою ярость, она расхныкалась:

— Ведь это же Флуранс. Ты понимаешь, что ты делаешь, или нет? Не мог за мной зайти! Или хоть бы позвал! А я-то весь вечер ждала, когда ты меня кликнешь! Не тут-то было! Пировал себе с Флурансом, пыжился, а я-то, идиотка, тебя ждала!

Тут меня осенило, и я одной фразой положил конец ее буйству:

— А теперь ты хочешь и отъезд его пропустить?

Охрана и офицеры уже сидели в седлах. И ждали по обе стороны арки. Флуранс держал своего вороного жеребца под уздцы, но прежде чем вставить ногу в стремя, обменялся с Предком несколькими словами. Вождь критских мятежников нацепил широчайшую фетровую шляпу с преогромным плюмажем.

Наш тупик, да и весь Бельвиль, хранил глубокое молчание.

Вдруг запел знаменитый петух Фалля, и тут Флуранс с Предком порывисто обнялись. Два конвоира галопом проскакали под аркой, чтобы осмотреть Гран-Рю, один взял налево, другой — направо.

Флуранс вскочил в седло. Офицеры его окружили. Пятеро всадников дружно оглянулись и отдали честь, приветствуя нашего Предка, потом поскакали во весь опор. Цоканье лошадиных подков гулко отдавалось в переулках, улицах, переходах под арками уснувшего Бельвиля. Судя по конскому топоту, всадники направлялись кавалерийским галопом к Бютт-Шомону.

Еще не стихло цоканье копыт, как Дозорный тупик, ожил: на площадке взвизгнули колесики тачки безногого, младенцы с лихвой наверстывали упущенное — трое завопили, словно сирена. Заскрипели балки, звякнуло железное ведро под слишком долго молчавшей струей воды. Откуда-то наползал запах кофе.

— Ох, мерзавка!

Проведя пальцами по щеке, я убедился, что она вся в крови.

— А ты, коровняк вонючий, лучше со мной не связывайся! — усталым голосом шепнула Марта.

7 сентября.

Весточка от отца. Он попал в плен под Седаном. Был ранен осколком в правое плечо, но, как он уверяет, ничего серьезного. Пишет сам,

а он у нас не левша. Нам стало известно, что французскую армию, попавшую в плен, пруссаки согнали на остров Иж к северо-востоку от Седана. Так или иначе, война для отца кончилась.

ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ

Четверг, 8 сентября 1870 года.

Первый номер газеты Бланки «Отечество в опасности» вышел вчера. Узник в своей статье вновь излагает основные идеи всеобщей мобилизации: пусть население Парижа будет разбито на батальоны, умеющие одинаково искусно обходиться с лопатой, мотыгой и с ружьем. Пусть льют пушки! И знаменитый друг Флуранса заключает: «Пусть пушечный залп оповестит всех, что отечество в опасности. Пусть все поймут, что это начинается агония, если только не воскресение из мертвых!»

Уже почти неделю идут разговоры о том, что ранен маршал Мак-Магон. Супруга маршала в сопровождении двух врачей-хирургов отправилась в Седан. Богатые кварталы льют слезы умиления и объявили подписку, дабы на собранные деньги купить золотое оружие этому герою, «побежденному более великому, чем любой победитель». Но то, что до слез умиляет Елисейские Поля, вызывает ухмылку у Бельвиля. Официальные депеши сообщают о взятии Реймса — это меньше чем в сорока лье от Парижа. Пруссаки вступили туда, предшествуемые сорока кавалерийскими эскадронами.

«Империя пала, Франция вновь обретает себя, сама распоряжается собой»,— пишет Луи Блан, который только что возвратился в Париж. И, по мнению Виктора Гюго: «Париж, столица цивилизации,— не королевство, не империя, она род людской в своем прошлом и в своем будущем. А знаете ли вы, почему Париж — город цивилизации? Потому что Париж — город Революции».

В Лионе, где провозгласили Республику раньше, чем в столице, народ завладел ратушей, там установлена коммуна. «Правительство адвокатов» отнюдь не торопится провести обещанные выборы: мэры, временно исполняющие свои обязанности и назначенные министром внутренних дел, судорожно цепляются за свои кресла.

■

Во вторник шел дождь. В нашем саду, пропитанном влагой, два каштана кажутся двумя алыми пятнами, словно бы покрытыми лаком. Кош выходит из своей мастерской, на все корки понося грязищу, по которой, как огромный желтый паук с длинными лапами, разлилась лужа нашего Бижу. Пунь с помощью Леона втаскивает в помещение столы. Матирас и Бастико, двое медников от Кая, вернулись с завода, но так как их супруги еще на работе, они завернули в кабачок спокойно выпить вина. Мари Родюк, торговка пухом и пером, из окошка вопросительно поглядывает на небо, спрашивает совета у парикмахера, соседа справа, у сапожника — соседа слева, потому что опасается за готовую свою продукцию.

Вдруг на Гран-Рю раздается звук рожка. Все лестницы по всему тупику трещат от перестука туфель, ботинок, сапог. И за нашей аркой на Гран-Рю человек сто торопливо идут куда-то.

— Что случилось?
— Не знаю.
Метров через пятьдесят нас уже три сотни. Мы почти бежим.
— Куда мы?
— Не знаю.
— А ты-то чего прешься?
— Я за всеми.

Когда мы останавливаемся, перед нами — замок на дверях «Фоли-Бельвиль», и нас уже тысячи три.

Директор зала торгуется с каким-то блузником о плате за помещение. Марта узнала блузника — это Эмиль Удэ, художник по фарфору и к тому же бланкист. Наконец двери зала распахиваются. Снова поет рожок, и Матирас ревнивым оком следит за горнистом. Рассаживаемся. Я задыхаюсь, затертый между гигантом Бастико и Селестиной Толстухой. Наш тупик представлен весьма широко. Зал битком набит. Среди публики мундиры национальных гвардейцев, прибывших из районов Ребваля, Туртиля, с улицы де-ла-Мар, авеню Обеих Америк и с Пуэблы; собралось много литейщиков, газовщиков, пильщиков, ломовиков, каменотесов, землекопов. Всего только с десяток рединготов, а то все — блузы, рабочие робы, рабочие халаты и военные мундиры.

Выбрали президиум. Председательствовал Эмиль Удэ. Первым делом он поблагодарил нас всех за то, что мы собрались здесь, и предоставил слово Жюлю Валлесу. Пылкий трибун-журналист похож на свои статьи: широколобый, волосы длинные, расчесанные на прямой пробор, вольно растущая борода, взгляд поначалу взволнованный, а потом мечущий молнии.

— Граждане! Я сам из Ла-Виллета и Бельвиля.— Гром аплодисментов.— Когда нам приходится туго — спросите сами у Ранвье и Удэ,— когда империя нас гонит, затыкает нам рот, морит нас голодом, когда мы отчаиваемся, мы возвращаемся в Бельвиль. В этом краю адского труда, на этой классической земле мятежей, люди всегда готовы к бою.— Переполненный, душный от дыхания тысяч человеческих уст зал «Фоли» ликует.— Ваш энтузиазм, ваше мужество, ваше спокойствие не могут не поражать ум и сердце. Я принял решение жить среди вас, я избрал себе отчизной этот черный угол.

На площадь Кордери во время дебатов, длившихся четыре часа, неожиданно прибывает новое подкрепление: Комитет двадцати округов, каждый из которых представлен четырьмя делегатами.

В одну из кратких пауз, когда и оратор и слушатели переводят дух, за окном на улице раздается выстрел. В зал с криком врывается пяток парней.

— Полицейский, шпик! Он стрелял в наших. Сюда идет бригада полиции! Здешние шпики попрятались после событий четвертого сентября, а теперь снова повылазили!

«Да здравствует Республика!» В зале «Фоли-Бельвиль» поблескивает тревожно сталь: кухонные, сапожные и садовые ножи, напильники, целый арсенал клинков, прихваченных из кухонь и из мастерских, отточенные лезвия, на кончик которых нацеплена пробка, чтобы сподручнее было пронести его под блузой; несколько пистолетов, тёплых на ощупь — так долго держали их в кармане, так долго сжимала и ласкала их хозяйская рука; ножи с деревянной ручкой, кинжалы...

Появляются даже два топора и коса — как только ухитрились протащить их, дьяволы! В нише какой-то щупленький печальный человечек вынимает из карманов руки и протягивает горделиво-мужественным жестом две аккуратные кругленькие бомбы.

— Что ж! Мы их ждем!

Можно прождать их до утра! Должно быть, им уже обо всем сообщили... Имя жертвы известно: Ламбер. Убийца, как это всегда бывает, скрылся.

Прежде чем разойтись из «Фоли-Бельвиль», дают торжественное обязательство присутствовать на похоронах убитого гражданина.

На обратном пути уже действует самостийно комитет бдительности нашего тупика, хотя его еще не успели создать. Нам нужно немедленно послать своего делегата в мэрию!

Вечером того же дня Жюль Валлес явился в «Пляши-Нога» вместе с Эмилем Удэ, который уверил журналиста, что Пунь отлично готовит шпигованное мясо под соусом. К ним подошел Матирас.

— Если вам горнист когда понадобится...

— Ба, горнист всегда найдется,— ответил ему Удэ.— Представь себе остатки разбитого полка, люди греются на солнышке. В куче разного хламья я отыскал горн, протянул его первому попавшемуся молодцу и сказал: «А ну-ка, подыми его повыше и играй во славу Республики». Сыграл он, можешь мне поверить, как в лучшие дни!

Пунь расщедрился — выставил мальвазию. А через час пошло веселье. Хохотали по любому поводу и без всякого повода. Наши бородачи разрезвились, как дети. Удэ продемонстрировал свои брюки, расползавшиеся по швам, но тут Бастико крикнул, что по сравнению с его это, мол, пустяки, и вся обжорка стала показывать друг другу свои зады — у кого штаны изношенней, у кого больше штопки. И все это вполне серьезно, даже с какой-то невиданной прежде гордостью.

Нет, решительно, люди меняются.

Суббота, 10 сентября.

Марта с утра до ночи бубнит: раз все организовались — и Национальная гвардия, и рабочие, и женщины, и ветераны, и даже охотники,— так почему бы не организоваться детворе? Ребятишки повсюду — дома, на улице — лезут, куда им не положено. Никто на них внимания не обращает. Ей хочется создать детский комитет бдительности, причем, конечно, без ведома взрослых; мне отведена роль Валлеса, а она будет, это уж само собой, Флурансом, Бланки, Варленом и Трошю одновременно.

Тем временем Париж живет уже по-военному.

Бывший император Наполеон III в качестве военнопленного помещен в замок Шпандау к северо-западу от Берлина... Толпа беспорядочно бредущих войск, пьяных от усталости солдат — вряд ли это зрелище способно поднять дух парижан: измученные переходами, люди валяются в грязи на авеню Великой Армии, храпят, рыгают, спят отупляющим животным сном. Париж не вчера родился на свет божий, но такого страшного зрелища, какое представляло собою разномастное воинство, кишевшее на его улицах, даже он не видел. И вот в этом-то муравейнике народ, разъяренный против пруссаков, не доверяющий своим министрам и генералам, постепенно начинает организовываться сам. Приходится действовать по наитию, и быстро действовать, не спуская глаз и с наступающих немецких войск, и с

весьма подозрительного правительства национальной обороны, которое ждет лишь подходящего случая, дабы отдать Францию пруссакам по возможности без скандала.

Марта и Торопыга притащили мне афишку, набранную в два столбца, и потребовали, чтобы я вслух прочел ее всем неграмотным нашего тупика. Это обращение Виктора Гюго к немцам. Вот его заключительные слова:

«Ныне я говорю вам: немцы, если вы будете упорствовать, что ж, вас предупредили, действуйте, продвигайтесь, идите штурмом на стены Парижа. Они устоят вопреки всем вашим бомбам и митральезам. А я, старик, тоже там буду, хоть и без оружия. Мне пристало быть с народами, которые гибнут, и жалки те, кто с королями, которые убивают».

Понедельник, 19 сентября.
Два часа утра.

Хочу поскорее записать все,что произошло со мной в тот прекрасный осенний день, в то воскресенье, когда я открыл для себя новый материк — Париж.

Сияющий рассвет сулил превосходную погоду, и, кажется, само небо клятвенно подтверждало это чириканьем воробьев, одышливым дыханием собак, ленивым потягиванием кошек, веселым «добрым утром» соседей, внезапной прелестью женщины, пришедшей по воду, какими-то особенно добродушными движениями грубых пальцев, набивающих трубку.

На полдороге от арки, в тупике, прямо посреди нашего свинюшника, что-то щебечет юное существо, невысокое, стройно-девическое. Марта. В соломенной шляпке, щедро украшенной бантами, в лиловом корсаже с остроконечным вырезом, в широкой юбке, которая худит ее и прибавляет ей роста, с зонтиком под мышкой, наша неподражаемая брюнеточка раздает огрызки мяса шелудивым псам, обитателям тупика.

— Здравствуй, Флоран! А я тебя жду. Идешь со мной?

— Куда?

— Там увидишь.

— Знаешь что, Марта, хватит с меня твоих штучек, всех этих тайн и капризов. Или ты мне скажешь, что мы будем делать, а главное, куда, куда...

— Раскудакался. Ладно уж, раз ты злишься, я сейчас скажу, куда я тебя поведу.

— Я злюсь? Я?

— Поведу тебя в гости к моему единственному другу, моему единственному родственнику.

Голос ее дрогнул. Слабость, что ли, умиление?

Женщины мыли входные двери, мужчины в рубашках мурлыкали перед зеркальцем для бритья.

В ту пору парижане еще не стремились неотличимо походить друг на друга. Каменотесы, все в белом, носили красный шерстяной пояс. Землекопы щеголяли в широченных брюках, в жилетах из тусклого плюша с золотым позументом. Рабочий умел хранить свое достоинство, он не желал, чтобы даже в праздник его приняли за буржуа. В то воскресенье пролетарии надели рабочие костюмы и свежевыстиранные блузы, у кого на голове была самая лучшая его ка-

скетка, у кого фетровая праздничная широкополая шляпа. Ни за какие блага мира они не вырядились бы в рединготи цилиндр, ибо им дорого было появиться со всей семьей в воскресной толчее у заставы, услышать себе вслед: «Смотри, смотри, машинист идет!» или: «А вот это столяр!»

Рабочий-кровельщик в хорошо выутюженных штанах, в маленькой синей каскетке из холстины о чем-то весело болтал перед витриной колбасной лавки с худощавой рыженькой девицей — та стояла простоволосая, прижав к боку локтем полбуханки хлеба, а в руке держала кровяную колбасу, еще теплую, завернутую в толстую серую бумагу.

На перекрестках я старательно замедлял шаг. Марта, помахивая зонтиком, медленно, упругим шагом плыла по каменным плитам и, восхищаясь всем, как горожанин, попавший впервые на лоно природы, лавировала среди собиравшихся кучками прохожих.

— Посади меня к себе на плечо...

Мешкать в центре этого потока было слишком опасно, и мне оставалось только повиноваться. С высоты моего плеча Марта, приложив к глазам руку щитком, долго смотрела в сторону церкви Мадлен, удовлетворенно вздыхала, а потом скомандовала:

— А теперь поворачивай, пахарь!

Я шел туда, куда вела меня Марта, в тайной надежде наконец-то побольше узнать о своей подружке, увидеть наконец ее настоящее жилье, где она проводит долгие ночи без меня. В наш тупик она только наведывалась, а вот где же она ютится на самом деле?

На площади Согласия люди прохаживались перед статуей города Страсбурга, украшенной знаменами и цветами. У подножия катафалка лежала книга, где каждый желающий мог поставить подпись, дабы выразить осажденному Страсбургу свое сочувствие патриота. Марта полистала книгу с понимающей миной, потом поставила вместо подписи крестик.

Полдень все еще свято выполнял посулы утра. Марта затащила меня в какой-то ресторанчик и уселась за вполне приличным столиком. Прежде чем занять свое место, я с минуту топтался, охваченный сомнением. Потом шепнул ей:

— А деньги-то у тебя есть, а?

Марта фыркнула. Ясно, ресторанчик ничем не напоминал кафе «Бребан», но зато был куда выше рангом, чем обычные обжорки...

Моя подружка заказала бульон, телячье рагу под белым соусом, горошек с салом, сыр, виноград и бутылку легкого сюреннского вина. Ела она не торопясь, клала в рот маленькие кусочки и долго их жевала.

В паузе между сыром и виноградом сказала медленно и с той же энергией, с какой пережевывала пищу:

— Я так никогда и не знала, кто мой отец. Или, вернее, могла выбирать себе любого, понятно?

Я кивнул.

Она отщипнула и отправила в рот несколько виноградин, отхлебнула полстакана:

— Когда я родилась, мать целых три дня с горя ревела. А когда я чудом выжила, она орала, что, мол, не заслужила такого несчастья. А оправившись от удара, только об одном и думала: как бы меня больше не видеть. Зато когда я достигла возраста, что уже смогла зарабатывать, мать взяла меня к себе.

Марта ухмыльнулась и доела свой виноград еще медленнее, чем горошек. Потом допила вино:

— Моя высокоуважаемая мамаша заставляла меня делать все, что только можно делать для заработка. Все. Понимаешь?

Я снова кивнул.

— Ничего ты не понимаешь.

Марта прикрыла глаза и, почти не разжимая губ, произнесла:

— А теперь иди. Жди меня у статуи Страсбурга.

Я начал было протестовать, но она даже зубами скрипнула:

— Иди, тебе говорят, дуралей!

Через несколько минут Марта появилась, она даже раскраснелась от бега.

— Дорого заплатила?

Она с жалостью поглядела на меня, и я ясно прочел в ее глазах, что лучше мне было до конца своих дней сидеть у себя в Рони.

К вечеру мы очутились на самой вершине Монмартрского холма, щетинившегося дулами пушек. Небо было светлое, и пейзаж оттуда открывался во всей своей кристальной ясности. Я пытался представить себе эти неприступные фортификации, этот надежный щит, прикрывающий столицу, воспетую на все лады.

Здесь, на Монмартре, пахло свежескошенной травой. В вечерней газете, брошенной кем-то из артиллеристов, сообщалось, что пруссаки вышли к Марне. *(Как раз в это воскресенье, 18 сентября 1870 года, в то время как Париж фланировал, смеялся, садился за ужин, плясал и заполнял в вечерних туалетах театры и концертные залы, пруссаки, пройдя от Шуази-ле-Руа, приблизились к Версалю и окружили наши позиции в Шатийоне и Кламаре. В два часа пополудни в ворота столицы начали стучаться какие-то насмерть перепуганные люди: это оказались парижане, они еще с утра отправились за город и, наткнувшись на неприятельские аванпосты, бросились вспять. Под началом наследного принца Саксонии армия, шедшая с Мааса, охватила Париж с севера, тогда как III армия наследного принца Пруссии обошла его с юга. Через несколько часов уланы обеих армий соединятся в районе Версаля и Париж будет заперт наглухо.)*

■

— Танцевать умеешь?

Движением подбородка Марта указывает мне на кабачок у края Шан-Полоне, где у подножия башни Сольферино уже вовсю идет бал. Слышен смех, потом корнет-а-пистон в сопровождении скрипок весело заводит «Польку-жемчужину». Нет, танцевать я не умею.

— Тогда смотри!

Она забирается на лафет двенадцатидюймового орудия и меня тянет за собой. Мы оказываемся в самом центре треугольника площадью в тридцать квадратных километров, в тюремных стенах Парижа.

Я обнимаю Марту.

— Скажи, где же тот друг, которого мы хотели видеть?

Марта поднимает на меня глаза, и — вот уж не поверил бы! — они полны самых настоящих слез.

Заходящее солнце в этот сентябрьский вечер зажигает для нас на черном бархате Парижа два неограненных алмаза.

— Бельвиль, Менильмонтан,— шепчет Марта, и голос у нее тоненький, как у засыпающего ребенка.

Все вокруг затянуто сумерками, может, это не самое красивое, зато самое лучшее — это серенькое небо над Парижем, старый его сообщник посылает столице свой дар.

Звон разбитого стекла и визг какой-то девицы сразу прерывают «Польку-жемчужину».

— Сколько тебе лет, Марта?
— А какое твое собачье дело?

Вторник, 20 сентября, ночь.

Вчера днем Париж впервые услышал пушечный выстрел.

Марта потащила меня на самый верхний этаж виллы, туда, где мансарды. Из окошка, дающего свет лестничной клетке, можно выбраться на крышу. Ухватившись за трубу, мы напрасно во все глаза обозревали окрестности. Канонада доносится откуда-то издалека.

Понедельник, 26 сентября.

Только что кончил убирать коровий навоз. Подмел мостовую, промыл ее водой, лазая буквально между коровьих ног. Потом задал корм и напоил скотину в тупике, включая, конечно, и Бижу. И так каждое утро...

Кузнец Барден мастерит мне вилы для уборки навоза. Он голый по пояс, в деревянных сабо, в толстых штанах, в кожаном фартуке до щиколоток. Трудится глухонемой не торопясь, но ни одно его движение не пропадает даром.

Среда, 28 сентября.
Утро.

Наш Дозорный тупик всегда начеку. Порой достаточно сущего пустяка — и сразу помещения пустеют от чердаков до подвалов и все вываливаются во двор. Это значит, что появилось какое-нибудь незнакомое лицо, нет, просто прусский шпион, что там шпион, настоящий заговорщик, враг Республики. Всеобщая подозрительность подогревается еще чтением документов, обнаруженных в Тюильри,— газеты публикуют их с продолжением. Главная сенсация — это довольно-таки смрадное разоблачение деятельности «черного кабинета», существование коего десятки раз отрицалось власть имущими. Оказывается, в официальных газетах каждая статья, каждое перо оплачивались по особому тарифу! Бельвиль с нетерпением ждет публикации длиннейшего списка продажных журналистов и писателей. Все продавалось в этой империи, начиная с самых важных судейских чинов. Обнаруженные документы доказывали, что «дело о бомбах», разбиравшееся в Блуа в июле прошлого года, полностью сфабриковано секретной полицией. Арестовали и беспощадного господина Бернье, следователя. Но «элитой» этой банды оказался взяточник Жюль Балло, дававший заговорщикам деньги. Он был просто-напросто полицейский агент, готовый служить всем, любому правительству. После провозглашения Республики этот матерый шпик, Жюль Балло, сумел устроиться так, что его выбрали командиром батальона. А Трошю платил ему за то, чтобы он выдавал «вожаков непримиримых партий». Густав Флуранс был оценен в триста тысяч франков!

Поэтому-то Бельвиль так и разглядывает каждое новое лицо, и было бы весьма и весьма неосторожно, находясь в тупике, задать пер-

вому попавшемуся зеваке такой, скажем, вопрос: «Флуранса не видел?..»

А раз весь квартал начеку, он сразу же высыпает на улицу. Поэтому во вторник ему и удалось отстоять от огня запасы, жизненно необходимые на случай осадного положения. Загорелись бочки с маслом, сложенные в огромном количестве штабелями около озера на Бютт-Шомоне и больше чем наполовину прикрытые землей. Случилось это в обеденный перерыв. В мгновение ока весь Бельвиль был уже на месте происшествия. Наполненные землей ведра споро переходили из рук в руки, и пожар был потушен. Когда префект полиции и мэр города Парижа прибыли на пожарище, огонь уже почти сбили... «И они стояли в восхищении перед лицом народа, действовавшего как хозяин!» Именно в этих выражениях Этьен Арго, мэр Парижа, поздравил Бельвиль в своей прокламации. Такого еще не было! Перед Бельвилем сняли шляпу, да не просто шляпу, а цилиндр.

■

Четыре часа утра со 2 октября на 3 октября. Форт Рони.

Лишь с трудом можно угадать линию горизонта по белесой полоске рассвета, разогнавшего ночную тьму. Марта спит.

Капитан 2-го ранга пришел за мной. При желтоватом свете фонаря показал мне сначала на карту, потом на горизонт, вернее на эту туманную белесость:

— Вы теперь уже можете сориентироваться?

С закрытыми глазами.

Каждому пункту мрака я даю имя: вот Вильмомбль, вот Нейи...

— Благодарю вас. Я ведь в крепости только со вчерашнего дня.

Густые бакенбарды с проседью длиннее, чем положено, обрамляют загорелое лицо, все в легких морщинах — так после паводка трескается под жарким солнцем во всех направлениях ил. Типичное лицо не офицера, а простого матроса. Родом он из Пемполя, а звать его Ле Ганнидек.

— Когда вы заметили, что я что-то пишу, вы подумали, будто я шпион, да?

— Прусский генеральный штаб еще в шестьдесят седьмом году осматривал во время выставки наши укрепления. За месяц до осады наши газеты помещали подробные карты, причем очень точные. В бастионах располагались рисовальщики. Их наброски, печатавшиеся в газетах, рассматривали в лупу в Версале.

Капитан 2-го ранга Ле Ганнидек снова углубляется в свои артиллерийские расчеты, а его моряки пьют кофе.

■

Шесть часов утра.

Заря заявила о себе внезапным порывом сырого холодного ветра. Марту снова сморил сон. Квартирмейстер с физиономией, помятой от неумеренных возлияний, обнаружил у габиона сильное и такое беззащитное тело — Марта спала, скрестив руки, положив голову на мешок с землей. Он скинул с себя куртку и, поймав глазами мой одобряющий

взгляд, легонько прикрыл тяжелой курткой нашу бельвильскую простушку и подошел ко мне.

— Чашечку кофе?

— Я уже пил.

— Кофе невредно и повторить.

Говорит он по-простонародному. Сам из Турени, звать Пеластр.

— Сестренка, что ли? — спрашивает квартирмейстер Пеластр.

— Нет.

— Тогда поздравляю.

Капитан Ле Ганнидек счел необходимым предупредить меня:

— На заре открываем огонь.

— Грохота я не боюсь.

— Оно верно, но крупповские тоже будут стрелять.

Проснувшаяся Марта бросается мне на шею. Впервые я почувствовал, какая она, в сущности, еще маленькая.

Стоит прелестное осеннее раннее утро, все заполоненное птицами, и каждую птичку я знаю лично, потому что это наша осень, в нашем Рони, где так славно встать пораньше и следить, задрав голову, за бегом туч, разодранных ветром, несущихся к новым землям в сумасшедшем полете, обезумев от открывающегося им сверху зрелища.

Капитан воздевает руку к небу. Когда он ее опустит через секунду, когда, словно сверзившись с облаков, кулак упадет на край стола, рухнут, дымясь, еще несколько старых домишек, уйдет дымом целая серенькая деревушка Иль-де-Франс.

Марта отпустила мою шею, но не выпускает из рук моей руки, словно хочет потащить меня за собой. Действительно, она тащит меня к пушке.

И впрямь эта пушка была подобна великолепному жеребцу, который, подобрав круп, вот-вот издаст трубное ржание, чуть не встает от усилий на дыбы и отпрядывает назад.

Хотелось бы увидеть здесь Предка.

Голос и запах пороха, вздыбь, рывки стальной чистокровки, отдаленное эхо взрывов, огонь, кровь — вот он, хмель Революции.

Тишина обрушилась на нас пылью пороха, зарядных картузов, развороченной земли. Мы вытащили из ушей вату.

А скворец, дурачок, поет себе и поет!

Снаряды рвутся над Шампанью, над Артуа.

Бомбы рвутся над Герникой.

Вторник, 4 октября.

Во дворе осталось только три коровы и один телок. Перед мясными лавками с двух-трех часов утра уже выстраиваются очереди. У входа непременно дежурят национальные гвардейцы, иначе хозяйки передерутся или, чего доброго, разгромят магазин.

Страсбург и Туль капитулировали.

Страсбург... Значит, все-таки Бисмарк «завладел ключом от дома», как и обещал это сделать. Что же решило предпринять правительство, чтобы отобрать у него этот ключ? Отлило из бронзы статую Страсбурга и водрузило ее на площади Согласия. Из бронзы, а так ли много у нас осталось бронзы для отливки пушек, которых не хватает?

Театры открываются вновь.

Правительство объявило об отсрочке выборов «до того момента, когда их можно будет провести на всей территории Республики...» Другими словами, после окончания войны.

Бельвиль не согласен.

Четверг, 6 октября.

«5000 франков на пушку.

Учитывая, что для успешной борьбы против прусской артиллерии и освобождения Парижа необходимо огромное количество, по меньшей мере 1500 полевых орудий и что нынешние заказы недостаточны;

учитывая, что одно полевое орудие, отлитое из бронзы, обходится примерно в 5000 франков, по заявлению ученых-оружейников, которые согласны делать пушки и подвергнуть их полагающимся испытаниям;

общество химиков города Парижа предлагает Национальной гвардии, муниципалитетам и простым гражданам принять участие в добровольной подписке, средства от которой пойдут на изготовление полевых орудий».

Красивая афиша, светло-синяя с лазурным уголком, голубой прогал в свинцовых небесах, душно навалившихся на Париж. Округи, кварталы хотят иметь свои пушки. Дозорный тупик тоже хочет иметь свою.

После шести часов каждый день начинается ливень. Тупик блестит, как старинная бронза. Оба каштана нехотя роняют лист за листом. Люди спешат укрыться в низкой зале кабачка.

Со вчерашнего дня не прекращается канонада. Теперь единственной надеждой осталось формирование трех армий в провинции — в Нормандии, на Луаре и в Лионе. А из людей единственная наша надежда М. Л. Л'От, химик-эксперт при трибунале Сены, и М. А. Риш, доктор наук, работающий в Пробирной палате,— другими словами, два присяжных волшебника по отливке пушек. Единственная тема у всех на устах — лошадь, с новой, так сказать, гастрономической точки зрения.

— А я не мог бы лошадь убить,— бормочет Чесноков, боец на бойнях в Ла-Виллет.— Теленка, козленка, ягненка — сколько угодно, а вот лошадку не мог бы...

— Да ну тебя, казак! А мы вполне можем конину жрать, будто и так мало дерьма едим.

Феррье комментирует вчерашнюю манифестацию, устроенную перед ратушей. *(«В одиннадцать часов, с музыкантами во главе колонны, играющими «Марсельезу», пять бельвильских батальонов под командованием майора Флуранса прошли Севастопольским бульваром и улицей Риволи,— отмечает буржуазная пресса.— Пять тысяч человек в образцовом порядке составили оружие в козлы. Все движение прекратилось. Эти люди, еще не скинувшие блуз и рабочих курток, показали блестящую военную выучку».)* Флуранс потребовал у правительства десять тысяч винтовок системы «шасспо», которые без толку ржавеют в государственных арсеналах, далее: образования народного ополчения, муниципальных выборов, немедленного выступления против пруссаков.

Все в «Пляши-Нога» пьют за здоровье Флуранса.

— Ну, купите вы пушку или нет?

При звуках этого голоса в кабачке водворяется тишина.

Оказывается, крикнула это Марта, явившаяся неизвестно откуда.

— Вот уж раззявы-то!

— Помолчите вы! — повышает голос Мумут.— Надо же ей объяснить. Пойми, козявка, эта история с подпиской на пушки, это все для персон, для богатеев, все равно как, скажем, дамы-благотворительницы для своих нищих деньги собирают.

— Ничего похожего,— протестует наша чернушка.

— Господи Иисусе, пять тысяч франков, да где же их взять? — вздыхает Фалль.— Тут и на выпивку-то не хватает.

— Тогда пусть каждый понемножку...

— Во Французском банке золота полны сундуки! — орет Пливар.— Если правительству нужны пушки, пускай раскошеливается.

— Или пусть реквизируют завод Кайля,— предлагает Матирас,— и велят ему бесплатно пушки отливать.

— Нас работы лишают, а мы же еще и за пушки плати! — возмущается Бастико.

— Но вы же сами говорили...

Марта стоит, потупив голову.

— Слушай, босявочка, что правда, то правда, когда начались разговоры об этой самой подписке, нам и впрямь полюбилось иметь собственную пушку. Но это одно дело. А самим на нее раскошеливаться — другое!

— Раз так,— восклицает Марта,— мы сами пушкой займемся, больно-то вы нам нужны!

И она уходит. Следом за ней ухожу и я.

Дождь перестал. Идешь и физически ощущаешь прикосновение к коже холодного ночного воздуха, словно тыкаешься лицом в развешанное для просушки белье.

— Я уже одну вещь насчет подписки придумала.

— Поверь мне, Марта, давай сначала поговорим с Гифесом. В типографии еще есть свет. Я видел, как Алексис ушел. Он должен быть сейчас один.

— Подожди, Флоран. Так лучше будет.

Она тащит меня за собой за кучу мусора и там излагает свой план — вернее, точку зрения на искусство и способы извлекать деньги из пустых карманов. Свет в окнах типографии гаснет, скрипит створка двери. Но оттуда выглядывает не знакомая физиономия наборщика, а прелестное женское личико, незнакомка оглядывается, желая убедиться, что тупик пуст.

Высокая, молодая, кудрявая брюнетка в пеньюаре выскальзывает незаметно из дверей, бежит к арке и исчезает на черной лестнице.

— Кто это?

— Мадам Диссанвье, жена аптекаря. А теперь можно идти. Надо полагать, Гифес сейчас добрый.

Суббота, 8 октября.

Гифес внимательно выслушал нас; темные глаза его сверкали, длинные пальцы поглаживали черную, холеную, аккуратно подстриженную бородку, обрамлявшую бледное лицо, где все было просто идеально подогнано одно к другому, только вот усики он слишком сильно подбривал. Проект Марты явно пришелся ему по душе. Улыбался он мечтательно, чувствовалось, что он в восхищении. Однако выпутываться предоставил нам самим. Печатник-интернационалист оказался точь-в-точь таким, каким я и представлял его себе, наслушавшись его выступлений и у нас в тупике, и в клубе.

«Гифес с его умом, с его храбростью,— говорили в Бельвиле,— вполне мог бы стать великим революционным вождем. Беда только в том, что в критический момент он сам не знает, что ему захочется сделать».

— Итак... конечно...— наконец промямлил он,— пускай Флоран и предложит этот проект в клубе.

— Но ведь я не умею говорить публично.

— А ты заранее напиши свою речь.

Собирать в Бельвиле деньги на пушку по проекту Марты — дело нелегкое. Люди мнутся, мучительно размышляют, сколько же пожертвовать, боясь передать или недодать, и, по выражению Марты, «пока чешут себе затылок, им уже неохота раскошеливаться: природа свое берет». А Марте хочется, чтобы сбор был вроде игры, вроде пари, что ли, соревнования, праздника — словом, всем чем угодно, только не «очисткой карманов».

— Пусть будет по-твоему, Марта. Сколько же ты с них будешь просить?

— По одному су.

— Чего-чего?

— По одному су. Знаешь, такие маленькие бронзовые монетки, на которые никто и внимания не обращает. Пять сантимов.

— Марта, но ведь пушка стоит пять тысяч франков...

— А сколько в пяти тысячах бронзовых су?

— Подожди-ка... двадцать су это франк. Значит, пять тысяч франков... будет сто тысяч су!

Марта тут же обрушила мне на голову лавину монеток: в Бельвиле сто тринадцать тысяч жителей и сто восемь тысяч в Менильмонтане, а еще беженцы, а еще мобили из Бретани и воинские части, да мало ли кто проходит здесь... Ну, скажи, кто откажется дать одно су на пушку?

— Слушай, Марта, интересно, как это ты себе представляешь: мы с тобой двое ходим и канючим су, а ведь просить придется больше чем у двухсот тысяч людей. Если никто еще не пойдет...

— Мы с тобой пойдем. И другие тоже пойдут.

Созвать ребят нетрудно, нужно только помещение найти. Но если Марта что заберет себе в голову, то уж не отступится. И она без обиняков попросила у слесаря разрешения воспользоваться его пустующей мастерской. Поклялась всеми богами, что ни один его инструмент никто пальцем не тронет. «Ничего, если я с вами посижу?» — только спросил он. Потом присел на верстак и стал ждать.

Первыми явились Бастико: дылда Адель пятнадцати лет и коротышка Дезире, тринадцати. За ними трио Селестины Толстухи: Киска — пятнадцати, Виктор — тринадцати и Ноно — семи. Издали возвестил криками о своем приближении Торопыга, с ним пришел Шарле-горбун, тощенький Пружинный Чуб, мой двоюродный брат Жюль и его дружок Пассала — мы с ним семнадцатилетние, самые старые.

Идея Марты зажгла всех. Лишь Жюль и Пассала хихикнули, но только чтобы подчеркнуть свое превосходство. А потом они умолкли.

— И все-таки нам нужен клуб! — вздохнула Адель Бастико.

— Верно она говорит, теперь все от твоей речи зависит,— бросил мне мой кузен Жюль.

— Ты сначала ее составь,— предложил Торопыга,— а потом нам покажи.

Марта тем временем ломала себе голову:

— Как же мы будем называться?

— «Клуб маленьких дохлятиков»,— предложил Шарле.— Ведь один журналист про нас так написал.

После заседания мы сделали первую пробу: обратились к нашему хозяину, бывшему артиллеристу, Мариалю.

— Одно су!

— Это на пушку-то? Кукиш!

Начало получилось неудачное.

■

По-моему, не слишком-то я подхожу под категорию «маленьких дохлятиков»: я еще не полностью утратил свою деревенскую комплекцию, но у трибуны меня окружали горбун, Бастико, Дезире — вид у нее действительно болезненный — и трое Родюков.

Я так долго корпел над своей речью, что прочел ее нашей ораве только в последнюю минуту. «Маленькие дохлятики» встретили ее без особого ликования. По правде сказать, они ни черта не поняли. И поэтому заявили, что написано слишком красиво. Зато Марта горестно посмотрела на меня.

— Знаешь, Флоран, твоя писанина до того закручена, что только разным там ученым вроде тебя может понравиться, а в клубе лучше, чтобы кто-нибудь вроде меня говорил.

— Ты что, тоже подготовила речь?

— Еще чего!

С великолепной беспечностью Марта поднялась на трибуну и не долго думая произнесла целую речь:

— Граждане!

Никому не весело с протянутой рукой ходить, я-то знаю, даже на пушку и то противно просить! У людей свои заботы: мужчины днем на работе, вечером в гвардейцах, их супружницы в очередях стоят, не говоря уж о том, что надо малышей подтирать. Ладно, раз нам нечего делать, вот мы и построим пушечку для наших! Потому что сама-то мысль не плохая. Никто у вас золота не просит, всего одно су! Только одно маленькое бронзовое су! Если каждый даст всего по одному су, Бельвиль не одну, а две пушки купить сможет!

И последнее, что я хочу вам сказать, а то нечестно получится: положитесь на нас, мы в лепешку расшибемся, а пушка у нас будет, но уж если мы ее купим, она будет наша! Будет еще одна пушечка, чтобы по пруссакам стрелять. Но стрелять-то будем мы! А когда пруссаков не будет, пушка все равно останется в нашем тупике, ее не тронь! Это частная собственность!

В тот вечер в «Фоли» собралось примерно три тысячи человек. Четыре тысячи триста пятьдесят шесть су — двадцать одно кило и сколько-то там граммов.

Воскресенье, 9 октября.

Простояв три часа в очереди, мама достала фунт супового мяса третьей категории — на пятнадцать су говядины, но во всяком случае не конины.

Вчера Бельвиль снова устроил шествие к ратуше. Сотни людей выкрикивали под окнами правительства: «Да здравствует Коммуна».

В пятницу около полудня Гамбетта с площади Сен-Пьер на Монмартре улетел на воздушном шаре под названием «Арман Барбес». Правительство поручило ему «поднять массы в провинции».

— Ловко придумали, чтобы от него избавиться. Если он, допустим, даже не сверзится в море, то не будет, во всяком случае, совать нос в ихнюю грязную кухню в ратуше,— сказал Пассала, а у него есть связи в министерстве внутренних дел.

В прошлый вторник должны были начаться занятия в школах. Но большинство учителей служат в Национальной гвардии. Так что в нашем тупике в первом классе буду преподавать я.

Многие, в том числе Марта, Пружинный Чуб, Филибер с Киской и раньше просили меня научить их читать, но без особого пыла. Ну, а сейчас не отстают, с тех пор как узнали, что настоящий пушкарь должен уметь разбирать приказы о наводке орудий. Отныне почти все вечера, если только удастся, мы будем собираться в слесарной мастерской поговорить о том, как идет сбор денег. И каждое такое собрание будет начинаться или кончаться уроком грамоты, заучиванием букв.

В качестве азбуки я не без удовольствия приспособил одно из официальных воззваний, высоко оцененных в предместье, а именно: сообщение об отсрочке квартирной платы за октябрь месяц. Начинается оно нижеследующими чудесными словами: «Дорогие граждане, враг стоит под стенами столицы, и поэтому наш настоятельный долг избегать в городе всяких поводов к смуте, разладам и вражде между жителями Парижа!»

■

«Одно маленькое су на большую пушку!» Хорошо-то хорошо, да вот на какую пушку? Еще не во всех задних дворах, не на всех тротуарах Бельвиля известно о нашем почине. Если мы окрестим пушку еще до того, как она будет отлита, придадим ей заранее некие личные черты, то сбор, несомненно, пойдет быстрее.

Вечером в мастерской мы сидели и перебирали десятки названий, подходящих и совсем неподходящих. В наполеоновской армии, к примеру, пушки именовались «Мститель», «Громогласная», другие назывались в память родных мест: «Туренец», «Берриец» или получали нежные прозвища: «Красавица Жанна», «Брюнеточка Анриетта». И мы тоже подыскивали название своей пушке, но ни одно не казалось нам ни достаточно выразительным, ни достаточно точным для нашей артиллерии.

Мы кликнули Предка, который шел куда-то вместе с Пальятти. Старик вытащил из кармана трубку — так можно было не сразу ответить на наш вопрос. Сначала прочистить, потом набить, прикурить, затянуться...

— Пушка «Братство».

И сразу же мы поняли — вот оно, прекрасное имя.

И только из того угла, где стоял Мариаль, вошедший за минуту до Предка, раздалось ядовитое хихиканье.

— И вы посмеете назвать «Братством» вашу махину, сеющую смерть?

— Да, посмеем.

— Странный способ доказать свои братские чувства с помощью раскаленных ядер.

Предок не спеша вытянул из наваленного кучей поддельного, под старину, оружия огромную шпагу с рукояткой. Потряс ее над головой столяра, я и не предполагал, что в такие годы можно так яростно размахнуться!

— Вот сейчас ты вправе говорить, что эта шпага дерьмо. Ну, а если ты ее взял и на тебя накидывается стая волков, тебе она

небось хорошей покажется. «Свобода, Равенство, Братство» — вот они три слова, заменившие «Потому что так моей душеньке угодно». А каким образом ты переменишь их местами? Только с помощью пушки.

Понедельник, 10 октября.

«Пушка «Братство» — поистине магическая формула. Собрано уже больше сотни килограммов, больше тысячи франков, то есть больше двадцати тысяч су.

Теперь сбор идет уже повсюду: и в XI, и в XIII, и в X округах, даже в VIII, другими словами,— в районе богатеев. Знаменитые персоны, какие-то темные личности, разбогатевшие шарлатаны не скупятся ни на деньги, ни на речи — ведь это новый каприз Парижа.

Только нам, в нашем тупике, принадлежит почин, и начали мы действовать без промедления.

Гифес согласился бесплатно отпечатать нам очень коротенькое и на сей раз очень ясное воззвание, в котором я объясняю все, что касается нашей пушки. Это воззвание мы расклеили на всех перекрестках от канала Урк до заставы Трон, от ворот Роменвиля до Шато-д'О.

Мы объехали весь Бельвиль и Менильмонтан на повозке, запряженной Бижу, а к повозке прицепили пушку, которую смастерили из печной трубы и пары колес. Впереди надпись: «Одно маленькое су на большую пушку» и вторая сзади: «На нашу пушку «Братство». Плакат на правой стороне повозки гласит: «Война до последнего» и на левой: «В поход марш!» На длинные жерди нацепили обручи от бочки, и получился гигантский сачок, так что можно с лета, не вылезая из повозки, подхватывать маленькие су, когда их бросают из окон верхних этажей. На каждой остановке даем настоящее представление — Торопыга затягивает «Карманьолу», правда, в собственной переработке:

Немного надо республиканцу —
Грош, чтобы отдать оборванцу.
Для пушки тоже нужен грош,
Уж очень титул ее хорош...

Тем временем тройка Родюков, парочка Бастико и Ноно спрыгивают с повозки, отцепляют «пушку» и готовятся к стрельбе, причем проделывают все это по всем положенным воинским уставом правилам, с такой быстротой и четкостью, что прохожие не могут сдержать восхищенного крика. Пружинный Чуб весьма правдоподобно разыгрывает прусского улана, наткнувшегося на такую махину. Кончается все это тем, что Жюль и Пассала, наряженные под стрелков Флуранса, забирают в плен этого бесовского улана и, приставив к его заду штыки, проводят через толпу зевак.

Мало сказать, что нас хорошо встречали в предместье, монеты сыпались градом. Зрители, у которых денег при себе не было, брали взаймы у соседей, или меняли купюры, или бежали за деньгами домой. Наш незатейливый спектакль растрогал улицу: ей уже не казалось, будто она просто дает, пусть даже на благородное дело, раз получает хоть что-то в обмен. Она не скупилась на пушку — это уж само собой,— но еще и поощряла «актеров».

Вторник, 25 октября.

Из открытого письма Флуранса:

«Я был сразу же и единодушно избран командиром пяти бельвильских батальонов. И если сейчас не выполняю своих функций, то это прямой результат грубого и явного нарушения закона о всеобщих выборах. Штаб на Вандомской площади отказался утвердить мое назначение. Любой капрал Национальной гвардии в тысячу раз полнее воплощает собой народную волю, нежели люди, которые правят Францией лишь потому, что присягнули империи. Я с восторгом бы поверил в план Трошю, но слишком опасно, когда нация жаждет добыть себе спасение любой ценой. А ведь Франция в 1793 году спаслась не потому, что слепо вверилась одному человеку и ждала от него чудес!.. Национальная гвардия Парижа томится без дела. Она видит, что враг уже у стен столицы, она уже чувствует укусы голода. Она краснеет от стыда... А я лично хочу одного — отдать свою жизнь...»

В типографию заходил Жюль Валлес. С тех пор как его избрали командиром батальона, журналист щеголяет в новеньком кепи с четырьмя серебряными галунами.

У входа в типографию он разговорился с Пальятти насчет Гарибальди. Каменщик-итальянец держит нас в курсе успешного продвижения армии краснорубашечников. Так, он первый сообщил нам о том, что 7 октября в Марселе высадился их вождь с двумя своими сыновьями Ричиотти и Менотти.

Гарибальди поручили командовать Вогезской армией — другими словами, армией, которая будет формироваться в районах, оккупированных пруссаками! По его призыву итальянцы, швейцарцы, испанцы, американцы, поляки — добровольцы-республиканцы со всего мира — пересекают границу, чтобы сражаться под французскими знаменами!

Грошики стали что-то медленнее поступать: слишком много появилось сборщиков. Шагу нельзя ступить, чтоб не нарваться на кружку для сбора пожертвований: по всему городу разъезжают кареты походных госпиталей, и каждая взывает к милосердию парижан. Требуется в десять раз больше коек, чем есть в наличии; раненых размещают всюду, где есть свободное место: в монастырях, на вокзалах, впрочем, сейчас никому не нужных, в фойе Французского театра, в школах, трибуналах, в «Гранд-отеле», в Бельвильском театре. Дамы из высшего общества просто-таки соревнуются в патриотических чувствах, они устраивают «частные лазареты» у себя дома. Сейчас это самый шик, к тому же можно спокойно пристроить в качестве санитара своего милого дружка, слишком изнеженного, чтобы мерзнуть ночами на укреплениях. Рассказывают даже, что одна дама — супруга крупного буржуа — долго подыскивала раненого для своего «лазарета» и наконец купила такового в одном госпитале за три тысячи франков.

Дни стоят серые, тяжелые, ночи черные, пустынные. В огромном Париже, опоясанном железным кольцом, живет, в сущности, только одно — Война. Экипажей мало, торговля сходит на нет, работы не найти, разве что на фабриках, выпускающих оружие. У парижанина есть два основных занятия, вернее, два зрелища: обучение военному делу на площадях столицы и дежурство на укреплениях. Словом, вся жизнь прикована к винтовке. А мысли прикованы к одной повседневной заботе: что будем сегодня есть?

Норму мяса уменьшили до пятидесяти граммов — это уже третье сокращение за последние две недели. В такие времена не реко-

мендуется держать лошадь прямо на дворе, без конюшни... А какие взгляды бросают на Бижу домашние хозяйки, когда мы отправляемся в поход собирать деньги! Какие невеселые шутки отпускают ему вслед, некоторые даже облизываются, трут себе живот, приговаривая: «Ньям, ньям!»

Вчера вечером наш клуб потребовал провести выборы в Парижскую Коммуну и разослать комиссаров по провинции. Проголосовали, кроме того, приняли приветствие Гарибальди:

«Привет солдату-гражданину! Привет от имени Франции и Революции! Пусть придет к нам герой Америки, освободитель Италии, пусть научит нас вести партизанскую войну, войну, которая освободила его народ и освобождает Францию. Пусть он придет к нам: только здесь, у нас, он найдет себе солдат и оружие. Пусть придут наши братья из Лиона, пусть их революционная армия под командованием нашего доблестного Клюзере соединится с интернациональной армией Революции, которую ведет Гарибальди. Пусть коммуны Марселя, Тулузы, Бордо, Лилля, Дижона, Руана, пусть все наши республиканские города шлют нам вооруженных граждан; революционный Париж выйдет им навстречу...»

Покинув «Фоли», мы как вкопанные остановились посреди улицы: небо было кроваво-красным. По Бельвилю тут же поползли слухи: это, мол, пруссаки подожгли город со всех четырех сторон, чтобы выкурить нас, как крыс...

На рассвете. Понедельник, 31 октября.

Два объявления.

«Правительство национальной обороны сообщает, что господин Тьер, прибывший вчера в Париж, отчитался в своей миссии... предложить перемирие».

«До правительства дошла трагическая весть о сдаче Меца. Маршал Базен со своей армией вынужден был сдаться неприятелю».

Раз плохое — значит, правда!

Перед этими двумя объявлениями стояли, окаменев, жители тупика, рабочие, коммерсанты, а в первом ряду — аптекарь с мясником.

Четверг, 3 ноября.

Только и разговоров что о «перемирии» — так именуют капитулянты капитуляцию.

Слухи обоснованные. А вот и не только слухи. На бирже рента поднялась на два франка, продукты питания чудом появляются словно из-под земли — цены на них якобы упадут после снятия осады на семьдесят пять процентов. Сен-Жермен расплывается в улыбке: там гвардейцы — буржуа из батальона святош, спасших Трошю,— обжираются так, что чуть подпруги на них не лопаются, а Бельвиль тем временем шарит по ящикам, не завалялась ли где корочка хлеба.

■

Густав Флуранс скрывается в квартире господина Валькло, а весь Бельвиль его охраняет. Стоит какому-нибудь полицейскому пе-

реступить за линию канала Урк, Менильмонтанского шоссе и фортов, как о его появлении тут же становится известно, его застращивают и выдворяют прочь без особых церемоний. Эта поголовная настороженность отнюдь не излишня — наш пылкий революционер не из тех, кто сидит себе тихонько в углу. Он хочет быть в курсе всех дел, хочет в малейших подробностях знать, как кипят силы народные. Поэтому при его штаб-квартире создана вроде бы адъютантская служба. Пружинный Чуб, Торопыга, Шарле-горбун, оба Бастико, Маворели и тройка Родюков под началом Марты обеспечивают связь. Предок — тот вроде бы главный политический советник. Гифес представляет Интернационал. А мне Флуранс оказал немалую честь — взял меня своим личным секретарем. Каждое утро он диктует мне свои заметки — собирается писать большой труд о современных событиях. Иной раз он просит меня давать ему отчеты о тех собраниях, где ему было бы неосторожно показываться.

7—9 ноября.

После плебисцита и муниципальных выборов, с тех пор как распространились слухи о перемирии, несколько дней не слышно канонады. По-видимому, пруссаки решили дать правительству возможность подготовить народ к капитуляции. Тишина воцарилась на фронтах вокруг осажденной столицы. Она как соблазн, но это ничуть не смягчает гнева рабочих окраин, больше того: еще явственнее слышно, что означает эта тишина. Когда молчат пушки, для буржуа это мир, а для Бельвиля — предательство.

■

Солнце закатилось. Перемирия не будет, переговоры ни к чему не привели. В известном смысле для народа это победа, но в каком смысле? Мрачное торжество бедняков, с каким-то даже ожесточением вязнущих в нищете.

Мама совсем высохла. Чуть прикасается к еде и отдает нам половину своей порции вареного риса, не сдобренного маслом, а мы бормочем фальшивыми голосами, что, мол, не надо, а в конце концов малодушно принимаем ее жертву.

Только недавно ко мне явилась Марта в зимнем облачении. Я имею в виду ношеный-переношенный мужской редингот, который она неумело подогнала себе по росту. Отрезала баску, укоротила рукава, но все равно талия приходится ей чуть ли не ниже колен, плечи сползают до локтей, и поэтому у нее какие-то уродливые, короткие, как у карлика, руки. Грубые швы плохо скрывают смелую атаку ножниц. Я просто обомлел при ее появлении.

— Ну как, мужичок, хорошо? — спросила она меня игриво и еще начала передо мной вертеться.

В этом желании покрасоваться не было ни капли иронии. Марта вполне искренне, без всяких оговорок считала себя элегантной. Она была убеждена, что никто не распознает в этом шедевре портняжества мужской редингот. И немало гордилась своим туалетом. Впервые Марта обнаружила незнакомое мне доселе свойство — свою наивность, и впервые я почувствовал, что и она уязвима.

Никогда ИМ этого не прощу.

Моя ненависть началась именно с этого. Ненависть, превратив-

шая меня в чистокровного бельвильца. Ненавижу тех, кто может купить себе теплую одежду, скроенную по мерке из добротной новой ткани, купить своим дочерям шубку, кому никогда не бывает холодно по той лишь причине, что они дети богатых, что они избранные. Ненавижу мир тех, кто знает парижские тупики только в утонченном описании снобов-журналистов, кто презирает нас и нас боится, ненавижу их, ненавижу, а не боюсь.

— Почему, Флоран, ты молчишь?

Тихонький голос прозвучал тревожно.

Я бурно выразил свой восторг. Я бичевал себя.

Я-то никогда не клацал от холода зубами, никогда не выл от голода. Даже не знал, что такое городская нищета. Зима здесь не знает пощады. Пока стоит погожее время, любая тряпка годится, и хорошенькая девушка никогда не выглядит нищей. И только тут, стоя перед разряженной и гордой своим туалетом Мартой, я стал настоящим революционером. До тех пор мое социальное самосознание было мне лишь теоретически преподано — мой бунт шел от головы, от души, а теперь я почувствовал, что папа, что Предок воспитали меня так, как надо; теперь я убедился, что моя голова и мое сердце были правы. Только с той минуты во мне заговорило нутро.

Наша привратница в темноте обходит дом, время от времени негромко что-то выкрикивая.

В тишине слышен голос Людмилы Чесноковой, укачивающей своего младенца.

— Это их русская песня,— объясняет мне Марта.— Представляешь, степь без конца и без края, вся покрытая снегом, а потом колосьями. В песне вот что говорится: «Когда все кругом бело, и ты, малыш, тоже весь беленький, но скоро степь позолотеет, и ты, малыш, будешь золотеньким... Я положу тебя голеньким под стог, и когда жницы в полдень сядут отдохнуть и поесть, они спросят, чей это золотенький малыш — никогда такого красивого не видели... Все будет хорошо, и снова снега окутают землю, но ты уже вырастешь, будешь спать в тепле на мешке с зерном...» Только по-русски еще красивее получается.

ТЕТРАДЬ ТРЕТЬЯ

Рождество 1915 года. Почти целый год потратил на перечитывание двух первых тетрадей. Правда, я часто откладывал их в сторону, одолевали другие заботы — эта война, последняя из войн, неужели же никогда она не кончится? Трагедия остается неизменной — только названия меняются: тогда были пруссаки, сейчас боши **(нацисты).**

Август 1938 года.

Студенты, рабочие юноши и девушки остановились на отдых в лагере молодежи. Говорим с ними об Испании. Они направляются туда, везут медикаменты и банки сгущенного молока. Я прочел им несколько страничек — о клубах. Они называют меня Предок.

Воскресенье, 27 ноября.

Париж стучит зубами от холода. Пишу, скрючившись под старым одеялом, сидя на мешке с нашими грошами, который все пухнет и пухнет, сижу, засунув левую руку в карман, а правая, раненая, вся посинела. При каждом выдохе изо рта вылетает смешное облачко пара. Приходится то и дело бросать писанину, ворочаться, стучать пятками об пол в этой заброшенной слесарной. Кляну холод еще больше, чем пруссаков,— ведь холод надежнейший их союзник! И особенно кляну его с тех пор, как он вдохновил Марту.

День ото дня линяет энтузиазм, разбуженный мечтой о пушке. У добрых людей своих забот немало, кишки сводит от голода, а от холода зуб на зуб не попадает. На прошлой неделе полторы тысячи жителей Бельвиля устроили форменную осаду мэрии XX округа, требуя хлеба. После многочасового стояния перед муниципальными лавками наши женщины получают только немножко селедки. Однако духом не падают и бегут занимать вторую очередь в специальные мясные магазины.

Клуб на улице Арра, того и гляди, отольет свою пушку по прозвищу «Народная». Марта поэтому бесится и орет так, что заглушает своими криками басистый голос «Жозефины», не от страха орет — от зависти.

«Жозефина» — девятнадцатисантиметровая пушка с пятью нарезками, и весит она одна без лафета более восьми тысяч килограммов. Мы всей компанией ходили на нее смотреть к заставе Сент-Уэн, где она стоит на куртине бастиона 40.

Заряженное восемью килограммами пороха, это морское орудие выбрасывает ядро весом в пятьдесят два килограмма двести пятьдесят граммов и бьет на восемь километров с отклонением на двадцать девять с половиной градусов. Конечно, куда нашему Бельвилю сгоношить такое чудо чудное! Париж уже знает мощный и торжественный бас «Жозефины», а мы, из Дозорного, пожимаем плечами, только одна Марта зеленеет от зависти.

Понедельник, 28 ноября.

Париж весь как-то оцепенел, хмурится. Уже никого больше не интересует ни зрелище батальонов, марширующих к укреплениям, ни обучение на площадях национальных гвардейцев. И слово «винтовка» уже потеряло свой магический смысл, а ведь раньше, услышав его, люди выпрямляли стан, глаза у всех загорались.

Париж закрывает свои ворота в пять часов, парижане — в семь. А в восемь осажденная столица задремывает, прислушиваясь в полуха к отдаленной канонаде. Топот патрулей, особенно гулкий в этой пустыне, еще усиливается, с размаху ударяясь о глухие фасады.

От недели к неделе улицы освещались все более скупо, а теперь и вовсе фонари не горят: нет газа.

Один за другим закрываются рестораны и лавки. Зато нищих становится все больше и больше. Последовав примеру Вормье, Фалли и Чесноковы тоже стоят теперь в очереди на улице де-ла-Мар и ждут у дверей дешевой кухни под названием «Вулкан любви», которую содержит некий господин Корнибер. Это уже последняя ступень падения. Еще неделю назад жители тупика всеми силами скрывали от соседей и друзей свои визиты в муниципальные столовые, а теперь, напротив, с чувством какой-то горькой гордыни во весь голос скликают

знакомых, уславливаются о встрече в благотворительной харчевне и чуть ли не с презрением поглядывают на тех, кто еще крепится: «Все там будем, все! Это ведь надолго!»

Теперь, когда Алексис, Янек Каминский и Леон возвращаются после патрулирования на аванпостах, не надейтесь услышать от них рассказы о бранных делах — с их уст срываются восторженные хвалы винограду из Монморанси, монтрейским персикам, кламарскому горошку, розовым плантациям в Банье и Фонтенэ — все полузабытые воспоминания.

— Банье, Фонтенэ, Шатийон,— вздыхает Алексис,— да там целые океаны фиалок были! Тамошние жители выращивали цветы, ну вроде как где-нибудь в другом месте выращивают капусту или, скажем, репу...

— А сейчас порохом да падалью разит...

— Вюртембержцы нарочно за изгородями гадят, под самым носом. Ядра в фиалковых полях взрываются. Немцы топчут розовые плантации, покрытые снегом. Ни домов, ни садов, ни огородов — ничего не останется... Не скоро еще Париж увидит свои родные деревни...

Все ворчат:

— Хоть бы знать, что наш Гамбетта затевает!

— А может, лучше не знать.

— Правительство-то все знает, только оно народ в неведении держит...

Нестор Пунь робко замечает, что, может, лучше дождаться ухода неприятеля, а уж потом сор из избы выносить...

— Сор — это реакция,— уточняет Гифес.— Адвокаты, засевшие в ратуше, лишь покорные слуги этой реакции! Надо от них избавиться. Только Революция может одолеть пруссаков.

— Слишком мы были кроткие, слишком доверчивые; не сделали того, что нужно было сделать; ничего, сейчас сделаем.

— Девяносто третий — вот что нам требуется.

— Придет девяносто третий, Мумут совершенно прав! — бросает Феррье.— Будьте уверены, мы найдем Робеспьеров и Маратов!

Такие разговоры возникают каждую минуту, в любом месте — в столовой, в очереди перед булочными и еще незакрывшимися лавками, на укреплениях, стоит только троим или четверым оказаться вместе: никогда еще люди не испытывали такой потребности собираться вместе, говорить. Потому что нет иных средств согреть плоть и душу.

Из полной неразберихи в головах, разброда личных мнений и страстей в зависимости от характера каждого вырисовывались в общих чертах две тенденции: авторитарная и освободительная. С одной стороны — якобинская, централизаторская и воинственная позиция: Мумут, Феррье и в меньшей мере Кош, их лидером станет Делеклюз. С другой стороны — примиренческая позиция последователей Бланки, таких как Гифес и дядюшка Лармитон, сторонников коммунализма и федерализма. Само собой разумеется, одни оказывали влияние на других, и каждый в соответствии с обстоятельствами мог перейти в иной лагерь.

Смертный приговор Базену и прочим изменникам: Канроберу, Лебефу и Коффиньеру,— вынесенный заочно клубами IV округа и одобренный другими, воодушевил толпы людей, стоявших в темноте и топавших от холода ногами.

— «...И гражданам предлагается самим привести этот приговор в исполнение».

Комитет бдительности района Ла-Виллет подхватил инициативу «Легиона войны без пощады», поставившего себе целью уничтожение всех тираний и борьбу за установление во всем мире Революции и Социализма.

Четыре часа пополудни.

Когда я пишу эти строки, бойцы Дозорного возвращаются с учения, плюют, кашляют, со скрипом волочат свои сабо по мостовой. Идут они молча, лица у всех замкнутые. *(Люди Дозорного привыкли к тому, что я вечно что-то царапаю: в любое время дня и в любом положении. Все чаще и чаще они прибегают к моим услугам. Марта буквально не дает мне вздохнуть, требуя, чтобы я брал со своих клиентов плату: «Писец — это все равно что доктор или адвокат. Деньги отдашь на нашу пушку». С тех пор, как пошел слух, что сам Флуранс, «наш изгнанник», не гнушается использовать меня в роли своего личного секретаря, снисходительная улыбка, мелькавшая на губах соседей при виде меня с листком бумаги на коленях и с карандашом в руке, исчезла, сменившись уважением.)*

После полуночи.

Канонада продолжается, с каждой минутой она все страшнее, все оглушительнее. По словам людей опытных, по Парижу бьют одновременно из мортир, ружей и пушек десятки батарей, установленных на Аржантейском и Безансонском мостах. И бьют они по неприятелю без передышки, так что даже бронза плавится. Далеко на западе все небо охвачено заревом пожаров, словно встает огненная заря.

Марта чуть не силком вытащила меня из кабачка и заставила запрячь Бижу:

— Сейчас стрелки Флуранса идут в бой, пойдем с ними.

— Я бы не прочь, но...

— Боишься!..

— Нет, только вряд ли нас пропустят!..

— А вот и пропустят! С этим-то!

Марта развернула женевское знамя, которое, надо полагать, «взяла напрокат» в госпитале Бельвильского театра. Теперь над нашей незатейливой повозкой гордо вздымается красный крест.

Я еще не запряг как следует Бижу, а она снова насела на меня:

— Беги скорее к Флурансу, посмотри, что там делается, а я тебя здесь подожду.

И я, как обычно с оглядкой, помчался к нашему вождю-изгнаннику.

В бывшем салоне господина Валькло у стены стояли Предок, Гифес, Тренке, два гарибальдийских офицера и Пальятти. Флуранс размахивал двумя только что полученными из национальной печатни, еще совсем свеженькими объявлениями, которые притащил под блузой Пассала:

«Положимся во всем на господа бога, вперед за родину! Подпись: губернатор Парижа генерал Трошю».

И пламенный мятежник гремел во весь голос: «Трошю — шуан, католик, ханжа, сын папы римского и Орейской богоматери, тупоголовый, глухой ко всем новым идеям, ко всем республиканским чувствам. Благородный и великодушный Париж не впервые покорно подставляет шею под нож самых отсталых народностей Франции: корсиканцев Бонапарта и бретонцев Трошю».

...Батальоны направлялись к бульварам — еще издали было слышно, как они проходят мимо мэрии,— и достигли перекрестка Пузбла. Громко звучала песня...

Республика нас зовет,
Умрем иль победим!

Но стрелки безмолвствовали, они шагали через Бельвиль суровые, притихшие.

А пели женщины, провожавшие их часть пути. Некоторые шли об руку со своим бойцом, если он маршировал крайним. Кое-кто из стрелков прижимал к груди спящего младенца, укутанного в рваную шаль, а супруга неловко тащила за ремень длиннодулое ружье. И почти все женщины нацепили на себя ранцы и сумки, патронташи, скатанные одеяла, чтобы легче было маршировать бойцу до последней минуты, минуты расставания. Солдатки шли в одной шеренге, но на расстоянии целого метра, то ли из скромности, то ли из уважения, то ли по другим каким деликатным мотивам. Шагали они тоже в такт и открыто на любимый профиль не пялились, но ни на миг не теряли его из вида, хоть и глядели искоса. И шли они, таща военную амуницию до последней межи, где им был уже заказан дальнейший путь; при каждом их неверном шаге звякали котелки и сталкивался со звоном штык о штык. А добровольцы все шагали, не глядя по сторонам, окаменевшие, будто были одни, хотя шли локоть к локтю, одни перед лицом неизбежности, перед лицом той, что будет их последней подругой.

Республика нас зовет...

Матери и жены, невесты, сестры, родственницы, подруги, соседки — все эти женщины пели, не слишком громко, казалось бы, каждая для себя — или для него. А рифмованные концы строф гимна выпевал уже дрогнувший голос.

Солдаты невозмутимо молчали, вперив взгляд куда-то вдаль
Страшное получилось шествие.

Вторник, 29.
На рассвете, который никак не наступал.

Пишу эти строки на спине Марты, она мне и пюпитр, и грелка; мы сидим скорчившись, не разобрать, где я, где она. Она спит, уткнув лицо в скрещенные руки — да еще ноги под меня подсунула для теплоты,— на дне нашей повозки, над которой развевается красный крест. Ждем уже два часа, если только не больше, на опушке Венсенского леса, на подступах к Шарантон-ле-Пон. Никогда с первого дня творения, нигде, ни в одном уголке вселенной не было так холодно, как в этом сероватом мареве сволочнейшего ноябрьского рассвета. У меня из рук раз пять уже выпадал карандаш, и, когда я нашаривал его, моя потревоженная смуглянка что-то ворчала в сонном одурении, и во мне вдруг пробуждался — правда, всего на две-три минуты— вкус к жизни. Нам-то еще жаловаться грех. Наша повозка и наш Би-

жу — как бы островок среди моря голов, замотанных шарфами, на которых более или менее надежно сидит кепи, каскетка с кокардой или просто шляпа с номером.

Сейчас во сне Марта так аппетитно посапывает, что меня разбирает сладчайшая зевота. Не могу больше. Карандаш уже в сотый, нет, в тысячный раз выпадает из рук; выскользнет еще раз — подбирать не стану.

Где-то возле Рокетта мы отбились от наших стрелков, когда батальоны Менильмонтана и Шарона подошли к нам слева. Не видим больше ни Тренке, ни Гифеса — никого из 141-го.

■

Внезапное пробуждение. Мне почудилось, будто Бижу, закусив удила, понесся во весь опор. А это, оказывается, снова началась канонада.

Чуть позже.

По нашему становищу носятся всадники: фельдъегеря, офицеры, возвышающиеся над этим океаном голов. Укутанные в широкие светлые плащи, они галопом скачут по рядам.

По окружной железнодорожной ветке идет поезд за поездом. А по дорогам движутся артиллерийские обозы, подвозят боеприпасы. Все это длится уже два дня и не может пройти незамеченным для пруссаков.

Кашемировый Лозняк.
Ночь (с 29 на 30 ноября).

— Давай зайдем...— Марта затащила меня сюда. Здесь хорошо. Правда, есть нечего, пить нечего, зато в камине, возле которого я пристроился на корточках, жарко горят три толстенных дубовых полена. Какой-то одноногий и древняя старуха стоят у стены, их трясет, у них зуб на зуб не попадает. Под окном прямо на земле коченеет с десяток трупов, большеносые, кривоглазые, небритые, челюсти крокодильи — их утром застигли «на месте преступления» и расстреляли первые проходившие здесь части.

Марта ушла «за новостями», она твердо решила найти стрелков Флуранса, пусть даже без самого Флуранса. Желая убить время в ее отсутствие, я сейчас записываю самое примечательное, что довелось услышать в этом зале, где набилось столько народа, что пришлось поставить у входа взвод гвардейцев с наказом не впускать никого, даже тех, кто отлучился хоть на минуту.

С 30 ноября на 1 декабря.

Приемная врача — угловая комната, расположенная на втором этаже. Четыре окна. Два выходят на Гран-Рю, два других — на дорогу, петляющую между живыми изгородями и палисадниками; окна заложены матрасами и яркими разноцветными подушками. Магирас и Ба-

стико дежурят на улице, Фалль и Нищебрат — на дороге. Пливар крушит кресло, чтобы поддержать в камине огонь. Гифес осматривает оружие тех, кто спит рядом вповалку на ковре.

На кушетке тихонько постанывает Алексис, раненный в живот.

Под одеялом покоится вечным сном Вормье.

Пушка замолчала. Только временами одинокий ружейный выстрел вызовет на минуту ответную перестрелку, где-то далеко — не то в Вильере, не то в Бри-сюр-Марн.

На нашу беду, доктора все нет. Очевидно, уехал перед приходом неприятеля, как мы в свое время из Рони. Марта, не слушая ни моих просьб, ни строжайшего запрета лейтенанта Гифеса, отправилась на поиски санитара, в надежде, что он хоть чуточку облегчит муки нашего страдальца Алексиса. До нас в доме врача стояли саксонцы и все переколошматили: разбили венецианское зеркало, том за томом уничтожили библиотеку. Даже панели и шторы порубили саблями. Нам посчастливилось обнаружить две палки колбасы и четыре солдатских каравая.

Пишу при свете огарка, который Мумут водрузил на коробку — увы, пустую — из-под паштета.

■

Нынче ночью, когда наша чернявенькая упрямица явилась за мной в Кашемировый Лозняк, она уже знала, где находятся бельвильские стрелки. Без особого восторга мы покинули свой теплый уголок у камина, запрягли Бижу, которого поручили охранять часовому. Старый наш коняга так на меня взглянул, что я чуть не бросился просить у него прощения!

— Поторапливайся, Флоран! Наши в Кретейле.

Ночь светлая, ледяная. Небо звездное. В лесу спали десятки тысяч солдат — без одеял, без огня, тесно прижавшись от холода друг к другу. Зачуяв еще издали нашего Бижу, лошади приветствовали его коротким ржанием. Иногда нас останавливал разъезд или пост. Офицер обычно замечал флаг с красным крестом, приглядывался к нашим лицам, к нам самим и молча пожимал плечами. Иногда, впрочем, спрашивал, куда мы направляемся, но спрашивал просто для очистки совести.

В Кретейле мы путались больше часа, прежде чем нашли пристройку, куда забилась рота Гифеса. Недолго думая, мы как-то протиснулись среди нагромождения спящих тел и спокойно заснули.

■

Так последний день ноября рождался среди ледяной ясности. В предрассветном сумраке Аврон, Рони, Ножан, Фэзандри, Гравель — словом, все огнедышащие пасти начали свой раздирающий уши концерт.

Только что вернулась Марта. Она привела с собой национального гвардейца, но, увы, не врача.

■

Национальным гвардейцем, которого притащила с собой Марта, оказался Меде, наш нищий из Дозорного. Поначалу мы его и не признали. С жалованьем в тридцать су за день он совсем преобразился. Понятно, что Меде записался в гвардейцы подальше от Дозорного,

который видел его с протянутой рукой. Он отмылся, побрился, даже спину разогнул и записался в Шаронский батальон.

Наш Меде побывал в деле. Пулей оторвало ему половину правого уха. И теперь, с пропитанной кровью повязкой, он счел себя вправе прийти приветствовать бойцов Дозорного.

Марта так и не нашла врача. Она суетится вокруг Алексиса, у которого снова начались боли. Плетет ему какую-то байку о каком-то заморыше, а Пливар тем временем берется за гардероб — надо же поддерживать огонь. Пунь с Кошем снимают подушки, положенные для утепления, с окон, выходящих на улицу, а Чесноков с Феррье и Фалль с Нищебратом — с окон, выходящих на дорогу. Комната наполняется зловонием. По словам Пуня — это от трупа Вормье.

Наши стрелки рассказали о страшной контратаке вюртембержцев и пруссаков, которые шли колоннами с криками «ура», потрясая ружьями над головой, а за ними двигалось многочисленное подкрепление при поддержке крупнокалиберных орудий.

До трех часов наши солдаты просидели скорчившись под стеной, ожидая подкрепления и патронов. Засели они в винограднике, и кое-кому посчастливилось обнаружить забытые сборщиками кисти винограда, хоть и промерзшего, но, по их словам, вкуснейшего. А в сотне с небольшим метров неприятель укреплялся, готовясь к контратаке. Вновь прибывшие батареи Круппа пристреливались как раз к этой стенке. Через несколько минут позиция наших превратилась в чистое пекло. Какой-то капитан подскакал к ним, обозвал их сумасшедшими и приказал отходить к главной площади городка.

Перед церковью прямо на земле лежали раненые, кто стонал, кто вопил, кто от боли корчился на мостовой. Врач, еле дыша от усталости, перебегал от одного к другому. Мы долго умоляли его хоть посмотреть на нашего Алексиса, которого мы уложили в повозку.

— Он погиб,— заключил врач и, когда мы спросили, что же нам с ним делать, добавил: — Чем меньше вы будете его перевозить с места на место, тем меньше он будет страдать перед смертью.

Солнце садится багрово-кровавое. Прощальные его отсветы окрашивают пурпуром трупы, брошенные на дороге и в лесу, золотят осколки разбитых стекол, беспечно играют на водах Марны, где шныряют небольшие суденышки с красным крестом. Ранние зимние сумерки опустились на разгромленное войско, которое спешно укрепляется в домах поселка.

■

Ждем контратаки пруссаков. Она непременно начнется на заре.

Гифес отобрал у своих людей патроны. Потом, пересчитав их и разделив, раздал каждому бойцу по три штуки. Вернувшись из батальона, Мумут сообщил нам, что и речи быть не может ни о подкреплении, ни о боеприпасах, ни даже о пище. Дан приказ не уступать ни пяди земли. Если неприятель пойдет в атаку...

Пливар с зверским видом потрошит комод: он затеял разжечь такой огонь, чтобы чертям в аду завидно стало.

Начинается канонада. Бомбы рвутся в переулках и садах. На сей раз начали пруссаки. Как ни напрягай слух, не слыхать ни Аврона, ни фортов, ни редутов... Наша артиллерия не спешит проснуться. На востоке уже угадывается полоска зари.

— А ну, ребята! Мы должны встретить их в полной боевой готовности,— говорит Гифес каким-то бесцветным голосом.

Фраза звучит как заученная, будто он наизусть ее произносит.

От взрыва дом врача весь дрожит. Панель, изрубленная саблями пруссаков, обрушивается с хрустом на Пливара, но тот хладнокровно подбирает щепочки и швыряет их в огонь. В короткий промежуток между двумя пушечными выстрелами слышно хриплое карканье воронья, кружащего над самой землей.

Бастико, Матирас и Фалль вскочили на ноги. Они подымаются на крышу, обходят потом всю комнату, пересчитывают свои три патрона, возвращаются к окнам: сейчас начнется...

■

Начало декабря 1870 года.

Флуранс арестован, Пальятти, Меде, Феррье, Леон, Нищебрат, Гифес и Фалль исчезли.

Понедельник, 5 декабря 1870 г.

Чудесный холодный денек.
Армия возвратилась в Париж.
Батальон бельвильских стрелков распущен.

Среда, 7 декабря.

Париж покрыло снегом. Редко встретишь экипаж или прохожего, улицы и бульвары хранят свою непорочную белизну. Никогда еще Марта не видела свой Париж таким чистеньким.

Только временами грохнет пушка, как бы подчеркивая стальными отблесками тишину, охватившую город. В нашем тупике и на Гран-Рю прохожие жмутся к стенам. Весь светский Париж смотрит на сверкающую вершину, на Бельвиль, на этот опасный нарыв.

Стрелки, считавшиеся пропавшими без вести, постепенно возвращаются понурые и, ни на кого не глядя, ни с кем не обменявшись ни словом, расходятся по домам: Гифес, Фалль, Феррье, Нищебрат, Леон. Пальятти пришел последним. Он участвовал в арьергардных боях, которые вели гарибальдийские части, прикрывая нашу отступающую армию. В конце концов на последнюю перекличку не явился только один Меде. Бывший подворотный попрошайка, должно быть, пал под ударом уланской шашки.

Флуранса арестовали в Мэзон-Альфоре. Теперь он содержится в тюрьме Маза.

Вот как сам вожак бельвильцев описывает это событие на 190-й странице своей книги «Париж — жертва предательства», где Флуранс не церемонясь пишет о себе в третьем лице: «С 31 октября Флуранса разыскивала полиция, а он безвыходно жил в доме одного своего друга. Но, узнав, что его стрелки посланы на передовую, что они выдержали бой с пруссаками, что трое из них погибли, он не устоял против искушения соединиться с ними в Мэзон-Альфоре. Там он попал в ловушку. Пока он в одиночестве добирался до Кретейля, батальон стрелков получил приказ немедленно возвратиться в Париж.

Когда он вернулся в Мэзон-Альфор, какой-то пехотный офицер, командир стрелковой роты, подошел к нему и в самых любезных выражениях предложил заглянуть. Не заподозривший ничего дурного, Флуранс доверчиво явился по указанному адресу. Там офицер объявил ему, что по приказу генерала Клемана Тома вынужден его арестовать, при этом он покраснел, явно стыдясь своей гнусной роли полицейского. Флуранса отвели в ближайший форт, откуда переправили в Консьержери, где он провел одну ночь, после чего его посадили в тюрьму Маза».

В очередном «приказе» подробно разбираются случаи недисциплинированности и «трусости» так называемого батальона бельвильских стрелков, распущенного по декрету правительства, и уточняется, что «солдаты этого батальона обязуются в течение трех дней сдать оружие и обмундирование командиру артиллерии 3-го сектора, иначе они будут преследоваться по закону за присвоение воинского имущества...»

Сносят башню, которая могла служить мишенью для крупповских пушек.

Одна только Марта, которую ничем не проймешь, продолжает потихоньку собирать бронзовые су для пушки «Братство».

(Начиная с 10 декабря...)

С четверга, 3 декабря, идет густой снег, морозы не ослабевают. Светает поздно, так как ночную мглу сменяет липкий туман. Почтовые голуби приносят вести только об очередном поражении или явно лживые сообщения. Бельвиль вяло затихает у края столицы, а столица не узнает самое себя. Одна только Марта все такая же, как прежде.

Даже не похудела, а что она — великий боже! — ест? Где ест? Когда ест? Холод ее не берет. Где же она проводит ночи без огня? А ведь они тянутся дольше, чем дни без хлеба! Сейчас, когда больше нет ни мяса, ни хлеба, ни дров, ни надежды, ни мужества, ни самолюбия, когда нет даже нашего батальона, Марта выбрала именно это неурочное время для того, чтобы вновь завести разговор о пушке «Братство».

Начинается это еще ночью, на скованной льдом улице и в полной темноте, когда единственный электрический фонарь Монмартра поворачивается в сторону центра Парижа. Ребятишки Дозорного уже сидят, скрючившись на ступеньках мясной лавки, булочной, дровяного склада, галантерейного магазина, где теперь торгуют соленьями. Долгими ночными часами они борются с холодом и дремотой, топают ногами, дуют на пальцы, растирают друг другу ручонки, стучат зубами, хнычут; мордашки у них бледные, даже зеленые. У семилетней крошки Ноно Маворель нет ни одной шерстяной вещи, у десятилетней Фабиены Пливар — тоже, на девочках легонькие пальтишки, сооруженные из отцовской бумазейной блузы и старой мешковины. С половины третьего утра появляются женщины.

— Одно су на пушку «Братство»!

Дают. Неизвестно почему, а дают. И опять над вытянувшейся вдоль стены очередью нависает тяжелое молчание. На колокольне Иоанна Крестителя отбивают часы. Наконец в восемь часов мадам Жакмар открывает ставни.

— Одно су...

— Одно су...

— Ты меня за кого принимаешь?

— Знаю, знаю, я просто хотела проверить...

Булочница ничего не дает. Этого нужно было ожидать, на что и намекнула Марта. Старуха отпускает по триста граммов хлеба первым в очереди, и те бегут к дровяному складу, впрочем, без особой надежды. Занимается день.

— Одно су...

— Держи, малышка! Тебе повезло, я вчера свою шубу заложил.

Внезапно начинается канонада — на севере, у Сен-Дени. Женщины обшаривают карманы с таким видом, будто их маленькое су может ответить на обстрел.

Часто по утрам я чувствую, что хватит с меня Марты и ее блажи. И уж совсем не могу простить ей, что после разгрома под Шампиньи она снова лезет со своей пушкой и сбором пожертвований! Теперь мне самому эти бронзовые монетки кажутся просто смехотворными... Твержу про себя: «Вот еще!» А если я и уступаю, то злясь на себя, потому что уже не верю.

А к вечеру снова начинаю верить. Пересчитываю су: дело идет медленно, они ведь тяжелые, из трех дюжин монеток, собранных в день за три приема, я штук восемь с первого взгляда узнаю, что называется, в лицо.

Эту блестящую монетку я прозвал «Бланки». И вот почему: давший мне монету Кош сказал: «Отечество в опасности» — и добавил, что газета Бланки «Отечество в опасности» перестала выходить. Так пусть су на пушку пойдет. Монетка ярко блестит, потому что столяр непрерывно вертел ее в своих мозолистых пальцах, с тех пор как узнал о безвременной кончине бланкистской газеты.

А вот «перечеркнутый император». Кто-то крест-накрест процарапал чем-то острым профиль Баденге. «Мне такой и дали»,— пояснила мне старушка, разглядывая свои монетки в пристройке, где она чахнет между клеткой для чижика и корзиной для кошки. И клетка, и корзина уже давно, видать, пустые. «Ох уж эта война»,— жалостливо вздыхает старушка.

А одно су до сих пор еще влажное. Хозяин отошел в глубь комнаты и оттуда крикнул мне, чтобы я закрыл дверь и подождал на площадке. Был он молодой, с блестящими глазами. Бросил су в ведро с водой и, извинившись, сказал: «У меня оспа. Выловите монетку и протрите ее хорошенько...»

«Черепица». Ее вытащил из кармана каменщик-великан. Только он собрался мне ее вручить, как на крыльцо мэрии вышел дядюшка Вильпье и прочел депеши, извещавшие о разгроме под Туром и Бурже. Сам того не заметив, каменщик согнул в пальцах бронзовую кругляшку, так что она приобрела форму черепицы.

Одни монетки блестят, отполированные десятками рук, они стали совсем как золото, потому что долго звякали о соседние в карманах; есть тусклые, есть усталые, есть старые су, обнаруженные в ящике шкафа после упорных поисков, есть прогнутые, падавшие из окон верхних этажей, переходившие из одной деревянной чашки в другую, с одного двора на другой...

Жалким своим умишком я, кажется, нашел объяснение, почему сбор пожертвований переживает сейчас, если можно так выразиться, вторую молодость. Бельвиль, видно, хочет таким путем смыть пятно позора, которым заклеймили его стрелков. После нескольких недель сбора я убедился, что эта мысль им самим и в голову не приходила. А дают, потому что это дорогого стоит, может, именно по-

этому. А может, просто-напросто потому, что ничего другого им делать не остается.

А вот это су с зелеными точечками дала Зоэ. Прежде чем вручить его мне, она обтерла монетку кончиком фартука привычно-предупредительным жестом прислуги.

Шестнадцать лет, низенькая, личико круглое, глаза круглые, ротик крошечный, нос пуговицей, Зоэ прошлой весной бросила свой родной Пемполь и поступила к мэтру Ле Флок. После их деревенской лачуги и работ в поле жилище адвоката на авеню Королевы Гортензии показалось ей чудесной бонбоньеркой, а должность горничной — приятным времяпрепровождением. Юная Зоэ отлично представляла себе свой жизненный путь, в конце которого ее ждал кружевной чепец и седые букли, как у Клеманс, старой кухарки, поступившей еще к деду теперешнего хозяина и позволявшей себе поэтому, прислуживая молодым хозяевам, брюзжать. Вначале осады Адриан, лакей, и Паско, кучер, ушли в мобили. А на прошлой неделе мадам заявила Зоэ: «Бедная моя девочка, мы не можем вас прокормить. Очень жаль, но как-нибудь обойдемся».

Первый снегопад стал последним днем жизни старухи Клеманс, жизни достойной и примерной; она скончалась в три часа утра, стоя в очереди перед английской булочной. Назавтра Зоэ очутилась на тротуаре Парижа. Впрочем, не одна она. В одиночку и группами «лишние рты», то есть бывшая барская прислуга, слоняются по Отею, Терну, Нейи, вокруг церквей Сен-Филипп-дю-Руль и Сен-Сюльпис. Гонимые холодом и голодом, девушки распродают, как могут, свои пожитки — сначала узелок, а потом и все прочее. Вот как раз одна из них вынырнула из-под ворот, когда проезжал мимо какой-то буржуа, бормоча: «Если мосье позволит...»

Так Зоэ, уже выбившись из сил, добралась до Бельвиля. Марта буквально вырвала ее из рук мясника, который валил девочку в комнатке за лавкой, увешанной связками сарделек.

— Да оставьте вы меня, мне есть хочется! — отбивалась от него бедняжка.

Я был восхищен поступком и стихийным порывом Марты, но она тут же прервала мои излияния:

— Пускай эта дуреха хоть с целым эскадроном гвардейцев путается, но чтобы эта тварь мясник ее трогал — жирно будет!

В дальнем углу слесарной мы устроили ложе. Даже отыскали где-то две горбушки и чуточку риса с салом на дне котелка.

К концу незатейливой трапезы Зоэ, отогревшись, перестала хмуриться и трусить. На смену пришли рыдания. Вот тогда, уткнувшись мне в плечо и громко сопя, девчушка поведала нам свою историю.

— Ох уж и твари эти буржуи!

— Вовсе нет,— запротестовала Зоэ.— Мадам тоже понять нужно, что ж она-то могла поделать? Разве я сама не вижу? Если бы даже мадам давала мне всего пятьдесят граммов хлеба в день, ей пришлось бы к утреннему кофе с молоком всего одной тартинкой обходиться.

Вдруг Зоэ замолчала. Уставилась на нас. Не могла взять в толк, почему это мы возимся с ней. Она с радостью отдала бы за нас жизнь. Как раз тут тройка Родюков притащила собранные ими су. Тогда Зоэ порылась в кармане и протянула мне монетку, машинально обтерев ее, пытаясь уничтожить серо-зеленые пятнышки, и от этого ее покорного жеста пахнуло застарелой привычкой рабства. Эта монета была все, что осталось у нее от шести су, которые бросил ей скрюченный подагрой привратник, испортивший нашу подопечную под лестницей в подъезде дома № 26 по авеню Короля римского. Пять су ушло на

покупку солдатских галет, которые она приобрела у какого-то гусара,— тот больше ничего от нее не потребовал.

Середина декабря (забыл поставить дату).

Ни минуты не сомневаюсь, что мы найдем какой-нибудь способ передавать Флурансу записки в одиночную камеру тюрьмы Маза. Некоторые заметки могут ему пригодиться.

■

Клубы: унылые, плохо освещенные залы, вовсе неотапливаемые. Публики мало. Приходится долго упрашивать добровольцев выступать с трибуны. Председатель объявляет, что к следующему заседанию натопят, чтобы заманить публику слушать речи, которые всем обрыдли за три месяца царствования Трошю.

■

Зал Фавье. При первом же упоминании о роспуске стрелков Флуранса начинается ропот. В общем гуле тонет начавшаяся дискуссия. Из темных углов раздаются незнакомые нам голоса, с явным намерением повернуть нож в нашей еще кровоточащей ране. Пассала пронюхал, что это орут агенты-провокаторы префекта Кресона, которых спасает только отсутствие свечей.

Сапожник взрывается.

— В наши ряды проникли мошенники и шпики с намерением обесчестить Бельвиль. Нас хотят довести до крайности. Граждане, будьте осторожны! Мы могли бы ответить на провокацию, двинувшись еще раз на ратушу, и мы могли бы взять штурмом тюрьму Маза, как наши предки взяли штурмом в восемьдесят девятом Бастилию...

В силу какой-то странной магии начинается серьезная дискуссия, в которой все присутствующие, взвешивая каждое слово, принимают участие с одной-единственной целью — иного объяснения не знаю: быть достойным Бельвиля; дискуссия логически заканчивается решением созвать собрание, дабы бойцы и их командиры могли дать объяснение.

После 20 декабря.

Омнибус «Н». Предок, Жюль и Пассала возвращаются с похорон матери Бланки. Префект полиции решил воспользоваться подходящим случаем. И наказал своим легавым: «Ясно, что он пойдет за гробом матери. Приказываю следить за домом покойной; смешаться с похоронной процессией, беспорядков не чинить: мало-мальски ловкий человек найдет случай вручить повестку об аресте, датированную еще позапрошлым месяцем, этому неуловимому фанатику...»

Но полиция Рауля Риго взяла похоронный кортеж под свое наблюдение, она опознавала агентов префектуры и следовала за ними по пятам. Их начальника окружили плотным кольцом вооруженные национальные гвардейцы и выпустили только тогда, когда Узник, как положено, проводил свою мать к месту последнего упокоения.

В неровном полумраке Зала Фавье горячо обсуждается вечный во-

прос: поголовная реквизиция, обязательное всеобщее распределение продуктов. Гражданин Болонь объясняет:

— Следует реквизировать все съестные припасы как у частных лиц, так и у торговцев; потом распределят их равными частями, бесплатно — для бедных, за деньги — для богатых.

— Неужто всегда будут бедные и богатые? — слышится чей-то робкий вопрос.

— Всегда при королях, вот при Коммуне — другое дело!

Сейчас Бельвиль, как никогда, упорно требует Коммуны.

— А еще нам нужна постоянно действующая гильотина!

Это крикнул с места Мумут.

■

Миновал сотый день осады. Никаких вестей ни от отца, ни от дяди Фердинана. Не знаем, что делается за укрепленной полосой. Может, вся Европа куда-то переместилась, Альпы сползли в море, а Париж — просто-напросто черный, запертый наглухо склеп. Мир интересуется им не больше, чем мертвым городом, о существовании коего уже забыли.

Первый день рождества.

Вчера Мартен Мюзеле принес нам последние су. Собрал он их около Пер-Лашеза, обходя участников похоронных процессий. Сторожа и служащие кладбища тоже дали каждый по бронзовой монетке.

— Сейчас будем отливать пушку «Братство»,— заявила Марта после окончательных подсчетов.

Это недалеко: литейная братьев Фрюшан расположена на углу улиц Ренар и Ребваль, рядом с газометром.

■

Заправляет в литейной один из братьев Фрюшан, невысокий человек лет пятидесяти, с седыми усиками и пышными бакенбардами. Под узкими глазами набрякли такие мешки, что кажется, будто этот весьма элегантный господин носит очки. Попасть к нему в кабинет не так-то просто. Мы ждали целый час под дверьми на перекрестке улиц Ренар и Ребваль на ледяном ветру, пока не явился привратник и не сообщил, что господин управляющий соблаговолит нас принять, но только троих. Понятно, отправилась Марта, Пружинный Чуб и я.

Я не сразу сообразил, что блаженное чувство, охватившее меня, вызвано не чем иным, как теплом. Хотя помещение огромное, в нем так упоительно-тепло, что слезы на глаза навертываются. В дальнем углу у печей бронзировщики работают полуголыми.

По металлической лестнице с большими просветами между ступенями нас провели на галерею, нависшую над цехом, где помещалось несколько комнат, в том числе и кабинет самого управляющего.

— Мы хотим, чтобы нам отлили пушку, пушку «Братство».

Управляющий не расхохотался нам в лицо. Видимо, он получил прекрасное воспитание и именно поэтому выражался до ужаса любезно:

— Что ж, хорошо, даже очень хорошо, мои дорогие детки... Ваш патриотический порыв говорит нам, сломленным усталостью и года-

ми, что было бы преступлением сомневаться в будущем нашей родины...

— У нас деньги есть,— перебила его Марта.

— Пять тысяч франков?

— Да. Пять тысяч в бронзовых су.

— Скажите, милая доченька, сколько же это — о господи боже! — будет су?

— Сто тысяч.

— Надо полагать, вес солидный...

— Пятьсот кило.

— Тут обыкновенным портмоне не обойдешься!

— Повозка есть. Можем сразу же заплатить. Хотите, деньги привезем прямо сюда?

— Господи, конечно, нет!

На лице старшего брата Фрюшана явно читалось страдание: «Ничего же не горит»,— но он сразу поправился:

— Такие вещи быстро не делаются. Пушка — это дело государственное. Давайте возобновим разговор на следующей неделе. Подумайте сами, ведь сейчас рождество! Скажите, деточка, ведь у ваших папы и мамы найдется какой-нибудь пустячок, чтобы эта ночь при всех трудностях осады осталась у вас в памяти? Ну, что-то нам принесет дед-мороз?

— Пушку.

Господин Фрюшан не мог удержаться от улыбки. И снова терпеливо повторил все свои доводы: пушку нельзя заказать, как костюм у портного.

— А мы костюмов и не заказываем,— отрезала Марта.— Деньги у нас есть, сделайте нам пушку. Точка. Все.

Любезнейший господин Фрюшан начинал терять терпение: в конце концов, торговать пушками — это не то, что торговать солью в бакалейной лавке. Его заведение работает только на правительство. Наше предложение хоть и очаровательно само по себе, но неожиданно... Единственное, что он может нам посоветовать,— это предоставить делу идти нормальным путем. А от встречи с нами он получил просто огромное удовольствие. Молодежь Бельвиля оказалась именно такой, как о ней говорят, вполне достойной Виала и Бара. Наше появление здесь, в этом пыльном кабинете, для него словно бы рождественский подарок, он от души благодарен нам, желает нам всяческой удачи, чего мы вполне заслужили, и если бы это зависело только от него одного, он охотно задержал бы нас еще просто ради удовольствия с нами поболтать.

— Пружинный Чуб,— скомандовала Марта,— беги и собери народ. А мы будем сидеть здесь, пока пушку «Братство» не начнут отливать.

Управляющий вытер лоб вышитым платком. Правда, в кабинете было жарко.

— Мне сдается, что вы не совсем ясно поняли сам принцип сбора,— проговорил он на сей раз не без труда.— Тем-то он и хорош, что символичен...

— Сим... чего? — сварливо переспросила Марта.

— Словом, это символ. Если вы прочтете в газетах, что такой-то округ, или такая-то ассоциация, или господин Виктор Гюго, или господин Курбе подарили армии пушку, это означает, что они дали правительству национальной обороны пять тысяч франков!

— Виктор Гюго! Густав Курбе! Разве они такие дураки?

— Просто эти господа знают законы, мадемуазель.

— Ничего не поделаешь, а мы наши су Трошю не отдадим.

— Но ведь военный губернатор Парижа не себе деньги берет. Он вручит их нам — в частности, мне или какому-нибудь другому хозяину литейной.

— А мы даем деньги прямо вам и хотим сами следить, как нашу пушку будут делать!

Фрюшан воздел руку к небу. Марта так и не присела. Только кинула на ближайшее кресло свое страшненькое, неумело перекроенное пальтишко. Слегка расставив коротенькие ножки, сжав кулаки, Марта, вся дрожа, стояла перед управляющим и держала его под прицелом своих черных глаз, а тот, поеживаясь, пустился в новые объяснения: собранные деньги сосредоточиваются в окружных мэриях, а тем даны все дальнейшие полномочия. Нам нечего бояться, напротив, наша пушка будет носить выбранное нами имя, и весь Париж будет знать, что она от нас... Он даже сообщил нам адрес нашей мэрии — это совсем рядом.

— Клика узурпаторов не получит даже сотой части из наших денег!

— Каких узурпаторов? — ошеломленно пролепетал Фрюшан. Он-то, надо полагать, клубов не посещал.

— Аптекарь, мясник, книготорговец, врач и остальные хозяева,— уточнила Марта, имея в виду временную муниципальную комиссию, назначенную правительством девятого ноября с целью заменить Ранвье, Флуранса, Мильера и Лефрансе — избранников народа. И презрительно прошипела: — Видать, он ни о чем и представления не имеет...

На галерею поднялись сначала двое литейщиков, потом еще трое, потом целых пятеро. И среди них наш Фалль. При них-то и разыгралась сцена между Мартой и хозяином. Рабочий день кончился. Через застекленную стенку галереи можно было видеть все, что происходит внизу — машины, литейщиков, как они остужали печь, складывали инструмент и сбрасывали рабочую одежду. Многие из них о чем-то спорили с Торопыгой, Мартеном Мюзеле и Аделью Бастико, ухитрившимися пробраться в литейную с главной целью — погреться.

У подножия лестницы толпились люди. Это наши, из Дозорного тупика, пришли начать переговоры с литейщиками. Каждый, не отдавая себе отчета, чувствовал, что вырвать заказ на знаменитую пушку «Братство» именно в такую ночь — значит на свой лад отметить праздник рождества в не знающий праздников 1870 год.

Фалль переходил от одной группы к другой, но — ни слова. Ведь он-то, с одной стороны, литейщик у Фрюшана, а с другой — стрелок Дозорного.

Поначалу мирные беседы переходили в споры, споры становились все резче, но тут в литейной началась какая-то толкотня и в дверном проеме появились новые действующие лица. Это оказался аптекарь Диссанвье в окружении таможенников — их перевели за отсутствием работы в муниципальную полицию,— и аптекарь с порога приказал немедленно очистить помещение литейной, поскольку она находится в ведении и подчинении министерства вооружений. С этими словами он поспешил убраться, однако на прощание пригрозил: ежели фабрика не будет закрыта, как положено, через два часа порядок будет наведен силами воинских частей.

— Это тварь Фрюшан их вызвал,— проворчал Маркай, секретарь профессионального союза.

— А ну, разжигай печи,— скомандовал Легоржю, производивший впечатление колосса, хотя брал он не так ростом, как разворотом широченных плеч.

Литейщики снова обрядились в кожаные фартуки, а Гифес с Пальятти поставили у дверей часовых, на тот случай, если таможенники, руководимые аптекарем, перейдут к враждебным действиям.

Температура в помещении, резко упавшая во время споров, стала подниматься до положенной — и не только потому, что загудела печь, осветив добрую половину литейной. Сейчас у каждого литейщика было сколько угодно подручных. Всеобщее ликование росло так же быстро, как распространялось по этому храму железа и кирпича тепло печи. Смех, шутки, обрывки песенок, беспричинные крики слышались то в одном, то в другом углу.

— Вы хотите ее «Братством» назвать? — обратился к Марте не то в насмешку, не то всерьез Фигаре, рабочий, который наносил буквы в опоке.

— А как же! — ответила Марта.— И раз уж такой разговор пошел, не сделаете ли вы нам еще один пустячок, ерундовину какую-нибудь, чтобы наша пушка не такая голая была?

Просьба Марты зажгла все сердца. Она права! Эмблема — вот что нужно, чтобы заменить на бронзовом лафете крылья Баденге. В конце концов восторжествовало предложение Мумута и примирило спорящих — изобразить фригийский колпак.

— Попробую сделать получше,— пообещал Фигаре.

— А где же бронза, доченька? — гнул свое мастер Тонкерель.

— Иди, Флоран, запрягай Бижу.

■

Наш славный старикан Бижу бодрствовал. Мне почудилось даже, что он нас ждет. И когда я запряг его в ледянистой тьме тупика, он радостно заржал. Марта обрушилась на меня за то, что я работал молчком. По ее словам, надо, чтобы все добрые люди повскакали с постелей, чтобы узнали они наконец, что нынче ночью отливают нашу пушку «Братство». Мадам Чеснокова, Труссетка и вдова бедняги Вормье высунулись в окна и, выслушав наш рассказ, присоединились к нам, а мы с помощью Зоэ укладывали в повозку мешочки с бронзовыми монетками.

Выехав из тупика, мы затянули «Песнь отправления», а повозка с каждым поворотом колес так дребезжала и грохотала, что, несмотря на лютый холод, вдоль всей улицы Ребваль распахивались окна.

Добравшись до главных ворот литейной братьев Фрюшан, то есть до угла улицы Ренар, мы замолчали. Колокола Иоанна Крестителя заливались, празднуя рождение божественного дитяти. Все церкви и соборы ответили ему звучными голосами меди над белесой, скованной холодом громадой загнанного, как зверь в клетку, города, а вокруг него молчали французские и прусские пушки, так как было заключено перемирие.

Наш медяковый кортеж торжественно въехал через широко открытые ворота прямо в литейную под радостные восклицания детворы, собравшейся здесь и блаженствовавшей в тепле. Новость быстро распространилась по Куртилю, и ораторы из клуба Равье, некоторые даже с чадами и домочадцами, сбежались посмотреть.

Лавируя между горнами, канавами, тележками, станками, наша повозка подъехала к печи № 1. Там Бастико — неизвестно откуда взявшийся Бастико! — подставляет спину, и ему взваливают на хребет первый мешочек весом в двадцать пять килограммов. Стоя у литейной канавы, Барден хватает мешок за ушки и одним движением вскидывает себе на плечи. Фалль и Тонкерель, примостившиеся у печи, берут мешок, подносят его к тиглю, вокруг кото-

рого толпится целая орда. Литейщик с мастером осторожно опрокидывают мешок, и оттуда тоненькой непрерывной струйкой течет бронза.

В минуты передышки, когда один мешок уже опорожнен, а другой еще не поднесли, когда стихает звяканье монеток, воцаряется такая тишина, что слышно довольное сопение младенчика Сидони, который, разомлев в тепле, спит себе и улыбается во сне.

Мы как зачарованные любовались этим бурлением, словно перед нами была колба алхимика. Для нас в этой струе, куда сливалось двадцать бронзовых потоков, это были не просто монеты, умиравшие в огне, а нечто несравненно большее, целые миры бед и радостей, улыбок и нерешительности, порывов, усилий, столько минут и столько часов, столько лестниц, по которым карабкаешься на чердак или сбегаешь в подвал, столько лиц и столько личных драм, прошедших перед нами с той первой недели октября, когда мы начали сбор денег.

Когда Фалль с Тонкерелем вытряхнули в завораживающее кипение металла последний мешок, когда последние пять сантимов, застрявшие в складках холстины, исчезли в пламени, где им предстояло перейти в иное качество, Марта воскликнула:

— А теперь поди попробуй сказать, что это не наша пушка!

Как и всегда в знаменательные минуты своей жизни, Марта испытывала потребность смотреть на происходящее сверху. Поэтому мне пришлось последовать за ней сначала по обыкновенной лестнице, потом по узеньким металлическим лестничкам, по которым взбираются к стеклянной крыше. Там мы устроились на каком-то выступе в закоулке, образованном потолочными балками. Сидели мы, тесно прижавшись друг к другу. И тут Марта бросила на меня высокомерный взгляд, в котором явно читалось: «А теперь можешь любоваться моим народом!»

Перед нами громоздился собор, храм жизни, где молитвой служит труд, где единственным богом, подлинным богом является народ.

Труйэ и Бараке, двое литейщиков в кожаных передниках, оба коренастые, один — светлый шатен, другой — брюнет, похожие друг на друга как две капли — только одна капля медовая, другая чернильная,— взялись за железные шесты с расплющенными концами, как у пекарской лопаты. У печи Тонкерель готовился дать команду открывать летку.

Одурманенные видом этого медлительного жирного потока, люди шепчут и шепчут про себя: «Это наши бронзовые су, это они»,— но никто уже не может их признать. Матирас опустил свой рожок, не извлекши из него ни звука. Предок забыл о своей потухшей трубке, и пепел сыплется ему на грудь рубашки; Сидони спрятала личико своего младенца себе под мышку, чтобы защитить от огня; Мумут щурит близорукие глаза, Феррье стоит с открытым ртом. Приподнявшись на цыпочки и застыв в этой неудобной позе, Марта впервые в жизни бледна как полотно, Марта, посеребренная отсветами расплавленной бронзы. А потом все одинаковым движением расстегивают верхние пуговицы своих одежонок. Губы Торопыги непрерывно шевелятся, а Пружинный Чуб бормочет вслух:

— Наши су, наши маленькие су! — Но от них уже ничего, совсем ничего не осталось, кроме этого жирного, пышущего жаром молочного ручейка...

Тонкерель ворчливо бросает:

— Ну, вот и все...

Становится холодно.

Марта застегнула пуговку рубашки... С самыми благими намерениями, по крайней мере я так считал, я накинул ей на плечи ее обожаемое пальтишко, но она поблагодарила меня бешеным взглядом — видно было, что она охотно поубивала бы всех литейщиков.

Фалль, специалист по полировке, в тревоге наседает на Сенофра, мастера по сплавам:

— Думаешь, выдержит монета — ну, бронза эта самая?

— А кто ее знает? Еще ни разу не пробовали. Нормально для пушек требуется сплав, куда входит девяносто четыре процента меди, пять процентов олова и цинка... А кто знает, что намешал в эти самые су наш Баденге. Уж не говоря о золотых и серебряных монетах, они и с мелочью небось такого намошенничали...

Марта тянет за рукав то Фалля, то Тонкереля:

— Как? Как? Пушка плохая получится?

С грустной улыбкой литейщики говорят, что вроде бы нет, но только все возможно и даже довольно часто случается.

Марта топочет ногами:

— Скажите, что же делать? Чтобы хорошо получилось?

— Молись.

■

Красное вино — целый бочонок — исчезло в глотках, погасив сжигавший их огонь и готовые вырваться крики. Хмель шел от другого. Откуда-то из нутра. Литейщики, с радостью, добровольно взявшись за работу, считавшие ее своим личным делом, испытывали сейчас, после этих часов редко выпадающего на их долю морального удовлетворения, вполне объяснимое беспокойство. Уже воскресенье, и что-то скажут братья Фрюшан, когда в понедельник утром все, как обычно, сойдутся на работу? Хозяева вполне способны разбить опоку, не дожидаясь конца операции, чтобы забрать себе металл — металла-то у них не хватает даже для официальных заказов.

— Иной раз непонятно даже, что их разбирает, вдруг начнут во все дела мешаться и еще нас «организовывать»,— рассказывает Легоржю.— И всякий раз — ну чистая беда!

— Без них,— подтвердил Маркай,— если бы мы сами, по-своему взялись, в полтора раза больше пушек отлили бы, и качеством они были бы куда выше!

— Тогда почему же,— негромко спросил Предок,— вы хотите возвратить братьям Фрюшан вашу литейную?

Рабочие кинули удивленный взгляд на старика — тот, улыбаясь, чистил себе свою трубку-носогрейку,— потом потупились. Наступило долгое молчание.

— С ихней точки зрения, подчеркиваю, с ихней,— начал Сенофр,— с точки зрения Фрюшанов, эта пушка им принадлежит, коль скоро вы за нее не уплатили.

— Как это не уплатили? — взвизгнула Марта.— Ведь пять тысяч франков бросили в вашу хреновую плиту!..

— Тише, тише,— пытался успокоить ее специалист по сплавам,— вы дали только металл. А это составляет лишь небольшую часть стоимости пушки. Вы заплатили пять тысяч франков за бронзу, а за работу, на разные там расходы и... и... еще прибыль для Фрюшанов должна очиститься. Завтра или послезавтра, когда пушка будет готова и вы пожелаете ее забрать, хозяева сумеют вам помешать. С их точки зрения, это воровство.

— В таком случае, почему бы не забрать вместе с пушкой и литейную? — по-прежнему не повышая голоса, но настойчиво произнес Предок.

— Мне-то сдается, что Фрюшаны вообще пошли бы нам в этом отношении навстречу,— заявил Гифес.

По словам рабочих, управляющий, в сущности, ничем особенно не рискует. Ведь из литейной ничего не украдено, ничего не испортилось. Сверх того, предприятие Фрюшанов работает на оборону, братья знают, что их рабочие настроены достаточно патриотически, и, конечно, не предпримут ничего, что могло бы повредить производству; он также считал, что они устали и, конечно, проведут рождественские праздники в кругу семьи. И, наконец, хозяин, уверив себя, что все образуется, особенно если удастся избежать стычки с этим Бельвилем, которого он втайне побаивался, спокойно отправился к себе и наверняка заглянул по дороге в полицейский участок при нашем бездействующем муниципалитете-призраке.

— А ведь и впрямь их доблестные таможенники не явились, видно, решили с нами не связываться!

— И никогда не придут, никогда не свяжутся, если литейная будет работать, как рабочий кооператив и без Фрюшанов,— совсем тихо заключил Предок.

Тонкерель даже подскочил:

— А ну, полегче на поворотах, дед, это ведь совсем другое дело, это уже не патриотическая война, а революция!

— Называй как тебе угодно! — завопила Марта, растолкав беседовавших.— Только знай: мы нашу пушку добыли! Ах, краденое, видите ли! А пять тысяч монет, это что такое? Ведь Бельвиль своим потом и кровью их заработал, по грошику нам давал! Так что в пушку вложено все наше добро! Тут на аптекарских весах не взвесишь!

— Чудачка-девчонка...

— Я ее сразу приметил,— улыбаясь, переговаривались рабочие.

Женщины постепенно начали расходиться, завернув своих сосунков в шали и одеяла. Праздник окончился.

Рассвет принес похмелье, холодный воздух разил какой-то кислотой. Я так устал телом и душой, что предложил Марте отправиться в тупик.

— Да ни за что на свете! Здесь будем спать. Вон там, смотри, у печи номер один. Осталось же в ней хоть немножко тепла.

Так она и заснула, привалившись ко мне. А я старался разглядеть высоко над головой сквозь стеклянный потолок, покрытый почти целиком снегом, хоть какой-то знак рождественского утра, ведь должно же оно заняться когда-нибудь и где-нибудь. А моя мулаточка по своему обыкновению ворчала во сне:

— Всегда так, во всем так тоже...— А через пять минут, опять тяжело вздохнув, пробормотала: — Сначала праздник празднуют, а потом... потом...

На колокольне бельвильского Иоанна Крестителя вразлет загудели колокола, встречая великий день, а там, в стороне Сен-Дени, пушкари, плюнув на доброго бородатого папочку, как на детскую игрушку, уже начали палить — и, видать, по-серьезному.

Понедельник, 26 декабря.

Мороз не сдается. В рапорте генерала Шмица, начальника штаба, упоминаются многочисленные случаи обмораживания среди сол-

дат, которых не отпускают на ночлег с их позиций. Хорошо, что у нас есть повод занять литейную. Я пишу неподалеку от печей, которые нынче утром снова разожгли.

Вчера, в воскресенье, ничего нового не произошло. Бельвильские бойцы по очереди сменяли друг друга у таинственной пушки «Братство», еще дремавшей в своей опоке, как зародыш. Мы до того успокоились, что я взял да расположился в кабинете господина Фрюшана, решил записать то, что произошло в рождественскую ночь. Примерно в полдень явился мой кузен Жюль со своим дружком Пассала. По их словам, узурпаторы, засевшие в мэрии, не собираются применять против нас силу, что, однако, не помешает им попытаться взять нас иным манером.

Нынче утром, в понедельник, литейщики вышли на работу. Мне не удалось удержать Марту, и она, подскочив к ним, стала дергать их за рукава:

— Ну как, будем вынимать пушку или нет?

— Ох, отстань, пожалуйста, сейчас не время.

— Вы же сами говорили: двадцать четыре часа, а уже тридцать прошло...

— Слушай, дочка, тебе сказали: не меньше двадцати четырех часов. Если продержим больше, вреда не будет. Хоть в этом-то, кажется, можешь нам поверить!

Явился господин Фрюшан, элегантный, манерный,— словом, такой, каким ему и полагалось быть. Поднявшись по металлической лестнице, хозяин литейной остановился на минутку возле своего наблюдательного пункта и оглядел свои владения. Потом привычным жестом руки подозвал к себе всех мастеров. А еще через четверть часа на трех ломовых дрогах, запряженных каждая шестеркой лошадей, привезли бронзу для официальных заказов. Рабочие деловито хлопотали у опок и печей; гудя, разгорался огонь.

Четверка часовых переглядывалась, переглядывались и мы; все чувствовали себя неловко. Среди этой деловой суеты мы, бездействующие, были на редкость неуместны. Наше оружие и наша стража явно стесняли рабочих, и так как мы отлично понимали это, то и сами почувствовали неловкость. Там, наверху, в своей стеклянной будке господин Фрюшан, покуривая сигару, разбирал корреспонденцию. Литейщики, формовщики и мастера десятки раз проходят мимо нашей пушки, но даже искоса на нее не глянут.

За печью № 3 Барбере и Бараке оживленно беседовали с пятью литейщиками; кстати, их не было здесь в рождественскую ночь. А эта пятерка бросала сумрачные взгляды в нашем направлении.

— Теперь еще Бельвиль будет всем свои законы навязывать,— резко произнес один из них.

Господин Фрюшан, наблюдавший за этой перепалкой со своей вышки, в сердцах удалился к себе в кабинет.

— Вот видите,— прошептал мастер, взяв под руки Гифеса и меня,— из-за вас, чего доброго, может драка произойти. Есть у нас два-три молодчика, которые только этого и ждут. Попробуем добром поладить. Мы уже потолковали с Маркаем. Можете ему полностью доверять, он член Интернационала.

После такого представления секретарь профессионального союза, круглоголовый мужчина с большими черными глазами, с висячими усами и узенькой бородкой, изложил нам принятое ими решение: пушка «Братство» будет доделываться, рабочие останутся добровольно в литейной после окончания смены. Но с господином Фрюшаном можно будет договориться лишь на следующих условиях: стрелки

немедленно покидают не только литейную, но и вообще территорию предприятия.

— Об этом и речи быть не может,— отрезал Гифес.

Тонкерель сердито отошел прочь, а Маркай на прощание бросил типографщику:

— Ты не прав, гражданин.

В полдень, когда литейщики, примостившись у печей, подкрепляли свои силы скудным завтраком, принесенным из дома, Пальятти, Янек, Мумут и Феррье сменили Матираса, Бастико, Пливара и Нищебрата, стоявших на карауле у нашей пушки, по-прежнему зажатой опокою.

Но вот для Марты пересменки нет, она даже на минутку не желает сбегать в тупик. Она, Марта, видит перед собой только одну-единственную цель. И не отходит от нашей, все еще не родившейся пушки.

— А какой для тебя, Марта, самый-самый большой, самый прекрасный праздник?

— Революция.

Ух, черт, до чего же хорошо в литейной братьев Фрюшан! Кожа у Марты на шее, за ушами, на плечах, смуглая ее кожа, теплая и тонкая, напоминает своим оттенком новое лезвие, согретое в ладони; она вбирает в себя и удерживает запахи и как-то удивительно изощренно примешивает их к собственному аромату. Никогда от Марты не может пахнуть плохо, потому что пахнет от нее одновременно и Мартой, и жильем Марты, где бы она ни находилась.

— О чем ты думаешь, Марта?

— О лафете. Кош с Барденом могут его смастерить.

— Ну а колеса?

— Украдем.

Все еще в литейной. К вечеру.

Мы теперь одни в своей компании: Марта, я и наша бельвильская юная орава. В полном сборе. Литейщики то и дело поглядывают на нас, кто лукаво, кто печально, а двое-трое — злобно.

Когда господин Фрюшан перегнулся через перила своего балкончика, рабочие зашумели, каждый по-своему отвечая на его вопрос:

— Чего же вы ждете, почему не разбили до сих пор опоку и не вынули пушку?

— На вашем месте я не стал бы такими вещами шутить, мосье! — бросил ему Маркай.

Как раз в эту минуту подоспели Жюль и его дружок Пассала. Они стали рядом с нами, рядом с Мартой. За спиной каждый держал мячик, но мячик черный, перевязанный ленточкой.

— Бомбы,— шепнул нам Жюль, но тут вошел Барден с Пробочкой.

Работа остановилась. Марта проскользнула и встала впереди меня. От ее волос пахнет до одурения металлом и плавкой, но от этого ее собственный аромат становится еще гуще. Слышно только, как потрескивает в печах огонь...

Господин Фрюшан снова крикнул со своего насеста:

— Тонкерель, вы что, не слышите меня?

Но в голосе уже не звучали повелительные нотки, скорее чувст-

вовалось, что хозяин не прочь попросить совета. Недаром обратился он к одному из самых норовистых своих мастеров.

Тонкерель вместо ответа корчит гримасу.

— Если вам угодно навязать себе на шею еще одну неприятную историю...

Тем временем приходят Предок, Труссетка, Митральеза, Дерновка и Шарле — этот приволок целую орду с улицы Сен-Венсен, и каждый вновь прибывший во всеуслышание объявляет, что скоро, мол, сюда явятся их брательники, соседи, родичи, дружки-приятели и все такое прочее... Оказывается, кликнули клич в Шароне, в Ла-Виллетте и в Тампле...

Громовые раскаты смеха заполняют все помещение мастерской, где только постанывают печи.

Возможно, господин Фрюшан не такой уж знаток по части сплавов и плавки, зато он умеет следить за биением рабочих сердец в своем заведении. И потому спокойно заявляет:

— После работы, Тонкерель, подымитесь ко мне. Постараемся уладить дело... А теперь все к печам, и пускай вся эта... пускай все господа и дамы соблаговолят очистить помещение.

Ночью.

Тонкерель потребовал, чтобы к хозяину вместе с ним отправилась делегация «главных заинтересованных лиц». Таким образом, пошли Предок, Марта и я.

Наши переговоры вкратце можно изложить примерно так:

— Вся работа, выполняемая в моей мастерской, является моей собственностью.

— Позвольте, мосье Фрюшан, ведь малыши притащили свои монетки. Так что бронза, находящаяся в форме,— их собственность.

— Позвольте! Во-первых, не вся бронза. Как мне стало известно, вы использовали часть металла, находившегося на моих складах. Во-вторых, плавку и отливки производили рабочие, которым плачу я, под вашим личным руководством, Тонкерель,— а вам тоже плачу я, и сколько плачу!

— Прошу прощения, мосье Фрюшан, но мы трудились после окончания рабочего дня, за который вы нам платите. А мы имеем полное право работать, не требуя оплаты, особенно для Франции!

— Работайте сколько вашей душе угодно, работайте для кого вам угодно, Тонкерель, но только не с моим сырьем, только не на моем древесном угле...

— Ну, ну, мосье Фрюшан, ведь и вам бы тоже не мешало принести хотя бы маленькую жертву ради нашей Матери-Родины,— с утонченной вежливостью вмешивается Предок,— особенно,— добавляет он, легонько плюнув в чашечку своей носогрейки,— особенно потому, что вы и ваши уважаемые братцы отхватили немалый кусок от пирога, я имею в виду — от военного бюджета.

— То есть как, мосье... мосье... простите, не расслышал вашей фамилии... не могли бы вы выразиться поточнее?..

— Имя мое ничего вам не скажет, так что неважно!.. А насчет уточнений, мосье Фрюшан-младший, извольте: когда по приказу министра Дориана все фабрики и заводы были загружены военными заказами, ваша жалкая литейня, выпускавшая газовые аппараты, совсем захирела, вы были накануне полного краха...

— Позвольте, позвольте, дорогой мосье, ваши необоснованные утверждения...

— Необоснованные? Ну, это как для кого! Разве ваш младший братец Адальбер, известный распутник, тот, что чуть за решетку не угодил, правда за мошенничество,— это разве выдумано? Только потому, что начался сбор пожертвований на пушки, вам удалось его вытащить из беды. А костюмчик, который на вас, вы заказали у Беломбра, как раз на следующий день после декрета Дориана...

— Уважаемый мосье, мы ушли от темы нашего разговора.

— Вот тут вы совершенно правы, мосье Фрюшан.

— Ну хорошо, Тонкерель, вы-то что предлагаете?

— Доделать пушку «Братство» так же, как мы ее и начали,— в неурочные часы. Шашуан освободит ее от опоки, Бавозе пусть ее зачистит, Фигаре — отполирует.

— А вы с ними уже говорили, Тонкерель?

— Да нет, пока не говорил, только они все равно согласятся. Рассверлит ее Удебин, внутри отполирует...

— Ясно, лучшие рабочие... когда работать не на меня, то...

— А скажите,— перебивает его Марта,— у вас не найдется добровольцев сделать нам колеса и лафет?

— Э, нет, малютка! Нельзя просить все разом!

— В сущности,— бросил Предок, и это были его последние слова в директорском кабинете,— единственно, без кого можно прекрасно обойтись, так это без вас, мосье Фрюшан.

Спускаясь по металлической лесенке, Тонкерель то и дело оборачивался к Предку и наконец решился:

— Ну, вы тоже хороши!..

— А чего вы ждете,— проворчал Предок,— почему не выбросите к чертям этих Фрюшанов — братьев-разбойников и К°?

И так как весь тупик с родичами и дружками был еще здесь, ожидая ухода нашей делегации, Шашуан с размаху ударил по опоке, скрывавшей нашу пушку «Братство».

Сосредоточенным молчанием приветствовала толпа освободившийся от оков странный предмет — грязный, бесформенный, похожий на ствол сухого дерева, какой-то бородатый, шелушащийся.

— Не горюйте,— заявил Бавозе, обстукав пушку кувалдой,— вот потрудимся над ней три ночки — и игрушечку получите, а не пушку!

Сенофр, специалист по сплавам, тоже осмотрел непонятный обрубок, поцарапал ногтем, легонько ударил его по боку небольшим медным молоточком.

— Тише, вы...

Ударил еще, несколько раз ударил и все подставлял то одно, то другое ухо, словно не доверяя своим барабанным перепонкам. И наконец с мечтательной улыбкой вынес приговор:

— По-моему, у вашей пушки «Братство» славный голосочек будет.

Отдельные выписки из отчетов, посылаемых Флурансу в тюрьму, дополненные кое-какими подробностями и замечаниями личного характера.

Чаще всего выдвигают такое предложение: дать правительству неделю сроку и за эту неделю добиться снятия осады. Если за это время ничего сделано не будет, вся масса народа пойдет во главе с

республиканскими мэрами — каждый с перевязью на груди — к ратуше и провозгласит Коммуну.

Какой-то оратор из района Елисейские Поля — Монмартр заявил: «Клуб Революции решил, что Коммуна возьмет себе красное знамя. Красный цвет,— уточнил он,— это цвет солнца, огня, самой природы, цивилизации. В древних религиях красный цвет считался божественным цветом. Огнепоклонники обоготворяли красный цвет; давайте приглядимся к этимологии восточных языков, и мы обнаружим, что слово «красный» одновременно обозначает и «прекрасный», то же и в славянских языках — красный там синоним прекрасного...»

Спросили Чеснокова, тот подтвердил, что так оно и есть.

Кто-то ссылается на Французскую революцию, что слушатели неизменно оценивают весьма высоко: «В трехцветном знамени белый цвет означал короля, синий — закон, а красный — народ. Так вот, у нас нет больше королей, сам народ устанавливает свои законы. Потому-то выбор красного цвета для знамени Республики более чем естествен».

ТЕТРАДЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Воскресенье, 1 января 1871 года.
Начало первого.

Уже давно вошло у меня в привычку каждое 31 декабря, когда бьет двенадцать, высматривать в небесах огненное знамение и каждый год с вновь пробудившейся надеждой ждать, что вот-вот откроется новая страница времен. Небо у нас над Авронской равниной глядело на меня дружественно и нежно. Правда, каждый раз я бывал чуточку разочарован, что нет на небе ничего, кроме знакомых звезд, но потом спокойно шел спать, полный доверия к жизни: завтра утром папа задаст корм скотине, прежде чем взяться за починку плуга, мама задаст корм птице, прежде чем взяться за вязание черного чулка; Предок, который храпит в соседней мансарде, расскажет мне о Платоне, Марате, Бабефе, Прудоне или о Бакунине; потом, чтобы развлечь меня после урока, совершит со мной прогулку по ливерпульским докам или сведет под берлинские липы, а то и на барселонские рамблас... Был у нас дом, очаг, дрова, свинья на откорме, варенье и мука, земля, семена, умелые руки; хозяин где-то на отшибе, по имени Валькло, тетя, дядя, маленький кузен в Париже, в пригороде, именуемом Бельвилем, полное мужества сердце, полная голова светлых идей — и никакого тебе бога, чтобы отягощать наши души.

Первый день 1871 года. Пруссаки топчут Авронскую равнину. А сами мы в Париже стреноженном, Париже удушенном, в заживо похороненном Париже. Когда идет снег, нам кажется, будто идет он только над одним Парижем, что там, за кольцом фортов, повсюду во всей вселенной сверкает солнце, что везде тепло, везде радостно жить, что все беды, все десять египетских казней обрушились на город, на этот Вавилон.

Увидят ли когда-нибудь свет мои тетради? А впрочем, что тут записывать, в этом Париже, который осадила смерть? После оспы —

тифозная горячка, бронхит, пневмония, скарлатина, дизентерия, меткая пуля и великолепные тяжелые орудия, целиком отлитые из стали, пушки господина Круппа, ведущие непрерывный обстрел.

Когда пробило двенадцать на бельвильской колокольне Иоанна Крестителя, я вылез на крышу хозяйской виллы. На сероватом от холода небе мерцают звезды. Пушки бьют с удвоенной яростью и зажигают кровавые недолгие зори на горизонте, в той стороне, где Рони. Отдельные разрывы достигают такой силы, что на голом стволе пушки «Братство», стоящей у кузни под навесом, вроде бы выступают серебряные слезинки. Где-то мой отец в плену? А может, сбежал? Может, примкнул к партизанам, действующим в тылу у пруссаков? Нашел ли он своего брата, дядю Фердинана?

А мама день ото дня все сохнет. Она и никогда-то не была крепкой, шумной, болтливой, навязчивой, а сейчас ее совсем не слышно, даже вроде бы и не видно. Пройдет мимо — только вздох, тень какая-то скорбная. Стоит, склонившись над печкой, и пытается на трех прутиках сварить нам что-то вроде похлебки, а свою порцию даже не берет, только так, ложку оближет.

Бижу бьет копытом о камни тупика. Пришлось ему уступить свое место под навесом кухни нашей пушке. А не спит наш старый коняга не только из-за холода. И он — он тоже вслушивается в нарождающийся новый, 71 год, он ведь член нашей семьи и, по-моему, единственный из нас, который не поступался своим достоинством в эти страшные времена.

Мне ужасно хотелось бы провести этот поворотный день вместе с Мартой. Но я не посмел ей об этом сказать. Только одну ночь из трех проводит она здесь, а где остальные две — неизвестно. *(Не то чтобы я ее боялся, но, как бы лучше выразиться?.. Это было знаком уважения с моей стороны. Нельзя же, в самом деле, зажать ласточку к кулаке, а можно, и то если удастся, легонько погладить ее по перышкам. Свободолюбие Марты было ее главным обаянием, единственным ее богатством, ее чистотой.)*

В ночь с 6-го на 7 января 71 года.

Последние двое суток немецкие бомбы рвутся на Левом берегу. Красная афиша, как бичом, подхлестнула Бельвиль.

Красная афиша — это призыв, подписанный ста сорока делегатами от двадцати парижских округов.

«Реквизиция по всему Парижу. Бесплатное распределение продуктов. Всеобщее вооруженное выступление».

«Политика, стратегия, режим, продолжающий империю, решительно осуждается. Место народу, место Коммуне!»

Целый день мы охраняли эти афиши. Шпики, а также женщины и даже ребятишки — ясно, подкупленные — нарочно выбегали на улицу, чтобы их сорвать.

Вскоре последовал ответ правительства, вернее, краткая декларация, заканчивавшаяся следующими словами:

«...Губернатор Парижа не капитулирует.

Париж, 6 января 1871 года.

Губернатор Парижа

Генерал Трошю».

У каждого из этих двух объявлений собираются шумные толпы.

— Ясно, Трошю только перед Бельвилем клянется, что не капитулирует.

Господину Клартмитье, хозяину магазина «Новинки», утверждавшему, что «наша» Коммуна придет слишком поздно, гордо ответил Мумут:

— Если она придет слишком поздно, чтобы спасти Париж, мы его тогда сожжем вместе со всеми потрохами, с реакционерами, себялюбцами, с заносчивыми хозяевами и со всей этой швалью — лавочниками, которые как клопы сосут кровь из бедного люда. Сожжем пруссаков, тех, что внутри, и тех, что снаружи!

— А сами-то вы куда денетесь?

— Неважно куда! Найдем уголок и там будем насаждать Свободу и Республику!

— Если бы даже пруссаки прорвались через укрепления,— добавил Матирас,— у нас хватило бы времени водрузить красное знамя над ратушей и, собравшись с силами, изгнать врага. При Коммуне все можно сделать!

— А вы хоть знаете, что такое эта Коммуна? — спрашивает кто-то.

Ответы летят с такой же быстротой, как неприятельские бомбы. Это — «Все права народу!» Это — «Справедливое распределение продуктов!» «Народное ополчение!» «Наказание предателей!» «Всеобщее обучение!» «Средства производства — рабочему!» «Землю — крестьянам! «Пролетарии в Опере!» «Биржа, переоборудованная под госпиталь!» «Сорбонна для обучения бедняков!» «Полиция против богачей!» «Хозяев в лачуги!» «Пролетарии — за пушкой, а не перед пушкой!» «Медицинская помощь, оплачиваемая государством, бесплатные лекарства!»

Тут Бастико подвел итог спорам с каким-то детским и раблезианским смехом:

— Коммуна, стой-ка... Она и есть Коммуна! — Слова его были встречены хохотом, аплодисментами.

Просто ли разговоры, ссоры ли, но шум не прекращался до вечера. Продолжалось все это и ночью во время застолья в «Пляши-Нога».

■

«Талоны на одну пару суконных туфель или на одну пару сабо выдаются гг. Ротшильдами, получать в Гранд-Мэзон-де-Блан, бульвар Капуцинов, № 6, Париж.

Действительно до 20 января 1871 года».

■

Пересечь из конца в конец Париж в фарватере Марты — это не просто пойти погулять. Каждый перекресток, каждый переулок, даже угол тротуара или обыкновенная тумба непременно вызовут у нее какие-нибудь воспоминания, так что она еле справляется с их напором.

На улице Анвьерж, потом в пассаже Исси, наконец на улице Марны Марта замедляет шаг, прислушивается, будто ей чего-то не хватает. Я все сразу понял, когда проходили мимо станции Менильмонтан. Окружная железная дорога бездействует. Чернушка заглядывается на сады, поля, погребенные под пухлыми пластами снега. У перронов чисто подметено — такова сила привычки. Вопросов я не задаю, я целиком положился на Марту. Иду за ней след в след, смотрю туда, куда смотрит она, даже наши мысли — в унисон. Когда она вот так уставится на Париж, она его не просто видит — она раздевает его взглядом.

Мясник на улице Оберкан торгует только ошметками трески, селедкой, превратившейся в окаменелость, а также побитой долгоносиком чечевицей; его сосед, сапожник, чья мастерская на углу улицы Фоли-Мерикур, тоже пустился в коммерцию: продает паштеты весьма сомнительного происхождения; прачка с улицы Рампон предлагает желающим солонину по ценам, считающимся «умеренными»; в витрине парикмахерской на улице Мальты мирно соседствуют парики и банки консервов.

Именно утром стоит поглядеть на площадь Оперы. Ну настоящая ярмарка — чего только там нет: в одном углу сложены барабаны, составлены в козлы винтовки, и гвардейцы, прежде чем построиться в ряды, болтают группками, чисто как барышники; а на тротуарах разбиты ларьки, и продавцы под зонтами предлагают желающим снедь, от которой свинья и та бы рыло отворотила. На парадной лестнице театра идет меновая торговля. Тут можно сменять часы на ворону или пару довольно еще приличных ботинок на чуть початую палку колбасы. Продавцы, покупатели, нищие, шлюхи — все это толкается, кружит. У ресторанов, где цены не лимитированы, стоят кольцом зеваки, им интересно смотреть, как оттуда выходят румянорожие зубоскалы, тяжело отдуваясь от приятной сытости, переполняющей желудок, перекрикиваются, поздравляют друг друга с хорошим обедом. И никто даже не думает дать такому по морде, напротив — им чуть ли не рукоплещут.

Человек тридцать сгрудились у витрины ювелира, где одна половина отведена под драгоценный товар, а другая — под живую птицу.

Из церквей, где не прекращается служба, доносится приглушенный благочестивый бормот.

— Первым делом,— ворчит Марта,— в небо бабахнем и убьем!

— Что это ты мелешь? Нельзя ли выражаться поточнее?

— Чего точней! Бабахнем, глядишь — кто-нибудь оттуда и свалится.

По площади снуют торговцы и предлагают свой товар — осколки снарядов, упавших на Левом берегу. На площади Согласия статуя Страсбурга вся разубрана цветами, пожалуй, теперь еще наряднее, чем когда-либо. Отдельные группы, ассоциации, даже военные батальоны с музыкантами во главе подходят и подходят, кладут венки, склоняют знамена, дают обеты...

Марте приспичило посетить Лувр.

— Живописью интересуешься?

— Не морочь мне голову! Сейчас в Лувре оружие делают.

Смотрителям, пытавшимся преградить нам путь, она бросила:

— Нам надо отца повидать, мама наша помирает.

— А где он, отец-то твой?

— Он на нарезке пушек работает.

Мы идем по галереям, где размещаются многочисленные бюро контроля и приема орудий, потом через огромный тронный зал, где ужасно разит от жаровен: здесь, оказывается, переделывают ружья с устарелым затвором на более современные. Марта рыщет взглядом среди рабочих, которые трудятся в картинной галерее, выбирает одного старичка в очках с добродушной физиономией — он чем-то смахивает на Лармитона. Старичок вовсю работает лобзиком.

— Скажите, пожалуйста, здесь делают лафеты для пушек?

— Нет, доченька, не здесь. Мастерские перевели на Лионский вокзал.

— Непременно туда зайдем,— бросает Марта, выйдя из Лувра,— только попозже. А теперь хочу посмотреть, как бьют по Монпарнасу. Сейчас самое время.

— А ты не боишься?

— Как это не боюсь? Что же, я не женщина, что ли?

Бомбы падают на Люксембургский сад и на Валь-де-Грас. Продираемся сквозь облако дыма — это только что разворотило бомбой книготорговлю на улице Казимира Делавиня. Люди сбегаются, накинув пальто прямо на исподнее. Под ногами скрежещет битое стекло. Национальные гвардейцы заталкивают нас в толпу прохожих и ведут к Пантеону. Со стен здания на углу Суффло большими пластами отваливается штукатурка. Балкон на втором этаже гнет в пустоте свою искореженную решетку. Для вящей убедительности загонявшие нас в укрытие гвардейцы рассказали, что близ Люксембургского музея уже взорвалось более двадцати снарядов, а в музее собраны лучшие произведения современного искусства; взрывы были также и в саду, где находится госпиталь (знаменитые теплицы музея, равных которым вообще нет в мире, были полностью уничтожены). В Валь-де-Грас двое раненых, из них один гвардеец, были убиты прямо на койках.

— Ух, кровопийцы! А ведь госпиталь узнать нетрудно, его купол издали виден!

С десяток беглецов с улицы Сен-Жак. Там только что упала бомба перед музеем Клюни. Бежим к Пантеону.

Там мы и провели ночь среди гробниц Монтебелло вместе с жителями округа. Большинство является сюда почти каждый вечер с тюфяками и прочими предметами первой необходимости. Как мы ни спорили, нас с Мартой разлучили. Ее отправили ночевать в огромную подземную галерею, отведенную специально для женщин. Я улегся прямо на каменный пол рядом с какими-то четырьмя молодцами, резавшимися в карты при свете огарка. Под сводами в темноте жители улицы Сет-Вуа жаловались на своих домохозяев.

— И уж конечно лучший погреб ему! Мы хоть в дыру забивайся! И посмотрели бы, как он там, мерзавец, устроился: стены обоями оклеил, полочки понавешал, ему что — может год сидеть со всеми удобствами. А еды на десять лет припас. Ну, я и выбрал себе в качестве отеля усыпальницу великих людей...

Разбудила меня песенка:

У Шарантонских ворот
Бисмарк свою бабу бьет...

В подземных галереях усыпальницы великих людей весело играет ребятня.

Когда я спросил Марту, о чем говорили в их убежище ее соночлежницы, она фыркнула:

— Радуются, шлюхи, что по декрету вдовы убитых при бомбардировке приравниваются в правах ко вдовам погибших воинов.

Мы свернули на улицу Сен-Жак. По льду резво носились маленькие конькобежцы, ибо рукав Сены от моста Сен-Мишель до Нотр-Дам замерз.

■

Пятница.

Бельвиль закипает, как вулкан. Без трубы, без барабанов. На улицах почти не видать людей. Лава еще не течет по склонам, но она кипит и пылает в глубинах, я чувствую ее жар под ногами.

Бельвиль не простил бессмысленной гибели своих национальных гвардейцев: на улице Ребваль плачут детишки, на улице Ренар вопят женщины, несут тела павших стрелков. «Их нарочно убили»,— рыдает мадам Армин, вдова бочара с улицы Лезаж. Бузенвальская резня похожа на урок: «А-а, вам хотелось понюхать пороху? Хотелось подраться с пруссаками? Пожалуйста, сколько душе угодно». Трошю выразил это во всеуслышание, во всяком случае, сказал примерно так: «Если во время боя падут двадцать или тридцать тысяч человек, Париж капитулирует. Национальная гвардия согласится на мир, лишь если потеряет десять тысяч бойцов».

■

Капитуляция? Слово это рушится со всех лестниц, врывается в лачуги и предместья, начиненные порохом и готовые взорваться под угрюмым холодным небом, катится, отскакивая от стен, подобно шару.

Понедельник, 23 января.

Слухи о том, что капитуляция — дело самых ближайших дней, пожалуй, уже не слухи. С утра той безумной субботы в Лувре идут переговоры между правительством и мэрами. Среди мэров есть еще несколько настоящих патриотов, например, Моттю из XI округа, Клемансо, мэр Монмартра,— они-то и держат народ в курсе дела, сообщают о готовящемся предательстве. К вечеру большинство стрелков собрались в Сент-Антуанском предместье, чтобы присутствовать на похоронах полковника Рокбрюна, убитого под Бузенвалем.

— Идем к тюрьме Маза! — крикнула Марта.

— Надо бить в набат!

— Верно, все к тюрьме Маза! — подхватил Мумут.

— А по пути тушите газовые рожки,— приказал Жиро.

— Это мы с превеликим удовольствием. Раскокаем их, а ветер доконает!

Нам попадается полицейский фургон, может, в нем наши друзья. Мы останавливаем его, осматриваем... Однако там одно жулье... пускай себе едет дальше! Капитан Монтель расставляет своих людей на углах, чтобы они могли следить за Лионской улицей и бульваром Маза. Так, дюжина за дюжиной, сея на своем пути мрак, мы собираемся перед тюрьмой Маза. Эх, пушечку бы нам, впрочем, на худой конец сгодится и поливальная бочка, брошенная без присмотра. Мы катим ее с оглушающим грохотом.

— П-е-е-ер-вая б-а-а-а-та-а-рея, слушай мою команду! — орет дядюшка Патор, уже старик, а тем временем барабанщики выбивают дробь, а капитан Сеген выстраивает нас вдоль тюремной стены.

— Рота, налево... вторая рота, вперед...

Гифес кричит:

— Высаживайте ворота! — Домкратами и клещами, брошенными на соседней стройке, наши уже разворачивают каменное крыльцо.

Тем временем один из наших офицеров, лейтенант Бержере, велит вызвать начальника стражи.

— Воспользуемся моментом! — задыхаясь, шепчет Марта; впрочем, эти мысли многим из нас приходят в голову.

Град ударов обрушивается на створку полуоткрытых ворот, напрасно часовые стараются ее прикрыть — приклады делают свое

дело. Мы продвигаемся, отвоевываем несколько сантиметров. Как ни узка щель, Марта и Нищебрат проскальзывают внутрь. Какие-то удары, два-три приглушенных стона, и дверь распахивается во всю свою ширь. Эфесом шпаги Жиро оглушает какого-то спесивого наглеца, пытающегося преградить нам путь.

— Флуранс? Где Флуранс?

Стражник сосредоточенно листает списки заключенных, отыскивая номер камеры, будто он его наизусть не знает! Так бы и искал до бесконечности, если бы вдруг к нему не вернулась память, правда вместе с громким ойканьем. Чудо сие совершил Нищебрат, кольнув штыком стражника в заднюю часть.

Мы растекаемся по коридорам тюрьмы, и эхо множит крики под сводами.

— Откройте же, черт побери!

— Хвати его по заднице прикладом!

— Сунь ему под нос револьвер!

Бежим, отталкиваем перепуганных стражников, ничего не чувствуя,— только сейчас я ощутил холод тюрьмы Маза, о котором Марта мне раньше рассказывала.

— А где Флуранс? Каким путем он прошел?

Один из граждан отказывается покидать свою камеру, так мы и не поняли толком почему. Но сейчас не время вступать в дискуссии. Тут стражники опомнились и стали полукругом в вестибюле возле входных дверей. Наши — Гийом, Дюмон-типографщик, еще один Дюмон и несколько стрелков — делают свое дело.

— Густав? Он уже на воле.

Перед аркой на примкнутых штыках играют блуждающие огоньки факелов. Кто-то приводит Флурансу белого жеребца, а тот, испуганный криками и светом факелов, сердито бьет копытом... Положив ладонь на переднюю луку седла, с обнаженной головой, без кровинки в лице, наш вождь вступает в краткий спор с Эмбером и Жиро, которые хотят сразу идти к ратуше, а другие предлагают идти штурмом на тюрьму Консьержери.

— Легче легкого повторить ту же операцию,— спешит выложить свои доводы Альфонс Эмбер.— Снимаем часовых, берем в свои руки власть. На заре Париж узнает, что хозяева города — мы. И он, Париж, конечно, нас не прогонит...

— Идем подымать Бельвиль,— как отрезает Флуранс.

— Мы таким образом откладываем решение и бездействуем,— протестует Жиро, а ведь он из нашего предместья.

Флуранс вскакивает в седло, пришпоривает коня и кричит:

— Кто меня любит, за мной!

Чистокровный жеребец легко берет ограду — белесый призрак. Все дружно шагают за этим белоснежным панашем.

■

Из тюрьмы мы отправились к мэрии XX округа, где я и пишу, расположившись за столом секретаря.

Мы без труда заняли здание муниципалитета на Гран-Рю. Надо сказать, что во время перехода от тюрьмы Маза к церкви Иоанна Крестителя, особенно когда мы шли через Сент-Антуанское предместье, Ла-Рокетт и Менильмонтан, ряды следовавших за белым жеребцом более чем удвоились. Очутившись в мэрии, Флуранс первым делом позаботился о своих освободителях, многие из них пришли с передовых постов и ничего не ели с самого утра. Он вынул из кошелька двадцать франков и послал братьев Родюк купить хлеба в

ближайшей булочной. Но было уже поздно, и, конечно, никакого хлеба они не достали. Тогда Флуранс, подписав бумагу о реквизиции, выдал аккуратно каждому бойцу по маленькому кусочку хлеба и по стакану вина, велев взять их из запасов мэрии — примерно около сотни пайков. Мумут и кое-кто из бойцов перебежали улицу и ударили в набат.

Среда, 25 января.

Флуранс то и дело переходит от гневных вспышек к унынию.

— Жюль Фавр поставил нас вне закона, это просто возмутительно. Мы против капитуляции, против бесчестия Парижа, против разорения Франции — значит, мы враги отечества и нас следует истреблять огнем и мечом... Солдаты ведь вполне могли бы стрелять в воздух — куда там, они целили в народ, и специальные отряды без предупреждения открыли огонь по толпе. Недаром Трошю втолковал этим бедолагам бретонцам, что народ Парижа противится заключению мира, а следовательно, еще далек конец их бедам, и добился того, что Париж стал им ненавистен. Они без зазрения совести стреляли по безоружным гражданам, по женщинам и детям. Всю площадь усеяли трупами! Кое-кому из раненых, как, например, нашему другу Дюмону, удалось спастись, и теперь они вынуждены скрываться, иначе их арестуют, засадят за решетку, подвергнут пыткам, и расправляется с ними то самое правительство, по чьей вине они были ранены...

Он встряхивает своей белокурой гривой, и нельзя выдержать взгляда его угольно-черных глаз, когда он заводит разговор о генерале Винуа, назначенном вместо отставленного Трошю военным комендантом Парижа.

— И это тот самый Винуа, который обнажил фронт, чтобы повернуть штыки против народа, не желающего капитуляции! Гордясь своим первым успехом — наконец-то хоть один успех! — этот бывший сенатор при Баденге решил торжественно отметить свое назначение кровавой расправой над партизанами. И впрямь редчайший случай: генерал является без опоздания... чтобы приступить к арестам.

Но голос вожака мятежников глохнет, слабеет:

— За эту кровавую ловушку мы расплатились сотнями храбрых... Демократия понесла непоправимую потерю в лице бедняги Теодора Сапиа. У него и оружия-то никакого не было, кроме палки, но его опознали и указали на него одному бретонцу, а тот не промахнулся и убил его наповал. Сапиа был сама отвага, и какой ум! А какой изящный писатель! Он, еще совсем юноша, редактировал газету «Сопротивление». Командовал батальоном и был разжалован за свои республиканские убеждения. Он умел увлечь, зажечь толпу. Придет день, и мы отомстим за него. Покараем убийцу!

И снова гневно взлетает его шевелюра, рассыпается прядями. Он сжимает кулак, неожиданно маленький, а длинный-длинный указательный палец тянется к окровавленным далям, лежащим где-то за окнами и закрытыми ставнями салона господина Валькло.

— Убивать людей, а потом их же обвинять в убийстве это, если хотите, значит перейти все границы бесстыдства и лжи, и, однако же, мосье Жюль Ферри спокойно их перешел. В своей прокламации он обвиняет «взбунтовавшихся национальных гвардейцев» в том, что они открыли огонь по Национальной гвардии и по армии. И теперь Париж негодует против тех «взбунтовавшихся», которые если и от-

стреливались, то лишь затем, чтобы прикрыть бегство жен и детей своих сограждан.

И тут же уныло добавляет:

— Оспаривать все эти факты бессмысленно, коль скоро подобные преступления возможны. Им надо убить правду — или правда убьет их. Именно поэтому запрещены республиканские газеты «Комба», «Ревей», а их редакторы арестованы. Трошю старается принудить Париж к молчанию с единственной целью: выдать его пруссакам!

■

Газеты перепечатывают телеграмму командующего 2-м сектором, гласящую, что «Флуранс прикарманил две тысячи хлебных пайков» за время своего краткого — всего несколько часов — пребывания во главе мэрии, в результате чего все булочные в Бельвиле были по приказу господина Жюля Ферри закрыты: «Хотите получить паек, господа и дамы, обратитесь к вашему знаменитому Флурансу!»

— Остерегайся, Густав,— бормочет Предок,— против тебя не только полиция, но и уважаемые граждане, которые считают, что ты вырываешь у них из глотки последний кусок.

■

Нынче утром вышел декрет о закрытии всех клубов. Правительство вдвое увеличило количество военных судов. По слухам, Жюль Фавр отправился в Версаль вести переговоры с неприятелем.

Пятница, 27 января 1871 года.
Сто тридцать пятый день осады.

Пушка «Братство» стоит здесь, в самом центре Дозорного, между двух ям, откуда выкорчевали пни давно срубленных каштанов.

Столько о ней мечталось, что уж и не верится.

— А все-таки мы... мы... ее сделали,— лопочет Марта.

Она не спеша обходит пушку, глаза у нее круглые. Тянет к пушке руку, пальцы в робком, но неодолимом порыве, совсем как малый ребенок, который не может не коснуться диковинки.

Такой, как наша пушка, нигде больше нет.

Кузнец и столяр трудились над ней любовно, они израсходовали на пушку весь запас рабочего пыла, который копили с начала осады, когда оба остались не у дел: работали они так, как едят за столом свой первый обед в день заключения мира. Не пожалели ни собственных рубанков, ни напильников. Зато не осталось ни заусениц, ни раковин — ювелирная работа. Дерево и металл стали нежнее кожи, только одно — белое, другое — темное. Вот поэтому-то наша пушка не походит на своих сестер... Она — подлинное произведение искусства.

Кош и Барден не спали целую ночь, спеша устранить огрехи. До зари провозились, чтобы посмотреть, какой у нее будет вид при дневном свете, а потом осталось еще посмотреть, какой будет вид у зрителей, которые сходились один за другим и боязливо приближались к чудищу. А кузнец со столяром так никуда и не ушли.

Я осмелел и спросил:

— Она, должно быть, тяжелее, чем другие пушки?

— А как же,— гордо ответил Кош.

Сейчас, когда я пишу эти строки, любопытство предместья еще не улеглось. Возле пушки по-прежнему толпится народ — то больше, то меньше. Вдруг раздаются крики, потом наступает тишина, но какая тишина.

Пойду посмотрю, в чем дело.

■

Только что капитулировал Париж.

Первые числа февраля 1871 года.

В те самые дни, когда наша пушка «Братство», сверкая новенькой бронзой, царила над тупиком, десятки, сотни наших орудий были отданы пруссакам или уничтожены по их приказу.

Конец осады словно бы пробудил маму от глубокого сна, теперь для нее все стало ясно: быстренько погрузить наши пожитки, мебелишку и кровати на повозку, кучер подстегнет конягу — и покатим в родное гнездо, прямо в Рони. Родина больше не нуждается в наших мечах, зато земля ждет нашего орала. Мягкая-то мягкая, но железная, когда коснется дела, мама уже видела, как приводит в порядок дом, вместе со мной и Предком выходит работать в поле, а там и отец не замедлит явиться...

■

Теперешняя тишина в ночи еще страшнее, чем грохот бомб. Сдача бастионов и орудий, укреплений, гарнизон в плену, за исключением двенадцати тысяч солдат и Национальной гвардии, которой оставили оружие... сколько разом ударов по хребту Бельвиля. Сборища, набат, манифестанты, кричащие «не отдадим укреплений!», звуки горна, барабанный бой, гонцы, стучащиеся в дверь и срывающие бойцов с постели...

Капитуляция довела до кипения предместье, но ничего путного из этого кипения не получилось: нас заела, по выражению Гифеса, «клубомания». «Клубы и лиги — это как зыбучий песок: при каждом движении только глубже в него уходишь. Буржуазия готова пресмыкаться перед пруссаками, лишь бы они помогли ей сохранить власть. А расплачиваться за все будет народ, и дело не ограничится двумя сотнями миллионов франков, которые требует победитель».

По мнению печатника, командира 5-й роты стрелков, единственный выход — организация рабочих под эгидой Интернационала.

— Республика в опасности,— говорит он.— Ради ее спасения интернационалисты должны объединяться с республиканцами.

Все те же слова, все те же бесконечные споры, но в эти дни перед выборами в Законодательный корпус спорят с удвоенной энергией.

Чувства, владеющие тупиком, пожалуй, еще проще, чем раньше, но зато уж совсем ясны: выражаются они во взглядах, в улыбках простых людей, когда те стоят вокруг сказочного бронзового чудища, загромождающего проход,— нашей пушки «Братство»! Послужит ли она нам когда-нибудь? Кто будет из нее стрелять? И в кого?! Эх, все это очередные иллюзии осажденного города, прекрасный сон. Возможно, поэтому так и полюбилась всем эта чертова махинища с огромной пастью!

...Неудачливый Фавр в буквальном смысле слова попал между двух огней: спереди — пруссаки, сзади — парижане. 23 января, вручая Эрисону депешу для передачи Бисмарку, он посоветовал капитану соблюдать строжайшую тайну: «Один бог знает, что с нами сделает парижская чернь, когда мы вынуждены будем открыть ей всю правду!» А через два дня тот же самый Фавр плакался на груди Мольтке: «Ни под каким видом я не позволю разоружить Национальную гвардию! Это будет гражданская война!»

Бисмарк Фавру: «А вы спровоцируйте восстание сейчас, когда в вашем распоряжении еще есть армия, и вы сможете его подавить!» Совет по тем временам чудовищный, но в наши дни его трактуют как вполне обыденный, традиционно мудрый.

В перерыве между двумя совещаниями Флуранс подбирает свои записи, речи, статьи, заметки и отчеты. Из этих обрывков и осколков наш ученый строит памфлет о сдаче неприятелю столицы.

— Слушай, Флоран, вот как он будет начинаться: «Пятьсот тысяч вооруженных, запертых в крепости, сдались двумстам тысячам осаждающих. Вряд ли история сможет как-то истолковать подобный факт, еще не встречавшийся в ее анналах».

— История скажет,— возразил один из присутствующих,— что в Меце огромная армия, надежно прикрытая, прекрасно обученная, состоящая в основном из бывалых солдат, сдалась и ни один маршал, ни один командир корпуса не бросился, чтобы спасти ее от Базена, а парижане тем временем, никем не руководимые, неорганизованные, перед лицом двухсот сорока тысяч солдат и мобилей, пополнивших армию после перемирия, на три месяца отсрочили капитуляцию.

Марта снова потащила меня прогуляться по Парижу — время от времени она испытывала инстинктивную потребность в таких вот походах.

В богатых кварталах уже не встретишь формы Национальной гвардии. И есть только два мотива, которые побуждают человека щеголять в красных панталонах и в черной куртке с белыми пуговицами: либо он выражает тем самым свой отказ от дальнейших битв, либо ему просто нечего делать.

Пульс Парижа надо слушать у его застав. Буржуа, располагающие средствами, торопятся удрать из этого города — хватит, целых пять месяцев просидели в тюрьме! — и охотно меняют свое изящное зловоние на вольный дух деревенских просторов. У сторожевых будок, где проверяют пропуска, полученные ими при содействии высокопоставленных друзей *(листок, составленный по-французски и по-немецки, должен быть завизирован префектом полиции и начальником штаба Винуа),* они встречаются с другими богачами, розовенькими и свеженькими, но с беспокойством во взгляде. Эти возвращаются в столицу всего на несколько дней, только проверить, цело ли их добро, и собрать деньги с жильцов. Рабочие отряды в форме национальных гвардейцев ненавидели еще сильнее тех, кто возвращался с единственной целью набить себе карманы и даже не знал, что такое осада со всеми ее бедами.

■

Предыдущий листок из этой тетради вырван. Должно быть, сейчас он лежит на столе господина Кресона, префекта полиции...

(Окончание следует)

СЕСАР МИРО

Антипеснь

Перевод с испанского МАРКА МАКСИМОВА

Два года назад, находясь в Перу в составе первой делегации советских писателей, я познакомился с известным перуанским поэтом, журналистом и общественным деятелем Сесаром Мирó. В то время он занимал высокий пост директора департамента культуры в системе министерства образования перуанской республики. Он участвовал в нашей беседе с министром и рассказал много интересного о программе культурного развития, разработанной новым правительством страны. Позднее мы не раз виделись с ним на широких встречах с перуанской общественностью и в частных домах.

Этот высокий седоголовый человек с тонким и умным лицом ученого, с юношески статной фигурой тореро, необычайно моложавый, веселый и полный энергии стал одним из наших новых добрых друзей в далекой заокеанской стране, где в то время еще не было даже советского посольства. Благодаря ему и многим другим радушным и гостеприимным перуанцам мы успели многое увидеть и узнать за сравнительно короткий срок нашего пребывания в Перу. Понятно, что потом, когда делегация перуанских писателей, в составе которой находился Сесар Миро, три недели гостила в Советском Союзе, мы рады были ответить ей нашим вниманием и гостеприимством.

Сесар Миро родился в 1907 году в Лиме в богатой и аристократической семье. Образование он получил в Париже, в Сорбонне, и в Мадридском университете, изучая там искусство, литературу и философию. Сесар Миро не стал служить интересам класса, из которого вышел, и, начав работать журналистом в крупной газете «Эль комерсио», в то же время сотрудничал в литературно-политическом журнале «Амаута», созданном еще в конце двадцатых годов Хосе Карлосом Мариатеги — первым перуанским марксистом и основателем Коммунистической партии Перу.

Сесар Миро дебютировал как поэт книгой стихов «Песни плуга и пропеллеров», вышедшей из печати в 1929 году. За ней последовали поэтические сборники «Новые голоса для ветра», «Высокая мечта» и другие. Мы видели, что перуанцы любят и знают стихи Сесара Миро и с удовольствием поют сочиненные им песни. Он также является автором романа «Федра среди басков» и многих литературно-критических и публицистических произведений. Кроме того, Сесар Миро много писал для кино, радио и телевидения.

Авторитет его как общественного деятеля также весьма высок. Он был директором департамента археологии и истории, послом Перу в Бельгии, представителем своей страны в ЮНЕСКО. Сейчас он ведет большую педагогическую работу, читая курс лекций по истории искусств в старейшем в Южной Америке университете Сан-Маркос, в Лиме.

«Антипеснь» — это одно из последних поэтических произведений Сесара Миро, написано было в 1969 г. (печатается журналом с небольшими сокращениями).

С. С. СМИРНОВ

Для чтения и музыкальных импровизаций. Сочинить мелодию и написать ноты может каждый по собственной воле. Музыка при этом не должна быть аккомпанементом. (*Примечание С. Миро к перуанскому изданию*).

Нет.
Не потому протестую,
что хлеб мой сегодня горек
и в небе повисло солнце,
словно кровавый сгусток,
пронзенный церковным шпилем.

Не потому лишь только,
что именем римского права,
крича, истекают раны
черных Христов Южной Африки,
желтых Христов Вьетнама.
Не потому лишь, что где-то
черный вождь африканский
с собою после провала
покончил, выстрелив в сердце
последней серебряной пулей,
оставленной про запас.

Смотрите: студент Джеймс Ректор[1],
черный студент из Беркли,
пулей распят на крыше,
серой свинцовой пулей.
Он бьется в крови, как птица,
которой уже не взлететь.

Слова и музыка больше
не смогут рождаться вместе,
расти из единого корня,
ибо не время песен,—
у песни выбиты зубы
ударами кулака.

Мало, что камень брошен
в тебя, полицейский робот:
в тот камень оправлен ужас
всех обесчещенных лилий —
девушек, втоптанных в землю
копытами носорога
слепого, как спесь сама.

Знаете вы, кто выбросил
звезды пшеницы в море,
белые звезды пшеницы,
темные звезды кофе
и желтые луны яблок?

---

[1] Студент-негр университета в Беркли (Калифорния), убитый полицией во время студенческой демонстрации.

Знаете, что легенда
есть в Перу о гадюке?
Змея молоко у матери
отсасывает, а хвост свой
засовывает младенцу
в открытый кричащий рот.

Знаете вы, что в реках,
самим Петром осененных,
святым рыбаком библейским,
вас улов ожидает
из человечьих останков?
Хотите сварить уху?!

Знаете, что в драг-стор
(аптеки, они же лавчонки)
распродают снотворное
из сердца Уолта Уитмена,
чтобы его принимали
страдающие бессонницей
атланты сегодняшних дней?

Знаете вы, что не знаете,
что бог не всевидящ больше
и не вездесущ, поскольку
навечно прикован к Голгофе?
Знаете или нет?

Знаете, что не знаете,
что кровь восставших за счастье
стекается в реки, а реки
бегут, обтекая мир?

Знаете, что не знаете,
что среди стройных абстракций
тоску проповедует пастор?
Когда-то он был протестантом,
но бросил протестовать.

Слово к смерти приговорено.
Констатирую.

Хлеб и любовь прячут в вакууме.
Констатирую.

Ненависть пьет из урановых котлов.
Констатирую.

Мать моего товарища, словно знамя,
вьется по штыку.
Констатирую.

Что спели вам, мальчики, ваши
пастушьи дудки протеста,
которые вы с Гималаев
сюда прихватили с собой?

ЗНАЙ — стонут огромные буквы
на концлагерях и на тюрьмах.

НЕТ — отвечают им танки,
и газы туманят зарю.

ЗНАЙ — гордо взывает Херонимо,
вождь калифорнийских индейцев.

НЕТ — в Аламеде патроны
вбивает шериф в патронташ.

ЗНАЙ — булькая в глотках, клокочет
кровь раненых и убитых.

НЕТ — продолжают винтовки
на Телеграф-авеню

Джеймсу Ректору было
двадцать четыре года.

Джеймса Ректора небо
оберегало не долго.

Джеймс Ректор хранил на сердце
портрет Авраама Линкольна,
судорожно прижимая
к себе, как регбисты — мяч

Джеймс Ректор простерт на крыше.
По телу его натыкан
свинец полицейских, как будто
точки столиц по карте.

Джеймс Ректор умер с последним
словом НЕТ, что вонзилось
в лоб между глаз открытых,
и вместе с глазами смотрело
на север, на юг, на запад,
на все стороны света
смотрело оно, крича.

НЕТ — изверженьям бактерий,
невидимым их эшафотам.

НЕТ — арканзасским конюшням,
выкармливающим в пробирках
всадников синих чумы.

НЕТ — Мэриленда ретортам,
в которых под желтыми лампами
выводят, как в инкубаторах,
энцефалита клещей.

Газ наполняет камеру.
Но приговоренный к смерти
не хочет уснуть. Стоит он.
Стоит и стоит, шатаясь.
Не хочет уснуть — и все!

НЕТ — формулам адским Дагвея,
которые отравили
мяту, цветенье яблонь,
ручьи и речную гальку,
взгорья и облака,
сердца кукурузных початков
и материнскую глину
солнечных берегов.

Шесть тысяч белых барашков
с библейского взяты пейзажа
не для ритуалов древних —
для нынешних приношений.
Вдыхая отраву Дагвея,
корчатся в муках бараны,

чтоб нам показать, как надо
агонизировать дружно
на алтаре, воздвигнутом
химией для войны.
Сеют газ вертолеты,
и ядовитые корни
людям в глаза прорастают —
в эти источники слез.

НЕТ — повторяют за Джеймсом
дни, устремленные в космос,
НЕТ — завываньям шаманов
возле Карибского моря,
на берегах Амазонки —
высушивателям голов.

Я в светлом кафе в Париже
сижу и «Le Monde» листаю,
а за окном флиртуют
прославленные педерасты,
а за окном проходят
девчонки в полном расцвете —
они уже проститутки.

А за окном весь мир.
Вот предо мной Памплона,
испанское серое небо.
В солнечное затменье
уставясь, рыдает бык
(а слышу я слезы Герники
из дальней тюрьмы в Нью-Йорке).

А где-то в университете
города Хайдарабада
к небу взлетают отсветы
древнего культа огня,
и каждый день умирает
и воскресает Махатма...

Вон конголезец в Киншасе,
голодный и полуголый.
Он на луну не рвется.
Он и мечтать не может
о встрече с Декартом в Сорбонне.
Gloria in excelsis Deo!

Но посмотрите: на юге
американского мира
латиноамериканец
не хочет просить подаяний.
Рука вчерашнего нищего
сжимается в грозный кулак!

Но посмотрите: крестьянин
в Перу обнимает землю.
Свою, не чужую, землю
он хочет оплодотворить!

Смотрите, смотрите, смотрите!
Сегодня на улицах Кито,
сегодня в полях Айякучо[1]
(на кечуа «Угол мертвых»
название это значит)
живые сыны маиса
под солнцем раскрыли могилы,
чтоб слушать шаги из бессмертья
повстанцев Тупака Амару[2],
Эмилиано Сапаты[3]
и поступь Хосе Марти.

Gloria, Gloria! Слава —
нет, не богам — Человеку!
Слава и мир высотам,
где для богов доброй воли
круглые ставят столы!

Я вопрошаю: что значит
Беркли, мятежный ангел
в раю полицейских дубинок
и Декларации Прав?
Что значит, что значит в мире
пожар, который погашен
порохом?

Что это значит —
угли в Хайдарабаде,
в Киншасе и в Геттингене,
в Кордове, там и тут?

Нам больно от копий, вонзенных
в черных Христов Южной Африки,
в желтых Христов Вьетнама.
Но не беззащитна боль.

Яд отфильтрован, отточен
нож, и свинец отмерян,
но разрушитель мифов
по-прежнему одержим!

---

[1] Айякучо — город в Перу, в битве при котором в 1824 году были разгромлены испанцы.

[2] Тупак Амару (1740—1781) — руководитель восстания индейцев в Перу.

[3] Сапата, Эмилиано (1877—1919) — герой мексиканской революции.

Я себя вопрошаю
и вас вопрошаю, люди:
«Разве не слышится ныне
за молчаливым маршем —
правда, презревшая пытки,
за комендантским часом —
рычащая тишина?»

Я себя вопрошаю
и вас вопрошаю, люди:
«Кто приговорил подростка
к тому, чтоб он спал в лохмотьях
на площадях и в скверах,
на острых клыках зимы?»

Нет.
Не потому протестую,
что хлеб мой сегодня горек
и в небе повисло солнце,
словно кровавый сгусток,
пронзенный церковным шпилем.

Разве у нас есть право
только на травы и воздух?

На то, чтоб не быть лощеным
верноподданным чудаком?

Нет, мы еще и вправе
не верить в римское право,
Мы вправе любить Человека.

Мы вправе поверить в бурю,
вправе избрать дорогу,
ту, что спасет от мрака
и разложения мир.

Джеймсу Ректору ныне
двадцать четыре года.
Джеймс Ректор живет со словом
НЕТ,
что вонзилось третьим
глазом меж глаз открытых
и смотрит на все четыре
стороны света с призывом,
смотрит и вопиет.

АНДРЕЙ ПЛАВКА

Влюбленный в жизнь

Перевод со словацкого Л. ЛЕРЕР и С. ПАРХОМОВСКОЙ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В один из последних дней сентября мы с Рудо Бртанем — моим однокашником — встретились на перроне Микулашского вокзала, оба с тяжелыми чемоданами, нарядные, в новых пальто. Мы заранее договорились вместе ехать в Прагу, в университет. В карманах у нас лежали свидетельства об окончании гимназии в оригинале и в копиях, метрики, справки с места жительства и, разумеется, немного денег, которыми снабдили нас родители.

Скорый прибыл, мы сели в пражский вагон третьего класса, кондуктор захлопнул дверь, и поезд помчал нас вдаль от дома, в столицу республики, в прославленный Карлов университет.

Но когда мы с нашими чемоданишками вышли на перрон Вильсонова вокзала, душа у нас ушла в пятки. Это вам не Микулаш! Шум, гам, суматоха, туннели, лестницы! Тут смотри в оба — не то сразу потеряешь друг друга. Поднявшись в зал ожидания, мы решили сдать чемоданы в камеру хранения. Первой нашей заботой было найти жилье. Но, выйдя из вокзала, оба растерялись и не знали, куда податься. Трамваи носились взад-вперед, каждый с другим номером, но нам они были ни к чему — ведь мы не знали, куда они нас могут завезти. Как обычно поступают в таких случаях крестьяне, мы отправились пешком. Нашей целью была Вацлавская площадь. Мы знали, что это центр Праги и что там, в гостинице и ресторане «Злата гуса», место встреч словаков. И мы пошли туда, рассчитывая увидеть кого-нибудь из знакомых. Вошли в кафе, сели к большому окну, чтобы получше видеть движение на столичной площади, заказали завтрак и стали прикидывать, чем заняться в первую очередь. Никого из знакомых мы не встретили.

Выйдя снова на пражские улицы, мы стали искать прежде всего солидную, но недорогую гостиницу. Рудо вообще-то надеялся получить комнату в общежитии, мне же, как отпрыску более зажиточных родителей, рассчитывать на это не приходилось, и я должен был поселиться на частной квартире. Правда, это было дорогое удоволь-

Окончание. Начало в № 10.

ствие, особенно если снимать комнату в центре города, а мне очень не хотелось селиться в предместье, тем более вначале, пока не осмотрюсь.

Мы остановили свой выбор на гостинице «Метеор». Находилась она недалеко от Вацлавской площади, на Гибернской улице, и снаружи показалась вполне подходящей, а главное — как будто бы нам по карману. Когда же, записавшись у администратора, мы узнали о цене номера, у Рудо глаза полезли на лоб. Но делать было нечего. «Не расстраивайся — платить-то будем пополам»,— утешал я его.

Комната была хорошая, уютная, чистая, но Рудо тут же заявил, что если ему завтра не удастся устроиться в общежитии, он вынужден будет до вечера найти что-нибудь подешевле.

Чемоданы в гостиницу мы привезли на трамвае и, обосновавшись, снова ушли. Первое, что я сделал,— купил план столицы и, поминутно заглядывая в него, направился, по совету гостиничного швейцара, в один из пассажей на Вацлавской площади, где мог получить сведения о сдающихся внаем комнатах. Там мне действительно дали несколько адресов. Теперь предстояла беготня по городу в поисках улиц и домов, хождение по лестницам и коридорам, звонки в двери, разговоры с хозяйками пражских квартир. Рудо сразу же отправился в общежитие, и мы должны были встретиться только вечером у себя в номере.

Я ходил по адресам дотемна и только на следующий день нашел подходящее жилье — комнату в квартире пани Немцовой на Валентинской улице. Она, правда, была на пятом этаже, но зато в центре города, недалеко от юридического факультета и Студенческого дома, где помещалось Общество словацких студентов «Детван». Это прекрасное просторное здание на набережной Влтавы подарил когда-то студенчеству чешский граф Страка. Оно получило название «Стракова академия» или просто «Страковка», и студенчество пользовалось им до конца первой республики. Теперь здесь резиденция Совета Министров ЧССР. В Страковой академии в те времена сосредоточивалась почти вся общественная жизнь пражских студентов. Кроме «Детвана» тут находились центр общества юристов «Вшегрд», Общество студентов-украинцев и другие студенческие организации.

Помимо многочисленных комнат и залов в Страковой академии была дешевая студенческая столовая, в которой можно было сытно пообедать за три с половиной кроны, а при финансовых кризисах заморить червячка даже за полторы кроны.

Валентинская улица — одна из известных улиц старой Праги. Часть окон углового дома в конце ее, в котором я поселился, была обращена на площадь к Рудольфинуму, то есть к парламенту. Туда выходило и окно моей комнаты. Пани Немцова хорошо зарабатывала на этом — вид из окна стоил мне четыреста крон в месяц, правда, с завтраком. Тогда это была большая сумма, и я написал домой, что останусь здесь временно, пока не подыщу приличную квартиру подешевле. Но пани Немцова так завладела мною, что я прожил у нее больше года. Ей было далеко за шестьдесят, она страдала тяжелым суставным ревматизмом и не могла двигаться. Пани Немцова всегда сидела в специальном кресле со столиком. Тут же ела, читала и вечно что-то писала своими скрюченными распухшими пальцами. Кресло стояло за дверью моей комнаты в маленьком алькове, где находилась и кровать. Надо всем этим нависало что-то вроде балдахина из темного репса с бахромой. В пасмурные дни приходилось включать лампочку, висевшую над головой пани Немцовой. И тогда в ее желтом свете моя хозяйка становилась похожа на прорицательницу или гадалку. При ней жила служанка по имени Пепичка, которая ни

на минуту не могла отлучиться. А если она вдруг исчезала из поля зрения пани Немцовой, тут же раздавалось: «Пепичка, ко мне!»

Пепичке было под шестьдесят. Худая, очень подвижная, послушная и на удивление терпеливая, она служила у пани Немцовой двенадцать лет — с той поры, как ее хозяйка перестала двигаться.

Сначала у меня и в мыслях не было, что если мне понадобится куда-нибудь выйти, я должен иметь в запасе хотя бы пятнадцать минут: проходя мимо пани Немцовой — а мимо нее я не мог не пройти,— я должен был выслушивать ее предостережения, наставления, советы, которые она давала из самых лучших побуждений. Нельзя было не ответить и на ее вопросы, касавшиеся меня лично, моей семьи и всей Словакии. Я считал бы это просто неприличным! Ее все интересовало, и по каждому случаю она высказывала собственное мнение. Жильца своего она должна была знать досконально, а узнав обо мне все, что ее интересовало, стала необычайно внимательна, полна понимания и даже щедра. У нее было красивое, резко очерченное лицо с еще нежной для ее возраста кожей. Высокий лоб почти без морщин, белоснежные, разделенные прямым пробором, спрятанные под чепец волосы. Она любила говорить о Праге, где родилась, выросла и состарилась, но никогда ничего не рассказывала о своей семье.

В моей комнате, пожалуй, чересчур роскошной для студента, я впервые в жизни понял, какую удивительную роль могут играть вещи, привезенные из дому. Начиная с книг и кончая заштопанными носками. Здесь, в чужом доме, они приобретали какое-то новое качество, излучали тепло семейного очага, приносили с собой частицу привычного с детства мира, его атмосферы. «Лира» Гвездослава, «Исповедь» Лукача, «Галопом скачущие дни» и «Осужденный на вечную жажду» Смрека продолжали жить на массивном прямоугольном столе пани Немцовой так же, как жили дома в моей комнатушке.

Оформив свое зачисление в университет, я много бродил по Праге. Я любил ходить один, открывать для себя все новые и новые улицы, переулки, площади, мосты, набережные, парки, сады. Мне хотелось побольше узнать об этом незнакомом мире, который меня ошеломил, очаровал, но часто вызывал и грусть, и даже зависть, что у нас, словаков, нет такого большого, красивого города, средоточия национальной культуры.

Итак, я стал студентом юридического факультета. Вступительную лекцию будущим юристам прочитал в актовом зале Карлова университета профессор римского права доктор Отакар Соммер. Мы, новички, слушали его, разинув рты. Свою лекцию, философски глубокую, блестящую по форме, Соммер построил, исходя из истории права, из его применения в самых различных сферах человеческой жизни и деятельности—от глубокой древности до наших дней, из того, что люди в своих взаимоотношениях не могут обойтись без него. И мы тогда, вдохновленные им, решили изучать римское право. Что там адвокатская карьера, благополучная жизнь! Поиски справедливости, служение ее благородным целям, соблюдение правовых норм, гарантирующих гуманность и прогресс,— вот что было важно для нас.

■

Наше студенческое общество «Детван», хоть ограниченное в своих правах и небольшое, стало для меня вторым домом. Здесь я слышал родную словацкую речь и нашел новых друзей, которые помогали мне расширить мой узкий провинциальный кругозор. Кроме

Казимира Безека, который тоже приехал сюда изучать право, а также Душана Палки и еще нескольких липтовчан, я со временем подружился и с другими студентами-словаками: Йожко Цинциком из Лученца, Яном Костроей из Турца, а потом и с Михалом Хорватом и Александром Матушкой, приехавшими годом позже. Каждый словацкий студент, из какого бы угла Словакии, из какой бы семьи ни происходил, какого бы вероисповедания ни был и каких бы политических убеждений ни придерживался, приехав в Прагу, приходил в «Детван».

О «Детване» я до того знал очень мало, почти ничего и с его историей познакомился уже в Праге. Вот что пишет о нем в своих воспоминаниях Павол Сохань, один из его организаторов: «Видя, что словаки не имеют (в Праге.— *А. П.*) никакого центра, где бы они собирались, знакомились, занимались самообразованием и развлекались, я подумал об основании словацкого общества, с чем все согласились... Я подготовил тогда проект устава и на подготовительном заседании предложил назвать общество «Детван» — в честь одноименной любимой нами поэмы Андрея Сладковича. Устав был одобрен. Мы его подписали, и я отнес его властям для утверждения. Нам разрешили создать общество примерно в марте 1882 года. Мы созвали учредительное собрание в кафе «Старая Славия». Нас было всего двенадцать человек. Ярослав Влчек, самый старший и авторитетный среди нас, был избран председателем, я — делопроизводителем и секретарем, а Франьо Захар из Турца, работавший в какой-то торговой фирме,— казначеем».

«Детван» стал центром словацких студентов, которые собирались в присутствии имперско-королевского комиссара в субботние вечера в каком-нибудь кафе. Кто-то из них обычно делал доклад, чаще всего на литературные темы. Одним из первых значительных событий в жизни «Детвана» было пятидесятилетие гимна «Гей, славяне», на празднование которого детванцы пригласили его автора Самуэля Томашика.

Профессор Михал Урсины, который был в свое время сперва казначеем «Детвана», а потом его председателем, рассказывает: «Более всего деятельности общества мешал недостаток средств. Членские взносы были незначительны, кроме того, их платили нерегулярно, и поэтому предпринять что-либо существенное было невозможно. Совсем худо обстояло дело с нашей библиотекой. Поэтому в конце 1887 года я, как казначей, предложил обратиться с призывом о материальной поддержке к известным словакам...

Акция имела успех. Помню, мы получили что-то около 700 гульденов и прежде всего пополнили свою библиотеку».

Матей Бенцур — впоследствии выдающийся словацкий писатель, известный под именем Мартин Кукучин,— часто читал в те времена на собраниях «Детвана» отрывки из своих произведений и даже целые рассказы. Члены общества много дискутировали о Толстом и его творчестве, и Матей Бенцур был первым, кто сделал несколько докладов о романе «Война и мир» и о «Крейцеровой сонате». Затем у детванцев пробудился интерес к учению Толстого, к его философии. А Душан Маковицкий — впоследствии домашний врач великого писателя — стал на всю жизнь убежденным толстовцем.

После нескольких лет бурной культурно-просветительской деятельности «Детван», как это часто бывает, значительно ослабил свою активность. И только после создания Чехословацкой республики снова как бы возродился. На учебу в Прагу приезжало все больше и больше словацкой молодежи, и это была уже разнородная по своему мировоззрению молодежь. Она сосредоточивалась вокруг «Детва-

на», с одной стороны — по традиции, с другой — из чувства еще сохранившейся словацкой солидарности. Но в первые же годы дифференциация взглядов оказалась сильнее словацкой национальной идеи. Идеи социальные и социалистические выступили на первый план. 1917 год, Великая Октябрьская социалистическая революция в России нашли большой отзвук не только у молодой словацкой интеллигенции, но и в широких слоях народа. Послевоенные политические события потрясли людей, пролетариат заявил о своих правах в Словакии и в Чехии,— и эти новые веяния не могли не коснуться «Детвана».

Ян Поничан, ныне известный наш поэт, вспоминая об этих годах, рассказывает, что его самого и его друзей — Владо Клементиса[1] и других — уже не удовлетворяла деятельность «Детвана»: он был «слишком национален» и недостаточно активен. Студенчество не могло не приобрести какую-то определенную окраску. Дифференциация была потребностью времени». И вот весной 1923 года возникло Свободное объединение студентов-социалистов из Словакии. «Мы собирались в Страковке,— пишет Поничан,— читали книгу Ленина «Государство и революция», спорили. Все — кроме Владо Клементиса — были членами «Детвана». А я — даже библиотекарем его.

Мы использовали «Детван» как трибуну, как мост к массам. С осени 1923 года стали устраивать там свои вечера. Программа их была не очень разнообразна. На одном из вечеров я читал доклад о пролетарской революции, Клементис — мои стихи «Лицо урода и пустой карман», и заключал снова я чтением отрывков из произведений Йозефа Думина-Томашика. Но по окончании программы поднялась буча. Ее затеял детванец Юро Палкович. Он назвал пролетарскую поэзию, в том числе и стихи Волькера, а также мое «Лицо урода» порнографией, всех нас — наймитами III Интернационала и трусами. Мы сразу поняли, что это выступление инспирировано д-ром Годжей, личным секретарем которого был Палкович.

От «Детвана» мы тут же потребовали сатисфакции. Вопрос поставили резко, можно сказать, по-большевистски: или Палкович, или мы. Но сатисфакции так и не получили — нам заткнули рты. Тогда мы заявили о своем выходе из «Детвана» и покинули зал с пением «Интернационала».

■

Когда осенью 1927 года я приехал в Прагу, поколение детванцев, о котором говорилось выше, частично уже покинуло столицу, а частично собиралось ее покинуть. И все же «Детван» и в эти годы продолжал свою просветительскую и общественную деятельность. «Зимой и перед выборами «Детван»,— по словам одного из его деятелей того времени Феро Паняка,— производит впечатление парламента. С той только разницей, что молодые люди еще не дошли до того, чтобы создать 36 партий, а удовлетворяются своим главным принципом...»

Этим принципом был подъем Словакии. Споры шли только о способе его осуществления, и здесь-то на взглядах молодых детванцев сказывалось тогдашнее политическое расслоение в стране. Каждый из нас принес в Прагу частичку своих убеждений, определявшихся воспитанием в семье и школе, окончательно затем сформированных столицей, средой, в которой мы вращались и к которой нас влекло. Можно сказать, что идейное расслоение у нас шло в трех

[1] Клементис, Владимир (1902—1952) — чехословацкий литературный критик и общественный деятель. Один из зачинателей социалистической литературы в Словакии.

направлениях: коммунистическом, «аграрном» и автономистском. Сторонники последнего, пожалуй, разделяли взгляды национальной партии, продолжавшей старые патриотические традиции, и стремились сохранить «Детван» как «общенациональную» организацию, что не удовлетворяло таких, как Поничан и его друзья. Много было приверженцев «чехословацкого единства», но и среди них нашлось весьма мало проповедников теории единого чехословацкого народа.

В годы моей работы в «Детване» (1927—1929, сначала в качестве секретаря, а затем председателя) я, опираясь на поддержку ряда активных детванцев, стремился сохранить его как организацию общенациональную, надпартийную, в которой политика одной партии не могла бы иметь решающего влияния. Сам я ни в какой партии не состоял, но симпатизировал Словацкой национальной партии (Разуса) и уже тогда начал сотрудничать в ее органе «Народни новины». Как функционер «Детвана» я участвовал (хоть и был лютеранином) в нескольких заседаниях Общества католических студентов «Поважан», чтобы таким образом содействовать национальному единству и объединению словацких студентов. Конечно, я был несколько наивным, но идеи Разуса, поддерживавшиеся отцом, оказывали на меня большое влияние. Сначала со мной во всем соглашался Казимир Безек, но он чем дальше, тем больше стал сближаться с коммунистами, несмотря на то что был сыном священника. В те времена мы горячо спорили, и он убедил меня, что коммунистическая партия признает национальную самобытность словаков и что только осуществление ее программы может привести к подлинному подъему Словакии. Но это было, пожалуй, уже на второй год нашей жизни в Праге. Кто бы мог поверить, что, прожив всего несколько месяцев в Праге, мы с Казо Безеком (совсем еще никакие не функционеры) были даже на аудиенции у председателя национально-демократической партии доктора Карела Крамаржа в его знаменитой вилле над Кларовом. Вот как это случилось.

Один из редакторов журнала «Народни студент», финансируемого национально-демократической партией, познакомился где-то с Казо Безеком и привлек его к сотрудничеству в журнале. Он напечатал два его стихотворения и выразил желание познакомиться с другими пишущими словаками. Казо представил ему меня в небольшом кафе на Целетной улице. Редактора этого звали, кажется, Шинделарж. В кафе он пришел с одним из секретарей национально-демократической партии — невысоким, весьма корректным господином с черной, как смоль, гривой и густыми бровями. Этот господин держался с нами как дипломат, что, естественно, произвело на нас впечатление. Он тут же начал развивать теорию национального объединения всех молодых сил, чешских и словацких, и предлагал нам внести свою лепту в это благородное и полезное начинание. Журнал «Народни студент» должен стать, мол, центральным органом этих молодых сил, а мы — его опорой. От этой программы у нас голова пошла кругом. Нам даже стало страшновато — совсем еще зеленые, совершенно незнакомые с Прагой, с ее нравами, мы неожиданно попали в водоворот столичной политической жизни и растерялись. Когда наш собеседник заметил это, он, возможно, расценил наше смущение как проявление скромности и тут же предложил грандиозный план (я точно помню, что он употребил это слово) визита к самому д-ру Карелу Крамаржу, которого якобы высказанная им идея очень интересует. Ну что ж, нанести визит Крамаржу мы можем, подумали мы, по крайней мере, увидим, как он живет в своей вилле, о которой только и говорили в Праге (так же как и о его конфискованных имениях в Крыму).

Визит, правда, долго откладывался в связи с большой занятостью Крамаржа, но, наконец, он все-таки состоялся. В девять утра Крамарж принял нас в своем кабинете — просторной, но вполне уютной комнате с деревянными панелями, с книжными полками до самого потолка и огромным письменным столом, на котором горела большая настольная лампа под зеленым парчовым абажуром,— утро было мглистое, серое, и в комнате стоял полумрак. Крамарж в домашней темно-красной куртке, подпоясанной блестящим шнурком, вышел нам навстречу. Его седая голова с коротко остриженными волосами, седая бородка клинышком и торчащие белые усы резко контрастировали с цветом его одежды. Для своего возраста он был очень подвижным, даже юрким, несмотря на довольно крупную фигуру. Когда мы сели в кресла, он осмотрел нас всех по очереди проницательным, испытующим взглядом. Казалось, под его густыми седыми бровями вспыхивают рефлекторы. Голос его, лишенный обычной стариковской мягкости, был неприятно шершавым, не привлекал, а скорее отталкивал.

Секретарь и редактор, которые сопровождали нас к Крамаржу, учтиво, даже подобострастно доложили ему о планах работы со студентами, о расширении журнала «Народни студент» и о средствах, необходимых для развертывания этой работы. Нас с Безеком они расписали так, что мы сами себя не узнали: это, мол, талантливые представители молодого поколения словаков, которые должны стать опорой и пропагандистами этого журнала среди словацких студентов. Крамарж снова направил из-под лохматых бровей на нас свои рефлекторы, покачал головой и что-то пробормотал. Когда же оба функционера его партии окончили свои угодливые речи, заговорил сам. Он говорил о словаках, о том, как он их любит, погрузился даже в их историю, но все это звучало так, что мы с Казо едва сдерживали свое возмущение. Переглянувшись украдкой, мы оба невольно подумали: «Ну и болтун!»

Аудиенция продолжалась около часа. В знак окончания Крамарж поднялся из-за письменного стола, распрямился, провел рукой по седому ежику. Раз-два — и мы уже были на улице. Лица наших спутников сияли, а черноволосый секретарь даже остановился на тротуаре и патетически воскликнул:

— Господа, мы выиграли!

«Черта лысого вы выиграли!» — подумал я.

Валил крупный мокрый снег, мы вскочили в трамвай. На Малой Стране мы с Казо вышли, помахав им на прощанье рукой,— и больше с ними никогда не встречались. Зайдя в небольшой кабачок, чтобы согреться, мы, наконец, дали себе волю высказать все насчет этого редкостного визита.

Больше всего нас обоих обидело благосклонно-снисходительное отношение этих господ к бедной, отсталой Словакии, высокомерно-покровительственный тон Крамаржа, полное незнание словацкой проблематики. Казо просто кипел. У меня есть основание утверждать, что этот визит к Крамаржу в значительной мере содействовал тому, что Казо Безек быстро воспринял взгляды коммунистов. И я сам несколько позже был близок к этому, но влияние отца, верного поклонника Разуса и национальной партии, оказалось тогда все же сильнее. А я, хотя и впитывал новые идеи, которые не давали мне покоя, не умел еще отстаивать их перед отцом и остался с ним. Лишь значительно позже, более чем через десять лет, я полностью усвоил эти идеи и стал их горячим сторонником. Вскоре за мной последовал и отец.

Правда, в первый год учебы я больше думал о любви, чем о политике. Хотя в Праге мне доводилось тогда встречаться с уймой хорошеньких девушек, мысли мои были заняты только Маркой. И даже если мне случалось иногда приударить за какой-нибудь из них, я потом страдал от угрызений совести. В особенности, если мы с приятелем забредали в какой-нибудь бар или винный погребок, которые в те времена были битком набиты девицами легкого поведения, соблазнявшими своей доступностью.

■

Одной из главных светских обязанностей словацкого студента тех времен было посещение школы танцев. И не какой-нибудь. Из шести возможных мы записались в одну из лучших — на Гавличковой площади. Отправляясь туда, мы надевали свои выпускные смокинги — и, глядя на себя в огромные зеркала, едва не лопались от гордости—парни, что горные ели, высокие, пригожие, а главное— молодые. Тогда мы разучивали вальс, танго, уанстеп, чарльстон, вальс-бостон и шимми. Желающие могли разучить и чешскую «беседу», которую тогда еще танцевали на вечеринках.

Танцмейстер, высокий худощавый брюнет с длинными паучьими руками, учил нас не только танцам, но и хорошим манерам. Он был само изящество, но когда со своей партнершей, стареющей блондинкой, показывал нам, как надо себя вести в различных ситуациях, мы просто покатывались со смеху. Мы от него не раз удирали, когда он заставлял нас танцевать с «дуэньями» — пожилыми дамами, мамашами и тетушками, сопровождавшими пражских барышень на танцы и заботливо оберегавшими их нравственную чистоту и девственность. Мы прятались в уборную, по разным закоулкам, но он бесцеремонно извлекал всех оттуда и отдавал во власть дуэний, которые, обхватив кого-нибудь из нас мощными руками, прижимали к своим могучим грудям. Нам сразу же стало ясно, что в школу танцев эти матроны приходили не столько для того, чтоб охранять целомудрие своих питомиц, сколько для собственного удовольствия. Некоторые «тетушки» были так любезны, что порой приглашали нас к себе домой на чай, выставляя как приманку хорошенькую Зденку или Иржинку. Но если ты принимал приглашение и приходил, Зденки или Иржинки, как правило, дома не было, и тебя начинала обхаживать расфуфыренная тетушка, предлагая ликеры и ослепительно улыбаясь подозрительно красивыми зубами. Однажды попался на удочку такой тетушке и я.

В школе танцев к нашей компании привязался один субъект по имени Яролим, непонятным образом завоевав наше доверие. Карманы его были набиты разными рукописями, стихами, рассказами, он жонглировал именами известных чешских писателей, которых якобы лично знал и с которыми при случае будто бы может нас познакомить. Он называл даже самого Ф. Кс. Шальду, с которым, мол, встречается в кафе «Тумовка», обещал нас повести туда и представить ему. После танцев он со своей девушкой Властичкой увязывался обычно с нами в кафе или в винный погребок. Ел, пил, а платить за себя и свою даму предоставлял нам.

Но однажды вечером, когда он пришел без Властички и снова ел и пил за наш счет, а потом еще стал у кого-то из нас клянчить деньги, мы решили его отшить. Уже поздно ночью мы собрались перейти в другой кабачок, чтобы посмотреть там программу, а он вцепился в нас как клещ, и тут наша решимость созрела окончательно. У трамвайной остановки возле какой-то новостройки мы заметили бак с гашеной известью. Он нас просто наэлектризовал — у всех четверых

одновременно возникла одна и та же мысль. Мы вмиг окружили Яролима и, подхватив его на руки, опустили в бак.

Яролим завопил, барахтаясь в жидкой известке. Но как он вылезал оттуда, мы уже не видели, потому что разбежались в разные стороны и встретились вскоре в ближайшем погребке, чрезвычайно довольные своей проделкой. С тех пор Яролим как в воду канул.

Ф. Кс. Шальду мы потом действительно видели в «Тумовке», и не только его, а и других известных чешских писателей. В кафе «Метро», в «Унионке», «Славии», «Далиборке» мы не раз встречали Витезслава Незвала, Франтишека Галаса и многих других, пользовавшихся впоследствии заслуженным признанием и славой.

Мы посещали кафе, винные погребки, бары не только для того, чтобы околачиваться возле писателей и поэтов, но и из желания узнать новый для нас мир, совершенно отличный от того, в котором жили прежде. Это давало обилие новых впечатлений, возбуждало, соблазняло нас и угрожающе отвлекало от главной цели, ради которой мы сюда приехали: от учебы. Однако и я сам, и несколько моих сверстников, все «ужаленные» поэзией, ошибочно полагали, что без такой жизни, без богемы, мы никогда не сможем стать настоящими поэтами или художниками. От богемы мы, впрочем, возвращались в свои комнатенки, где многие вещи и мелочи напоминали нам родной дом, его чистую, как хрусталь, атмосферу, и это невольно заставляло брать себя в руки. Но после такого катарсиса мы снова, как мошки, летели на огни столицы, отдавая себя им на сожжение в какой-то мазохистской лихорадке, не в силах сопротивляться этому, не в силах осуществить свои благие намерения.

Витезслав Незвал сам признавался в своих воспоминаниях, что «богема художника съедает, и если ему некуда укрыться, чтобы время от времени выбираться из ее заколдованного круга, она отравит его быстродействующим ядом, от которого умирают раньше времени». Но мы еще не были ни художниками, ни вообще сформировавшимися людьми, мы были лишь молодыми фантазерами и мечтателями, пустившимися наобум в неведомый мир. Тому, что мы не покалечили себе жизнь и не погибли во цвете лет, мы должны быть благодарны только хорошему, разумному домашнему воспитанию, здоровым этическим основам и положительному влиянию некоторых наших профессоров, а возможно, и туманным мечтам взойти когда-нибудь на Парнас, пока еще скрытый от нас в необозримой дали.

Я часто вспоминал своего гимназического преподавателя Галлера, советовавшего мне поступить на философский факультет. По его мнению, философия больше соответствовала моему характеру и способностям, чем право. Он усиленно внушал мне это, и я, правду сказать, вот-вот уж готов был решиться последовать его совету, но в те времена материальное обеспечение выпускников философского факультета было настолько мизерным, а жалованье преподавателей таким убогим, что я в конце концов согласился с аргументами моего брата Виктора и более опытных, чем я, старших товарищей, и решил изучать право. Позиция отца и в данном случае была очень дальновидной. Он не настаивал ни на том, ни на другом. «Сам выбирай, сын мой, к чему тебя больше влечет,— говорил он мне тогда.— Пока жив, я буду помогать тебе. Не забывай, что каждая профессия хороша, если заниматься ею с любовью, интересом, не только ради собственного благополучия». Такого принципа он сам придерживался всю жизнь и высказывал его всегда и везде, когда речь заходила о выборе профессии. Он постоянно думал обо всех людях, а не только о себе или своих близких.

Итак, я начал изучать право. Правда, с грехом пополам. Потому что на первом месте, как я уже говорил, у меня была Марка, а затем стихи, любопытство и желание познать новый мир. К сожалению, эту жажду познания я не сосредоточил на предмете изучения — юриспруденции,— а распылил ее, предоставил своим чувствам откликаться на все происходящее вокруг, и учение мое в университете кончилось неудачей. Чрезмерная эмоциональность все более сжигала меня, и даже при самых лучших намерениях я всегда капитулировал, хотя потом терзался угрызениями совести.

Прага тех лет была для меня еще загадочным городом, и я, двадцатилетний сельский парень, тщетно искал ключ к нему, чтоб открыть и постепенно, осмотрительно, разумно познавать его. Но так и не найдя тот ключ, я стал это делать без всякого чувства меры и осмотрительности. Только бы поскорее узнать Прагу, ею насытиться. Прогулки в одиночестве по староместским улочкам, сладкое безделье на Славянском острове, набеги на полные неповторимого очарования малостранские погребки, часы раздумий в садах под Петржинским холмом или на мостах ночной Влтавы и даже первая ночная встреча с проститутками у Прашной браны,— все это было лишь жадными поисками того источника, который утолил бы жажду познания нового для меня мира. Я жил как в дурмане. Во мне то брали верх печаль, покорность, бессилие, то возникало упрямое стремление овладеть этим миром.

С экзаменами в университете мне не очень везло, чего и следовало ожидать. Я сдал их только в начале 1930 года, и то с грехом пополам. На профессоров я сетовать не могу, все они были не только авторитетными учеными европейского масштаба, но в большинстве прекрасными людьми, которые помогали нам, а не причиняли зло.

После первых же неудач я начал думать, как избавиться от юриспруденции, к которой все-таки не лежала душа, и поступить куда-нибудь на работу. Но я боялся отца, не знал, как изложить ему свой план, как все объяснить, чтобы не слишком его ранить.

Так бежали дни, недели и месяцы моей пражской жизни. При воспоминании о них перед моими глазами мелькают картины, как в фильме, изрезанном неумолимой рукой времени. Эта рука вырезала из фильма воспоминаний некоторые кадры с видными личностями — и тут уж ничего не поделаешь. Значит, они лишь сверкнули или мелькнули в водовороте дней, или их заслонили другие люди и события. А может, мы сами не считали их тогдашнюю деятельность столь важной для того мира, в котором жили. «Чудесной жизнью жили те цветы»,— можно сказать, призвав на помощь Сладковича. Мы были молоды, а молодость — это не только период жизни, но и душевное, эмоциональное состояние. Даже сейчас, когда я вспоминаю ту пору, передо мной вновь оживает моя молодость, я снова как будто ощущаю дрожание пальцев моей молоденькой партнерши в школе танцев на Гавличковой площади, ее дыхание и щекочущее прикосновение волос, когда наши головы слишком сближались во время неудавшегося па.

Кроме эмоциональных волнений молодости, у нас были, конечно, и переживания по поводу событий менее приятных. Как раз в то время вся Прага, и не только Прага, была взволнована публичным процессом Михалека, д-ра Клепетаржа и Сикорского, обвиненных в убийстве богатой американской словачки Ворошмарти, и многими другими событиями такого рода, препарированными и поданными бульварной прессой на потребу людскому злорадству и шакальей жадности к сенсациям.

Но были и подлинные волнения. Например, когда нас избивала дубинками пражская конная полиция, или потасовка после выступления

д-ра Богумира Шмераля в Народном доме в Смихове, выборы руководства в обществе чехословацких юристов «Вшегрд», с которыми не могли сравниться даже знаменитые выборы в парламент, и т. д. и т. п.

И все же рука времени не может вырезать из этого фильма наших посещений галереи пражского парламента, в особенности когда предполагалось, что там будет «цирк» — очередная перепалка между депутатами разных партий. Это зрелище порой вызывало не меньше смеха, чем спектакли в «Освобожденном театре». В оба «театра» мы ходили с удовольствием, но билеты в парламент были бесплатные, а за билеты в «Освобожденный» приходилось платить довольно дорого.

А кино тех дней? В старейшем пражском кинотеатре «Монрепо» на Карловой улице сеанс начинался только тогда, когда собиралось достаточно зрителей. В Старом городе в кино «Конвикт» охотно ходили влюбленные — там были ложи с занавесками, которые можно было задернуть. Если хотелось посмотреть ковбойский фильм с прославленным Томом Миксом, надо было отправляться в кино «Американ» — правда, там можно было схлопотать пару тумаков от темпераментных соседей. Я любил ходить и в кинотеатр «Радио» на проспекте Фоха в здании «Радиожурнала», где играл отличный камерный оркестр и демонстрировались фильмы с Чарли Чаплином, Иваном Мозжухиным, Гретой Гарбо, Рамоном Наварро. В ту пору как раз кончалась эпоха немого кино, и когда в новом кинотеатре «Феникс» на Вацлавской площади объявили первый звуковой фильм — «Белые тени»,— билеты были проданы на несколько недель вперед. Наконец это чудо увидели и мы. По правде сказать, сначала я был даже немного разочарован. Звуковая аппаратура была еще далека от совершенства, звук и изображение не создавали такого гармоничного художественного впечатления, как сейчас, но кинотехника семимильными шагами двигалась вперед, и вскоре эти несовершенства были устранены.

Мы охотно пользовались льготными студенческими билетами в пражские театры, особенно в Национальный и Сословный. За всю мою жизнь я не ходил в театр так часто, как тогда в Праге. И не только в театр, а и на концерты. Но тут была скорее заслуга Душана Палки, всегда успевавшего обратить мое внимание на концерт, который, по его мнению, был «событием мирового значения» и на который надо было во что бы то ни стало попасть. Так я попал на концерт Шаляпина, приезжавшего на гастроли в Прагу, на концерт Яна Кубелика, на концерты симфонического оркестра Чешской филармонии. После этих концертов я чувствовал себя «очищенным», нравственно возрожденным, а Душан мне потом всякий раз разъяснял этическое значение большого искусства, в особенности музыки, расходясь в этом вопросе с Толстым и его взглядами на музыку, высказанными в «Крейцеровой сонате» и в книге «Что такое искусство».

Но от Праги того времени остались в моей памяти не только театры, концерты, кафе «Славия», «Унионка» или «Злата гуса», а и винные погребки и кабачки «У Розваржилов», «У Флека» и разные другие в Старом и Новом городе, на Малой Стране, в Смихове, Карлине и в пригородах. Мы возвращались оттуда ночью или на рассвете, веселые и озорные, расточавшие попусту бесценные дни молодости, не понимавшие, что их не вернуть, не внимавшие советам отцов и матерей. Все у нас в одно ухо влетало, из другого вылетало. «Мир принадлежит нам»,— пели в модной тогда песенке, и мы эти слова наполняли самым драгоценным содержанием — соком нашей молодой жизни. Мы жили поэзией, ее образами и символами, а писать стихи у нас просто не было времени. Мы казались себе завоевателями сказочного города. Но Прага все еще оставалась незавоеванной.

И вот однажды утром, в конце зимы 1928 года, жалкий, не в силах больше выносить угрызения совести, я вспомнил слова Незвала о губительности богемы, побрел на Вильсонов вокзал, сел в скорый поезд, и он помчал меня домой: мне было где укрыться от ее быстродействующего яда.

От станции Парижовце в родную Сельницу я шел пешком. Стемнело. Предвесенний морозец давал о себе знать. Под ногами потрескивал ледок, я проваливался в замерзшие лужи, ничего не видя перед собой. Из-за корчмы вдруг выскочил пес, и я только тогда заметил, что он белый, когда он перестал рычать и обнюхивать меня. Я бы окликнул пса, но забыл, как его зовут, и вспомнил, когда уже был далеко: Дунай. А пес узнал меня даже в полной темноте. Мне хотелось зайти сперва к Марке, но притягательная сила родного дома победила это желание.

Я возвращался домой совсем как блудный сын. Было около девяти часов. Отец, мать и Юлко сидели в горнице у стола. Отец читал газету, мать вязала, а Юлко готовил уроки. Лампа была опущена совсем низко над столом, как всегда, когда мама вязала. Свет едва мерцал, потому что стоял мороз и наша электростанция, как всегда, вышла из строя. Когда я открыл дверь, отец и Юлко поглядели на меня, как на призрак, а на лице мамы промелькнула улыбка облегчения. Отец снял очки и медленно встал из-за стола.

— Что случилось? — спросил он.— Ведь неделю назад я послал тебе деньги...

Когда я всех расцеловал, мама взяла меня за руку и повела в мою комнату. В коридоре она сказала:

— Идем, Онко, идем, я знала, что ты приедешь. У тебя в комнате натоплено.

Дверь моей комнатки заскрипела (как давно я ее не смазывал!), на меня пахнуло теплом горящих буковых поленьев. Я зажег свет. Постель была постлана. На ней лежала ночная рубашка.

Не сдерживая слез, я кинулся к матери и обнял ее.

■

Летом 1928 года я впервые в жизни побывал за границей, в Швейцарии. Там, благодаря протекции, находился на лечении у знаменитого профессора Ролье наш Виктор. Но накануне этой поездки я принимал участие в съезде лютеранской молодежи в Дольном Кубине и расскажу поэтому сначала о нем.

Съезд лютеранской молодежи представлял собой значительное культурное и общественное событие в жизни Словакии. Я с интересом принял в нем участие еще и потому, что здесь мог встретиться и познакомиться с молодыми литераторами-лютеранами. На дольнокубинском съезде я впервые встретился с Эмилем Болеславом Лукачем, с Маренкой Янчовой, впоследствии детской писательницей и женой нашего крупного прозаика Франтишека Гечко, и многими другими. Программа съезда была обширной, съехалось много людей, и дольно-кубинский приход, где священником был отец моего однокашника и друга Казо Безека — Ян Безек, походил тогда на потревоженный улей. Вечером 28 июня состоялось торжественное открытие, на котором выступил с речью Казо и читали стихи молодые поэты. На следующий день после речей и выступлений все пошли в Оравский замок. Мы, молодые поэты, все время тянулись к Лукачу, который, видимо желая произвести на нас впечатление, вдруг, проходя по мосту, резко остановился, так что мы чуть не налетели на него, и, раскинув руки, воскликнул, как пророк:

— О, как великолепны этот склон и этот замок!

Все мы, конечно, тут же уставились на замок, восторженно присоединяясь к патетической констатации Лукача. Только дав нам наглядеться вволю, он двинулся дальше, а мы за ним.

Вечером, но еще засветло, толпа молодых, а также и пожилых людей пришла на кладбище к могилам Гвездослава и Янко Матушки[1]. Там выступил д-р Юр Яношка и читал стихи Рудо Бртань. Оттуда все пошли к домам Гвездослава, Матушки и других, чтобы почтить память своих славных национальных деятелей.

Большим удовольствием было смотреть на эту пылкую молодежь, заполнившую дольно-кубинскую площадь. Дух Гвездослава словно бы воодушевлял ее трудиться на «ниве народной», как тогда было принято говорить. У всех нас было ощущение, будто мы совершаем что-то очень важное, и мы хорохорились, отдаваясь своим мечтам. Торжества закончились танцами в «Славии». Мы, естественно, выбирали себе в партнерши самых красивых девушек, менее всего заботясь о крепости их веры. Пожалуй, даже предпочитали тех, кто был более склонен к греху.

Разъезжались мы из чудесного Оравского края, как нам говорили, «укрепив свою веру», но стали ли мы более богобоязненными — не знаю. Зато каждый был полон впечатлений от новых встреч, от ярких июньских дней, когда гордый Хоч, единственный и извечный властелин Оравы, четко очерчивался на фоне ясного неба.

Когда я вернулся домой, приготовления к моей поездке в Швейцарию были закончены. Я должен был доставить Виктору лекарство, привезенное из Варшавы. С этим «чудодейственным» лекарством дело было так: отец где-то услышал или вычитал, что варшавский врач Войновский якобы открыл новое, действенное средство против туберкулеза. Отец тут же сел в поезд и отправился в Варшаву. Он долго искал доктора Войновского и, наконец, найдя его, получил то, за чем приехал. Варшавское лекарство было действительно необыкновенным. Оно занимало целый чемодан: несколько литровых бутылок с какой-то бесцветной жидкостью, несколько пакетов трав и две бутылки темно-красной жидкости. Способ употребления излагался в специальной инструкции. Вот это-то лекарство я и должен был отвезти в Швейцарию Виктору. Визы тогда для поездок в Австрию и Швейцарию не требовалось, все знали, что на границах чемоданы, как правило, проверяют лишь в том случае, если они или их владельцы явно вызывают подозрение. Я же как будто вызывать подозрений не мог.

В Братиславе я переночевал у приятеля Виктора доктора Якши, у него была холостяцкая квартирка при больнице. Когда я притащился к нему со своим чемоданом и рассказал, куда еду и что везу с собой, он просто высмеял меня.

— Послушай, Ондра, в Швейцарию ты, конечно, поезжай, но это дерьмо можешь сразу вылить в унитаз.

Я опешил. Потом рассказал ему, что пришлось проделать отцу, чтобы раздобыть это лекарство, поскольку доктор Войновский такой известный врач...

— Да какой он врач — шарлатан, и все! Я слышал о нем. Впрочем, делай как знаешь. Но если на границе бутыли не пропустят, ничего не случится.

Утром скорый поезд увез меня к австрийской границе. Пассажиров было мало, и я стал нервничать. Впервые в жизни я тогда пережил то особое ощущение страха перед таможенниками, когда сам

[1] Матушка, Янко (1821—1877) — словацкий поэт-штуровец.

себе кажешься подозрительным. Я разглядывал пассажиров. Напротив меня сидела австрийская монахиня. Мы сразу же с ней разговорились, и я надеялся, что она в случае необходимости поможет мне объясниться с австрийскими таможенниками.

Когда очередь дошла до меня, они велели мне снять с полки чемодан и открыть его. Перерыв одежду и обнаружив бутылки, они вытащили одну и спросили, что в ней. «Wein, bitte»[1],— ответил я с готовностью. Мне пришлось раскупорить запечатанную воском бутылку и отпить немного — иначе, оказывается, провозить было нельзя. Тогда вмешалась монахиня и сказала то, о чем я, разволновавшись, совершенно позабыл: что еду я в Швейцарию и из поезда выходить не буду. Таможенники взяли под козырек и ушли. Я вздохнул с облегчением и поблагодарил монахиню. А потом рассказал ей, что, собственно, я везу и для кого. Она проявила большое сочувствие и понимание.

На швейцарской границе таможенники к чемоданам даже не прикоснулись. Я мог беззаботно любоваться швейцарской природой, восхищаться образцовой чистотой на станциях и в поезде. Там уже в то время ходили только электропоезда. В Цюрихе я сделал остановку, осмотрел город и, вернувшись на станцию, поехал дальше, до Эгля. А оттуда на фуникулере поднялся в Лейзен — небольшой курортный городок на склоне Альп.

Узнав, как добраться до лечебницы «Александр», я зашагал по дороге, по которой уже много лет направляются к доктору Ролье люди, страдающие костным туберкулезом,— многие на костылях и даже на носилках,— ища спасения у этого человека, о котором Поль де-Крюи так хорошо рассказал в своей знаменитой книге «Борцы со смертью».

Лечебницу я нашел легко. Чемодан оставил в холле, и одна из сестер тут же провела меня к Виктору. Она тихо отворила дверь и, улыбнувшись, сделала мне знак молчать. Виктор и его сосед по комнате лежали в кроватях на открытой просторной веранде и читали. Я сразу узнал русую голову брата и, подойдя к изголовью постели, закрыл ему глаза ладонями.

— К вам гость, mon petit[2],— сказала сестра.

Виктор положил газету и начал меня ощупывать. Но я не выдержал, наклонился и обнял его.

Мы поздоровались. Виктор представил меня сестре Марианне и своему соседу Роберту, который с виду был совершенно здоровый, загорелый, очень симпатичный молодой человек.

Виктор засыпал меня вопросами о доме, о родных, о поездке отца в Варшаву, о моем путешествии. Но тут пришлось заняться моим устройством. Меня поселили на втором этаже в скромной, но уютной и светлой комнате. Мы договорились с администрацией лечебницы, что я пробуду здесь неделю. Сперва, правда, я немного испугался, что мне может не хватить денег, но Виктор меня успокоил.

Я порадовался тому, что у Виктора хорошее настроение, да и выглядел он неплохо — лицо покрылось бронзовым загаром. Меня смущало только странное сооружение под его левой рукой. Как я ни старался отвлечься, оно все время притягивало мой взгляд. Его назначением было, как выражаются медики, фиксировать левый плечевой сустав, пораженный туберкулезом. Предплечьем Виктор немного двигал, пальцами тоже, но надеть пиджак без посторонней помощи не мог.

---

[1] Вино, с вашего позволения *(нем.)*.

[2] Мой маленький *(франц.)*.

Когда мы в тот же день после полудня собрались на прогулку, сестра Марианна, помогая ему надеть пиджак, к моему большому удивлению, произнесла несколько слов по-словацки.

Виктор объяснил мне потом, что сестра Марианна очень сердечно к нему относится и, чтобы сделать ему приятное, выучила несколько фраз на его родном языке.

Сестра Марианна не отличалась особой красотой. Черты ее лица были резкими, крупными — великоватый, усеянный веснушками нос, слишком высокий лоб. Правда, глаза у нее были большие и темные, а рот красиво очерченный, с немного вздернутой верхней губой. Да и вообще в ней было много женского обаяния и доброты. Она стала медицинской сестрой потому, что тоже была больна туберкулезом, а ее родители не имели средств, чтобы устроить ее сюда на лечение. Кстати, если уж речь зашла о средствах, то и наш отец был бы не в состоянии учить двух сыновей, а третьему оплачивать дорогое лечение в Швейцарии. За лечение Виктора платил Национальный банк Чехословакии, где он в то время служил.

На второй или третий день моего пребывания в Лейзене Виктор с Марианной организовали прогулку в горы к Шале дю Рок. Было воскресенье, и Марианна была свободна. Но Виктору не разрешили идти пешком, и мы наняли экипаж, на котором добрались по серпантину до самой последней горной избушки. Пешком мы поднялись еще выше, и оттуда перед нами открылась широкая панорама Альп. Через головы альпийских великанов переваливались серебристые облака. Погода выдалась как по заказу, и настроение у нас было отличное. Марианна, стройная и ловкая, прыгала по камням, как серна, и весело болтала. Виктор шел медленно, опираясь на палку, и время от времени останавливался, чтобы перевести дыхание, а я замыкал шествие — просто не хотел их обгонять. По дороге я собирал щавель, ярко-зеленый, мясистый, и ел его, похрустывая сочными листьями. Под нами, в долине, паслись стада. Коровы разбрелись по склонам, и до нас доносился звон их колокольчиков.

И вдруг среди этой природы, дарящей нам радость, мне стало невыразимо грустно. Ведь часто бывает, что, видя прекрасное и чувствуя, как все твое существо поет, звенит от ощущения счастья, ты вдруг погружаешься в глубокую печаль, рожденную неясным страхом и мрачными предчувствиями.

На следующий день мне представилась возможность познакомиться с самим доктором Ролье, делавшим обход. Виктор с Робертом лежали на веранде, я стоял возле них и развлекал их разговорами. Сначала я хотел выйти, чтобы своим присутствием не мешать обходу, но Виктор попросил меня остаться.

Выдающиеся личности всегда создают вокруг себя какую-то особую атмосферу. Ролье приносил с собой хорошее настроение, вселял оптимизм. Его глаза и губы улыбались, даже если он говорил серьезно или внимательно слушал. Эта улыбка, освещавшая его овальное выразительное лицо с тонким носом и упрямым раздвоенным подбородком, придавала ему какую-то одухотворенность; на нем читалась его любовь к человеку, душевная уравновешенность и уверенность в себе. Ролье любил людей, и это подтверждалось каждым его движением и словом. Такие люди встречаются в жизни редко.

Он спросил, понравился ли мне Лейзен, добавил с улыбкой, что рад меня видеть здесь в качестве гостя и был бы вовсе не рад мне как пациенту. Выразил надежду, что и мой брат скоро возвратится домой здоровым.

В день моего отъезда из Лейзена небо заволокло тучами и опу-

стился туман. Прощание было грустным. Я молчал: ну, что тут скажешь?

— Знаешь, Онко, с лекарством, что ты привез, я немного повременю,— сказал Виктор.— Недавно мне делали инъекции Фридмана. Об этом даже Ролье не знал. Мы с Робертом были в Берне у доктора Готтара. Результат, говорят, у многих потрясающий. А вот как они на меня подействуют, не знаю. Поживем — увидим.

«Да, поживем — увидим»,— подумал я с горечью. Но тут с грохотом подкатил фуникулер, и я вошел в вагон.

— Держись, Виктор! — крикнул я ему из дверей.

Он помахал мне вслед и скрылся в тумане.

Среди стихов, которые я по возвращении послал Крчмеры в «Погляды», было и стихотворение «Clinique «Alexandre», посвященное Виктору. Штефан Крчмеры мне тогда ответил: «Оба ваших чудесных стихотворения я напечатаю. Что вы делали на Женевском озере? Там в самом деле красиво. Гордый Дан дю Миди с Шильоном у его подножья мне тоже не давал покоя».

■

Конец лета и начало осени прошли у меня довольно безалаберно. Не считая, конечно, работы над первым сборником стихов. Мой приятель и однокашник Йожко Цинцик писал мне из Лученца, что обложка сборника уже готова, что он следит за набором.

Книгу согласился издать Даниэль Пажицкий. Я до сих пор жалею, что слишком тогда поторопился. Стихов у меня собралось книги на две, не меньше, но самокритики не хватило даже на одну. Молодой задор и стремление к «самовыражению», тщеславное желание выделиться, а возможно, и завоевать славу — в общем, «прорваться» в большую литературу — заслонили критическое отношение к своему творчеству. Но что может остановить молодого парня, который вбил себе в голову, будто он поэт?

К отобранным мною стихам я добавил написанное в Швейцарии. Тогда срок выпуска книг был коротким, поэтому мой поэтический дебют под названием «И ночью и утром» вышел в конце 1928 года. Отзывы критики о моей книжечке были разные. Штефан Крчмеры в «Поглядах» приветствовал ее появление, а Андрей Мраз в газете «Словенски денник» разделал меня так, что даже пес не стал бы грызть мои кости. Меня это тогда просто убило. Недаром прошло целых двенадцать лет, пока я отважился издать вторую книжку.

Из Швейцарии я вернулся полный впечатлений — прекрасных, но грустных. Я искал уединения, бродил по горам, часто уходил в Просецкую и Сухую долины или на рыбалку. По вечерам писал стихи или разучивал с нашим сельским оркестром новые шлягеры, привезенные из Праги. Я стал обращать больше внимания на Юлко, который окончил пятый класс. Он вступил в переходный возраст. Тогда я еще не понимал, что и сам из этого возраста не вышел, хотя мне шел уже двадцать второй год. Юлко учился в гимназии лучше меня, было ясно, что его влекут точные науки. С математикой, например, он справлялся отлично, не то что я. С прошлого года он сильно вырос, стал красивым чернявым парнишкой, как, вероятно, отец в молодости, тогда как мы с Виктором унаследовали от матери русые волосы. Но и он был упрямым, непоседливым и своенравным — явный результат соединения Длуголинских с Плавками. Я как старший брат требовал от него послушания и уважения, с чем он не очень-то считался. Из-за этого возникали споры, порой серьезные, которые даже родителям не всегда удавалось уладить. Но так, вероятно, бывает почти со всеми

братьями. Больше всего меня злило, что он, как и родители, начал выражать недовольство моими отношениями с Маркой. Еще год назад ему было на это наплевать, он как будто даже поддерживал меня, но, взрослея, стал переходить на сторону родителей. Однажды он высказался о Марке так непочтительно, что я дал ему затрещину. Итак, теперь все в доме были против меня. Даже служанка, добрейшая душа, которая сочувствовала мне (по крайней мере так мне казалось), в последнее время стала на сторону родителей. И не одна она, а чуть не вся деревня. Я чувствовал себя великомучеником, страдающим за правое дело. Это заставляло меня еще больше предаваться романтическим мечтаньям и проявлять упорство, на которое может быть способен только влюбленный до безумия мальчишка, начитавшийся стихов и романов о несчастной любви. Я был неколебим в своем чувстве, как наши горы, где я искал поддержки, а иногда задумчиво-печален, как наша сосновая роща, которой я изливал свою грусть, потому что ни с кем больше не мог поделиться.

Пожалуй, единственным моим развлечением был кегельбан. Отец не запрещал мне ходить туда, зная, что это вполне невинная забава. но проявлял недовольство, когда я слишком часто ходил к Марке или где-нибудь с ней пропадал. Его очень огорчило то, что даже Прага меня не излечила. Однажды в августе, когда мы вместе косили ячмень, в наших головах уже созрели слова, которые нам надо было высказать, точно так же, как надо было скосить эти созревшие ячменные колосья.

— С этой историей пора покончить! — сказал отец серьезно и веско, не глядя на меня.

— С какой историей? — спросил я, будто не понимая, о чем идет речь.

— Ты что, не собираешься с Маркой расстаться? Учиться надоело, что ли?

И он посмотрел мне прямо в глаза.

Ах, боже мой, что ему ответить? Как сказать, что мне учиться вовсе и не хочется, что любовь к Марке для меня важнее университета, важнее, чем Прага, чем Сельница с ее сплетниками. Она — центр вселенной, она «свет и тьма», как в поэме Сладковича «Марина». Но отца сейчас не интересовал Сладкович — он хотел знать, собираюсь ли я учиться дальше.

Отец принялся точить косу. Я видел, как нервно водит он бруском по лезвию, рука его дрожала, и я боялся, как бы он не порезался.

Закончив, отец повернулся ко мне и сказал сердито:

— Ты глупее последнего подпаска!

Не знаю, что со мной тогда случилось. Я вскочил и единым духом выпалил отцу все, что меня давно мучило:

— Я женюсь, так и знайте! Я уже взрослый и могу жениться без вашего согласия. А учиться буду потом.

Отец весь затрясся от негодования, швырнул косу на землю. Из горла его вырвались какие-то нечленораздельные звуки, он посмотрел на меня, как на совершенно чужого человека. Потом повернулся и медленно, с достоинством зашагал вверх по берегу ручья. Дойдя до луга, он спустился в ложбинку, где бил родник; сначала припал к роднику, потом сел и закурил трубку. Отсюда он казался маленьким темным пятном, и мне стало до боли жаль его. Я наточил косу и принялся докашивать ячмень.

Впоследствии мы все же договорились — хотя мать смирилась лишь после длительных объяснений и настояний отца,— что нам с Маркой разрешат обручиться. Другими словами, наши взаимоотношения будут легализованы. Но я должен был, в свою очередь, пообе-

шать, что не буду настаивать на свадьбе, пока не закончу университет. Я был очень доволен, напряжение в семье разрядилось, теперь надо было усиленно заниматься.

Обручение происходило у нас в доме — скромно и тихо. Кроме членов нашей семьи и нас, главных героев, была еще мать Марки — тихое, безропотное существо — и две Маркины подруги. Обручальные кольца, купленные на деньги отца, мы с Маркой надели украдкой, под столом. Большого веселья не было, обстановка к этому не располагала. Чувствовалось, что вся церемония — лишь неизбежное зло и это осознают все присутствующие. Мама молча носила из кухни еду, и мне казалось, что она умышленно приносит понемногу, чтобы меньше сидеть за столом. Отец вел себя героически, он завел с Маркиной мамой серьезный разговор, и казалось, что они хорошо понимают друг друга. Слушая одним ухом, я понял из их разговора — они смирились с тем, что детей переубедить невозможно, что мы, то есть я с Маркой, совсем потеряли голову. Юлко после ужина ушел в мою комнату и больше не показывался. Я пытался развлекать Маркиных подруг, и она мне в этом помогала. Мы даже немного посмеялись, но наш смех был лишь слабым огоньком, который то разгорался, то гас.

Провожая гостей, отец попросил Маркину маму повлиять на дочь, чтобы она не очень отвлекала меня от занятий. Он несколько раз сказал об этом и самой Марке.

И все-таки в тот момент мы чувствовали себя счастливыми, обещали выполнить все, что требовали родители, и нам казалось, что мы говорим очень убедительно.

Отец открыл парадную дверь, что делалось у нас лишь в особых случаях, вместе с мамой проводил гостей на улицу, и я впервые пошел провожать Марку открыто, с родительского благословения, как свою невесту.

■

В 1929 году Марка с матерью переселилась из Сельницы в деревню под Ружомбероком. По дороге в Прагу, а особенно из Праги домой, я мог теперь останавливаться у них, не боясь стать предметом сплетен, и находиться там сколько пожелаю. Но оказалось, что учебе это вовсе не помогает. Скорее наоборот. Тщетно Маркина мать со слезами выпроваживала меня, умоляя не забывать своего обещания и пожалеть ее. Она постоянно напоминала мне о заботливости моих родителей, об их доброте, корила за неблагодарность и безрассудство.

В конце концов я взялся за ум и подготовился к первым экзаменам. Я тратил много времени на работу в «Детване», писал стихи и статьи в различные журналы. Мне хотелось блеснуть перед Маркой.

В сентябре 1929 года я снова побывал за границей. Союз словацкого студенчества получил государственную дотацию на туристские поездки и организовал экскурсию по Балканским странам до Черного моря.

В начале сентября двадцать три словацких студента — в их числе и я — сели в Братиславском речном порту на пароход «Уранус» и поплыли вниз по Дунаю до румынского порта Джурджу. Оттуда отправились в Бухарест, затем, вернувшись в Джурджу, поплыли к болгарскому городу Русе, а потом поездом поехали в Софию, Пловдив, Плевен, Стамбул; по Черному морю приплыли в Констанцу и через Бухарест, Брашов, Арад и Будапешт возвратились снова поездом в Братиславу. Путешествие продолжалось целый месяц.

В таких городах, как Будапешт и Белград, мы останавливались на несколько часов и совершали непродолжительные экскурсии. Но в Белград прибыли, к сожалению, под вечер и не увидели даже Кале-

мегдана, его величественной крепости, зато всем нам запомнились дунайские Железные ворота — здесь широкая река, зажатая скалистыми берегами, бурлит и бушует. По словам капитана, в этом узком проходе потерпело крушение не одно судно. Правда, нас успокоили, что с нашим пароходом такое не случится, потому что он новейшей конструкции, да и лоцманы сейчас куда опытнее.

Бухарест 1929 года поразил нас своим показным блеском и резкими контрастами. Напудренные, подкрашенные, надушенные офицеры в корсетах, роскошные наряды богачей и жалкие лохмотья босых и голодных бедняков — вот что мы увидели в тогдашней столице Румынии. Да и нравы здешние нас удивили — без бакшиша тебя не обслужат даже на почте.

Главным источником румынского национального богатства — нефтью — владели иностранные компании, сельское хозяйство было на таком низком уровне, что едва могло прокормить крестьян, почти не имевших своей земли, потому что она принадлежала крупным помещикам и королю. Вероятно, самую точную картину румынской жизни можно найти в рассказах румынского классика Садовяну, произведения которого в те годы уже начали переводить и у нас и с которым я имел счастье лично познакомиться при втором посещении этой страны уже в послевоенные годы.

Да и Болгария в то время тоже была страной очень бедной. В Софии на военном параде, который нам довелось случайно увидеть, только первые шеренги солдат в убогой униформе были обуты, остальные же лихо маршировали босиком. И эту живописную картину наблюдал с трибуны сам царь Борис.

Правда, мы вынесли тогда из Болгарии и другое впечатление, не менее памятное. В Плевене нам удалось встретиться с легендарным генералом Заимовым, героем освободительной борьбы болгар против турок. Болгарские студенты, сопровождавшие нас по стране, сообщили о нашем приезде Заимову, которому тогда было уже за восемьдесят. Он жил в скромном домике возле того самого места, где произошла историческая плевенская битва. Вернее, возле кладбища, огражденного тысячами винтовок павших русских солдат, которые отдали здесь свою жизнь за свободу Болгарии. Мы видели там и знаменитую «костницу» — саркофаг с грудой черепов и костей, очень напоминавшей ту, что изображена на знаменитой картине Верещагина «Апофеоз войны».

Генерал Заимов принял нас и после короткой беседы предложил пойти в его «нирвану» — увитую розами и виноградной лозой беседку в саду, где нас на родном языке приветствовали две молоденькие словачки в национальных костюмах. Они были родом из словацкого села Мртвице, расположенного неподалеку от Плевена, и помогали Заимову по дому. Мы просто остолбенели, нам даже и присниться такое не могло. Но наше удивление стало еще большим, когда Заимов сказал:

— А я и вашего знаменитого земляка знаю. Сюда приезжал ваш Светозар Гурбан[1]. Был у меня дома, сидел на этой самой скамейке. Много говорили мы с ним о наших народах. Судьбы их очень близки.

Девушки предлагали нам только что собранный виноград и разные другие лакомства, а старый генерал угощал вином. У кого-то из нас был фотоаппарат, мы сделали несколько снимков, из которых один у меня сохранился. Уходя от Заимова, мы пообещали обязательно прочитать путевые заметки Гурбана, в особенности очерк «София — Плевен».

[1] Гурбан, Светозар, псевдоним — Вайянский (1847—1916) — словацкий писатель и публицист, видный деятель словацкого национального возрождения.

Пробыв в Болгарии около недели, мы отправились восточным экспрессом из Софии в Стамбул. В пути издали любовались знаменитой крепостью Адрианополь, а приближаясь к сужающемуся концу европейского континента, впервые в жизни увидели море. Все пассажиры высунулись из окон. Для нас, жителей внутриконтинентальной страны, это было, разумеется, впечатление на всю жизнь.

Со стамбульского вокзала шестеро турецких студентов отвезли нас в автобусе в университетское общежитие на другой стороне бухты Золотой рог, в район Галата.

Турция того времени жила под знаком реформ Кемаля-паши Ататюрка, основателя Турецкой республики. В день нашего прибытия в Стамбул мы и подумать не могли, что сможем его увидеть. Точно так же не думали мы, что окажемся свидетелями одного из самых важных, поистине революционных событий в жизни современного турецкого государства — европеизации алфавита. Вчера еще газеты набирались старым витиеватым турецким шрифтом, а сегодня мы взяли в руки те же газеты, но они уже были напечатаны латинским шрифтом. Если принять во внимание, что даже с полиграфической точки зрения это был настоящий переворот, то какой же это был переворот в умах, в сознании людей! Каждое начинание Кемаля-паши, одного из самых прогрессивных турок двадцатого века, взрывало жизнь закосневшей в веках Турции — и не только жизнь политическую, но и духовную.

А увидеть турецкого президента нам удалось при таких обстоятельствах. Наши стамбульские коллеги, зная, что Кемаль-паша время от времени обедает в одном респектабельном ресторане в европейской части города (правда, когда он там бывает, все же принимаются некоторые меры безопасности), пообещали устроить так, чтобы нас туда пропустили. При входе в ресторан двое сотрудников тайной полиции пересчитали нас, как чабан овец, и указали места за столиками. Как в любом хорошем ресторане, здесь все было чинно и благородно. Люди спокойно беседовали, ели, пили. Струнный оркестр играл Оффенбаха. Мы сели за столики и заказали такие блюда, которые предположительно могли оказаться для нас съедобными. Ничего удивительного — это было не так-то просто, в одной харчевне, например, нам предложили ботву от редиса, политую растительным маслом и увенчанную одной-единственной красной редиской в качестве украшения! Напрасно мы пытались объяснить, что заказали редис, а не ботву,— нас не поняли.

Но на этот раз мы действительно получили настоящий венский шницель с настоящим картофелем и настоящим салатом из огурцов! И вот, когда мы с огромным аппетитом уплетали все это, оркестр вдруг заиграл туш, все вскочили с мест, и мы увидели Кемаля-пашу, окруженного свитой. Он шел, улыбаясь и раскланиваясь. Ататюрк был ниже среднего роста, но держался прямо, и поэтому, да еще благодаря горделивой осанке, фигура его казалась внушительной. Когда он переставал улыбаться, его лицо приобретало энергичное выражение, темные глаза становились колючими, большой нос казался еще крупнее, а тонкие губы еще тоньше. Над высоким лбом у него серебрились подстриженные ежиком волосы. Когда он сел, в ресторане все успокоилось, оркестр продолжал прерванную программу. Затем вышли танцовщицы.

В Стамбуле за неделю, проведенную там, мы, конечно, осмотрели все достопримечательности — Айя Софию, Храм божьей мудрости, саркофаг Александра Великого, Сокровищницу в Галате-Сераль, военный музей, а также один из бывших гаремов, настолько сохранившийся, что, казалось, его обитательницы лишь ненадолго покинули его. Не обошли мы своим вниманием порт и портовые кабачки, в которых

нас, молодых и здоровых парней, жадно разглядывали бесстыжие, полуобнаженные шлюхи, поджидавшие матросов. Когда говорят, что нигде нет такого смрада, как в Стамбуле, то имеют в виду именно портовые улочки. Это отвратительная смесь запахов рыбы, прогорклого масла, винного перегара, пряностей, человеческих испражнений, пота и еще бог знает чего.

Мы не забыли осмотреть и огромный стамбульский крытый рынок — чаршию, у входа в который, как приманка для посетителей, из старого скрипучего граммофона с трубой раздавалась мелодия «Персидского базара» Кетлби.

Из Стамбула в Констанцу мы плыли на настоящем океанском пароходе. Ночью поднялся сильный шторм, и многие из нас узнали, что такое морская болезнь. В Констанце мы расстались с пленившим нас Черным морем и вернулись в Братиславу поездом.

С большим чемоданом я притащился с вокзала к Йожко Якши. Было поздно, Йожко уже спал. Встав рано утром, чтобы не прозевать скорый поезд на Ружомберок, я не решился его будить, но кошелек мой был совершенно пуст. К счастью, Йожко проснулся, увидел, что я собираюсь уходить, и его вдруг осенило.

— Деньги в шкафу. Возьми сколько надо. После такой поездки ты, понятно, без гроша.

Он повернулся на другой бок и снова уснул.

Я открыл шкаф, увидел среди носовых платков стокроновые бумажки и взял одну — на дорогу хватит.

Вернувшись домой, я написал несколько стихотворений. Два из них — «У Заимова» и «На скутарском кладбище» — Крчмеры опубликовал в «Поглядах», но я не включил их ни в один из своих сборников просто потому, что забыл про них — правда, не только про них.

■

В конце 1929 года лученецкое отделение международной организации «Young men's christian association» (YMCA) — «Христианская ассоциация молодых людей» — объявило конкурс на замещение вакантной должности секретаря по работе со словацкой молодежью. Йожко Цинцик сказал мне об этом еще в Праге, когда мы уезжали домой на рождество. Он сам был родом из Лученца, хорошо знал эту организацию, мальчишкой ходил туда на спортивные занятия и много мне о ней рассказывал. Я же об этом учреждении толком не знал ничего. Ему было известно, что я подыскиваю себе работу, и он стал меня уговаривать, чтобы я подал документы на конкурс. Приехав домой, я сообщил о своем намерении родителям и попросил их дать согласие. Отец, как ни странно, тут же согласился, и мама тоже.

— По крайней мере, перестанешь лоботрясничать,— сказал отец.— С университетом у тебя, видно, ничего не получится.

Я пытался доказывать, что и работая смогу продолжать учиться — буду ездить сдавать экзамены, юриспруденция — это не медицина.

— Ты и не работая не учился. А будешь работать, и вовсе времени на образование не останется, тем более что у тебя душа к нему не лежит,— сказал отец.

Как он был прав! Я сдал один экзамен, и на том все кончилось.

Сразу после рождества из Лученца пришел ответ. Положительный. Место секретаря я могу занять со 2 января наступающего, 1930 года.

В Лученец я приехал вечером. Йожко Цинцик встречал меня на вокзале — я попросил его об этом в письме, потому что никогда еще

там не бывал. Просил я его также заказать мне номер в гостинице, но он со своими родителями решил, что я переночую у них.

— Добро пожаловать в Лученец,— приветствовал меня старый Цинцик, местный учитель и патриот.— Очень рад, что вы приехали, теперь у нас будет одним словаком больше.

На следующее утро Йожко проводил меня к зданию Ассоциации. В то время это был, несомненно, один из самых красивых и современных домов в городе.

Мне нужно было представиться ответственному секретарю Шандору Мегеши. Я вошел в приемную и через открытую дверь кабинета увидел плотного, невысокого роста господина в щеголеватом костюме. От всей его фигуры и округлого, тщательно выбритого лица исходил сладковатый запах одеколона.

— Не угодно ли вам пройти ко мне, пан Плавка? Сердечно приветствую вас! — произнес он, и эти округлые, сладковатые фразы как нельзя больше соответствовали всему его облику.

«Спасибо на добром слове»,— подумал я и последовал за ним.

Кабинет его, скромно обставленный, был светлым, просторным.

— Я ответственный секретарь Александр Мегеши,— сказал он, подавая мне руку.— Садитесь, пожалуйста! Еще раз приветствую вас.

— А я Андрей Плавка, которого вы приняли на место секретаря. Хотел бы приступить к исполнению своих обязанностей.

— О, ваша работа очень интересна.— Он сел за стол, вытащил из ящиков несколько брошюр и, протягивая мне их, добавил: — Проштудируйте это и узнаете все об Ассоциации и ее истории. Там есть и отчеты о деятельности нашего отделения.

Затем он заговорил о моей работе, о том, каков общий распорядок, чем я буду заниматься, с кем сотрудничать и сколько мне будут платить. Под конец поинтересовался, уже совсем по-приятельски, как я провел праздники, как доехал, и проводил меня в комнату, где мне предстояло работать вместе с моим коллегой — венгерским секретарем Ференцем Гомбошем.

Ференц Гомбош был значительно старше меня. Его лысую голову обрамлял лишь венчик седых волос. Глаза были темные, пытливые, и, казалось, прямо из ноздрей его длинного носа росли черные, как смоль, усы, которые он явно подкрашивал. Гомбош носил всегда один и тот же серый, хорошо сшитый костюм, в другой одежде я его даже не могу себе представить. Позднее я узнал, что он был известным венгерским писателем и выступал под псевдонимом Шиманди Пал. Он был кальвинистом, закончил теологический факультет, но потом с церковью разошелся. Это был человек весьма прогрессивных взглядов, склонявшийся к марксизму. Мягкий и доброжелательный, терпимый и начисто лишенный шовинизма, он выделялся среди венгерских интеллигентов, живших тогда в Лученце и поддававшихся настроениям тогдашней венгерской «ирредеты»[1].

Ференц Гомбош встретил меня сердечно и дружески. Такой была и наша дальнейшая совместная работа. Сейчас, когда я пишу эти строки, он живет в Будапеште. Он стар и болен, но продолжает с большим интересом следить за всеми событиями современной культурной жизни.

---

[1] Ирредента (от итал. irredente — неосвобожденный) — националистическое движение в Италии в конце XIX — начале XX в., проходившее под лозунгом присоединения к Италии земель, частично населенных итальянцами и не вошедших в состав Италии при ее воссоединении. Плавка по аналогии называет «ирредентой» венгерское националистическое движение в землях, частично населенных венграми (в данном случае — в Словакии).

На обширной лученецкой площади, куда съезжались на базары и шумные ярмарки крестьяне и ремесленники из всей Новоградской округи, где стояли четыре корчмы, в которых буйствовали пьяные мужики, высилось и здание нашей Ассоциации — красивое, уютное, тихое. Оно как антипод крикливому, шумному торжищу и пьяному буйству уже своим внешним видом вызывало уважение к благородной миссии этого учреждения.

Из брошюр Мегеши я узнал, что Ассоциация была основана в 1844 году в Лондоне приказчиком Джорджем Уильямсом. Практическое содержание она приобрела позже — в Америке, в значительной мере утратив религиозный характер. Христианское воспитание, правда, сохранилось, независимо от принадлежности к той или иной церкви, но в качестве почти равноценных составных частей добавились еще физическое воспитание, социальное обеспечение, самообразование и светское воспитание. Перед Ассоциацией была поставлена цель заботиться о гармоническом воспитании молодого человека. С течением времени по ее примеру была основана Христианская ассоциация для молодых женщин. Отделения Ассоциации появились в Чехословакии сразу же после первой мировой войны. Сначала их сотрудники вели работу в войсках: заботились о жилье, строили бараки, заботились о пленных, организовывали благотворительное питание, одевали беженцев. После 1920 года Ассоциация превратилась в гражданскую организацию. При поддержке местных деятелей и своего международного центра в Женеве эта организация начала строить дома, в которых холостые молодые люди могли получить дешевое жилье и питание. Она объединяла их в клубы в соответствии с их интересами, короче говоря, пыталась дать им и духовную и телесную пищу. Она принесла к нам не только волейбол, баскетбол, но и доступные столовые с самообслуживанием. Впоследствии Ассоциация стала также организатором досуга молодежи (массовые игры, пинг-понг и т. п.), детских летних лагерей, различных кружков. Она проявляла заботу о детях безработных, о молодежи из неимущих социальных слоев, помогала им получить профессию и общеобразовательные знания — открывала курсы иностранных языков, а также школы, преимущественно торговые, устраивала лекции с диапозитивами. Благодаря активной международной деятельности и связям ей удавалось привлекать для чтения лекций всемирно известных деятелей культуры и науки. При этом она всячески старалась быть в стороне от политической жизни, а также от жизни церкви, желая сохранять в этих вопросах нейтралитет. Католическая иерархия отказывалась от прямого, пусть и пассивного, сотрудничества с ней, и с течением времени Ассоциация приобрела характер чисто протестантского учреждения, хотя в нее входили не только протестанты, но и католики, иудеи и представители других вероисповеданий. Местными отделениями Ассоциации руководило правление, состоявшее обычно из видных местных деятелей и покровительствующих ей лиц. Практической деятельностью занимались штатные секретари, отвечавшие за свою работу перед правлением и перед центром в Праге.

Итак, я начал работать в этом учреждении в качестве секретаря и работал в различных его отделениях до весны 1945 года, то есть полных пятнадцать лет. В Лученце я занимался словацкой молодежью, прежде всего ее физическим воспитанием и просвещением. Мне пришлось пройти специальные курсы и сдать экзамены, например, на звание судьи по волейболу и баскетболу, на должность руководителя летних лагерей и т. п. Время от времени к нам приезжали секретари Ассоциации из США, главным образом пожилые люди, которые делились своим опытом, читали нам лекции о деятельности Ассоциации

в различных странах мира, о методах работы с детьми, об организации летних лагерей, о работе с молодежью в клубах и т. д.

Я сохранил о Лученце самые светлые воспоминания. Там я встретился со многими хорошими людьми. Работа меня удовлетворяла, я с удовольствием имел дело и со взрослыми, и с детьми: уже тогда в лученецких школах училось много ребят из окрестных словацких сел.

Сначала я ни с кем из местных жителей не встречался, потому что не был с ними знаком, и свободное время проводил только в семье Йожко Цинцика. Правда, и это удавалось не часто, потому что я был занят с утра до позднего вечера. Но моя замкнутость была неверно расценена. Выяснилось это так. Примерно в конце января 1930 года в Лученец с лекцией на тему «Словаки после 1867 года» приехал председатель Матицы Словацкой доктор Йозеф Шкультеты. Лекция проходила в большом зале Городского дома, и лученецкие словаки считали своим патриотическим долгом послушать ее. Зал был полон. Когда мы по окончании лекции выходили из зала, инспектор Галло, державший меня под руку, вдруг сказал:

— Подождите минуточку, пан секретарь, я скажу несколько слов нашему высокочтимому лектору.

Я остановился. Вскоре из боковой двери вышли Шкультеты, инспектор Галло, доктор Базовский и еще несколько человек. Я хотел пройти вперед, но Галло меня остановил. Председатель Матицы и остальные подошли ко мне, и инспектор Галло меня представил. К моему удивлению, Шкультеты помнил меня еще по Мартину. Я был восхищен: ведь мы виделись лишь мельком. Вдруг доктор Вода, с которым я еще не был знаком, обращаясь к Шкультеты, сказал:

— Как вам нравится наш новый секретарь? Он даже не нанес визита ни одной словацкой семье! Это что, такая теперь мода, пан секретарь?

Даже сам Шкультеты, увидев мою растерянность, взял тогда меня под защиту. Я должен был как можно скорее «исправиться». Но сумел это сделать только в марте — и уже не один, а со своей «половиной», потому что к тому времени женился.

Я поступил в полном соответствии с любимой поговоркой отца: «Сначала домом обзаведись, а потом женись». Работа и дом у меня уже были, я мог поторопиться со свадьбой — родители лишились последнего козыря.

Свадьба состоялась 1 марта в Ружомбероке. Мама на свадьбу не приехала. Как будто материнская интуиция ей подсказала, что брак наш будет неудачным. Приехали отец и Юлко. Священник обратился с трогательным словом к нам, новобрачным, взяв к нему эпиграфом строфу из «Марины» Сладковича, потом по просьбе Марки на органе сыграли «Подумай, Марженка» из «Проданной невесты», и все пошли к Чавоям — тогда это был лучший ресторан в Ружомбероке. Играли цыгане, все развеселились, и мне показалось, что немного повеселел и отец. Он пошел с Маркой танцевать чардаш, подпевая музыкантам и хлопая в ладоши. Я был доволен. Но, несмотря на веселье, в глубине отцовских глаз и в глубинах моей души таилась печаль.

■

Ассоциация предоставила мне, уже семейному человеку, небольшую, но уютную квартирку со всеми удобствами. Мы с Маркой были счастливы. Недостатка ни в чем не испытывали. Пришла весна, на просторной городской площади зазеленели деревья. Мы любовались ими из окон, а когда шел весенний дождь, протягивали навстречу ему

руки, и вместе с дождем на нас, казалось, проливалось счастье. Мы видели его повсюду, встречались с ним на каждом шагу. И люди нам казались лучше, чем прежде, и все, что окружало нас,— красивее.

Вот теперь я нашел время для визитов. Принарядившись, мы с Маркой отправлялись выполнять этот «светский» ритуал, соблюдая, конечно, «табель о рангах». Первой была семья окружного начальника Ивана Чичманца. Мы с волнением позвонили в дверь его квартиры — с самим окружным начальником я уже несколько раз встречался, но с его семьей знаком не был. Нас приняли очень сердечно, рассказали о жизни в Лученце, посоветовали, куда следует ходить, и в заключение пан окружной начальник предложил мне сотрудничать в местном отделении Матицы Словацкой, председателем которого был. Он приятно удивил меня простотой обхождения. Мы не встретили в его доме ни чопорности, ни высокомерия, не слышали фальшивых и пустых слов. Власть не испортила благородного характера Ивана Чичманца, в чем я потом неоднократно убеждался.

Мы посетили почти все видные словацкие семьи — Базовских, Гилмеров, Воды, Лоренцов, Ондрушей и других, но больше всех подружились с доктором Густавом Водой и его женой Белкой. Густав Вода привлекал меня своим остроумием, оригинальными суждениями, темпераментом и большой эрудицией. Он учился в Швейцарии, где получил диплом химика и степень магистра фармакологии. Его жена Белка была примером образованной словачки, о каких мечтали все наши писательницы. Ее дом представлял собой подлинно национальный музей в миниатюре. В нем было даже то, чего не сумели тогда собрать в нашем национальном музее, а именно — уникальная коллекция палок и тростей. Эта коллекция впоследствии была передана мартинскому музею.

А Людовит Базовский — наш лученецкий адвокат? Старый бородатый бунтарь, внешностью очень похожий на Толстого. Это был настоящий живой памятник Лученца и его современной истории.

Особенно приятными были для меня два визита: к учителю Клейну и директору гимназии Михалу Ондрушу. Об учителе Клейне я уже писал. Это был мой первый учитель в Сельнице. А Михал Ондруш был председателем выпускной экзаменационной комиссии, перед которой я в микулашской гимназии всего три года назад стоял ни жив ни мертв. Узнав, что я бросил занятия в университете, он покачал головой. «Ну, это, конечно, дело ваше,— сказал он.— Что ж, трудитесь тогда здесь. Мы должны помогать друг другу».

И я ему, можно сказать, помог получить новое здание для гимназии. Невероятно, правда? А случилось вот что: он разрешил мне показать в зале гимназии видовой фильм для учеников старших классов. В кинобудке, которая не имела специального оборудования, у нашего киномеханика во время демонстрации внезапно загорелась пленка. От нее воспламенились кинопроектор и лежавшие рядом кассеты. В ту же секунду вспыхнула вся будка, и нам с киномехаником пришлось спасаться бегством. К счастью, никто из учеников не пострадал. Естественно, вся гимназия кинулась тушить пожар, приехали и пожарники. Когда мы с Ондрушем смотрели на дымящийся остов кинобудки, он, заметив, какой у меня несчастный вид, вдруг улыбнулся и сказал: «Не огорчайтесь, может, это даже к лучшему — вот возьмут и построят нам новое здание. Хотя вряд ли».

В те времена я, по мнению многих, был очень деятельным: работал не только в Ассоциации, а и в местном комитете Матицы Словацкой, где меня выбрали протоколистом. В апреле того же 1930 года я познакомился с последним секретарем Льва Николаевича Толстого, кото-

рый принял мое приглашение прочитать лекцию в Лученце. Валентин Булгаков в то время жил в Праге, в эмиграции. Впоследствии советское правительство разрешило ему вернуться на родину, и он стал научным сотрудником музея Толстого в Ясной Поляне. Там я с ним встретился через много лет, в 1951 году, когда он был уже глубоким стариком.

Лекция Валентина Булгакова в Лученце была событием исключительным. Слушатели до отказа заполнили большой зал Городского дома. Переводчик не потребовался — Булгаков хорошо говорил по-чешски, и мы могли непосредственно воспринимать его живой и увлекательный рассказ о Толстом.

На следующий день он встретился с сотрудниками Ассоциации. Мой коллега Гомбош не разделял взглядов Толстого и горячо спорил с Булгаковым. Я кое-как переводил. Гомбош уже тогда высказывал марксистские взгляды и не мог согласиться с толстовской идеей непротивления злу. По возвращении в Прагу Булгаков прислал мне свою фотографию с надписью: «Дорогой пан Плавка, еще раз благодарю Вас за Вашу любезность и дружеское расположение в Лученце. Мне было очень приятно познакомиться с Вами. О Лученце у меня остались самые хорошие воспоминания. Теперь я дома и еще раз шлю Вам самые искренние приветствия! Преданный Вам Валентин Булгаков».

Летом 1930 года я провел некоторое время в детском лагере в Оравском Подзамке. Здесь я ознакомился с практикой организации таких лагерей, с проведением лесопосадок и вообще с интересной, порой нелегкой и очень ответственной работой с детьми. Я научился разжигать костры, различать породы деревьев, проводить легкоатлетические соревнования и спортивные игры, придумывать увлекательные занятия на случай ненастных дней. В летнем лагере в Оравском Подзамке перебывало много ребят из Словакии, а также из Чехии и Моравии, и все они с удовольствием вспоминали о времени, проведенном в этом прекрасном уголке Оравы. Тут зародилась не одна дружба, сохранившаяся потом на долгие годы. Кроме лагеря в Оравском Подзамке, наша Ассоциация основала впоследствии еще несколько летних детских лагерей в различных уголках республики. В организации трех из них принимал участие и я — под Всетином, под Червеным каменем и под Любетовой.

В начале осени того же года тихая провинциальная жизнь Лученца была нарушена неожиданным событием: в город прибыл президент Масарик. У бедняги Ивана Чичманца голова пошла кругом от хлопот. Все учреждения, организации и общества были подняты на ноги. Масарик приехал в Лученец 11 сентября в сопровождении министра внутренних дел Юрая Славика. Перед окружным управлением состоялся митинг. Стоя на балконе, Масарик произнес речь. Закончил он ее по-венгерски, но с таким произношением, что лученецкие венгры с трудом его понимали. После митинга президент и сопровождающие его лица отправились на фабрику в Филяков. У ворот фабрики высокого гостя приветствовали музыканты-цыгане. Там собралось по меньшей мере десять оркестров. К большому удивлению публики, цыгане исполнили «Ракоци-марш», который в то время был запрещен в республике. Все онемели, начиная с государственных деятелей и кончая местной публикой. Но потом выяснилось, что марш велел играть сам Масарик. Вот что значит «своя рука — владыка»!

В декабре 1930 года в республике проводилась перепись населения. Я не стал бы о ней вспоминать, если бы меня не назначили комиссаром по переписи. Это дало мне возможность посетить в Лученце многие дома, ближе познакомиться со всеми слоями местного об-

щества, поглубже вглядеться в их жизнь, увидеть не только всегда убранные гостиные, но и спальни, прибранные и неприбранные, кухни и подсобные помещения, кладовые и чуланы, ломящиеся от всякой снеди и такие, где хоть шаром покати, всякие халупы и развалюхи, грязные и чистые дворы и дворики и все, все, что комиссару по переписи надлежало увидеть, оценить и записать в огромные переписные листы. Я надышался всевозможными запахами — и вонью и ароматами,— иногда принимал, а иногда отвергал приглашения, выслушивал разные попутные высказывания, часто весьма поучительные, особенно по национальному, а также и по социальным вопросам. Мы следили тогда прежде всего за тем, чтобы родной язык был одним из решающих признаков для определения национальности.

Два лученецких еженедельника — словацкий «Народни тыжденник» и венгерский «Лошонци гирлап» — регулярно сообщали читающей публике местные сплетни, но время от времени публиковали и вполне дельные статьи, информации и отчеты, а также рекламы и многочисленные объявления, за счет которых, собственно, они и жили, вернее, кое-как существовали.

Венгерский еженедельник занимался главным образом венгерским просвещением, смело и напористо защищал права венгерских граждан, а что касается сплетен, то давал фору и «Народни тыжденник». Он отличался еще и тем, что даже микроскопическое событие, если к нему хоть сколько-нибудь были причастны венгры, сопровождал возвышенными тирадами и раздувал до гигантских размеров. Порой его пыл заходил слишком далеко и приобретал шовинистический характер.

Несомненно одно, что не только из-за этих двух еженедельников, но из-за дел значительно более серьезных лученецкие словаки и венгры иногда крепко ссорились, а порой и дрались в семидесяти с лишним лученецких корчмах, погребках, кабачках. Несомненно также и то, что уже тогда были такие словаки и венгры, которые страстно спорили о более справедливом устройстве мира без шовинистических страстей, на собственной шкуре убеждаясь, что пролетарию все равно — словак он или венгр. В соседнем с Ассоциацией здании, которое называли «Зеленое дерево», собирались лученецкие пролетарии, учащаяся молодежь. Они организовывались, создавали стачечные комитеты и делегации для переговоров с предпринимателями, и у полицейского комиссара города Яна Компиша это «Зеленое дерево» сидело буквально в печенках. Лученецкие пролетарии еще в 1927 году получили от рабочих московского завода «Динамо» красное знамя, которое бережно хранили многие годы как символ солидарности мирового пролетариата. Это знамя хранится в Лученце по сей день.

Мы с Гомбошем очень симпатизировали нашим пролетарским соседям — Гомбош даже больше, чем я,— но их идеологию, их работу и систему к нам перенести не могли, потому что наши работодатели немедленно выгнали бы нас. Наша богоугодная, чистенькая, прилизанная Ассоциация должна была стоять над политикой, над партиями, над церковью и тем более — над поисками справедливости угнетенным пролетариатом. Как и другие подобные учреждения, она только пыталась латать мелкие прорехи. А экономический кризис в ту пору уже начинал сказываться и в Лученце: становилось все больше безработных, крестьяне разорялись, влезали в долги, батраки нищали, число бедняков росло с каждым месяцем. Усилилась эмиграция — тысячи людей уезжали за границу в поисках работы: в Соединенные

Штаты, Канаду, Францию, Бельгию, даже в Аргентину и другие дальние страны.

В то время я и Гомбош часто спорили о более справедливом устройстве человеческого общества. Он имел передо мной преимущество, так как уже читал Маркса и Ленина. Я же все еще находился в плену чисто словацких национальных идей, и социальные вопросы продолжал считать второстепенными, уверенный в том, что с окончательным решением словацкой проблемы наши социальные вопросы будут решены автоматически. Я не разделял идей интернационализма. Думал, что если словаки до сих пор не смогли себя утвердить даже как нация, их партнерство в международной борьбе будет неравноправным. Гомбош возражал мне, доказывая, что именно победа рабочего класса обеспечит национальное самоопределение всех народов. Тогда мы, конечно, договориться еще не могли, и, хотя наши споры были дружескими и полными взаимного уважения, дело иногда доходило до резкостей. Но все же мы оставались добрыми друзьями, уважающими мнение друг друга и сознающими, что исходная позиция у нас одна — гуманизм. Гомбош был убежденным гуманистом. С такими людьми, как он, не представляло бы никакой проблемы создать подлинное братство, покоящееся на взаимном уважении, терпимости, глубоком понимании и познании национальных культур и традиций.

Так я жил и работал в Лученце. Было мне тогда 23—24 года. Полный энтузиазма, я жадно вглядывался в жизнь, впитывал все впечатления, не все понимал, но все хотел познать. Из мудрых советов отца мне особенно пошел на пользу его совет — всегда с самого начала выполнять свою работу добросовестно. Я обещал ему это. И сдержал свое обещание еще и потому, что работа мне нравилась, соответствовала моему характеру. Хотелось также доказать — и не только себе, но и ему,— что я не потерянный человек, что и от меня может быть польза. Что-то вроде этого я писал, приглашая его к нам в Лученец. Мы с Маркой нетерпеливо ждали его ответа. К нашей радости, он сообщил, что приедет, и действительно приехал в конце весны.

Встретили мы его на вокзале. Поезд пришел вечером. Заходило солнце, дул свежий весенний ветерок. Отец бодро вышел из вагона с небольшим чемоданчиком. Мы побежали ему навстречу. Увидев нас, он заулыбался, и я сразу заметил в нем какую-то перемену. Ну да, он подстриг усы. Прежде они у него были широкие и концы их свисали до самого подбородка, как у настоящих ремесленников.

— Эге, отец, да ты никак помолодел! — заметил я.

— А что, теперь я свободный человек! — ответил он, улыбаясь.— Вот и усами занялся.

Отцу у нас очень понравилось — и сама квартира, и то, как мы ее обставили. Он все рассматривал, ощупывал и хвалил.

— Вот так должны жить все люди, и в селах тоже — хорошо и удобно,— сказал он.— Чтобы и кухня, и чуланчик, и ванная — ну, словом, все удобства. Не так, как живем мы в деревне. Вот и сейчас: строили новый дом для священника, так и то с трудом разрешили ванную сделать. «А зачем ему ванная,— возмущались наши мужики,— ведь у него речка под боком!»

Я представил отца Шандору Мегеши и Ференцу Гомбошу. Моим отцом можно было гордиться: он держался с достоинством, не только отвечал на вопросы, но и сам расспрашивал, был остроумен и непринужден. Я провел его по всему зданию, рассказал о нашей работе, а затем показал город.

Вечером мы втроем зашли к Густаву Воде. Отцу очень понравилась его коллекция, и это чрезвычайно польстило Густаву. Отец перебрал одну за другой все палки:

— Вот с этой хорошо ходить на ярмарку, а с той— в горы. Эта годится только для прогулок по городу. А вот та, думаю, по тебе, Ондрей, скучает,— смеясь, сказал он.

Мы пили отличное модранское вино, языки у всех понемногу развязались, и меня очень радовало, что отец с доктором Водой прекрасно понимают друг друга и в вопросах политики, да и во взглядах на жизнь. Разговор зашел о лученецких делах, о нашей работе и о нас самих. Когда мы уходили от Воды, отец остановился в дверях, как всегда, когда хотел сказать что-то важное.

— Ну, раз мои молодые дружат с такими прекрасными и милыми людьми, за них можно не беспокоиться,— заявил он.

К Людовиту Базовскому мы зашли с отцом без Марки. Сначала разговор вертелся только вокруг политики. Отец и доктор Базовский были сторонниками партии Мартина Разуса, и говорили мы поэтому главным образом о последних выборах, в результате которых Разус, наконец, попал в парламент. Людовит Базовский вспоминал пражский парламент 1918 года, когда депутаты не избирались, а назначались. Членом этого Национального собрания был тогда и он сам, и многие словацкие патриоты. Потом речь зашла об экономических вопросах— о кризисе, обнищании Словакии, эмиграции. Базовский спросил у отца:

— Ну а ты, брат, почему оставил свое ремесло?

Отец хитровато прищурился, но с ответом медлил, словно бы не понял вопроса.

— Я, например, считаю, что народу всегда будут необходимы хорошие ремесленники,— продолжал Базовский.

— Это ты так считаешь,— оживился отец,—и я такого же мнения. Да только надо помнить, что все уже производят промышленным способом. Фабричное производство, конечно, заглушит ремесленников. В Америке я видел это собственными глазами. А у нас Батя уже заглушил кожевников и сапожников. Стар я стал, чтобы тягаться с Батей. Нет, никто не устоит перед ним, во всяком случае в сегодняшних условиях. Он и самых сильных проглотит. А я что? Мелкая сошка!

Я часто вспоминал этот разговор и поражался проницательности отца.

Через три дня, как мы его ни удерживали, он стал собираться домой.

— Вы что, думаете, мне и в самом деле дома делать нечего?— сказал отец.— Картошку пора окучивать, ведь не уродит она, если сорняк ее заглушит.

Когда мы прощались с ним на вокзале, он даже расчувствовался, и в его живых, темных глазах появилось знакомое выражение душевного спокойствия, как в те торжественные минуты, когда мы все собирались за праздничным столом и он не мог нарадоваться на свою семью, как настоящий pater familias. В последнее время такие минуты выпадали уже редко.

Из окна вагона он помахал нам шляпой, потом его улыбающееся лицо скрылось за вагонами товарного состава.

■

Расставаться с Лученцем было тяжело. Сказать по правде, я был и немного обижен. Раз уж меня переводят, то почему не в Брагиславу, ведь во всей чехословацкой Ассоциации было только два секретаря-словака. Но вышестоящее начальство имело на меня другие виды. На несколько месяцев меня услали в Кромержиж. Тут я принял на себя руководство новым, только что организованным детским ла-

герем у водохранилища неподалеку от Всетина. Здание Ассоциации в Кромержиже было очень маленьким — ни жилых комнат, ни столовой, только два клубных помещения и два кабинета. Летом я стал заниматься лагерем, а осенью — подготовкой языковых курсов и организацией лекций.

Мы переехали туда с Маркой налегке и сняли квартиру в центре города, где прожили до поздней осени 1931 года.

Только после нескольких недель пребывания в Кромержиже я понял, почему меня сюда перевели. Да, несомненно так. Ведь я был тут и директором, и секретарем, и делопроизводителем, и уборщицей в одном лице. Кромержижское отделение Ассоциации было как бы пасынком, и секретарь, который смог продержаться здесь хотя бы несколько месяцев, считался способным выполнить любые более важные задачи.

Пребывание в Кромержиже я использовал прежде всего для знакомства с Моравией. Часто бродил один, а иногда и с Маркой по городкам и селам, приносил диапозитивы и «просвещал» набожных моравских католиков, которые, конечно, ни о какой Ассоциации и слыхом не слыхивали, но чья врожденная доброжелательность и гостеприимство позволяли мне проводить среди них эту работу.

В лагере у Всетина деревянных домов, какие мы стали строить позже, не было. Кухня помещалась под большим шатром, поставить и натянуть который было настоящим искусством. И этому мне пришлось научиться. Ребята жили в палатках с дощатым полом. Каждый день приносил мне много волнений. Особенно купание мальчишек, которых в лагере было около сорока. И хотя на той стороне, где стоял лагерь, водохранилище было довольно мелким, мальчишки постоянно лезли в глубину и больше озорничали в воде, чем плавали. Я пребывал в вечном страхе, что кто-нибудь из них утонет. Меня больше радовало ненастье, чем ясный жаркий день. Когда мы вечером с Маркой уходили в нашу двухместную палатку и я слышал, как по полотнищу барабанит дождь, настроение у меня подымалось: завтра купание, слава богу, не состоится и будет спокойный день.

■

Зима тридцать первого — тридцать второго года застала меня уже в Градце Кралове, городе, который называли восточночешской Прагой. В первые же дни люди, с которыми я должен был работать, приняли меня хорошо, не дали почувствовать, что я здесь чужой, особенно когда убедились, что я хорошо владею чешским языком.

Здание градецкой Ассоциации очень походило на лученецкое. Здесь была хорошая столовая, более сорока жилых комнат, спортивный зал, клубные помещения для детей и взрослых, большие и светлые кабинеты для секретарей. С директором Яном Аппелем я познакомился еще раньше на конференции. Он встретил меня сердечно, познакомил с работой и сообщил радостную весть, что для меня уже найдена квартира.

Хотя Аппелю не исполнилось еще и сорока, он был довольно грузный, что не мешало ему быть подвижным и деятельным. Настоящий практик, он не любил лишних разговоров и сам говорил мало. Не любил он писанины, инструкций. В работе со взрослыми и детьми всегда советовал мне придерживаться не предписаний, а здравого смысла. У него я научился многим полезным вещам. И хотя вначале перевод в Градец меня не обрадовал, потом я благодарил начальство за то, что оно это сделало. Градецкие два года оказались для меня хорошей школой жизни. Я приобрел там опыт, впоследствии мне очень пригодившийся.

Городу Градец Кралове повезло — городское самоуправление более тридцати лет возглавлял доктор Ульрих, деятель, известный всей республике, не только знавший толк в современной урбанистике, но и умевший привлечь талантливых архитекторов и прислушаться к их советам. Одним из главных строителей нового Градца был архитектор Гочар, словак, о котором можно сказать, что он придал этому красивому городу индивидуальный характер, свое собственное лицо.

Работали здесь и другие отличные архитекторы, например, Котера, братья Вацлав и Ян Рейхлы, авторы по тому времени смелого здания Управления железных дорог и нового вокзала. И как раз в доме одного из них — архитектора Вацлава Рейхла мы получили отличную двухкомнатную квартиру. Когда вселялись в нее, он сам пришел посмотреть, все ли там в порядке.

Моя работа в Градце мало чем отличалась от той, что я вел в Лученце. Я старался занять полезными делами досуг детей, занимался с ними спортом, играми, дополнял школьное образование, пытался обнаружить и развить у них способности и таланты. Вечера молодежи в градецкой Ассоциации с разнообразной художественной программой пользовались большой любовью публики. У нас были фотолюбительский, кукольный и театральный кружки, мы ставили десятки спектаклей для детей и взрослых на таком уровне, за который не пришлось бы краснеть и более опытным любителям.

Новым видом деятельности, с которым я столкнулся в градецкой Ассоциации, был так называемый «Y-клуб». Это был мужской клуб, объединявший уже работающих людей в возрасте от 20 до 40 лет. Раз в неделю они собирались в своем клубном помещении. Вместе ужинали, а потом обсуждали заранее намеченную тему. Сюда приходили читать лекции и вести дискуссии известные специалисты в области экономической и культурной жизни, обсуждались там и медицинские, спортивные, философские и другие темы. Жены членов клуба на эти встречи доступа не имели, их приглашали только один-два раза в год, когда «Y-клуб» устраивал открытые вечера. Каждой дискуссии на избранную тему предшествовала основательная лекция специалиста по данному вопросу, часто сопровождаемая иллюстрациями, графиками, специальной литературой. Вечера «Y-клуба» были большей частью интересными и серьезными. Количество членов клуба приходилось ограничивать размерами помещения, а также стремлением сохранить в нем характер содружества и взаимопонимания, что при большем количестве членов было бы невозможно. Руководство клуба стремилось к тому, чтобы в нем были представлены самые разные профессии, но чтобы от каждой профессии было не более двух представителей. Время от времени представитель каждой профессии должен был делать обзор нововведений в той области, которую он представлял, рассказать о том, что готовится, и таким образом все члены клуба получали всегда солидную информацию, как говорится, «из первых рук». Собирались они каждый понедельник, посещаемость была почти всегда стопроцентной, потому что все заранее так планировали свое время, чтобы понедельник был свободен для «Y-клуба». Меня тоже приняли в члены клуба, как специалиста по Словакии.

В Градце, ведя умеренный образ жизни, я вставал очень рано и каждое утро, прежде чем пойти на работу, читал Библию, в чем не стыжусь признаться. Я прочитал ее от корки до корки, внимательно и с интересом. Эти градецкие утра, еще темные или освещенные солнцем, в зависимости от времени года, с Библией в теплой кухне, где я располагался, казалось, были наполнены поэзией «Песни песней» и рассуждениями евангелистов. Часто я усаживал рядом с собой Марку и читал вслух, вдохновляясь звуками собственного голоса.

По вечерам я читал преимущественно чешскую литературу, стараясь не пропускать новинок. Я поставил перед собой цель плодотворно использовать свое пребывание здесь и досконально изучить чехов, их склад ума, мир их чувств не только в жизни, которую наблюдал, но и по истории и литературе. Я прочитал тогда «Историю народа чешского» Палацкого и помню, что на одном из вечеров «Y-клуба» сравнивал историю обоих наших народов. Тогда, как известно, словаков отдельной нацией не признавали, а считали их лишь ветвью единого чехословацкого народа. Члены градецкого «Y-клуба» приняли изложенную мною теорию о двух самостоятельных нациях, и за это я еще больше их полюбил.

В начале лета 1932 года архитектор Рейхл предложил нам квартиру в новом доходном доме недалеко от работы. Это была современная двухкомнатная квартира на втором этаже, в которую мы сразу перебрались. Я написал домой, похвастался и пригласил наших приехать в гости. Мама не любила уезжать из дому, поэтому приехали отец и Юлко, который только что с отличием закончил гимназию и поездка к нам была для него наградой. Мы ждали их тогда с Маркой на новом градецком вокзале. Отец, не успев сойти с поезда и едва взглянув на нас, тут же стал восхищаться этим прекрасным сооружением.

— Вот это красота! — говорил он.— Есть чем полюбоваться.

Мне показалось, что Юлко еще больше вырос и возмужал. И вел он уже себя как взрослый, взвешивал слова, был сдержан в движениях и жестах.

Отец был в полном восторге от Градца. Я отпросился с работы и поводил его по старому и новому городу, рассказал о докторе Ульрихе, архитекторах Гочаре, Рейхле, об истории города; повел к предметам гордости Градца — новому крытому бассейну с искусственными волнами и прозрачной, как хрусталь, зеленоватой водой, к зданию Промышленного музея, к новой гимназии, перед которой только недавно установили скульптуру Штурсы «Раненый», на площадь Ульриха, к Управлению железных дорог, в нижнем этаже которого размещался длинный ряд магазинов с современными роскошными витринами.

Отец восхищался не только внешней красотой города. Как практик и человек с большим жизненным опытом, он обращал особое внимание на качество работ. У одного из зданий он остановился и сказал:

— Обратите внимание, как пригнаны окна! А покраска? Что за черт, почему мы никак не можем этого добиться? Надо бы сюда нашим мастерам приехать — поучиться у чехов!

— А в Германии, в Америке, там еще лучше? — спросил я у него.

— Ничего подобного. Во всяком случае, когда я там был. Такой точной работы я, пожалуй, еще нигде не видел. Я готов снять шляпу перед этими мастерами.

Вечером мы пошли в театр на пьесу Герхарда Гауптмана «Бобровая шуба». Отцу театр очень понравился, но уже по дороге домой он погрустнел. Одна из сцен пьесы напомнила ему Виктора, и, придя домой, хотя уже было поздно, он сел на край дивана, закурил сигарету и сказал:

— Грустную весть я вам должен сообщить, дети мои,— не хотел с этого начинать, но все равно вы должны знать об этом. Виктору плохо. Он снова в Татрах. Затронуты обе почки. Я уже теряю надежду на благополучный исход.

Молча стояли мы возле него.

Я попытался его утешить:

— Но руку Ролье ему все-таки вылечил?

— Руку — да,— сказал он, понурив голову.— Но один специалист в Берне прямо сказал, что обе почки у него никуда... Если б хоть одна — ее можно было бы удалить, а с другой жить. Но дело обстоит так...

До поздней ночи говорили мы о Викторе, всячески стараясь рассеять тяжелые думы отца. Нам, правда, это не очень удавалось. Трудно утешить, если ты сам опечален. Виктора терзал туберкулез. Вот уже более пяти лет. Отец и дирекция банка, где служил Виктор, потратили на его лечение большие деньги, но, оказывается, надежда на его выздоровление не укрепляется, а угасает.

Отца и Юлко мы поместили в спальне, а сами с Маркой еще долго обсуждали на кухне, как развлечь отца, что ему показать, куда повести. Когда мы, наконец, улеглись, было далеко за полночь.

Солнечное летнее утро влило в нас всех бодрость. Стоял конец июня, и в открытые окна вместе с сиянием летнего дня врывался свежий ветер, сгоняя с наших лиц мрачность.

За завтраком мы предложили отцу прогулку к Орлицким горам, в Находи или на курорт в Подебрады. Отец выбрал Подебрады.

— А-а, гор у меня и дома хватает. Да и наши покрасивее, чем тут, у вас. Если хотите нас куда-нибудь повезти, то уж лучше в эти ваши Подебрады. Там я хоть увижу что-то новое.

В Подебрадах ему понравилось. Он восхищался скульптурой Иржи Подебрадского, возле которой мы, конечно, сфотографировались всем семейством. Я прочитал чуть ли не целую лекцию об этом чешском короле — все, что у меня еще было свежо в памяти из «Истории» Палацкого, и видел, что отца это не просто заинтересовало. Он с гордостью смотрел на меня: какой, мол, у меня ученый сын!

Мы все осмотрели, пообедали в курортном ресторане, а потом уселись в парке на скамье и в тихой семейной беседе провели послеобеденный отдых. Отец заговорил о минеральных водах, о целебных источниках, расхваливая наши словацкие, которых более тысячи и никому до них нет дела, никто ими не занимается.

— Ведь это наше здоровье стекает в ручьи и реки,— говорил он.— И никто этого не понимает. Хоть бы нашлись умные люди, связались с медиками, построили ванные заведения, гостиницы да позаботились о рекламе — и половина Словакии могла бы этим жить!

Отец даже разволновался, растолковывая свою мысль. Снова закурил сигарету и поглядел на нас: что мы на это скажем.

— И откуда у тебя, отец, берутся такие идеи? — спросил я.

— А что, разве я не прав?

— Прав, но...

— Что — но? — спросил он и продолжал: — За это должно взяться государство. Я бы, например, не давал никаких пособий по безработице, а всех безработных направил бы строить словацкие курорты — с минеральными ваннами и климатические, отели, дороги. Вот ты был в Швейцарии — что ты там видел? Вся страна живет этим!

— Швейцария — богатая страна! — попытался я возразить ему.

Но отец меня оборвал:

— На этом-то она и разбогатела! Эх ты, мудрец! Когда-то и ей приходилось начинать. Разве у нас есть настоящие политики, у нас одни лишь политиканы и холуи. Только появится у чехов какая-то партия — сразу же в Словакии филиал. А словацким лизоблюдам на наши интересы наплевать. Вот оно как, сын мой.

Да, отец снова принялся за политику. С чешского короля Иржи мы перекинулись на словацкие минеральные источники и политические партии, и отец, как всегда в таких случаях, разволновался. Мне с трудом удалось перевести разговор на другую тему.

Вечером мы пошли в кино, а вернувшись, отец ошарашил нас:

— Ну, сын мой, я уже почти все перевидел, а вот самого главного — того, что меня больше всего интересует, ты так и не показал,— заявил он.

«Что же это может быть?» — подумал я, растерянно глядя на него.

— Неужто не знаешь? Ну, кожевенное училище! Оно же где-то тут, а оно единственное во всей республике. Да и твой дядя Дюла Длуголинский учился в нем.

Верно, как это я про него забыл! А ведь здание училища строил сам Гочар!

— И еще,— продолжал отец,— насколько мне известно, тут должен быть кожевенный завод, и не один. Эх ты, а еще сын кожевника, называется!

На следующий день мы с утра отправились посмотреть кожевенное училище, а потом — заводы. Они находились довольно далеко один от другого, и мы взяли такси. Это была идея отца, но я охотно оплатил проезд. Так мы по крайней мере хоть снаружи увидели кожедубильные заводы Неедлы и Гануша и другие градецкие предприятия.

Отец с Юлко задержались у нас еще на день. Отец хотел присутствовать на моей лекции в Промышленном музее на тему «Проблемы чешско-словацкого сосуществования».

Я вышел на подмостки и увидел в первом ряду отца, по одну сторону от него Марку, Юлко, Аппеля, по другую — учителя Добиаша, Адольфа Новотного, Вацлава Рейхла и других сотрудников градецкой Ассоциации, а за ними полный зал любопытных слушателей. Отец впервые присутствовал на моем публичном выступлении да еще перед такой солидной публикой, и я волновался вдвойне: за выступление перед отцом и перед аудиторией, которую нельзя было недооценивать.

К лекции я готовился давно. Собирал материал, много думал, стремясь, чтобы при всей убедительной аргументации все же не соскользнуть к чистой политике, а то и к демагогии, что в те времена при разработке такой темы часто случалось. Я шел от истории, от первых чешско-словацких связей. Все свои критические замечания я старался выражать в академической форме, отводя больше места проблемам культурным, чем экономическим, в которых разбирался куда меньше. Через всю лекцию проходила мысль о том, что признание словаков самобытной нацией, со всеми вытекающими отсюда последствиями, ни в коей мере не ослабит нашего совместного существования в общем государстве, а напротив, только укрепит его и усилит.

Аплодисменты были сдержанные, по ним трудно было судить, согласна с тобой аудитория или нет. И вопросы стали задавать не сразу, как обычно бывает на подобных лекциях. Вскоре, однако, люди осмелели, и меня буквально засыпали вопросами. Но прежде чем я стал отвечать на них, выступил старый, всеми уважаемый преподаватель гимназии Добиаш, который очень помог мне, ответив вместо меня, но в духе моих мыслей, на самые каверзные вопросы, чем еще раз подкрепил мои аргументы.

Как мне хотелось обнять его тогда! Говорил он то же, что думал я, но слова, сказанные им, чехом, имели куда больший вес, чем если бы сказал их я.

После лекции наша компания собралась в кафе, и мы довольно долго вели дружескую беседу Отец пожелал обязательно сидеть возле Добиаша, который ему, как я заметил, очень понравился.

На следующий день утром мы проводили наших дорогих гостей.

И пока Марка с Юлко болтали, отец потянул меня за рукав и, отведя немного в сторону, доверительно шепнул:

— Ну, так ты, пожалуйста, Ондрей, того — постарайся! Как, прибавления еще не ждешь?

Отцу, понятно, хотелось дождаться внучат.

■

И снова венец родных гор. Вот моя Серая гора, вот Острая, Просечная. Пониже Глодь и наш Дел, а на нем роща и внизу две колокольни. Одна — черная, другая — красная. Тут прошло мое детство, которым еще полон воздух этих мест — чистый, непорочный, не задымленный городом, не затронутый его греховностью. А этот снег — белый и пушистый, словно только что выстиранный пуховый платок,— так бы и броситься, зарыться в него.

Бело-розовое февральское утро. Его держат на своих сверкающих гривах Острая и Хоч, а за их спинами голубое небо, как свежеокрашенная кулиса на сцене. Так и хочется пощупать ее пальцами. Солнце уже выползает из-за согнутой шеи Криваня, и кажется — он еще больше пригибается, чтоб поскорее взошло дневное светило.

Сани старого Любелеца везут меня из Парижовце в родную Сельницу. Я стараюсь угадать, какие места мы проезжаем,— ведь они скрыты сейчас плотной пеленой снега. Вот уже и первые дома Сельницы. Еще немного, и лошадь, прозвенев в последний раз колокольчиком, останавливается у калитки нашего дома.

Из калитки выходит служанка Марка, за нею отец. Я вылезаю из кожуха, в который меня заботливо укутал старик возница, и выскакиваю из саней. Прохожу к отцу. Лицо у него печальное, серьезное, но чувствуется, что он рад моему приезду.

— Идем быстрее в дом — холодно,— говорит он.— Марка, возьми чемодан!

Мы шли гуськом по выложенной плиткой дорожке, молчаливые, сосредоточенные, страшась того, что ждет нас в доме.

А когда были уже в прихожей, из кухни вышла мама, растрепанная, бледная. Ее глубоко запавшие глаза, как только она увидела меня, наполнились слезами. Протянув руки, чтобы обнять меня, она упала мне на грудь и надрывно зарыдала. Отец стоял рядом, не произнося ни слова. Только сейчас я заметил, как поредели у матери волосы. Я гладил их, и моя ладонь ощущала ее темя — горячее и влажное от волнения.

Отец увел нас обоих в кухню. Я понял: мы должны успокоиться. Мама покорно следовала за ним. Войдя в кухню, она присела на краешек табуретки, уставилась взглядом на истертый, неровный пол и молчала. Часы на кухне громко тикали, со двора доносились Маркины шаги.

Спустя некоторое время отец разрешил мне пойти к Виктору. Сам он остался с мамой на кухне. Он не хотел, чтобы мы вошли вместе. Даже в такие минуты он проявлял поразительную рассудительность и хладнокровие, не допускал, чтобы мы растравляли свои и без того болезненные раны.

Я знал, что Виктор лежит в «салоне», но его присутствие ощущалось уже в коридоре, и еще больше в горнице. Когда я вошел туда, меня окутала скорбная тишина. Это впечатление усиливалось душным теплом кафельной печи, непривычным у нас в утренние часы. Между печью и умывальником лежали буковые полешки. Они были сложены красиво и аккуратно. Отец всегда делал так перед воскресеньем, чтобы дрова хорошо высохли. Сегодня хотя и было не воскресенье, в комнате царил образцовый порядок. На маминой швейной

машинке, покрытой ажурной вязаной салфеткой, не было видно картонной коробки со швейными принадлежностями, которую она обычно убирала, только когда ждала дорогих ей гостей. На столе, покрытом зеленой скатертью, косо пролегла сияющая полоса солнечного света. Она перебрасывалась на постель отца в углу комнаты, а оттуда, переломившись, ложилась на стену, озаряя заключенную в рамку ярко украшенную надпись: «Дом мой домом молитвы наречется».

Нерешительно подошел я к двери, ведущей в «салон», нажал ручку — медную, надраенную до блеска Маркой. Дверь тихонько скрипнула.

Всю дорогу я со страхом думал, каким застану Виктора. Представлял себе мысленно его лицо и готовил себя к самому худшему. Оно будет очень бледным, изможденным. Я увижу брата в углу комнаты на медной кровати, которая так неуместна в «салоне». Летом в окно тянется яблоневая листва, но ведь теперь февраль, и в окне прорисовываются только голые ветки, напоминая японскую гравюру.

И вот все, что я представлял себе, вмиг стало реальностью. Но такой реальностью, которая при первом же соприкосновении сразу смела искусственно созданный охранительный барьер, и внутри у меня что-то оборвалось.

Подушка, на которой лежала голова Виктора, была не намного белее его лица, а глаза его смотрели на меня откуда-то из непостижимой дали. Не сводя глаз с его неподвижного лица, я ухватился за медные боковины кровати, чтобы не упасть, потому что у меня буквально подкосились ноги. Это состояние длилось, может быть, секунду или две, пока я не сумел взять себя в руки. Виктор слабо улыбнулся, провел кончиком языка по пересохшим губам, и будто со дна глубокого колодца донеслись два слова:

— Здравствуй, Онко!

Он с трудом поднял исхудавшую сероватую руку, чтобы приветствовать меня и в то же время помешать мне наклониться к нему слишком близко. Но я пренебрег его запретом. Едва сдерживая слезы, я сжал его руку, наклонился и поцеловал в губы, лоб, щеки... В ту минуту я не думал ни о чем на свете — ни о том, что было, ни о том, что будет. В жизни человека бывает немного таких мгновений — высшей радости или бесконечной скорби,— когда все его существо уподобляется натянутой тетиве, чтобы дать выход всем чувствам, наполняющим его до предела, захлестывающим своим мощным приливом. В такие моменты человек готов отдать любимому существу часть своей души. Но тем трагичнее, если существо это уходит навсегда.

— Ну, держись, держись, mon petit,— тихо, немного задыхаясь, проговорил Виктор, горько улыбнувшись, и эта улыбка дала мне возможность немного прийти в себя.— Так бы сказала, Марианна, да? — продолжал Виктор, указывая в сторону окна.

Я обернулся — там стояла не Марианна из Лейзена, а совершенно незнакомая молодая девушка, которую я, правда, входя в комнату, заметил, но сознанием как-то не воспринял.

— Эржика,— прошептала хрупкая, бледная девушка, прильнувшая к оконной раме, протягивая мне руку, мягкую, бархатистую, какие, наверно, бывают только у сказочных принцесс.

Она и была именно такой — чуть реальной, чуть сказочной. Кажется, выпустишь ее руку, и она либо растворится, либо превратится в цветок.

И все же Эржика была реальной. Она стояла тихая, покорная, бессильно опустив руки. Глаза ее были полны слез, она не утирала их, когда они стекали по щекам, и они падали как дождь, казалось, они текли по щекам куклы с закрывающимися глазами.

Вдруг эта реальная Эржика схватила мою руку и, улыбнувшись сквозь слезы Виктору и кивнув ему головой, потащила меня из комнаты через другую дверь в коридор.

— Андришкаш,— зашептала она по-венгерски,— он уже путает меня с Марианной, он уже умирает, уми-ра-ает, уми-и-ра-ает,— заливаясь слезами, шептала она.

Потом упала мне на грудь и разрыдалась.

Я опешил. Ничего о ней не зная, я догадывался, кто она. Погладил ее по голове, принялся утешать, как мог, подбирая самые нежные венгерские слова, какие только мог вспомнить. Меня выручил отец, он в эту минуту вышел из кухни и, увидев нас в конце коридора, подошел и увел обоих в мою комнатку.

— Садись, дитя мое,— сказал он по-немецки и погладил Эржику по плечу.

Он курил сигарету, и рука его заметно дрожала, когда он пододвигал к себе пепельницу, чтобы стряхнуть пепел.

Эржика присела на стул возле письменного столика, отец сел в кресло, а я на край постели, непонимающе глядя то на отца, то на Эржику, ожидая хоть каких-нибудь объяснений.

Отец тяжело вздохнул и сказал по-словацки:

— Теперь уж ничего не поделаешь. Велением господа бога мы должны смириться с тем самым страшным, что должно произойти. А ты, дитя мое, должна ехать домой. Ты понимаешь меня? Ты должна ехать домой — подумай, что скажут твои родители? — добавил он по-немецки как можно мягче, наклоняясь к ней со своего кресла, гладя ее тонкую ручку обеими своими тяжелыми, натруженными руками.

Эржика, опустив голову, сидела подавленная; ее стриженые русые волосы падали с обеих сторон на мокрые щеки и закрывали почти все лицо. Она не произносила ни слова, только всхлипывала.

— Пойми меня, Эржика, ты должна ехать домой. Мы отвезем тебя в Микулаш на вокзал. Поверь, так будет лучше — и для тебя, и для него,— уговаривал ее отец, и я даже в эту минуту позавидовал его немецкой речи, хотя и далеко не совершенной, но интересной именно ее ошибками и той особой нежностью, какую встретишь в стихах Гейне. Боже мой, это наш отец, это наш отец...

Эржика не отвечала. Воцарилась тишина, опасная, настороженная, как перед взрывом или ударом барабана. Мы переглянулись с отцом, тоже настороженные,— но я к тому же и растерянный,— ведь я не знал того, что знал он.

Вдруг Эржика поднялась и замерла, глядя в окно. От сверкающего на ярком солнце снега рябило в глазах. Мимо окна прошли двое парней в овчинных шапках, и до нас донеслись обрывки их разговора.

Только теперь я обратил внимание на то, как молода и хороша собой Эржика. Горе как будто даже подчеркивало ее красоту. Ее овальное лицо с крапинками веснушек на носу и щеках, озаренное ярким солнечным светом, казалось лицом страдающей мадонны — живой, реальной, а не той, какую мы видим на картинах или создаем в своем воображении. На ней было простенькое темно-серое платьице с белыми крапинками и высоким белым воротничком, которое ей очень шло и делало еще моложе. Ей можно было дать года двадцать два. Она повернула голову, солнце заискрилось в ее зрачках, прежде угасших от изнеможения и горя, и в этих ясных серо-зеленых глазах, как в зеркале, отразились ум и нежность.

Продолжая молчать, она медленно подняла руку и принялась вертеть пуговку у шеи, неотрывно глядя на покрытую снегом кровлю сарая. Глаза ее вновь угасли, утратили блеск, казалось, надежда уходит

из них. Отец встал, не в силах больше выносить эту убийственную тишину.

— Ну, пойдем, дитя мое, пойдем! — сказал он и взял ее за руку.

Эржика покорно последовала за ним. В коридоре она высвободила руку и вошла в комнату, где лежал Виктор, а мы с отцом пошли на кухню к маме.

Тут я узнал от отца, кто такая Эржика. Она тоже была пациенткой доктора Гура. В Татранской Полянке они познакомились с Виктором и полюбили друг друга. Она — румынка из Орадя, единственная дочь владельца магазина, училась в консерватории, но вот уже второй год лечится в Татрах. Когда доктор Гур хотел перевести Виктора, как безнадежного пациента, в больницу, Виктор решительно отказался туда ехать, объяснив, что лучше уж умереть ему дома. А Эржика, несмотря на запрет, уехала с Виктором в Сельницу, ни на минуту не желая расстаться с ним. Дни и ночи проводила она у его постели, ухаживала за ним, поправляла подушки, кормила, измеряла температуру, подавала и выносила судно, не позволяла ни маме, ни Марке делать это. Мама устроила ей постель в комнате Виктора на диване, но редкую ночь она ею пользовалась; чаще всего просиживала ночи напролет у его кровати в кресле, держа его пылающую жаром руку в своих не менее горячих ладонях. Страдала и ждала. Не сдавалась, потому что любила. Казалось, она верила, что нет на свете лучшего лекарства, чем любовь. «Если я уеду, он умрет,— говорила она моим родителям, которые мучительно переживали все это.— Вот увидите, он умрет, как только я уеду». С ней ничего нельзя было поделать.

— Не могу понять, откуда берется столько слез у человека,— сказал немного помолчав отец, нервно расхаживая по кухне и дымя трубкой.

Он снова закурил свою трубочку — это добрая примета. Видно, уже преодолел мучительный кризис и смирился с неизбежностью.

Отец мой был человеком реалистичным, трезвым, не склонным растравлять собственные раны. Совсем не такой была мать — он должен был поддерживать ее в страдании и хоть какую-то часть бремени принимать на себя Своей мужской чуткостью и рассудительностью он способен был охлаждать у нее самый большой накал отчаянья. Был он как бук на косогоре в Сухой долине, что милостиво подставляет свою блестящую крону ласковым солнечным лучам и тихому дождю, сеющемуся из туч. Но когда на его развесистые ветви наваливается самый страшный вихрь, ни один его корень не хрустнет. Казалось, отца может свалить лишь прямой удар молнии, божья кара или такая могучая сила, что способна одолеть его корни, идущие от первозданной силы человеческой. Мне хорошо было с ним тут, в этой кухоньке, хотя нас и переполняла печаль, — я чувствовал себя под самой верной защитой, какую только может чувствовать слабый человек.

Я вышел во двор, постоял у обмотанного прялом насоса и просто так, без всякой надобности, попробовал, качает ли он воду, не замерз ли. Насос, как старик астматик, с трудом переведя дыхание, глотнул и выплюнул на обледеневшую обмостку струйки воды, кристальной, сверкающей в солнечных лучах... А до чего хороша молоденькая липка! И как крепка! Своими узкими плечиками, голыми и нежными, еще трясущимися от холода, она тянулась к солнцу, а в почках ее уже трепетала жизнь, зародыш цветка, на который через два-три месяца будут садиться пчелы. На коре ее ствола виднелись мелкие светлые крапинки. Как у Эржики на платье, только помельче. С крыши хлева свисали сосульки, и с них падали капли. Я приоткрыл

скрипучую дверку сеновала, и из темноты вырисовалось колесо соломорезки, а за нею у стены высилась куча душистой сечки. Отец приготовляет коровам специальную смесь сечки с клевером — они тогда лучше доятся. Не обошел я вниманием и гумно, отодвинул засов и заглянул внутрь. Через щели в дверях пробиваются полоски солнечного света, в них мерцают пылинки, переливаются и пляшут в воздухе. Ага, вон там, за той доской нашли мою тетрадку с первыми стихами. Как давно это было! А тут мы укрылись с Маркой от грозы... Боже, какая тогда была гроза! Молния ударила в тополь, что стоял пониже гумна. А мы позабыли обо всем на свете... Я затворил за собой скрипучую дверь и вошел в хлев. Вот они, наши коровы. Светлая с согнутым рогом — симменталка. После отела она давала двенадцать-четырнадцать литров. Вторая — красной масти, сильная, как бык, а молока дает меньше, отец как-то сказал, что продаст ее на мясо. Хватит им и одной коровы. У обеих коров подстилки свежие, помосты — вычищенные. Это уж Маркина забота. Когда в доме такое творится — руки опускаются. А она работает до одурения, надрывается — золотая душа. Правда, отец с матерью ее не обижают, считают своим человеком, ни в чем не знает она отказа.

Выходя из хлева, я услышал автомобильный гудок. Вскоре скрипнула калитка и на дорожке появился доктор Госелитц из Теплы, наш врач, время от времени навещавший Виктора как друг, когда он лежал дома. Он приходил без приглашения, особенно когда бывал в Сельнице у других пациентов. Я подошел к нему.

— А, молодой пан Плавка! С приездом! — воскликнул он.

Он знал, зачем я тут. И не скрывал, что остались считанные дни. Мы обменялись несколькими словами, и он вошел в дом. Я остался бродить по двору.

Отцовская мастерская тогда еще стояла, но крыша совсем прохудилась, прогнила — того и гляди, обрушится. На одном окошке, запотевшем, пыльном, до сих пор висела на проволочке, прикрепленной к решетке, электрическая лампочка с отбитым кончиком, которую я мальчишкой приладил и назвал барометром. Когда в нее сверху наливали воду и из узкой дырочки вода вытекала по капелькам, это означало, что будет дождь, когда же предвиделась хорошая погода, капли не падали. Все у нас верили этому «барометру», хотя он не раз бессовестно обманывал. И вот прошло столько лет, а никто эту игрушку отсюда не убрал.

Переднее помещение мастерской теперь служило кладовой, потому что лучше сохранилось и было сухим. На обитых оцинкованной жестью столах громоздились банки, бутыли, краски, веревки, разное тряпье, известь и бог знает что еще... Меня охватила тоска. Я вышел. Постоял у забора, поглядел на речку, журчащую среди льдин и инея. Обнял ель, которую мы с Матьо Юригой когда-то посадили, теперь уже высоко поднявшуюся, с пышными ветвями, и держал ее в объятьях, как подружку юности, пахучую и свежую, не поддающуюся зимним холодам. На мостике раздался топот конских копыт, и я увидел розвальни, полные соломы, отливающей на солнце бронзой. Соломинки падали на сверкающий снег, длинные, золотые... До чего же прекрасен этот мир, до слез прекрасен!..

Из дома вышел доктор Госелитц, его сопровождал отец. Я зашагал навстречу, чтоб проводить доктора к машине. Доктор был тактичен, полон участия. Не знаю, как он произнес те слова, но они не ранили, хотя выражали самое страшное... Произнести их так — большое искусство! А может, это просто профессиональный навык — то, что мы, непосвященные, не в состоянии понять?

Да, успокаивающие инъекции. Только это. Последняя дружеская

услуга. Печальная, но все же услуга. Пусть уж последние часы будут для него легкими — это все, что он может сделать. Скорблю вместе с вами, дорогие мои Плавки... Мотор заурчал, машина тронулась. Хороший человек этот Госелитц, гуманный человек. Пойдем, отец, ты без шапки — простудишься. Пойдем, Онко, держись. Ты держись, отец. А дрожим мы оба.

И следующий день был ясным — ни облачка. Из-за тополей у речки поднималось фиолетовое солнце, выбиралось из-за горизонта на крыши домов, заглядывало в окна, сени, горницы, и чем выше оно поднималось, тем ярче сверкал своей голубизной веселый, нарядный день, увешанный погремушками сосулек, переливающихся всеми цветами радуги. Звон колоколов нарушил утреннюю тишину, серый дым из труб потянулся вверх, к лазурному небу, дрожащему от холода на острых гребнях гор, чтобы согреть его немного теплом человеческого жилья. Ясный и жестокий день расставанья.

Гнедко Любелеца стоял, впряженный в сани, перед парадным входом. Сам дядюшка Любелец сидел в кухне, попивал паленку, закусывал салом и ждал. Мама свято обещала отцу, что останется в кухне с Маркой. Самое трудное предстояло нам с отцом. Пока же мы ходили взад и вперед по горнице, курили, не произнося ни слова. Отец то и дело поглядывал на часы. Юлко дома не было. Отец нарочно куда-то его послал. Стенные часы отбили девять ударов.

В комнате Виктора было тихо. Поразительно, удручающе тихо. Отец встревожился. Посмотрел многозначительно на меня и прошептал:

— Как ты думаешь, не стоило бы туда заглянуть? Слишком уж долго они прощаются.

И в ту же секунду раздался вопль Эржики, она разразилась рыданиями. Такими, каких я никогда не слышал. Казалось, рвалась на части душа девушки. Звук, вырывавшийся из ее груди, был не человеческим — это кричал смертельно раненный зверь. Она задыхалась, хрипела, рыдания прерывались раздирающим душу стоном, криком невыразимого отчаянья.

Отец кинулся к двери, распахнул ее, бросив мне: «Идем, Ондрей!» — и вошел в комнату. Я последовал за ним.

Эржика стояла на коленях перед постелью в разорванном платье, билась головой о спинку кровати, прижимая к губам высохшую, бессильную руку Виктора. Лицо его было спокойным, а взгляд — затуманившимся, отсутствующим. Виктор что-то невнятно шептал, но понять его было невозможно.

— Беги за Маркой,— шепнул мне отец, пытаясь поднять Эржику.

Потом сильно встряхнул ее — так, что я даже испугался. Она отпустила руку Виктора, и рука его бессильно упала на перину. Голова Эржики безжизненно моталась из стороны в сторону, мне показалось, что она потеряла сознание. Лица ее из-за рассыпавшихся волос не было видно.

— Беги же,— повторил отец, усаживая ее в кресло и дрожа всем телом.

Когда мы с Маркой прибежали, Эржика уже успокоилась. Вмешательство отца помогло. Он ласково утешал ее и велел Марке помочь ей переодеться. Мы постояли минутку возле Виктора, он нас узнал, потому что губы его слабо прошептали: «Отец, Онко», и слегка улыбнулся, словно бы сам обрадовался этому.

— Поторапливайтесь, Марка,— добавил отец уже в дверях,— поезд не ждет!

Выйдя в горницу, мы снова закурили. Отец сел к столу, его по-прежнему трясло.

— Дай, господи, благополучно довезти ее и посадить в поезд,— сказал он немного погодя.— А ты останешься с Виктором — и ни на шаг от него.

— Конечно, отец,— сказал я.

Вскоре я услышал колокольчик — сани тронулись. Я был уже у Виктора и подошел к окну, чтобы поглядеть на них. Эржика сидела, укутанная в тулуп, из рыжей овчины выглядывала только ее зеленая шерстяная шапочка. Лица уже нельзя было различить. Отец сидел напротив и курил. Я увидел, как он наклонился к Эржике и завязал шнур на тулупе, но тут сани свернули за угол и скрылись из глаз.

Я опустил занавеску, подошел к печке и подбросил дров. Пощупал теплые кафелины и, глубоко вздохнув, поглядел на Виктора. Он как раз в эту минуту задвигался под периной, и лежавшие на постели иллюстрированные журналы, которые я незадолго перед тем принес ему, упали на пол. Читать он уже был не в состоянии, но картинки еще мог понемногу смотреть, а иногда даже комментировал их. Я поднял с пола журналы, отложил их в сторону и сел у изголовья постели. Виктор повернул лицо к окну и пристально на что-то смотрел.

— Мирта,— произнес он вдруг отчетливо и громко.

Поглядел туда и я. На окне, возле шкафа, у мамы с давних пор стоял горшок вечнозеленой, с мелкими листочками мирты. Я понял, почему Виктор обратил на нее внимание. Знаю, что он думал: из этой мирты можно было бы сплести венок для Эржики.

— Оторви мне веточку,— сказал он снова совершенно отчетливо, в полном сознании.

Я оторвал молодой побег и вложил ему в руку. Он вертел веточку в пальцах и долго, задумчиво смотрел на нее. Я вспомнил вдруг, как чужд он был сентиментальности, как высмеивал меня, если я поддавался ей. А теперь вот в последней схватке за жизнь, побежденный целиком и полностью, отдался ей, принимая ее как высшую милость.

— Почему я не дал ей это, как жаль! Почему не дал ей...— отчетливо повторил он несколько раз. А немного спустя сказал:— Ты знаешь, Онко, она заслуживает миртового венка.— С минуту он смотрел на меня, потом перевел взгляд на люстру, передохнул немного, прикрыв веки, и опять заговорил:— А моей башке куда больше подошел бы венец из крапивы,— губы его слегка растянулись в горькой усмешке.

Опять надолго в комнате воцарилась тишина. Сам я не хотел заговаривать с ним, чтобы даже звуком голоса не нарушать хода его мыслей.

В печке потрескивали дрова. Возле моста на улице галдели ребятишки, спускаясь с насыпи на санках прямо к нашему саду. Под самым окном слышались голоса: «Эй, Юрко, чего ты, осел, дерешься... Зузана-дура, Зузана-дура.... Ха-ха-ха! Гляньте, у него под носом сопли замерзли! Сопли за-мер-зли, ха-ха-ха!»

Я взял руку Виктора и долго держал ее в своей ладони. Мы смотрели друг другу в глаза.

Около полудня пришел доктор Госелитц. Отец еще не вернулся. Скорый поезд из Кошице, наверно, опять опоздал. С врачом вошла мама. Она была совершенно спокойна, только стала как будто меньше, словно выплакала какую-то часть самой себя. Она комкала уголок передника и не сводила глаз с врача, готовясь увидеть сейчас какое-то чудо. Все матери всегда верили и всегда будут верить в чудо. Та, что не верит, вероятно, не очень хорошая мать. Но доктор Госелитц всего лишь приготовлял шприц для укола. Морфий, конечно, что же еще. И Виктор это, разумеется, хорошо знал. Я вышел.

Хуже обстояло дело со священником. Отец с матерью боялись даже заикнуться об этом Виктору. Потом все это изобразили так, будто пан священник Гайду хочет навестить его как наш давний друг — нет, нет, вовсе не для какой-то последней исповеди, упаси господь! Но Виктор сразу заметил неуверенность и у отца, и у мамы, чуть улыбнулся и сказал:

— Ладно, пусть придет. Только не доставляйте себе лишних волнений — ведь это его ремесло. А мне даже интересно — попробуем, с чем это едят.

Родители просто остолбенели. Что с ним происходит? Может, в самом деле ему полегчало? А Виктор был в тот день действительно оживленным, вышел из апатии, довольно много разговаривал, на все реагировал, и — что вызвало самое большое удивление — во время визита священника попросил сигарету. Мама тогда выбежала из комнаты со слезами радости на глазах и уже по дороге в кухню выкрикивала: «Люди божьи, ему полегчало, я ведь недаром молилась. Господь услышал мои молитвы! Люди божьи, слушайте...»

Но отец, Юлко и я не очень утешались этим. Мы не верили в чудо. На рассвете 16 февраля Виктор скончался. Ему было тридцать три года.

Тогда я впервые в жизни прикоснулся к мертвому телу. И это было тело брата. Но все же словно бы и не его. Что же произошло? Ведь это его лицо, его пальцы, и маленький шрам над глазом, знакомый еще с детских лет,— тоже его, но это уже не он. Когда отец закрыл ему глаза, с той самой минуты мы его лишились. Его уже нет. Есть только мертвая, холодная материя... Какая нелепость: пенсне, которое он носил в конце жизни, стало казаться более живым, чем он сам, носивший его. Все его вещи жили. Вернее, они не умерли, не утратили ничего из своих свойств. И то, что умер их владелец, позволило им вдруг подняться над безучастным к ним отношением и приобрести собственное значение. Это был уже особый, своеобразный мир, окружающий человека. Вещи входили в мир поэзии, создавали свою собственную атмосферу. Его кольцо с зеленым камнем, его галстук, его ручка, купленная в Берне, которую он мне подарил, когда увидел, что она ему не понадобится, его кошелек, в котором еще лежало несколько швейцарских франков, его перочинный ножик, с помощью которого он делал себе маникюр... Все это продолжало жить. Только тело Виктора было безжизненно.

Куда девалась мудрость, накопленная под этим холодным лбом? Почему он не передал мне, по крайней мере, своего знания языков — немецкого, французского, венгерского? Скажем, с поцелуем или с тем долгим взглядом перед самой смертью. Куда девались его юмор и сарказм? Ведь всего за несколько часов до кончины перед приходом священника он огорошил нас: «Пусть придет... А мне даже интересно — попробуем, с чем это едят...» Я долго смотрел на его серовато-желтое лицо, на его приподнятую верхнюю губу, приоткрывающую зубы...

Мать зажгла свечи. В окно уже проникал день. Лампочки в люстре и на ночном столике горели слабым, красноватым светом. Наша электростанция опять замерзла. На начищенной меди кровати Виктора отражалось слабое пламя свечей. Отец взял свой «Траносциус», отыскал в нем «Молитву для умирающего» и «Молитву по усопшим» и начал громко, немного дрожащим, хрипловатым голосом читать. Мы все, и Марка тоже, сидели, склонив головы, за столом, уставившись в цветы на плюшевой скатерти, которые были от нас совсем близко, но сливались, потому что глаза наши застилали слезы. К молитве отца присоединился погребальный звон колоколов.

Конец того же года принес мне радость — я узнал о своем назначении в Братиславу. В Градце Кралове мне уже не сиделось. Полный нетерпения, нервозности, неуверенности, я свои обязанности выполнял уже скорее по принуждению. Решение правления чехословацкой Ассоциации в Праге о том, что я должен в начале 1934 года вступить в новую должность, вручили мне, однако, лишь в начале декабря. Наконец-то! Теперь все в порядке!

В Градце устроили прощальный вечер. Пришли мои коллеги и друзья. Прощание было теплым, сердечным. Нам с Маркой преподнесли много цветов и сувениров. Итак — прощай, Градец!

Братислава, где я бывал не раз, представлялась мне сочетанием сверкающего Дуная и почерневших руин заброшенной крепости, запомнились показная красота Штефаниковой и Штуровой улиц, театры, отель «Карлтон», больница, где работал Йожко Якши, Михальская башня, виноградники за вокзалом — и это, пожалуй, все. Но я знал, что где-то там, в разбросанных по всему городу домах и квартирах живут наши любимые писатели Янко Есенский, Мило Урбан, Поничан, Лукач, что где-то там находится Общество словацких писателей, что есть университет и студенческие союзы, Земское управление с президентом, создающее иллюзию независимости и власти, что там выходит много журналов и что приезжает туда или мечтает приехать множество словаков из провинции, чтобы отхватить себе какой-нибудь кусочек столичного пирога. Конечно, кормушки покрупнее и подоходней были уже давно заняты, но если у тебя варил котелок и ты мог чуть пошире расставить локти да сверх того имел «руку» в одной из правящих партий, уж какой-то кусочек тебе, в конце концов, перепадал. Мне все это было уже ни к чему — местечко для себя я уже давно высмотрел и, что называется, выплакал. Во всей чехословацкой Ассоциации было только два секретаря-словака: Янко Пацановский, работавший все время в Братиславе, и я, отслуживший свое в Лученце, Кромержиже и Градце. Братислава мне уже полагалась по праву, и все-таки перевода туда пришлось добиваться. Янко Пацановский — мой будущий братиславский шеф — именно так и аргументировал нашему пражскому начальству необходимость моего перевода в столицу.

Большое просторное здание братиславской Ассоциации стало с 1934 года моим новым местом работы. Все те пять лет, что я здесь прослужил, были годами исканий, накопления опыта, упорного труда — годами, когда приобретались знания, образование, когда было много написано, особенно прозы. Но в эти же годы я совершил множество ошибок и глупостей, увлекался богемой, бесплодно растрачивал ночи в бесшабашном веселье и кутежах с той бездумностью, на какую способна только молодость.

Теперь в октябре братиславский воздух уже не напитан так запахом молодого вина; не увидишь больше и тяжеловозов, доставлявших под готические своды винных подвалов огромные бочки густого, еще не отстоявшегося божественного напитка, от которого развязывались языки у всех — от зеленых юнцов до глубоких старцев, от которого хотелось петь, плясать, озорничать.

Первый год мы жили на Сендлейновой улице, в особнячке, которого сейчас и не увидишь среди высоких зданий. Вокруг было еще полно зелени — деревьев, кустарников. На работу я уходил рано. Спускался с откоса и шел над тоннелем, мимо заборов, провожаемый неумолчными гудками паровозов, окутанный их дымом. И так изо дня в день — утром туда, вечером обратно.

Атмосфера и в здешней Ассоциации, и вообще в Братиславе была совершенно иной, чем там, откуда я приехал. В городе жило тогда много немцев-«прессбуржцев»[1] да и венгров тоже. Тут существовала так называемая Колония Шульпе — знаменитые «Десять домов», заселенные беднотой, прессбургским пролетариатом, в основном немцами и венграми по происхождению. Наше большое, просторное здание, особенно холл и первый этаж, почти всегда осаждала безработная молодежь. Было среди нее немало и «карманников», хулиганов, драчунов и крикунов, допускавших бесчинства. Ими должен был заниматься мой коллега по работе с немецкой и венгерской молодежью Штромп. Однако из-за своей маловнушительной фигуры он боялся общаться с ними, а тем более их воспитывать и привлекать к полезной деятельности. Нужно было видеть, как он увиливал от всего этого! Я подтрунивал над ним, стараясь придать ему смелости, но он всегда ловко ускользал, ссылаясь на административные дела.

Мой новый шеф — Ян Пацановский, экономист-практик и большая умница — много помогал нам, секретарям. Руководить таким учреждением, как наша братиславская Ассоциация, было делом нелегким. Кроме большой столовой, дома холостяков, кинотеатра, спортивного зала, различных установок и оборудования для клубной и просветительской работы, здесь существовали различные профессиональные курсы и даже коммерческое училище, дающее те же права, что и государственное, клуб фотолюбителей, «Y-клуб» и еще многое другое. Чтобы всем этим управлять — и притом хорошо,— надо было иметь не только светлую голову и опыт, но и сильный характер, уметь ладить с людьми, знать их психологию, и ко всему этому обладать безмерной самоотверженностью, чувством ответственности и, безусловно, очень любить эту многостороннюю деятельность. В Яне Пацановском сочетались все эти свойства. Просто невероятно, как, несмотря на свои многочисленные обязанности и огромную занятость, он находил время отправиться с нами в свободный вечер «под вешки»[2] — развлечься, повеселиться. Этот человек мог балагурить с мусорщиками за кружкой пива, но мог и вести с высокопоставленными господами из Международного центра Ассоциации утонченную беседу на английском и немецком языках. Я не раз испытывал чувство гордости за этого словацкого парня из Спиша и с радостью учился у него, как надо жить и работать. Он был моим шефом почти двенадцать лет, и это были самые плодотворные годы моей жизни. После Освобождения, уже при народной власти, передав здание Ассоциации Союзу молодежи, он часто приходил сюда и щедро делился с молодыми работниками своим богатым опытом.

Хорошо тебе было с таким шефом, могут заметить мне. Да как сказать! Строгости и причуд у Янко Пацановского тоже хватало. С моей «поэтической» натурой, при моей несобранности я не раз скрипел зубами из-за его бескомпромиссной требовательности, а порою и педантизма. Особенно первые два-три года — ох и трудными же они были! Только он, слава богу, ни в чем мне не уступал. Кто знает, что иначе вышло бы из меня!

---

[1] Прессбург *(нем.)*, Прешпорк *(слов.)* — старое название Братиславы.

[2] Вешка *(слов.)* — венок из соломы, который вешали прежде над входом частного дома в знак того, что там продается молодое вино в розлив. «Пойти под вешки» — означало да и означает теперь отправиться в винный погребок, загородный ресторан, кабачок.

Работы у меня было невпроворот и времени на литературные занятия оставалось мало. Андрей Мраз, от которого так досталось мне когда-то за первый сборник стихов, встретившись со мной в Братиславе, затащил меня в кафе и стал уговаривать сменить службу, чтобы иметь больше свободного времени. Он даже предложил свою помощь. Но уговорить меня не удалось. Оставался я в этой, как назвал ее Мраз, «неважнецкой» организации до весны 1945 года и, как показала жизнь, не ошибся.

Каждый год уже с середины мая я начинал заниматься подготовкой летнего лагеря. Ребята прибывали туда 1 июня. Все лето я проводил на природе, на свежем воздухе, в непрерывной «физкультуре». Гимнастика, постоянное движение и физический труд были лучшими средствами поддержания моего не очень крепкого здоровья, которое, займись я другой профессией, особенно сидячей, безусловно было бы подорвано. Тем более что мне по душе была богемная жизнь, а умеренность и воздержанность всегда претили. Этого я никогда и не скрывал. Кому-то это нравилось, кому-то — нет.

В скором времени у меня установились дружеские отношения с Эмилем Болеславом Лукачем, который тогда редактировал «Словенске смеры» и журнал «А-Зет». В «А-Зет» печатался с продолжением мой роман «Кровавые тучи» — одно из «упражнений» в этом жанре,— который отдельной книгой так и не вышел. Второй мой роман, получше первого, по мнению Лукача и других, решило выпустить издательство «Мелантрих». Лукач послал мою почти трехсотстраничную рукопись в остравскую типографию. Но, на мое «счастье», именно тот почтовый вагон, где находилась эта рукопись, сгорел. И поскольку это была действительно рукопись и копии у меня не осталось, вся работа пошла насмарку. Но тем самым я хоть сберег для себя читателей. Сейчас об этом говорить легко, но тогда я был страшно удручен и, усматривая в этой истории «перст божий», едва не бросил писать и не занялся делом более полезным. Мне долго не хотелось браться за перо. Тем более что некоторое время спустя Андрей Мраз, который тогда редактировал «Словенске погляды» и работал в Матице, отказался издать мой второй сборник стихов. Стихи для «Поглядов» он постоянно просил у меня, каждое в отдельности ему нравилось — во всяком случае, он мне так писал,— но для сборника они, по его мнению, не годились. На любого автора такое стечение обстоятельств подействует отнюдь не вдохновляющим образом. Но какая-то неугасимая искра все же не позволила мне поддаться мрачной меланхолии. Я снова взялся за перо, стараясь поглубже окунать его в чернила, чтобы лучше писать. Редкий автор сразу согласится с критикой его произведения, но впоследствии, когда произведение его пройдет проверку временем, многое ему покажется в ней верным. Конечно, если критика вызвана не какими-то сторонними соображениями, которые в нашей литературной жизни, как и в любой другой, всегда находятся.

Кроме Лукача, я встречался со своими бывшими соучениками, липтовцами — Пишутом, Габаем и другими. Пишут ввел меня и Андрея Костольного в словацкую «Умелецкую беседу» — клуб деятелей искусства. Вместе с Андреем мы заседали и в городской культурной комиссии. Мне вспоминается один случай, о котором следует упомянуть, потому что он хорошо иллюстрирует уровень кое-каких «деятелей», дирижировавших тогда культурной жизнью Братиславы.

Просветительные организации города готовили к десятой годовщине со дня смерти Иржи Волькера вечер, художественная программа которого обсуждалась городской культурной комиссией. Мы подбирали стихи и чтецов, музыкальные произведения и их исполните-

лей и, конечно, того, кто выступит с торжественной речью. Последнее вызвало больше всего шума — мы никак не могли договориться. Я предложил Костольного — знатока и поклонника творчества Волькера, который мог бы сделать о нем интересное сообщение, но инспектор просвещения — важный чин с плешивой, круглой, как кочан капусты, головой и сигарой в зубах — тотчас прервал меня:

— А что, если бы мы просто взяли и попросили самого пана Волькера выступить? Разве он по такому поводу не приехал бы в Братиславу, а, господа?

После подобных казусов мне особенно хотелось поскорее выскользнуть на братиславские улицы, проехаться на речном трамвае по Дунаю, пройтись по набережной до правительственного здания, где отправлял свои обязанности земского вице-президента Янко Есенский, а потом направиться в другую сторону, к Выдрице — кварталу, пользующемуся дурной славой. Тут было полным-полно всяких кабаков вроде «Фаворитки», где собирались матросы и студенты, шныряли разные подозрительные личности. Тут я сразу окунался в атмосферу портового города. Из задымленных окон доносилась немецкая, словацкая, венгерская да и сербская и румынская речь. В одно из моих посещений «Фаворитки» меня чуть не огрели стулом по голове, когда там ни с того ни с сего между нашими и австрийскими матросами началась грандиозная потасовка. По примеру завсегдатаев, я кинулся на пол, иначе мне бы несдобровать. Чаще всего драки затевались из-за девиц легкого поведения, и таких драк я не видел даже в портовых кабаках Стамбула.

Выпить кружку доброго молодого вина мы ходили «под вешки», к знаменитым братиславским виноградарям Вовы, Гофману и другим. К молодому вину там подавали «цыганское жаркое» — такое ароматное, что просто слюнки текли. Стряпали его жены и дочери виноградарей, толстушки Эльзы или Гертруды — дородные «прессбуржанки», с улыбкой принимавшие шуточки гостей, куда более острые, чем приправа к жаркому, которое они им подавали.

То была эра доживания старого Прессбурга и его превращения в словацкую Братиславу. Внешние черты этому придавали и наши, новые полицейские в темных металлических шлемах, и лоточники, бегавшие со своими коробами от погребка к погребку и предлагавшие на все голоса каленые орешки, соленый миндаль, селедку, лук, печеный картофель, и цветочницы с букетиками фиалок, гвоздик, роз. Часто это были совсем старенькие, сгорбленные старушки, «сюрреалистически» выделявшиеся на фоне галдящих, прокуренных ночных кабачков. Но среди цветочниц были и молодые девушки, которым подвыпившие гости давали за цветы двойную и тройную цену, правда, за эту прибавку они получали право обнимать их, тискать, целовать.

Улицы и переулки, где сосредоточивались винные погребки, жили своей особой жизнью. Тут словацкие песни разливались рекой. Молодые парни из Липтова, Турца, Оравы «завоевывали» Братиславу прежде всего здесь — пили, пели, гуляли вовсю. И до того иной раз надирались, что и до постели своей дойти не могли. А те, кто еще держался на ногах, отправлялись в кафе — в «Штефанку», «Асторку», «Альжбетку» или в «Барошку» — послушать музыку. Там играли такие знаменитые первые скрипки, как Йожко Пигик, Дежо Цибулька, Лайош Битто, Можи и даже еще старик Визвары.

Вечерняя и ночная Братислава того времени повсюду звенела словацкими песнями. Хотя часто их уже не пели, а горланили до хрипоты.

В братиславском «У-клубе» выступали с лекциями многие наши видные деятели. Именно там я познакомился с Владо Клементисом, тогда уже известным в политических кругах. Мы с ним долго и горячо дискутировали в нашей голубой гостиной. Разумеется, речь шла о политике, и помню, как уже тогда он обращал внимание на опасность фашизма, особенно после того, как власть в Германии захватил Гитлер. Это была очень интересная беседа, затянувшаяся до полуночи. Завершилась она общим выводом: единственной силой, могущей противостоять развязыванию агрессии германского фашизма, может быть только Советский Союз. Мы все тогда с живым интересом и волнением обсуждали этот вопрос.

Стихов в ту пору я писал мало, хотя и был занят поиском новых поэтических форм, нового подхода к темам, обращаясь к новым направлениям поэзии, особенно к сюрреализму. Решил я сыграть и на этой струне, но сюрреалистом так и не стал: моя привязанность к традиционной форме стиха оказалась сильнее. В тридцатых годах я больше занимался прозой. Судьба моего брата Виктора и его смерть произвели на меня очень сильное впечатление, и я принялся за биографический роман о нем, назвав его «Один из нас». Поэт Янко Смрек, ознакомившись с моим романом во время одного из своих посещений Братиславы, хотел было его издать. Но он потребовал, чтобы я переделал некоторые главы и кое-что сократил — ну, как это часто бывает. С некоторыми его замечаниями я согласился, с другими — нет, а за переделку рукописи мне не хотелось приниматься: во-первых, было много другой работы, а, во-вторых, я как раз тогда засел за новый роман — «Обращение Павла», который потом вышел в издательстве Матицы. Небольшой отрывок из романа «Один из нас» был все же напечатан осенью 1934 года в журнале «Словенске смеры».

В том же году я впервые выступил по радио — читал свои заметки «Стихи и правда». Я очень волновался перед микрофоном, никак не мог совладать со своим голосом и все время думал, слышат ли меня, а если слышат, то узнают ли мой голос, которого я и сам не узнавал. Но оказалось, что все обошлось хорошо. Когда я, кончив свое выступление и получив гонорар, пришел домой, мне позвонили и сообщили, что директор радио Моиш просит меня зайти к нему. Я удивился: такая важная персона в восемь часов вечера находится еще на работе. Директор Моиш принял меня в своем уютном кабинете, угостил кофе и сигаретами и под конец нашей с ним беседы спросил о здоровье моих родителей. Я был немало удивлен. Оказалось, он их хорошо знал с того времени, когда был священником в Липтовском крае. О моем выступлении Моиш отозвался весьма похвально и просил почаще принимать участие в радиопередачах. В последующие годы я выступал по радио довольно регулярно.

В эту же пору своей братиславской жизни я сотрудничал в литературных и других журналах. Поэзия, несмотря на все разочарования, оставалась моей главной страстью. Хотя после обескуражившего меня дебюта прошло уже довольно много лет и я время от времени писал стихи, мне все никак не удавалось составить цельный сборник. Я экспериментировал, пытался как-то разрубить этот гордиев узел, но безуспешно. К поэзии я возвращался постоянно, как к старой возлюбленной, каждый раз подходя к ней по-новому, но все не мог найти верный тон, на который бы она откликнулась.

Я штудировал Андре Бретона, Поля Элюара, Незвала, а позже и наших молодых «надреалистов», первые стихи которых уже появились в литературных журналах. В те годы они частично оказывали влияние и на мои стихи. Из наших «надреалистов» раньше всех дебю-

тировал Рудо Фабры. Вокруг его сборника «Отрубленные руки» разгорелись литературные страсти, книжка была буквально нарасхват. Ян Поничан встретил сюрреализм — мало сказать — неприветливо. Он утверждал в журнале «Словенске смеры», что «не будет из него дождя, который окропит разгоряченный лоб рабочего или же сухую землю крестьянина», что его «породили одни только слова и от многословия он и погибнет».

Наши молодые «надреалисты» ломали привычные поэтические условности, стремились стать авангардом словацкой поэзии. Это было своеобразным протестом против лицемерия и насилия, особенно проявившихся в годы наступления фашизма и войны. Их поэзия встречала понимание и интерес у прогрессивно мыслящей интеллигенции. Но широкая читательская масса не принимала ее. С этим новым течением хотел идти в ногу и я. Много в то время вел я споров. Все свое свободное время мы отдавали долгим дискуссиям, которые велись в кафе «Метрополь» — там ежедневно собиралась литературная Братислава. Спорили о новой поэзии, о французском и чешском сюрреализме, о словацких «надреалистах», и я вынужден был признать, что некоторые их художественные элементы, особенно в области стиха и поэтической образности, имеют значение для развития словацкой поэзии, а значит и для меня.

В 1936 году в Братиславу из Мартина была переведена редакция газеты «Народни новины». Вскоре я стал в ней постоянным нештатным сотрудником, а затем даже вел рубрику культурной жизни. Я полюбил газетную работу, выполнял ее с энтузиазмом, гордился тем, что могу комментировать события культурной жизни, регулярно высказывать свое мнение в газете, критиковать, за что мне не раз доводилось выслушивать даже угрозы противников.

За годы сотрудничества в «Народни новины» я обучился азам журналистского дела, познал значение ножниц и клея для редактора и многое другое.

Из маленького особнячка в пригороде Братиславы мы с Маркой постепенно перебирались все ближе к месту моей работы. В 1936 году переехали в новую квартиру уже совсем в центре — на Мытную улицу, но теперь не вдвоем, а втроем: у нас родился сын, которого мы назвали Иваном.

■

Каждое лето я проводил теперь в лагере под Червеным каменем. Уже в середине мая я приезжал в соседнее селение Пилу, чтобы с помощью старого пана Босака — плотника и его работящих сыновей подготовить лагерь к приему детей. Обычно весь июнь на моем попечении и ответственности находилось здесь около ста мальчиков, которых сюда посылала социальная комиссия Братиславы. Большей частью это были дети безработных или полубезработных родителей из бедных слоев общества, истощенные, терпящие постоянные лишения. Их содержали здесь за счет городского управления. Работа с ними требовала исключительной выдержки. Среди них было много таких, которых воспитывала одна только братиславская улица. Хотя это были дети словаков, немцев, венгров,— все они были пролетарскими детьми. Их возраст — от 10 до 18 лет — был самым трудным, и у меня просто волосы вставали дыбом, когда они со своими нищенскими чемоданчиками или рюкзачками вываливались из двух автобусов и с диким криком разбегались по территории лагеря, удивленно разглядывая все кругом. Сперва они дичились, но вскоре становилось ясно, что это отбившиеся от рук, своевольные мальчишки, и я первое время просто не знал, как с ними совладать.

Мой коллега Штромп, присланный мне в помощь,— щуплый, маленького росточка паренек,— хорошо говорил по-немецки и по-венгерски, но его слабый голос терялся, как капля в море, в галдеже и крике наших питомцев. Да, плохой ты будешь пастырь в этом стаде, думал я. Надо было сразу же и всерьез заняться воспитанием, найти путь к ним, подобрать хотя бы трех-четырех ребят постарше себе в помощники, отнестись к ним с доверием — словом, поскорее приняться за макаренковское дело, что было не так просто. Самыми трудными были первые дни, пока эта орущая масса не утихомирилась и не подчинялась лагерному уставу.

У нас было десять туристских домиков, по двенадцать спальных мест в каждом — шесть внизу и шесть наверху, посередине столик, на дощатых стенах — полочки. Тюфяки мы набивали каждый год золотистой соломой, и спать на них было одно удовольствие.

Внизу, под откосом, старый Босак с сыновьями построил просторную столовую с камином и сценой. К столовой была пристроена кухня. В ненастье все собирались в столовой, затевали поучительные и развлекательные игры и занятия. Камин наш, правда, немного дымил, но нам это не мешало. Посреди лагеря, между домиками, находился «штаб», где располагались руководитель лагеря и врач, а на втором этаже были комнаты для гостей. Повыше лагеря, на опушке елового леса, мы отвели место для лагерного костра — обложенное камнями, с лавочками вокруг. Здесь по вечерам в хорошую погоду собирался весь лагерь и устраивались концерты. Каждый домик должен был выступить со своим номером — серьезным или веселым; позже, когда кончался срок пребывания в лагере, специальное жюри оценивало их и выдавало награду.

Внизу, у речки, нам построили деревянный бассейн — на настоящий, бетонный не хватило средств. Служил он нам довольно долго, в нем мы учили ребят плавать. Учили мы наших мальчишек играть в волейбол, баскетбол, занимались с ними легкой атлетикой. В лагерную программу входили также лесонасаждение и изучение природы — деревьев и других растений, птиц и животных. Ребята с большой охотой учились разжигать костер без спичек и прочим лесным премудростям. Они жадно слушали и быстро усваивали наши объяснения. Вот тут-то, пожалуй, и надо искать ключ к их воспитанию, решил я. Когда сами что-то сумеют сделать, они будут радоваться результатам своего труда и быстрее расстанутся с анархистскими склонностями.

Бывали в лагере и сложные случаи, разобраться в которых удавалось не сразу. Помню историю с Балогом, тринадцатилетним подростком, имя которого мне крепко врезалось в память еще и потому, что я с ним встретился много лет спустя в кафе «Штефанка», где он праздновал свое назначение директором одного небольшого завода. Конечно, я не узнал его — ведь прошло так много лет,— но он сам мне представился и напомнил, что он и есть тот самый Балог, который был у меня в летнем лагере и с которым тогда случилась история...

Историю эту стоит рассказать подробнее, потому что она очень точно иллюстрирует наши методы воспитания. Балог был живым, даже озорным мальчиком. «Наш пострел везде поспел» — эти слова как нельзя больше подходили ему. Его умные голубые глаза всегда горели беспокойным любопытством. Он отличался находчивостью, за словом в карман не лез, но замечалась за ним и плутоватость. И вот Балога его же товарищи по домику обвинили в краже. Он, мол, украл какой-то ножик с дорогой ручкой и к тому же сколько-то денег. Я вызвал его к себе в штаб, поговорил с ним по-хорошему, пообещал, что ему ничего плохого не сделают, если он честно признается. Но Балог ни

в чем не признавался. Обвинение упорно отвергал, а под конец расплакался. Заливаясь слезами, он утверждал, будто его обвинили потому, что он отказался чистить ботинки старосте, который был старше остальных ребят, живших в их домике, на несколько лет. У меня создалось впечатление, что Балог, хоть он и проказник, действительно не виноват.

Случилось это дня за три до окончания смены. Вечером накануне отъезда из лагеря мы устраивали обычно большой прощальный костер, на котором выдавали призы и награды. Первый приз — огромный торт — должен был получить лучший домик; второй и третий призы — два килограмма и один килограмм конфет — должны были получить следующие два лучших домика. Кроме того, мы должны были раздать лагерные эмблемы первой, второй и третьей степени как почетные знаки и так далее.

За тортом и конфетами надо было кого-то послать в Модру. Мой выбор пал на Балога. Я вызвал его к себе в штаб, дал ему денег, квитанцию на получение заказа и все необходимые инструкции. Он уставился на меня, потрясенный оказанным ему доверием.

— Я уверен, что ты не подведешь меня,— сказал я ему и пожал руку.

Глаза мальчика сверкнули благодарностью.

— Не бойтесь, пан секретарь! — сказал он, гордо выпрямившись, и пулей вылетел из штаба.

Он сразу же отправился в путь. Остальные ребята столпились возле штаба и вовсю корили меня за то, что я послал воришку с такими деньгами, что он и не подумает вернуться сюда, а прямиком отправится в Братиславу. По правде говоря, каждый год так бывало, что двое-трое ребят, прихватив что-нибудь, действительно удирали из лагеря.

— Долой Балога! — кричали скандируя ребята и что есть мочи свистели.

Это уже походило на бунт и становилось опасным. Я знал, что толкало ребят на это: они испытывали чувство унижения, видели в моем поступке неуважение к ним, особенно их вожаки, которые подбили и увлекли за собой остальных. Они присвоили себе право на доверие. С грехом пополам мне все же удалось успокоить это разбушевавшееся ребячье море. А подготовка к лагерному костру отвлекла их окончательно.

В те послеполуденные часы лагерь был похож на потревоженный улей. Старосты, явно пользуясь своим авторитетом, распоряжались, подгоняли с невиданным усердием и без того занятых делом ребят. У места лагерного костра воздвигли целую пирамидальную пагоду из заранее заготовленных дров, а я уже после обеда стал все чаще поглядывать на часы, высчитывая, не пора ли Балогу вернуться. Когда же наступили сумерки, а Балога все еще не было, ребята сперва робко, а затем все смелее стали приставать ко мне с вопросами и упреками. Мы уже поужинали, а Балог все еще не появлялся. Я почувствовал приближение нового взрыва. Начало уже понемногу темнеть, мальчики потянулись к месту лагерного костра, тащили с собой всякий реквизит, необходимый для их выступлений, а мне становилось с каждой минутой все грустнее и грустнее. Неужели мальчик меня подвел? Выходит, он и в самом деле воришка, раз сумел меня обвести вокруг пальца? Иначе он давно был бы тут.

Уже все мы собрались на верхней площадке и готовились торжественно, факелом зажечь нашу пагоду, как вдруг из-за елей выскочил задыхающийся, взмокший Балог и, подбежав ко мне, гордо отрапортовал:

— Пан секретарь, задание выполнил — вот все! Я задержался потому, что кондитер не успел приготовить торг и мне пришлось ждать. Но зато какой торт!

И он тут же принялся распаковывать огромную коробку с тортом.

В ту же минуту трое ребят из его домика, стоявшие напротив нас, заорали что есть силы: «Ура-а-а!» И все остальные подхватили. Что тут было! Мы прыгали и плясали вокруг костра как настоящие индейцы. Балог стал героем вечера.

Утром, в день отъезда, ко мне подошел староста того домика, где жил Балог, и смущенно шепнул, что ножик он нашел во время утренней уборки. Я его потом вызвал в штаб и выяснил, что никаких денег Балог не крал. В конце концов староста признался, что все получилось из-за ботинок, это правда — он заставлял Балога их чистить, а тот отказался. Вся эта история была хорошей наукой и для него самого...

Автобусы зафырчали и уехали, ребята расстались с лагерем, веселые, поздоровевшие. Некоторые прибавили в весе по нескольку килограммов. У них остались приятные воспоминания — и у меня тоже.

В июле прибыла следующая группа ребят, но уже не из пролетарских семей. Было среди них довольно много «единственных» в семье, избалованных, хрупких, которых родители отдавали главным образом ради того, чтобы хоть немного научить их самостоятельности. За те пять лет, что я руководил летним лагерем под Червеным каменем, через него прошли сотни ребят; многие были из так называемых благополучных семей, начиная с семей министров и кончая пролетарскими семьями. Но в лагерной жизни и ее распорядке не было никаких разделений, каждый мальчик должен был помогать на кухне — чистить картошку, если пришла его очередь дежурить. Да и домик должен был подметать, и воду носить, и ботинки чистить. Никакой прислуги у нас в лагере не было.

Много лет спустя я встречался с некоторыми мальчиками, ставшими уже врачами, инженерами, учителями, актерами,— и все они с радостью вспоминали наш летний лагерь «Карпаты», картошку, лагерные «олимпийские» игры, вечерние тихие прогулки по лесу, чтобы услышать, а иногда и увидеть в вечернем лесном тумане крупного зверя, лагерные костры и наши выступления возле них, индейские тотемы перед каждым домиком и песни у немного чадящего камина в ненастные дни — весь тот мальчишеский мир с его волшебством, с его дружбой, где закладывались основы подлинного товарищества на долгие, долгие годы.

Многие еще и сегодня приходят иногда сюда поглядеть на густой ельник, который они сами когда-то посадили перед территорией лагеря, подивиться, как он вырос. Надо уже его проредить — все же ему тридцать пять лет! Сажали мы его с ребятами как раз в тот год, когда родился мой сын Иван. Государственное лесное управление дало нам саженцы елей и выделило лесничего для присмотра, чтобы мы посадили молодые деревца по всем правилам, и это нам, очевидно, удалось. Лес стоит там густой, а деревья выстроились как на параде! Всякий раз, когда я приезжаю поглядеть на этот лес — наш писательский дом от него не так уж далеко,— на сердце у меня становится тепло.

Говорят, каждый человек должен за свою жизнь посадить хоть одно дерево. Любое. И он обогатит мир своих чувств. Мы тогда с ребятами посадили целый лес, и теперь у подножия холма, где он растет, построено много дачек и туристских домиков. Ветви наших елей радуют не одну семью, делают приятной их жизнь, предоставляя им желанный отдых, давая прохладу в летний зной, насыщая воздух озоном, особенно когда на них прольется летний дождь. А сколько птичьих гнезд в их чаще на благо и утеху человеку! Право же, у меня радостно

становится на душе, когда подумаю, что правильно «пророчествовал» однажды у лагерного костра в сложенных тут же стихах о том, какую огромную пользу мы принесли, посадив наш лес.

■

Юлко после окончания гимназии поступил на медицинский факультет. Медицина ему нравилась, свою первую экзаменационную сессию он сдал отлично. Жил он тогда у нас. Я видел, как он, бедняга, много работает — до полного изнеможения. И дома и в кафе «Метрополь» — месте встреч студентов-медиков.

Мы были не просто братья — смерть Виктора нас очень сблизила и мы сделались самыми большими друзьями. А когда Юлко стал студентом, разница в пять с половиной лет не играла никакой роли. Юлко был парнем незаурядным, талантливым — с острой наблюдательностью и логическим, ясным умом. Беседовать и даже ссориться с ним было одно удовольствие. Он не любил пустословия, был ироничен в спорах, его смелая, неожиданная аргументация доставляла наслаждение не только нам — его оппонентам, но и ему самому. Как он радовался, когда удавалось сразить кого-то в споре остроумно выраженной мыслью, но больше к ней не возвращался, чтобы не ослабить впечатления. Марка вечно мучилась с нами, потому что мы до поздней ночи вели нескончаемые споры. И, конечно, в комнате дым стоял коромыслом — мы без конца курили. «Занавески от табачища вашего никак не выветришь, хоть в Дунае отмачивай»,— ворчала Марка.

Юлко был красивым парнем — высоким, черноволосым, с темно-карими задумчивыми глазами. Он отрастил маленькие черные усики, которые очень ему шли. Я даже завидовал, потому что мои усы — я отрастил их после рождения Ивана, чтобы выглядеть солиднее,— были похожи скорее на зубную щетку.

Были у Юлко и другие хорошие качества. Очень эмоциональный, он замечал в окружающей жизни много такого, на что другие просто не обращали внимания, и поэтически воспринимал мир. Как почти каждый гимназист, он писал стихи, но, став студентом-медиком, забросил их. Однако он был и оставался моим самым объективным и в то же время самым строгим критиком. В том, что мой второй сборник стихов вышел лишь спустя двенадцать лет после моего поэтического дебюта, отчасти повинен и он. «То, о чем ты тут пишешь,— говорил он мне не раз,— написали уже многие до тебя, и написали лучше». Я сердился на него, но в то же время у меня будили любопытство, притягивали, как магнитом, его взгляды на мир, на вещи — своеобразные, независимые. Иногда у нас происходили просто смертельные схватки, и Марка думала, что нам уже не помириться никогда. Но если наши мысли совпадали, мы радовались и обнимались, как малые дети. Иногда ссоры между нами возникали и на людях, но достаточно было кому-то из посторонних резко одернуть одного из нас, как мы тут же оба накидывались на него и жалили как осы.

В то время и я и Юлко штудировали Зигмунда Фрейда и Адлера. Он изучал их труды в оригинале, потому что знал пассивно немецкий лучше меня, а ради «Психиатрии» Сент Дьёрдя очень быстро научился читать по-венгерски. У него были необыкновенные способности к языкам.

Мы всюду ходили вместе, словно близнецы. Он бывал со мной в моей писательской компании, я с ним — в обществе его коллег-медиков. Словацкая интеллигенция в Братиславе в то время была немногочисленна, и потому часто — то ли в винном погребке, то ли в кафе — собирались все вместе: студенты, профессора, писатели, редак-

торы. И даже если они придерживались разных политических или других убеждений, все проявляли взаимное уважение, вместе пили вино, пели словацкие песни, но, конечно, бывало, ссорились, и ссорились крепко. В погребках или в кафе перезнакомились и подружились почти все братиславские словаки-интеллигенты; жили они, как говорится, одной семьей, спаянные общей идеей: ословачить Братиславу. Проявлялось это, к сожалению, главным образом в неумеренных возлияниях, шумном пении, бахвальстве и болтовне. В газетах эти «компанейские» патриоты не раз оскорбляли друг друга, «били» по своим из крупного «калибра», но при первом же удобном случае приносили извинения и мирились за винцом. Так все и шло по кругу.

Все эти пустобрехи, ура-патриоты мнили себя национальными пророками, пусть и не признанными. Они изо всех сил пытались протиснуться вперед, хорохорились за столиками кафе, объявляли себя чуть ли не прямыми наследниками Яношика. Это было характерно для атмосферы тогдашней Братиславы, в которой уже начало образовываться свое, словацкое «болото» из тех, кто прислуживал то одной, то другой политической партии, в зависимости от того, куда склонится стрелка политических весов. Ох, и много же было таких, которые скромно подсаживались к столу какой-нибудь видной персоны, льстили ей, угодливо изгибались перед ней в ожидании, когда с ними чокнутся, а спустя какое-то время за другим столом самым безбожным образом ту персону поносили. И это был один из способов «ословачения» Братиславы! Ничего не поделаешь, так уж начинали мы свою национальную жизнь со всеми ее атрибутами.

Но не подумайте, что те, кто составлял «сливки» братиславского общества — словацкого и чешского,— проводили время с нами в кафе и кабачках. У них был свой «Словацкий клуб», тонный, напитанный духами, с барско-демократическим этикетом, где министры, сенаторы и депутаты почти всех политических партий просиживали за карточными столами с братиславскими фабрикантами, пока их жены, теряя надежды, высматривали себе достойных молодых любовников либо плели сети вокруг тех, кто мог бы составить «хорошую партию» для их дочерей на выданье. Янко Есенский, тогда наш земский вице-президент, не раз посмеивался над повадками этого «избранного» общества, находя здесь темы для своих сатирических рассказов. Кое-кто из литераторов, имевших доступ в «Словацкий клуб», выносил оттуда самоновейшие сплетни и подавал их нам, как закуску к доброму вину, а мы, жалкие плебеи, поглощали это остро наперченное блюдо с огромным аппетитом.

В ресторане Бунчака, в Гринаве, мы собирались обычно по субботам и воскресеньям на знаменитую гусятину, особенно начиная с октября, когда появлялось молодое вино. Тогда, правда, уже трудно было найти свободный столик и в самом ресторанчике, и во дворе. Свое заведение Бунчак устроил в старой мельнице, обстановка была необычная, можно сказать, романтическая, и кто хоть раз сюда заглянул, обязательно становился завсегдатаем. Жареные гуси у Бунчака были знаменитые. В углу ресторанчика наигрывал на скрипке цыган, он все время кивал головой и строил смешные гримасы, внимательно следя при этом, за каким из столиков назревает такая «ситуация», когда он сможет подойти и сыграть даме или господину «на ушко» песню, которая заставит растаять их сердца и даже гусиный жир на блюде.

В одну из суббот, когда мы с Янко Пацановским и нашими женами пришли сюда попировать, я не сразу обратил внимание на сидящих рядом с нами двух солидных мужчин. Подозвав к себе цыгана, я стал напевать ему песню — хотел, чтобы он нам ее сыграл. Это была песня

«Недалеко от Янова, не доезжая Карловой, отвалилась подкова у моего коня» — я ее очень любил.

— Пан Плавка, а вы забыли еще одну строфу,— вдруг послышалось у меня за спиной.

Я обернулся и увидел Яна Есенского, весело мне подмигивающего. Он тихонько, но в той же тональности, что и я, допел забытый мной куплет: «Не жаль мне подковы, жаль золотой моей свободы...» А потом мы уже вместе спели эту песню всю целиком.

Янко Есенский был тогда в компании с поэтом Иваном Галло — словацким символистом, стихи которого, благодаря их музыкальности и совершенству формы, были очень популярны. Он рано умолк, но некоторые его сатирические стихи в те времена довольно часто цитировались. Теперь же о нем почему-то и не вспоминают.

■

В августе 1937 года с легкой руки моего директора Яна Пацановского мне снова довелось побывать за границей. Международный центр организовал семинар для руководителей детских лагерей в небольшом голландском городке, вблизи которого находился образцовый летний лагерь. Ну а раз уж я буду в Голландии, то мне не помешает, мол, заглянуть — после, конечно,— и в Англию и Францию, до которых оттуда рукой подать, рассуждал мой директор. За это я был ему, понятно, бесконечно благодарен. Итак, в один прекрасный день, запасшись немецкими марками, голландскими гульденами, английскими фунтами и французскими франками, я сел в братиславский экспресс, и он увез меня на Запад. Сперва, правда, в Прагу. Там я должен был получить подробные инструкции в Чехословацком центре, а затем уж отправляться дальше, в чужой, неведомый мир. Я, конечно, немного тревожился. Мне сказали, что я должен буду выступить там с сообщением о своем опыте работы в летнем лагере, уделив особое внимание занятиям с детьми в ненастные дни. Сообщение на немецком языке мне удалось обстоятельно подготовить еще дома, но когда я заглянул в программу семинара, у меня потемнело в глазах: оказывается, там будут выступать секретари ассоциаций почти со всего света — даже из Австралии и Полинезии! Справлюсь ли я?

Я отправился в путь двумя или тремя днями раньше, рассчитывая прервать свое путешествие в Дрездене, чтобы посмотреть знаменитую картинную галерею, а потом задержаться в Берлине. Так я и сделал. Дрезден и своим расположением, и своим внешним обликом просто очаровал меня. Он немного напоминал Прагу, только тут через весь город протекала широкая Эльба, тогда как через Прагу текла сравнительно небольшая и не очень чистая Влтава. В Дрездене уже на каждом шагу можно было почувствовать, кто теперь хозяин в Германии. На многих зданиях и площадях висели флаги со свастикой, транспаранты с лозунгами гитлеровской НСДАП[1], по улицам слонялись выряженные в униформу парни отталкивающего вида, надутые и бесцеремонные, чей взгляд не предвещал ничего хорошего. Под сенью знамен со свастикой входил я и в прославленный дрезденский Цвингер, чтобы насладиться произведениями великих мастеров.

В Берлине я не задерживался. Походил по нему пешком, поездил на трамваях, но ничто мне в нем не понравилось. Это был город, лишенный живого, теплого дыхания, холодный и какой-то гнетущий,— он напоминал мне пасть крокодила. Тогдашняя атмосфера Берлина — мегафоны, орущие на каждом перекрестке, грохот барабанов и визг

[1] Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei (национал-социалистская германская рабочая партия) — официальное название гитлеровской партии.

труб — что-то не вдохновляла меня, не хотелось ни ходить, ни осматривать памятники, ни любоваться красотами архитектуры. Но эта атмосфера обусловливала мое мышление, которое уже заранее противилось почти всему, что меня здесь окружало. И не только противилось. С часу на час мною все больше и больше начинал овладевать страх. Да, просто физический страх, наползавший на меня из-за порталов помпезных зданий, налетавший из Бранденбургских ворот, с площадей. Веяло от статуй всадников на вздыбившихся лошадях, даже от бормотанья уличной толпы. Я чувствовал себя совершенно потерянным в этом клокочущем, отталкивающем городе. Здесь и в самом деле заваривалась тогда зловещая каша прямо у меня на глазах. Испуганный и растерянный, я искал убежища в зелени парков, но и там листва деревьев трепетала не от спокойно набегавших волн воздуха, а от оглушительного крика громкоговорителей.

Голландия, ее тихий мирок после немецкого зловещего шума и суматохи подействовали на меня тогда как бальзам. Утрехт встретил меня немного жестковатым, но ласковым голландским говором, очень любезным и спокойным, а городок, где проходил семинар, был подлинным оазисом покоя, куда не долетал даже самый слабый порыв жестокого ветра, шум которого еще звучал в моих ушах и душе. Дни проходили среди бесконечно внимательных хозяев и очень милых людей, съехавшихся со всех концов света. Я не только набирался опыта и знаний, но и завязывал дружеские отношения, как это обычно бывает во время таких международных встреч. Особенно сблизился я со своим шведским коллегой Йоганссоном — мы были одного возраста и примерно одного характера; после окончания семинара мы решили вместе продолжить путешествие по Голландии, чтобы затем из порта Хук-ван-Холанд вместе отправиться морем до английского порта Гарвич.

Но еще до этого я успел посмотреть Гаагу, Нарден с памятником Коменскому, не пропустил и амстердамского Королевского музея с картинами Рембрандта, Ван Дейка, Тициана и Ван Гога, несколько цветных репродукций которых тут и приобрел.

Потом мы погрузились на судно. Я был в восторге от гигантских портов Голландии — Амстердама и Роттердама, от невиданно длинного пляжа в Шевенинге... Но, конечно, больше всего от моря, которое спустя девять лет увидел второй раз в жизни.

Расстояние между Хук-ван-Холландом и Гарвичем по крайней мере в четыре, а то и в пять раз больше, чем между Кале и Дувром. Плыли мы, естественно, во столько же раз дольше, но все этому были рады, особенно я: впервые в жизни мне довелось плыть на таком большом морском судне. Из Гарвича — порта на восточном побережье Англии — мы отправились дальше поездом в Лондон и прибыли туда под вечер на задымленный, но внутри поразительно чистый вокзал Виктории. У нас с Йоганссоном были адрес и рекомендательное письмо в лондонский центр Ассоциации. Мы сели в метро, которое доставило нас в Тотенгем-корт-роуд, где находилось главное здание центра. Там и жили целую неделю. Отсюда же предпринимали экскурсии в столичные джунгли. Отчаянно подыскивал я слова и составлял фразы, заученные по книгам и лингафону, чтобы хоть кое-как объясняться. Мой приятель Йоганссон знал английский чуть получше меня, во всяком случае был сильнее в разговорной речи, поэтому я не отходил от него ни на шаг, особенно когда надо было что-нибудь уладить или побыстрее сориентироваться. Мы с самого начала купили план Большого Лондона. В нем были указаны все важнейшие достопримечательности, которые стоят того, чтобы каждый турист их увидел. Но когда на второй день своего пребывания в Лондоне мы озабоченно склони-

лись над этим огромным планом, стало ясно: охватить за каких-то пять-шесть дней этот город, даже если осматривать одни лишь его достопримечательности, не было никакой возможности. Хорошо еще, что к нам сразу же приставили гида — молодого мистера Адамса, который заботился о нас до отъезда в Дувр.

Мистер Адамс казался мне типичным англичанином, словно бы вырезанным из иллюстрированного журнала. Лет двадцати с небольшим, среднего роста, крепкий, жилистый, с веснушками на лице и руках, с рыжеватыми волосами, густыми, как барсучья щетина. Он, конечно, курил трубку, которую деликатно придерживал большим и указательным пальцами. Звук его голоса сильно напоминал мне звуки, издаваемые железной бочкой, наполненной гравием, когда ее катишь вниз по склону холма. Был он весь такой чистенький, словно его только что выстирали, и мне даже казалось, что от него в самом деле пахнет крахмалом. Едва только мы — Йоганссон или я — хоть на мгновенье запинались в разговоре, он тут же доканчивал за нас начатую фразу, будто читал наши мысли. Он знал все, даже то, что мы только хотели сказать, был необыкновенно услужлив и только благодаря ему мы сумели за несколько дней все же осмотреть самое главное в британской столице. Мы изведали все виды лондонского транспорта: двухэтажные автобусы, подземку, пароходики на Темзе и «пер педес» — пеший ход, пересекая из конца в конец почти весь Лондон. Каждый вечер, когда мы с Йоганссоном, усталые до изнеможения, возвращались под гостеприимный кров, голова у нас шла кругом от впечатлений дня, видимо, так же, как и у всех туристов, галопом мчащихся по достопримечательным местам.

Сентябрьские дни, проведенные нами в Лондоне, были ясными, воздух прозрачным. Я даже удивлялся: при таком-то движении! Знаменитые лондонские туманы еще не окутывали город. Кажется, только дважды, в сумерки, густая сероватая завеса опускалась ненадолго на улицы, но и это дало нам возможность дополнить представление о британской столице, иначе можно было бы думать, что мы и не были в Лондоне.

На прощанье мистер Адамс решил показать нам столичную «экзотику» и повел в истэндский портовый кабачок. По дороге он инструктировал нас, приводил «в боевую готовность». Лично для меня это было излишним — наша братиславская «Фаворитка», как я убедился, мало чем отличалась от истэндских кабаков. Но все же должен признаться, что, направляясь туда, помимо напряженного любопытства, испытывал и некоторый страх, особенно когда, остановившись у освещенного старомодного портала, скорее похожего на вход в храм, мы услышали оглушающий галдеж. Но что тут долго распространяться — это был самый обыкновенный портовый кабак, прокуренный, шумный, с длинной стойкой бара, за которой, облапив своих девиц, сидело несколько матросов. Немало их с рюмками в руках слонялось по залу среди столиков. Некоторые были уже изрядно пьяны, они невнятно бормотали, пытались что-то петь. Нам пришлось проложить себе среди них дорогу, чтоб добраться до свободного столика, указанного дебелой, неопрятной официанткой.

Мы выпили по рюмочке виски с содовой и больше разглядывали окружающих, чем разговаривали, к тому же в общем шуме трудно было услышать собственный голос. За соседним столиком кто-то громко рассказывал о Бомбее. Голос был хриплый. Исковерканные слова падали тяжело. Я посмотрел на рассказчика — заросшего щетиной, не выпускавшего изо рта сигары, дым которой тянулся к нашему столику. Но как раз тогда, когда я, заметив на его руке сложную татуировку, попытался разглядеть это своеобразное произведение «изобрази-

тельного искусства», над нашими головами пролетела и с треском стукнулась о деревянную обшивку стены табуретка. И тут началось! Мгновенно! Я еще успел заметить начало всеобщей свалки. Но в эту минуту погас свет, и мистер Адамс, вцепившись обеими руками, прижал нас к полу. Так, притаившись, мы просидели на корточках, засунув головы под стол, как зайцы под кустом, пока свет снова не зажегся. Не знаю, как долго это продолжалось, мне показалось, что недолго. Как внезапно все началось, так внезапно и кончилось. Сразу воцарилась непостижимая тишина, парни медленно рассаживались на свои места, словно после разминки. Но их как будто стало меньше и девиц тоже. За стойкой бара не было никого. Наша неопрятная официантка подошла к нам. Под ее ногами хрустнуло стекло. Она попыталась изобразить улыбку, а мы, воспользовавшись удобным случаем, быстро расплатились и — давай бог ноги!

В Дувре я расстался с Йоганссоном: он отправился в Эдинбург, а я — в Париж.

Покидая Англию, я написал на пароходе, увозившем меня из Дувра в Кале, стихи «В истэндском кабачке» и сделал набросок второго стихотворения — о безработном, ночующем в Гайд-парке. Оба стихотворения были напечатаны в «Словенске погляды».

Тогда, почти двадцать лет назад, я, конечно, и в мыслях не имел, что когда-нибудь стану писать воспоминания, в которых надлежит быть и страницам, посвященным Парижу. Я воспринимал его с жадностью неофита и не старался фиксировать свои эмоции в памяти. Но то, что помимо моей воли все же сохранилось,— слишком общо и не позволяет поэтому долго задерживаться на нем. Тем более что за годы, прошедшие со времени моей короткой поездки во Францию, и сам Париж очень изменился, и написано о нем так много и так хорошо — умно, метко, остроумно, глубоко — теми, кто не впопыхах, на бегу, а постепенно, вживаясь, познавал этот вечный город.

...Итак, поезд, мчавшийся по французской земле, уносил меня из Кале в Париж. И чем ближе подъезжал я к нему, тем больше меня охватывало волнение — еще немного, и я под небом Парижа! Но рядом с этой ликующей мыслью закрадывалось в мое сознание и самое будничное беспокойство: а не окажусь ли я в самом деле только под парижским небом? Правда, адрес парижского центра и рекомендательное письмо вместе с весьма скромным количеством франков, на которые мне надо было прожить здесь неделю, хранились у меня в бумажнике. Но я знал, что здешний центр не располагает ни жилыми помещениями, ни рестораном и что его деятельность носит несколько иной характер, чем у нас или в Англии. Все, однако, обошлось. Секретарь-распорядитель, принявший меня, порекомендовал поселиться в дешевом, но очень чистом и хорошо оборудованном ночлежном доме «Фуайе де женес», если, конечно, у меня не более высокие требования. В таком случае он мог бы назвать несколько отелей. В общем, мне решать. И я решил: ночлежный дом. Ему это понравилось, он сказал, что скромность — превосходное качество, при расставании еще раз пожелал мне: «Суа ле бьенвеню а Пари» и заверил, что он — к моим услугам. К счастью, его услуги мне не понадобились.

«Фуайе де женес» в самом деле был очень приличным ночлежным домом. Я спал в комнате с пятью бельгийскими студентами, очень славными ребятами. Они приехали в Париж на велосипедах, чтобы ознакомиться с Францией. Ночлег с завтраком обходился здесь всего в шесть франков. Это было почти даром, если иметь в виду, что ночлег

в более или менее приличном отеле стоил тогда самое меньшее пятьдесят франков.

Итак, обеспеченный всем необходимым, веселый и в полном смысле этого слова беззаботный, я пустился «на рысях» знакомиться с Парижем — городом мечты не только художников, поэтов и других служителей муз, а и большинства людей во всем мире. Правда, мне безусловно усложняло это отсутствие хоть какого-нибудь живого путеводителя — книжка-путеводитель даже с планом города, которую я приобрел в первый же день, никак не могла заменить отсутствовавшего здесь мистера Адамса.

Как и тысячи других иностранцев — до меня и после меня,— я был очарован и покорен Парижем с первого взгляда. И не только его внешней красотой, архитектурой, широкими, помпезными бульварами и площадями, но и особой, только ему присущей атмосферой, самими парижанами, их образом жизни, их отношением к людям — сердечным, можно сказать, весело-радушным, почти таким, какое встретишь только в деревне. И хотя сюда постоянно съезжается уйма людей самых разных национальностей — тут можно услышать почти все языки мира,— все как-то естественно и легко приспосабливаются к атмосфере Парижа, жизненный нерв которой тянется от дней падения Бастилии, а может, и от еще более давних времен. В маленьких кафе Монпарнаса я встречал бальзаковских героев, пусть немного иначе одетых, но с тем же выражением лиц, с той же жестикуляцией. То тут, то там слышалась немецкая, итальянская, русская речь. А обернувшись, видел ту, чьи губы произнесли избалованно-капризное «ничево», видел располневшую черноволосую красавицу, словно бы сошедшую со страниц бунинского рассказа. Должно быть, какая-нибудь графиня Надя развлекалась на последние драгоценности своего папа́, который доживал горькую эмигрантскую жизнь в монпарнасской мансарде.

Я находил дневной приют и отдых в маленьких кафе между легендарным Монпарнасом и Люксембургским садом, заходил и в знаменитое кафе «Куполь», о славе которого мне рассказали лишь под конец. Кто знает, каких знаменитых художников и писателей я тогда там видел!

Находившись, насмотревшись за день всего до умопомрачения, я, едва держась на ногах, плелся в «Фуайе де женес», к своим бельгийским велосипедистам, и укладывался спать. Но дневные впечатления не давали заснуть. И я вспоминал фразу из романа Селина «Путешествие на край ночи»: «А человек никогда не засыпает один...»

Наутро я снова выбегал на парижские улицы, в жадных поисках красоты и новых ощущений. И находил их.

Париж 1937 года жил особо интенсивной жизнью — ведь там проходила Всемирная выставка. Через столько лет трудно вспомнить, каким был в деталях наш чехословацкий павильон, он запечатлелся в моей памяти как огромный куб из стекла и стали; советский и американский павильоны — оба помпезные — стояли один против другого на главной аллее, и к ним валом валил народ, но, с трудом попав внутрь этих павильонов, люди из-за невероятной давки почти не могли рассмотреть выставленные экспонаты. Уже на этой выставке немецкий павильон, весь в свастиках, тевтонски напыщенный и подчеркнуто высокомерный, лаконично свидетельствовал об умонастроениях новых правителей Германии.

■

Домой я вернулся, обогащенный опытом, полный впечатлений, поумневший, но печальный. На моем настроении особенно сказался заключительный этап путешествия. В поезде, который увозил меня из

Парижа через Нанси и Нюрнберг в Прагу, сменилось много людей в военных и прочих мундирах. Сперва это были французские военнослужащие, направлявшиеся к восточным границам «на маневры», от немецкой же границы вагон, а вскоре и весь поезд оказался битком набитым коричневыми и черными мундирами со свастиками на рукавах.

Когда поезд проезжал неподалеку от героического Вердена, в нашем вагоне между французскими солдатами произошла драка, неслыханная и жестокая. Офицер, который принялся их утихомиривать, вообще не пользовался у них авторитетом. Они с насмешкой даже пригрозили ему, что, если он станет вмешиваться, они его вышвырнут в окно. Я съежился в своем углу, опасаясь, как бы не попало и мне. В той половине вагона, где сидел я, было всего четверо штатских — двое французов, австриец, сидевший напротив меня, как после выяснилось, профессор математики из Вены, и я. Мы сбились в кучку, напуганные, ожидая в оцепенении, чем все это кончится. А кончилось это в Нанси, где солдаты вышли, оставив после себя полный разгром. Мне стало грустно не только потому, что были бессмысленно изрезаны спинки кожаных диванов, разбиты, разломаны картинки на стенах вагона, но и потому, что в ушах моих в наступившей вдруг зловещей тишине, оцепенелой и удручающей, еще звучали брошенные ими слова. «Нет, эти солдаты полностью лишены и морали, и боевого духа тех, кто сражался под Верденом в годы первой мировой войны»,— с горечью думал я.

Сидевший напротив меня профессор математики из Вены злорадно ухмылялся. А я пытался угадать, о чем он сейчас думает. Как позже выяснилось, предчувствие меня не обмануло: когда, уже в Германии, я с ним разговорился, мне стало ясно, что он — рьяный гитлеровец. Я тогда даже не предполагал, что и в Вене уже появились такие. Он ратовал за великую Германию, восторгался священной миссией германской нации, призванной спасти мир. Разумеется, спасение это представлял по-своему, точнее говоря,— гитлеровским способом. Чем ближе мы подъезжали к Нюрнбергу, тем больше моего соседа охватывало беспокойство, глаза его горели, он то и дело вскакивал со своего места, оглядывал коричневые и черные мундиры, впивался взглядом в украшенные флагами станции. Потом вдруг его прорвало: он выйдет в Нюрнберге. Ведь там партайтаг, и он хочет увидеть фюрера.

Так, стало быть, вот оно что!

Я поглядел в окно. Было чудесное сентябрьское утро, ярко светило солнце, озаряя море багрово-красных знамен с черными крючковатыми крестами — по шоссе двигались колонны гитлеровцев, направлявшихся в Нюрнберг. Легкий ветерок развевал знамена, красное перемешивалось с коричневым и черным. У меня зарябило в глазах.

Профессор принялся уговаривать меня последовать его примеру, сойти с поезда в Нюрнберге и посмотреть парадное шествие, которое, мол, вряд ли когда еще увидишь. Я сперва решительно отказывался, но когда мы уже подъезжали к перрону нюрнбергского вокзала, все же согласился. В самом деле, такой спектакль стоит посмотреть, подумал я.

Мы оставили чемоданы в камере хранения, а затем, благодаря невероятной активности профессора, выбрались из здания вокзала, проникли через кольцо почтовых фургонов, окружавших привокзальную площадь, и остановились возле одного из них, откуда было хорошо все видно, особенно когда мы взобрались на его крышу. Расстояние от нашей «позиции» до площади, через которую должен был проходить основной поток шествия во главе с Гитлером, составляло метров тридцать—сорок, не больше. Вскоре раздался оглушительный

рев толпы — на площади показалась голова процессии: лес знамен со свастикой, затем сопровождаемая эскортом открытая легковая машина с Гитлером, за ними — бесчисленные колонны гитлеровцев. Процессия пересекла площадь и двинулась по верхней улице к стадиону. Я обратил внимание, что мой профессор тоже вошел в раж — кидался из стороны в сторону, до хрипоты орал «хайль!».

А я в эти минуты думал о расстоянии, которое отделяло нас от стоявшего в открытом автомобиле Гитлера. Я не был военным, но твердо знал, что такое расстояние никак не могло быть препятствием для удачного покушения. Любым способом. Я не стыдился и поныне не стыжусь этой мысли, которая тогда сверлила мой мозг. Она заходила и еще дальше. Я подумал о евреях, которых этот патологический злодей так целеустремленно истреблял,— почему не нашелся среди них хоть один, кто отважился бы на самопожертвование и совершил такой отчаянно смелый поступок? Когда много позже, уже перед концом войны, я узнал о подготовленном и сорвавшемся покушении в Мюнхене, мне сразу вспомнился Нюрнберг. Тогда мы — двое случайных путешественников — забрались без особых трудностей на крышу почтового автомобиля и находились буквально на идеальной дистанции для поражения цели,— но ведь кто-то из здешних жителей имел возможность и удобный случай хорошо к этому подготовиться и все же не сделал этого. Я понимаю, что 1937 год и год 1944 — разные периоды истории, что за эти семь лет многое произошло и многое изменилось, но все же!

Вернувшись в Братиславу, я поделился своими впечатлениями с близкими друзьями, выступил с лекцией в нашем «Y-клубе», не решаясь, однако, высказать опасения относительно нашей участи, так как уже и над нашей страной начали сгущаться тучи, реакционные силы все уверенней стали подымать голову. Все пережитое мною во время этого путешествия дало свои результаты — я стал политически более зрелым.

Следующий, 1938, роковой год, когда измена западных союзников завершилась мюнхенским предательством, подтвердил мои тяжкие предчувствия. Весенняя и особенно осенняя мобилизации уже говорили о том, что на наше чехословацкое небо действительно надвинулись черные тучи. Подавленные, бродили мы с Юлко по братиславским улицам, обсуждали, спорили допоздна дома, растравляли свои раны, анализировали собственные промахи и ошибки представителей нашего и чешского народов, но все это было уже ни к чему — пустые слова, которые, может, только нам самим могли принести какую-то пользу, заставляя думать, пробиваться через стену мрака в поисках лучика света, который был от нас еще очень далеко. Нашли мы его оба много позже в Банска Бистрице.

Цель моих воспоминаний вовсе не в том, чтобы как-то по-новому, иначе описывать события того времени, ныне уже хорошо известные. Но для характеристики их напомню хотя бы один случай, свидетелем которого мы с братом были в дни, когда нацистская Германия и ее сателлиты принялись рвать на куски живое тело нашей родины. Когда гитлеровская армия оккупировала Судеты, а венгерские хортистские войска — южную часть Словакии с Кошице, Лученцем и другими словацкими городами, мы все были на грани отчаянья. Однажды вечером, по давней привычке, мы с Юлко забрели в бар «Астория» — тогда один из самых просторных и прохладных баров Братиславы, где всегда играл хороший оркестр, и устроились за маленьким столиком на галерее. В ложе рядом ужинала компания подвыпивших офицеров — чешских и словацких. Вскоре стало ясно, что их «веселье» — от отчаянья. И явствовало это не из слов, которые они произносили, и не из

звона бокалов, которыми они чокались. Темные печальные глаза ближе всех к нам сидевшего смуглого майора, казалось, выражали боль и бессилие всей армии и всех нас. Мы слышали даже, как в ответ на какие-то свои мрачные мысли он скрипел зубами. Немного спустя услышали тот же звук, сопровождаемый ударом кулака по столу. Наконец, после долгих уговоров и споров с друзьями он остался в ложе один со своей дамой. Долгое время там было тихо, и мы с Юлко по обыкновению увлеклись каким-то спором. «Ступай прочь!» — услышали мы вдруг голос майора и переглянулись. Майор стучал по столу и гнал оставшуюся с ним женщину: «Убирайся, дрянь!» Женщина захныкала, стала гладить его рукав. «Ты слышишь? Убирайся сейчас же!» Она ушла. Майор притих, снова налил вина, выпил его залпом, скрипнул зубами и раздавил в руке бокал.

В ложе опять стало тихо. Играла музыка. Внизу танцевали, под люстрой стлался пронизываемый ее светом дым сигарет. Где-то внизу дважды громко хлопнули пробки шампанского. И вдруг следом за ними, буквально через несколько секунд, в ложе, где сидел майор, раздался выстрел. Мы вскочили, заглянули в ложу — черноволосая голова майора недвижно лежала на белой скатерти, окрашенной струйкой крови, вытекающей из его виска.

Потрясенные и расстроенные вернулись мы домой и до самого рассвета спорили, обсуждая этот случай. Марка, с которой у нас уже долгое время не ладились отношения, даже не показывалась на глаза. Все рушилось — и наша республика, и семья. Предчувствия не обманули мою мать. Как раз в это время я попросил Янко Поничана заняться моим делом о разводе. Мы с Юлко вскоре нашли себе в новом доме на Франтишканской площади однокомнатную квартирку и перебрались туда. Марка с маленьким Иваном переехала в Трнаву. Развод наш, однако, был оформлен позже, уже когда я жил в Банска Бистрице.

В этой самой квартирке на Франтишканской площади мы с Янко Поничаном сидели утром 15 марта 1939 года у радиоприемника и слушали репортаж о заседании Словацкого сейма. И не стыдились своих слез. Мы — взрослые, сильные мужчины — плакали, сраженные горем и этим ликующим звоном братиславских колоколов, передаваемым по радио, который звучал для нас погребальным звоном. Он возвещал: родилось Словацкое государство — но какое и чье? Боже, что нас ждет?

Янко Пацановский на следующий же день приказал мне немедленно выехать в Банска Бистрицу и принять на себя руководство местным отделением Ассоциации, поскольку оба его секретаря были чехами, у них и без того хватало неприятностей, а теперь не представлялось никакой возможности сохранить их в прежней должности. Мне нужно было обеспечить им безопасность и спокойный отъезд, ни в малой степени не нарушая при этом нормальной деятельности нашего учреждения. С Братиславой пришлось расстаться в такой спешке, что я даже не успел пожать на прощанье руку своим близким друзьям. Все мы тогда жили как в лихорадке.

■

Тяжкий, свинцовый март 1939 года навис над вершинами Урпина, Вартовки, Панского Дела, над бистрицкими колокольнями. Под зловещим балдахином неба сутана священника и черный гардистский [1] мундир вершили судьбами жителей этого живописного города на Гроне.

[1] Гарда — гвардия, созданная в Словакии после 1938 года по типу нацистской СС.

Я приехал в Банска Бистрицу подавленный и, проходя по замершим улицам, невольно то и дело повторял про себя слова народной песни: «Когда вели меня вверх по той Бистрице...»

Одна из первых прогулок по городу привела меня на кладбище — я хотел навестить могилы Яна Ботто, Мартина Разуса и других наших деятелей. Терезия Вансова — старейшая народная писательница — тогда еще была жива, и один из первых своих визитов по приезде в Бистрицу я нанес ей. Она была уже совсем больной и приняла меня, сидя в качалке, но ее живо интересовали все бурные события того времени. Она взяла с меня обещание заходить почаще. «Вы, новый у нас человек,— сказала она,— приятно нарушили однообразие моей жизни. Как будто принесли с собой свежий воздух. Мне стало легче дышать».

Но все нарастающий ход событий, уйма служебных дел и забот не позволяли мне, к сожалению, навещать ее часто, по крайней мере, так часто, как бы ей и мне того хотелось. Но я все же достаточно вдохнул в себя старословацких флюидов, последней носительницей которых были Терезия Вансова и ее окружение — патриархальные семейства Медвецковых и Вансовых. В те времена губительных катаклизмов и почти полной безнадежности я впитывал эти флюиды с радостью.

В первые же дни мне пришлось заняться спасением двух моих чешских коллег, сотрудников местной Ассоциации, потому что чехофобские и провенгерские элементы всячески им угрожали. В нашем здании часто собирались прогрессивно мыслящие люди — члены таких организаций, как «Общество друзей культурных связей с СССР», «Живена» и другие. Это, естественно, очень бросалось в глаза новым «власть предержащим», прежде всего римско-католическому священнику Лонгауэру и правительственному комиссару Самугелю. Вскоре наша Ассоциация была ликвидирована, но вместо нее учредили Бюро социального и культурного обеспечения. Только чуду да еще помощи нескольких порядочных людей обязан я тем, что сам не очутился на улице. Атмосфера становилась все более удушливой.

Настоящими оазисами для нас были некоторые бистрицкие семьи, где мы сразу оживали, раздували в себе огонек надежды, изливали друг другу свои горести, вместе страдали и печалились. Но и здесь нас не оставляло ощущение, что все мы — жертвы кораблекрушения. И никогда не покидало до конца чувство страха и отчаянья. Неделя за неделей, месяц за месяцем обрушивали на нас чем дальше, тем более страшные сообщения и события. В семьях Орсагов, Марковичей, Данко, Земанов мы собирались, как робкие заговорщики, в которых время от времени впрыскивал капли надежды, пожалуй, один только профессор Янко Телух. Он давно уже был коммунистом. Более дальновидный, нежели мы, испуганные мечтатели, он остро чувствовал то отчаянье бессилия, которое было вокруг нас и в нас самих.

Александр Матушка [1], следом за мной приехавший из восточной Словакии в свою родную Бистрицу преподавать в Учительском институте, каждый раз приходил с какой-нибудь анекдотической цитатой из выступлений Туки или Тисы — наших тогдашних правителей. Иронизируя и жонглерски манипулируя ею, он словно бы вдруг сбрасывал с наших душ тяжелый камень и обращал в фарс то, чего мы страшились. Позабыв обо всем на свете, мы от души смеялись. Правда, в нашем смехе было нечто от юмора висельников. Но, оставаясь верным себе, Матушка постоянно приносил все новые и новые истории, и наш смех постепенно становился панцирем хотя бы мнимой

[1] Матушка, Александр (род. в 1910 г.) — видный словацкий критик и литературовед.

неуязвимости. Когда же его в этом подкреплял и жандармский полковник Штефан Слезак, заверяя нас, что среди его жандармов куда больше антифашистов, чем верных правительству Туки служак, мы невольно поднимали головы, словно цветы, политые свежей водой.

В это время я снова принялся за стихи — дописывал в укромном уголке кафе Народного дома «Три липтовских прутика» и другие. Матушка потом критиковал их, но и воодушевлял меня. По вечерам у Марковичей или же у нас велись длинные беседы о поэзии и вообще о литературе, о ее смысле и общественном значении. Мы читали стихи наших классиков и свои собственные. Наша милая хозяйка Верка Марковичева-Затурецкая тоже писала стихи. Квартира Марковичей постепенно превратилась в настоящий литературный салон. Его сердечную, дружескую атмосферу ощущали и те, кто приезжал в Банска Бистрицу, например, Эмиль Б. Лукач, в то время один из главных деятелей издательства «Траносциус», который довольно часто бывал здесь и с радостью принимал участие в наших беседах. Хотя Лукач был тогда депутатом Словацкого сейма, он всегда высказывался в нашем кругу оппозиционно и прогрессивно. Он привозил нам свежие новости из Братиславы, но мы охотно принимали и всякие анекдоты о братиславских «сильных мира сего», их семьях и разных прихлебателях.

Бывал тут и поэт Ян Костра, с которым мы как-то отправились в винный погребок «У Копов» на берегу Грона. Подбодренные модранским винцом, мы принялись распевать такие песни, за которые потом многим влетало от начальства. Но наше начальство (мое — Ян Пацановский, Матушки — Ян Михал) куда больше сочувствовало нам, чем тогдашним словацким властям.

В здании бывшей Ассоциации, в задней клубной комнате довольно часто собиралась прогрессивная интеллигенция, беседовала о литературе и искусстве, слушала лекции Матушки, вела споры, особенно о русских реалистах, да и о наших штуровцах. Нам даже удалось придать явно вызывающий характер торжественному вечеру, посвященному Янко Кралю. Устроен он был в Народном доме по случаю 120-летия со дня рождения писателя. Сотрудники Городского театрального общества украсили сцену красными и черными полотнищами. Только полный обалдуй мог не заметить символики убранства сцены. Некоторые из написанных мною для этого вечера стихов были напечатаны позже в журнале «Словенске погляды». Как и почему нам эта демонстрация сошла с рук, я до сих пор так и не понимаю.

Александр Матушка, да и все мы, остальные, много раз выступали с лекциями в Евангелическом обществе, где под видом лютеранских образовательных кружков, руководимых бистрицкими священниками Яном Бакоссом и Юраем Голичкой, группировалась прогрессивная — и не только лютеранская — молодежь и интеллигенция, где вызревала у них убежденность в необходимости сопротивляться тогдашнему режиму. Именно тут собирались ручейки, которые соединялись в могучий поток мятежа, вылившегося позднее в народное восстание. И то, что первая повстанческая радиопередача велась именно из здания Евангелического общества, вовсе не было случайностью. Я стоял там тогда вместе с другими, дрожа от волнения, но с просветленным лицом, так же как и остальные, сознавая, что это поистине исторический момент. Такой момент действительно не забудешь до самой смерти, но об этом позже.

Матушка очень много помогал нам и в Городском театральном обществе. Тогдашние бистрицкие актеры-любители и режиссеры достигли высокого профессионального уровня и пользовались огромным успехом у публики. В конце концов они втянули в эту деятельность и

меня и многих других. В те тяжкие времена мы часто проводили вечера за репетициями, готовили новые спектакли и выступали в Бистрице, в Брезене, в Мартине и других городах. Любительский театр укреплял в нас не только любовь к искусству, но и любовь к родине, к родной речи. В нас крепли чувства человечности, доброты к людям и непримиримость к тем, кто был против этих благородных стремлений. Нет, никто из нас не сможет забыть тех месяцев и лет — с 1939 по 1945 год,— пережитых в Бистрице, прекрасной и печальной, овеваемой ветрами, налетающими с вершин Ласкомера и Урпина. Жгучую горечь охлаждали, казалось, лишь прозрачные воды Грона, а шелест старых лип на кладбище напоминал об истории и предсказывал будущее. С близкой Радваны, сидя в бронзовом кресле, смотрел на своих внуков и правнуков Андрей Сладкович. Он словно бы вливал в них новые силы и внушал им любовь к своей отчизне наперекор всем невзгодам и горю, обрушившимся на них, как и на гордые бистрицкие башни.

Но надо было заниматься и прозаическими делами, особенно мне, руководителю местного Бюро социального и культурного обеспечения, в ведении которого было общежитие для учащихся средней школы, столовая, общежитие для холостяков и еще много других учреждений. Для служебных надобностей мы тогда приобрели подержанный легковой автомобиль. Это дало нам возможность ездить по деревням и скупать необходимые продукты, особенно мясо, яйца, домашнюю птицу и тому подобное, чтобы наполнить голодные желудки учеников, и не только учеников. В нашем здании с просторным двором, гаражом, с многочисленными закутками и замаскированными кладовками мы прятали всеми возможными способами добытое продовольствие. Ирмушка Шуринова — наш «завхоз»,— простая, умная и энергичная женщина, ловко обходила все рогатки, чтобы выполнить нашу главную задачу: накормить неимущих учеников, которые получали у нас бесплатное жилье и питание. Потом перед нами встали новые задачи: поддерживать партизан, а затем давать приют и еду беженцам из захваченных фашистами районов. Помогали мне в этом сотрудники нашего учреждения — Йожко Менсаторис, Павол Алач, Ондрей Снопко, Речанский и другие. Не считаясь со временем, с семьей, они горели одним желанием — служить доброму делу всегда и всюду. Особенно позднее — в славные дни Восстания и в тяжкую пору его частичного подавления. Все, кто тогда работал со мной,— от моих непосредственных помощников вплоть до судомойки на кухне — заслуживают самой высокой признательности. Ведь было время, когда в нашей сравнительно небольшой столовой ежедневно выдавали более тысячи обедов. В нашем здании тогда находились революционные национальные комитеты из захваченных территорий — мартинский, кремницкий, а затем и другие. Бистрицкий революционный национальный комитет доверил мне обязанности председателя социальной комиссии. Это было нелегким делом — беженцев со дня на день все прибывало.

Но вернемся немного назад, к началу сорок четвертого года. И особенно того лета — незабываемого и жаркого, когда чудесно вызревали хлеба вокруг Бистрицы, и не только хлеба...

Рядовой Янко Боор из бистрицкого гарнизона приходил к нам, и по его улыбке и выражению глаз мы чувствовали, что он переполнен какими-то важными новостями, которыми не смеет поделиться с нами. Но мы догадывались о их смысле, да и сам он кое на что намекал. Мы сгорали от нетерпения, волновались. И вот, наконец, включились в дело. Однажды мы с Речанским тайком доставили на нашей старенькой «шкоде» в Гядельскую долину муку и другое продовольствие партизанам, которые уже собирались спуститься с гор. Вести о готовя-

щемся восстании приносил нам не один Янко Боор. Густо Земан, который также был информирован относительно этих дел, но из других источников и который стал позже председателем Революционного национального комитета, даже назвал нам его примерный срок.

Что это было — наитие? Почему вдруг мы — я с женой и Янко Боор — оказались в лютеранской церкви? Он сел за орган, играл фуги Баха, а мы с ней — единственные слушатели в пустой церкви — воспринимали эту царственную музыку как возвещение великих событий, как нечто непостижимо волнующее. Казалось, мы чувствовали, как у нас вздрагивает каждая жилка, как стучит в висках кровь. И хоры под нами дрожали, а трубы органа захлестывали пустой храм наводнением музыки, которая дышала вечностью. Кто из нас мог тогда думать, что проповедник этого храма сениор Ян Бакосс — член Революционного национального комитета — погибнет как мученик нового времени, но не в терновом венце, а со связанными проволокой руками? На Бистрицком кладбище добавилась еще одна могила у стены той самой церкви, в которой раздавались его призывы к благородству и любви человека к человеку.

А потом наступили и те, известные теперь уже всем, дни, недели, месяцы, когда, задыхаясь от возбуждения, мы учились ничего не бояться, когда на поверхность жизни выходили все лучшие человеческие качества и их можно было прочитать, словно букварь. Не просто Бистрица, но жилище каждого из нас стало прибежищем для беженцев из захваченных гитлеровцами областей — людей, к которым мы впервые в жизни по-настоящему испытали братские чувства, всем существом ощутили, что это те самые словаки, о которых мы произносили столько прекраснодушных патриотических речей, и что теперь, именно теперь, живем одной жизнью с народом, что с ним вместе зреем и взрослеем и что в нас вместе с этим рождается решимость, о которой мы никогда и не подозревали. Счастливы могут быть только те, кто это пережил. До последнего дыхания буду благодарить судьбу за то, что был среди них, что мне дано было испытать эту бесконечную любовь к народу.

С Матушкой и Михалом Хорватом мы составляем у меня дома обращение писателей. Композитор Ян Циккер сочиняет позывные для повстанческой радиостанции. Его аккорды сливаются с грохотом бомбовых взрывов. А у меня созревают первые строфы стихов «Костры в горах»... Мы спим на полу у Орсагов — свои квартиры предоставили тем, кто в них больше нуждается. Мать Александра Матушки угощает нас куриным бульоном, а на потертой одежде Хорвата лежит еще пороховая пыль сражения под Стречно... Юлко — он работает врачом в Ружомбероке — приезжает на велосипеде, показывает огромный пистолет и объясняет, как с ним обращаться. «Ой, ой, осторожно — а вдруг он выстрелит!» — «Наплевать!» — бросает он гордо и сообщает, что Яно Кметь из Сельницы хорошо взаимодействует с артиллеристами Милоша Весела и что остальные парни из Сельницы тоже тут... Яно Юркович притаскивает русский автомат и демонстрирует действие его механизма. Автомат все мы видим впервые. Ну, хорошо, пусть только здесь с ним не возится. А то как бы вдруг чего не случилось — еще перестреляет всех нас!.. Карол Маркович показывает нам у себя дома с обычным для него таинственным видом слитки золота, привезенные из Кремице. «Не бойтесь, золота у нас достаточно! А ну-ка, подними! Да у тебя просто рука отвалится! Сколько? Двенадцать килограммов! Ей-богу!» Густо Земан обрывает его: «Тоже герои нашлись!»

Но повстанцы не в силах удержать натиск во много раз численно превосходящих их гитлеровцев и сдают город за городом, село за селом. Пал уже и Телгарт, сожженный дотла. Со стороны Кремницких гор и в шуме дня можно услышать тяжелое громыханье пушек. По вечерам смотрим с балкончика дома Орсагов на взлетающие ввысь светящиеся точки ракет, вслушиваемся в органную музыку советских самолетов, доставляющих подмогу партизанам.

И тогда Янко Телух, внешне скорее похожий на робкого влюбленного, чем на пылкого коммуниста, вынимает и протягивает нам четыре бланка. Заявления о приеме в коммунистическую партию. Взволнованные, подписываем их дрожащими руками. Ян Орсаг, доктор Александр Матушка, доктор Юлиус Плавка, Андрей Плавка. Да, теперь и мы для этого созрели.

Ночь клокотала... Как гудящий улей,
весь город бодрствовал, переступив свой страх.
Слова тонули в орудийном гуле,
в октябрьских ветрах —

то бил в набат сердец сорок четвертый,
бил по бездействию — да так, чтоб наповал!
Он к жизни звал от бездны смертной, черной,
к оружию он звал.

Ночь клокотала... И упрямым флагом
плескался говор наш в накатах дымной тьмы.
Рассвет ступал уж где-то мерным шагом,
но не спешили мы:

мы вслушивались в бурном этом мире
в призывы совести, в уверенность свою,
что на весы веков положит гири
лишь тот, кто был в бою.

Решимость вспыхнула одним порывом, сразу,—
и захотелось нам, всем четверым,
в сраженье, в самый ад, как по приказу,
через кровавый дым!..

Мы, локоть к локтю, там, на ратном поле,
друг друга понимали в грозный час:
нам путь к товарищам указывала воля,
пылающая в нас.

Ночь клокотала... Были мрачны тени,
а мне все кажется — была та ночь светла:
нас в партию, что создал Ленин,
она и привела [1].

В темное небо вдруг взлетела красная ракета, со стороны Кремницких гор доносился гул пушек.

■

А что происходит в Сельнице, под Серой горой, в тихом, бесконечно родном саду у ручья? Как давно я не был дома. Отец пишет мне, пишет, корит, и я вижу, что он сильно постарел — пишет трясущейся рукой, и нет в его почерке уже прежней четкости, энергичности, уверенности. Мне совестно, я не поехал даже, чтобы поздравить его с семидесятилетием. Эта знаменательная дата пришлась как раз на май все сокрушившего 1938 года. А мне, несмотря на все, надо было готовить к приему детей лагерь под Червеным каменем. Правда, позже я приезжал к родителям — осенью, да и в первый год моей

[1] Здесь и далее стихи даются в переводе Валентина Корчагина.

жизни в Бистрице, но им, конечно, этого было мало. Давали о себе знать недуги и печали старости, особенно у мамы, которая всегда сетовала на липтовские холода и простужалась. Теперь же она была серьезно больна и приписывала в конце отцовых посланий несколько укоризненных слов, терзающих мою совесть. Наконец, летом 1940 года, когда появилась служебная машина, я отправился на ней в Сельницу, чтобы доставить маме последнюю радость. Тогда я, правда, не знал, что эта радость будет действительно последней. Я повез родителей в Старую Любовню — маме давно хотелось туда поехать, но она побаивалась сложности путешествия: пересадки с поезда на поезд, потом на автобус и, наконец, на извозчика. Я же на машине мог ее отвезти и привезти, что называется, от дома до дома.

Это была, пожалуй, наша последняя семейная поездка — Юлко тоже отправился с нами. В то ясное июльское утро, когда все мы четверо уселись в машину, стоявшую у входа в наш дом, вокруг столпились соседи, чтобы проводить нас. Отец был необыкновенно счастлив. И как же не быть ему счастливу — ведь Юлко уже был врачом, давняя отцова мечта наконец-то осуществилась как раз в эти дни. Исполненный гордости, я сел за руль отполированной подновленной «шкоды», желая блеснуть шоферским искусством, но то и дело слышал призывы отца соблюдать осторожность и подтверждал кивками головы и громким хмыканьем, что слышу их. В пути нас застигла страшная гроза. Ливень хлынул такой, что вовсе не стало видно дороги. Мы вынуждены были остановиться. Простояли на обочине добрый час, пока не стихла разбушевавшаяся буря, но нам в нашей «шкодочке» все было нипочем.

В Любовне весть о нашем приезде прокатилась сразу же по местечку, и вся родня была тут как тут. Дядя Дюла поселил нас у себя в усадьбе «На заставе» под старолюбовянским замком. Замком тогда еще владел граф Замойский. Он жил здесь со своей женой, испанской инфантой — весьма хозяйственной, тихой и скромной дамой, тщетно пытавшейся умножить доходность владений, которые ее кутила-муж не успел еще промотать. Нам надлежало нанести визиты всей родне, и мне довелось снова услышать говор любовянских горцев, который в устах моих хорошеньких сестричек звучал необыкновенно мило и приятно. Дядя Дюла организовал потом общую прогулку в Ружбах. В ней приняли участие только самые близкие родственники, но и для них пришлось заказывать автобус, в котором мы с трудом разместились. Ведь только у одного дяди Адольфа было десять душ детей, из них восемь девочек — и все одна другой краше. А мои двоюродные братья были вовсе не хлюпики. Крепкие, словно вытесанные из камня, они внушали всем уважение. И в самой Любовне, и в ее окрестностях не было желающих задевать семейство Длуголинских. Один из них — Юлиус Длуголинский, хотя ему ныне перевалило за шестьдесят, продолжает работать на Острaвском заводе и занимается тяжелым физическим трудом. Он вырастил пятерых славных, теперь давно уже взрослых детей и стал счастливым дедом. Я всегда горжусь им и всей его семьей, к которой моя новая семья питает действительно родственное чувство. Кто бы из нас ни приехал в Любовню, в доме Юлиуса он всегда найдет родной дом. Мне кажется, что в современном мире, где все больше возрастает эгоизм, такие родственные отношения стали редкостью. Жаль.

Мама словно чувствовала, что это ее последняя поездка в родной городок, последнее свидание с родными и близкими людьми, с которыми она прожила свои детские и девические годы. Когда мы расставались, было много слез и искренней печали. Напрасно мужчины пытались отвлечь женщин разговорами. А ведь к расставаньям люди

в этих краях были привычны издавна — почти в каждой семье кто-то уезжал в поисках работы в Америку, Бельгию, Францию — во все концы света. И не за легким заработком, а как раз за самым тяжелым, который где-то в чужом и негостеприимном мире ждал не одну крепкую словацкую руку. Эмиграция из этого угла Словакии на протяжении долгих десятилетий была очень высокой. Два маминых брата тоже ездили в Америку, и моя мать еще подростком отправилась с ними за океан, чтобы найти себе хоть какую-нибудь работу. И нашла — прислугой в богатом американском доме. А там ее нашел мой отец.

Теперь вот она, бедняжка, расставалась с местами своего детства, с теми прекрасными местами, память о которых мы храним в себе до самой смерти. Я обратил внимание, как поблекли сразу ее глаза, стали совсем светло-голубыми, словно она слезами смыла сочность их цвета. В руке она комкала мокрый от слез белый платочек; потом поправила непослушную седую прядь поредевших волос, падавшую на лоб, обняла старшую сестру, ссохшуюся до прозрачности, попыталась сказать несколько слов на родном любовянском наречии, которое давно позабыла на Липтовщине.

Руки тянулись к ней и в открытые окна машины, когда я включил мотор. Но я что-то плохо видел через затуманившееся ветровое стекло. Я протер его, но оказалось, что затуманилось не оно, а мои глаза... Надо двигаться, давно пора.

Но когда мы выехали на шоссе, мама вдруг громко разрыдалась. Потом что есть силы принялась теребить меня за ворот пиджака и просить, чтобы я вернулся.

— Христом богом молю — вернись,— говорила она сквозь слезы на родном наречии.

Я понял ее, но не послушался.

Отец успокаивал маму как мог. Я в зеркальце видел, что он ее обнял. Она вся дрожала, сломленная душевной болью. Потом ее голова склонилась на плечо отца. Его жесткая ласковая рука долго гладила ее удрученное, бледное лицо с красноватыми ямками заплаканных глаз. Мы с Юлко не обменялись ни словом, но, бросив на него украдкой взгляд, я заметил, что и у него скатилась по щеке слеза.

Два года спустя, в начале декабря 1942 года, мы похоронили маму рядом с ее тридцатитрехлетним сыном, нашим братом Виктором. До последнего дыхания не сводила она своих счетов с жизнью, до последнего дыхания жаждала жить, думала о нас, о нашей судьбе, которую словно бы держала в своих руках. Казалось, пуповина до последней минуты все еще соединяла ее с сыновьями. Ее предчувствия, ее духовная жизнь нас не раз поражали. И эта ее жизнь оставалась, пожалуй, незавершенной и в нас. Только мы, видимо, мало чем улучшили, украсили ее. Но даже и это признание — уже попытка погрузиться в глубины материнского чувства, одного из самых глубоких, каким наделила человека природа...

В том же году Марка уехала со своим новым любимым в Турец, где позже, после нашего развода, они поженились. А мы, я и мой семилетний сын Иван, остались в Бистрице одни. Нет, не совсем одни — «домоправительница» Бюро Ирмушка всячески заботилась о нас, особенно об Иване, заменив ему мать. Я в то время часто ездил к Юло в Мартин — он тогда проходил в тамошней больнице стажировку. Да и Юло частенько наезжал к нам в Бистрицу, в нашу опустевшую квартиру, чаще всего по субботам и воскресеньям, если ему не нужно было дежурить. И тогда разгорались наши обычные споры и стычки.

А иногда мы позволяли себе и развлечения. Друзья в разгар войны умели отогнать от меня печаль и тоску по женщине, еще мне неведомой, которая стала бы для меня дорогим существом, но даже самые лучшие друзья и братья никогда не могут заменить любимую жену.

И я нашел ее — в семье зоборского учителя Вилиама Шимека, старого словацкого национального деятеля, и его жены Анны, которые одной из своих дочерей не случайно дали древнее славянское имя Милослава. Когда я в октябре 1942 года с ней познакомился, ей было только девятнадцать лет.

Дома ее звали Славкой, а маленький племянник Любо, сынишка ее сестры Ольги, который еще только учился говорить, по-своему перевернул ее имя и называл Ланкой. Это имя пристало к ней и, мне казалось, очень ей подходило. Я, тридцатипятилетний шалопай, снова до безумия влюбился и начал вытворять глупости, на какие только способен юнец, впервые ощутивший мужскую зрелость. Однако, посещая родительский дом Ланки, этот шалопай никогда не забывал о хорошем воспитании.

В том же сорок втором году, на Штефана — 26 декабря — у нас была свадьба. Я привез с собой двух свидетелей — брата Юло и Александра Матушку. Когда мы на станции Нитра вышли из поезда, Ланка уже ждала нас на перроне. При встрече она держалась робко, смущенно и, как мне показалось, несколько нервозно. Причина этой нервозности выяснилась, когда мы уселись в заказанный ею для нас «транспорт». То был одноконный экипаж, и конек был понурый — то ли от старости, то ли от того, что его плохо кормили. Да и от его хозяина веяло старозаветностью.

— Вы полагаете, он довезет нас? Такой груз? — обращаясь к Ланке, спросил Матушка.

Бедная Ланка покраснела и принялась извиняться. Она объяснила, что никак не могла достать такси, и, боясь опоздать к поезду, считала большой удачей, что ей попался этот извозчик. Видимо, один из последних, который не давал окончательно угаснуть памяти о былой славе экипажей. От станции к Зобору — путь немалый, и костлявая кляча выбивалась из сил.

Когда мы, наконец, подъехали к дому, Ланка с облегчением вздохнула. У входа нас ждало все семейство: кроме родителей, четыре брата и две сестры Ланки. Свадебная атмосфера ощущалась в каждом уголке дома. И не столько от того, что запах приготовляемых блюд и печений щекотал ноздри, сколько от возбуждения и праздничной суеты женщин, которые старались сделать все наилучшим образом. Да и было их что-то слишком много — кроме Ланкиных сестер, еще жёны братьев — все цветущие молодые женщины, очень милые щебетуньи. Они то и дело старались обратить на себя внимание моих свидетелей и не скрывали своего любопытства. Разумеется, ни Юло, ни Шаньо не скупились на слова и на улыбки. Шутки и смех звучали в доме весь день с небольшим перерывом на собственно свадебный обряд. Но и Ланкины свидетели не ударили лицом в грязь. Особенно школьный инспектор Мишкочи, уже солидный господин, тоже один из видных словацких патриотов. Он веселил свадебную компанию занимательными историйками времен Австро-Венгерской монархии. Ланкины сестры Ольга и Марта — тоже учительницы — выручали не раз свою робкую сестренку, подбадривали ее, придавали ей уверенности.

Ланкин отец, которого за панславистские идеи при Австро-Венгерской монархии посылали учительствовать в самые захолустные деревушки, попал в Нитру только после образования Чехословацкой республики. Он принадлежал к тому поколению словацких учителей-

патриотов, которые считали своим нравственным долгом отдать себя целиком служению народу, не останавливаясь перед личным самопожертвованием. Один из основателей Словацкого союза пчеловодов, в течение десятков лет церковный органист, многолетний сотрудник журнала «Словенске погляды», он — и это самое главное — воспитал за полстолетия своей учительской деятельности сотни и сотни честных, порядочных людей нового поколения не только педагогическими методами, но и примером личной жизни.

А Ланкина мама? После смерти моей матери я волею судеб снова обрел в ней мать. Она с самого начала не только внешне приняла меня как сына, но благодаря своей чуткости и духовному богатству натуры, не раз умела находить выход из наших труднейших жизненных кризисов, с поразительным чувством такта умела положить конец порой возникавшим у нас дисгармоническим тонам, перевести их в созвучие чувств, как это умеют делать лишь редкостные матери. Ее врожденная интеллигентность, чувство юмора, находчивость и остроумный лаконизм, жизненный опыт и начитанность создавали в совокупности благородный характер такой женщины-словачки, перед которой мы еще долго будем преклоняться. Когда я порой слышу остроты по поводу тещ, я каждый раз думаю: «Если б у вас была такая теща, как у меня!»

В тот же вечер 26 декабря 1942 года я увез Ланку в Банска Бистрицу. Для нее это был совершенно новый мир и новая жизнь, а какой будет эта жизнь, которая начиналась в самый разгар войны, она могла только загадывать. Привез я ее в свою полупустую квартиру в здании нашего учреждения уже под утро. Она робко расхаживала по комнатам, осторожно ступая шажок за шажком, пальчиками дотрагиваясь до мебели. Глаза ее светились любопытством, доверием, любовью и — почему бы не признаться — искренней и полной преданностью.

Первые недели и месяцы были для меня пламенем, поглотившим все остальные мои интересы. С чувством гордости вводил я свою молодую красивую жену в семьи друзей. Мою Ланку всюду принимали очень сердечно и сразу полюбили за прямоту и доброе сердце. Вскоре она сама стала ходить к Орсагам, Марковичам, Данко и другим нашим знакомым как к своим близким, и я был очень этому рад. Особенно радовало меня то, что с самого начала между Ланкой и Ирмушкой, которая так заботилась о моем сыне, а затем и о самой Ланке, установилась полная гармония. Ирмушка учила Ланку стряпать и вообще домашнему хозяйству, давала советы, которых не должны были слышать мужские уши.

Но самую большую радость доставило мне благословение отца. Он полюбил Ланку как родную дочь и сразу же, при первой встрече сказал, тяжело вздохнув: «Как жаль, что мама не успела узнать ее». Пошли мы тогда втроем на кладбище и молча постояли у маминой могилы. А потом отец тихонько промолвил:

— Будьте спокойны, дети, она бы вас благословила.

■

Вместе с Ланкой пережили мы славную бистрицкую эпопею, воодушевлялись ее подготовкой, вместе затаив дыхание цепенели, опьяненные красотой верхнегронской природы, когда выбирались из города куда-нибудь на Чертовицу или Доновалы. Позже мы встретились с советскими партизанами — в первый раз это было в Лучатине и Гядле. А потом приветствовали их в самой Банска Бистрице под че-

хословацкими и советскими знаменами, примкнув к тысячам восторженных словаков, в глазах которых вспыхнула жажда свободы. Люди загорелись единым пламенем, каким редко в истории может загореться повзрослевший, ставший зрелым народ.

Воспитание, полученное Ланкой дома, в семье, определило и ее отношение к происходящим событиям. У нее не лежала душа к поповскому словацкому государству, ей был отвратителен фашизм, она насмехалась над Тукой и его прихлебателями, и уже поэтому моя бистрицкая компания сразу приняла ее как свою. Позже, после начала Восстания, когда здание нашего Бюро стало ульем для повстанцев, партизан, солдат, часто приходивших сюда прямо с фронтовых позиций, раненых, изнеможенных, она помогала и мне в эвакуационном пункте, и Ирмушке. Ланка не отказывалась ни от какой работы — ни от ухода за ранеными, ни от мытья посуды. Иногда, вконец обессиленная, с натруженными руками, садилась она поздним вечером в душной, затемненной квартире, а то и в полной темноте при открытых окнах, за рояль и призывала себе на помощь Бетховена или играла русские романсы, чтобы раскрылась ее душа для лучшего понимания головокружительных событий, в которые она так внезапно окунулась. А на следующее утро снова с улыбкой приносила нам кофе и еще что-нибудь для подкрепления, прислушиваясь одним ухом к ожесточенным спорам относительно того, как все будет устроено в новой нашей республике. К жаркой дискуссии между Ондро Павликом, Само Такачем, Густо Павловичем, к тому, как задиристый Шаньо Матушка подначивает их, а Мишо Хорват развивает новую концепцию культурной политики.

В кинотеатре «Под Урпином», где до сих пор показывали только немецкие и словацкие официальные хроники, демонстрирующие победы немецких войск, появились советские фильмы и киножурналы, которые дали нам возможность увидеть фронт с другой стороны. И даже съемки Сталинградской битвы. Публика горячо аплодировала, вскакивала с мест и взволнованными выкриками комментировала увиденное. Чтобы попасть на фильм «Она защищает Родину» — это была первая советская кинокартина, демонстрировавшаяся в Бистрице,— люди толпами осаждали здание кинотеатра. Даже когда выли сирены, возвещая воздушную тревогу, они не уходили. Только поднимали к черному звездастому небу головы, напрягали слух, стараясь угадать, среди каких звезд летит, чтобы обрушить на них смерть, фашистский хищник. Люди словно бы привыкли. Они уже не шарахались в страхе, как стадо, да и вообще перестали быть послушными, богобоязненными овечками. Они уже знали, как обращаться не только с топориками-валашками, но и с гаубицами и минометами. Те, кого считали фольклорными простаками-голодранцами, и их сыновья соорудили в Зволене бронированный поезд. А вместо кругляшей овечьего сыра увешали себя гранатами, которые хоть и напоминали видом своим сыр, но что-то уж больно крепки и жгучи были «на вкус»...

■

В одну из редких спокойных минут мы сидим на террасе Народного дома — Густав Гусак, Лацо Новомеский, Александр Матушка, брат Юло и я. Вовсю палит солнце, и если бы вокруг не мелькало столько людей, увешанных «сырными» кругляшами, могло бы показаться, что мы на отдыхе. Говорим о еженедельнике «Нове слово», отцом которого был Гусак, а редактором Любош Лингарт. Он уже издается в одной из квартир на Народной улице, напротив фонтана. Гусак тогда предложил мне сотрудничать в журнале. Вскоре мы с Любошем

Лингартом и подружились, и сработались. Я написал и отдал ему стихотворение «Материнский наказ».

Впустили мы в свои долины зверя:
он пешком, кровью метит весь свой путь,
ползет к домам, обнюхивает двери —
осталось ли живое что-нибудь.

Над нами солнце тень его закрыла:
повсюду — смерть, пожаров дым сплошной.
Глядит на нас оскаленное рыло
и брызжет ядовитою слюной.

Тот зверь — с крестом изломанным, паучьим —
насытиться убийством хочет всласть...
А не пора ли кулаком могучим
разбить и обеззубить эту пасть?

Собрат! Вздымай кулак свой для ответа,
сожми в нем гнев свой, размахнись — и бей!
Ты слышишь этот зов, веленье это? —
не чье-нибудь, а матери твоей.

Октябрь 1944

Хотя стихотворение было уже набрано, оно так и не увидело свет — это был последний октябрьский номер, и товарищи успели до прихода немцев рассыпать набор всего номера. Тогда я, правда, не предполагал, что два года спустя, после возобновления выхода «Нового слова», сам стану его редактором.

Бистрицкая главная площадь была свидетельницей исторической манифестации. Сюда собралось огромное множество людей. Было солнечное утро, мирное, спокойное, бил фонтан. Но из мегафона над площадью вдруг раздался хриплый голос, призывающий манифестантов направляться в городской парк, поскольку грозит опасность бомбежки. Должен был выступить Карол Шмидке[1]. И он выступал, обращался к тысячам манифестантов, укрывшимся под деревьями бистрицкого парка, чтобы фашистские драконы, пускающие ядовитую слюну, не увидели их. Но они все же налетели. Не в то самое время и не на то самое место. Было тоже солнечное утро. Иван играл с Любкой Марковичевой у открытых окон нашей квартиры. Самолеты появились внезапно, сирены не успели предупредить о налете. Иван высунулся в окно и просиял:

— Посмотри, Люба,— «либерейторы»!

Он показал пальчиком на небо. Прибежали и мы взглянуть. Казалось, что это действительно американские «либерейторы». Сверкая на солнце, они покружили совсем низко над центром города. И вдруг затряслось все здание, раздался оглушающий грохот и треск. Завыли сирены. Мы схватили детей и помчались вниз, в убежище. Но уже на лестнице захрустело у нас под ногами стекло, сверху повалилась штукатурка и где-то совсем близко трижды раздался адский грохот. После налета в нашем «информбюро» Юло бинтовал голову Само Такачу. К счастью, ничего серьезного с ним не произошло — только порез стеклом. Потом сюда один за другим приходили раненые — все было как в настоящем госпитале. В жилой дом напротив — прямое попадание бомбы. Зубной врач вел прием. Он погиб вместе со своими пациентами. Огромные витрины кафе Народного дома превратились

[1] Шмидке, Карол (1897—1952) — видный деятель КПЧ в Словакии. В 1943 году возглавлял нелегальный ЦК КП Словакии, в 1944 — член президиума Словацкого национального совета и начальник штаба партизанского движения Словакии. После войны до 1950 года — заместитель председателя, а затем председатель Словацкого национального совета.

в стеклянную пыль. Еще неизвестно было, сколько погибло людей. Ни в тот день, ни в последующие.

Но решимость наша была безгранична. Ее придавали нам и наши командиры, и советские. Мы встретились с Асмоловым, Егоровым, Величко. Последний носил нашу военную форму. На их лицах не видно было ни малейшего следа сомнений или страха, только уверенность в победе. Это действительно необыкновенные люди, говорил я себе,— им и пекло нипочем. Мы тоже должны быть такими.

Но наступили страшные октябрьские дни 1944 года, когда наш оазис свободы на глазах у всех стал уменьшаться, сжиматься под натиском немецко-фашистской военной машины — ее танков, ее артиллерии. В один из этих дней утром к окну моего кабинета, выходившего во двор, подошел Мишо Хорват, за спиной у него было солдатское одеяло. «Ондра, беги,— сказал он с печалью в глазах,— и сразу же, не откладывая!» И мы разбежались в разные стороны. Почти как в нашей песне: «В одиноких воронов превратилась стая соколов». Мы с Марковичами двинулись по направлению к Любетовой, Матушка с Орсагами — на Балаж. Наш односельчанин Яно Кметь пристроил нас на военный грузовик, который ушел из Бистрицы вечером, когда стемнело. Возле вокзала, несмотря на возражения шофера, захватили еще кого-то. Машина была набита людьми до отказа, даже борта трещали. Кто-то из здания вокзала крикнул в темноту: «Не уезжайте, русские уже в Лученце!» Но никто не отважился вернуться. Иван сидел, съежившись, на коленях у Ланки: в темноте я не мог его разглядеть. Я взял его ручонку и почувствовал, как она дрожит, да и Ланкина рука, которой она его обнимала, тоже.

— Не бойтесь,— сказал я,— русские уже близко. Через несколько дней мы вернемся домой.

Шофер погнал машину так быстро, что тех, кто сидел сзади, чуть не выбросило из кузова. Чертыхаясь, кто-то крикнул:

— Он нас всех погубит!

Несколько человек попытались на ходу взобраться в машину, отчаянно, но тщетно. Мимо бежали люди, некоторые с детскими колясками. Солдат у пулемета в грузовике посветил фонариком на обочину дороги, откуда доносился душераздирающий крик. Там лежала женщина с размозженной ногой. «Остановить! — приказал он шоферу.— Ее надо взять! Поднимите ее!» Люди на дороге подняли женщину и поместили в кабину шофера. Машина снова помчалась в сторону Любетовой.

Хуже пришлось тем, кто бежал из города в направлении Доновалов. В Старогорской долине, куда отходили остатки нашей Повстанческой армии, были настоящие Содом и Гоморра. Не только армию, но и поток беженцев — все, что только двигалось,— атаковали с воздуха и безжалостно косили из пулеметов фашистские самолеты.

В Любетовой нас приютили, поселили в своей лучшей комнате Шкультеты — семья простых рабочих людей. Набилось нас там полным-полно. Женщины с детьми спали на кроватях, остальные на полу, на охапках соломы. Часов около двух ночи услышали мы страшный взрыв — это наши взорвали мост через Грон неподалеку от станции Любетова. Но это уже не могло помешать приходу немцев в Бистрицу.

На рассвете мы — два моих верных сотрудника Снопко и Речанский, брат Юло и я — присоединились к остаткам воинских частей и партизанских отрядов; были тут и несколько жандармов, маршировавших с песней по всем правилам дисциплины. Оружия у нас только и было что одна винтовка, несколько гранат, два револьвера и немно-

го боеприпасов. Патроны мы рассовали в рюкзаки между продуктами. Юло нес за плечами три бутылки можжевеловой водки и килограммов пять сахару; остальные — хлеб, консервы и две старые австрийские палатки.

— Сахар — самая концентрированная пища,— с авторитетом медика убеждал нас Юло.— Его надо оставить на самый трудный случай. Только мы и съесть всего не успеем, как русские будут тут! — уверенно заявлял он.

Когда на рассвете я прощался с Ланкой и Иваном, у нас уже не оставалось времени на долгие разговоры. Ланка дрожала и плакала, Иван ухватился за штанину и не хотел меня отпускать.

— Папочка, не уходи, не уходи, папочка,— кричал он жалобно, упал на пол и безутешно рыдал.

Я успокаивал своего девятилетнего мальчонку как мог, но и у меня самого не было уверенности, что мы еще увидимся.

Потом наступили холодные промозглые дни, когда мы, шлепая по грязи, продрогшие, подавленные, пробирались через леса под Высокой неподалеку от любетовского Вепра и натыкались на наших солдат, которые, побросав оружие и мундиры, переодевались на деревенский лад. Через несколько дней мы заметили страшных желто-зеленых жуков, медленно, но уверенно ползущих к Шайбе — нынешним Стрельникам,— чтобы сжечь ее дотла. Завалы деревьев на дороге немцы быстро обошли и под вечер ударили из танка или из миномета по нашему складу оружия в Шайбе, а мы, судорожно сжав кулаки, замерев от ненависти и бессилия, смотрели с другого косогора на жуткий фейерверк. В тот вечер было отчего прийти в отчаянье.

Мы поднялись немного выше. Колки для палаток вбивали, положив на них ветки, чтобы не слышно было стука. Это было наше изобретение. Сеновалов сторонились — гитлеровцы обстреливали их с самолетов, особенно с двухфюзеляжных «рам». Они сперва сбрасывали тисовские листовки, а потом палили по каждому сеновалу, по каждому стогу, по каждой заросли орешника.

Наши палатки были маленькие, и у нас с Юло — долговязых — ноги постоянно высовывались наружу. Усталые, засыпая мертвецким сном, мы и не замечали, что они мокнут под дождем. Ондро Снопко, чаще всех бравшийся дневалить, то и дело прикрывал их. Когда много лет спустя я слушал модную песенку «Палатка маловата мне», мне вспоминалась наша старенькая австрийская палатка под Высокой.

Один за другим заглатывали дни густые ноябрьские туманы, размывали частые дожди. Стрельба доносилась лишь изредка, и напрасно мы длинными вечерами напрягали слух — пушечного гула, такого желанного и долгожданного, слышно не было. Запасы еды у нас иссякли. И то, что однажды принесли Ланка с пани Снопковой — еще когда мы были на Высокой горе, хотя мы их тогда как следует отругали за это,— тоже кончилось. Они, правда, отважились прийти еще раз. В густом тумане мы услышали их крик: «Ондре-ей!», но оба Ондрея — Снопко и я—не отозвались. Мы знали, что за женщинами, направляющимися в горы, следят немцы, тайком идут за ними. Осторожность есть осторожность, и мы остались без еды. Вот тогда пошел в дело сахар Юло. Он сам выделял каждому его долю и добавлял еще один-два глотка можжевеловки.

В конце концов мы спрятали свой скромный арсенал в трухлявом стволе вывороченной ели, воинские удостоверения засунули под огромный пень и сделали на нем отметины. А затем, отдавшись, как говорится, на милость божию, отправились обратно, в Любетову. Спустившись пониже, мы увидели на колокольне любетовской церкви

белый флаг, который собственноручно вывесил священник Гандзо перед приходом немцев. Но как и всюду флаг этот не спасал: немцы вешали не только партизан, но и ни в чем не повинных людей прямо перед церковью.

Мы шли, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. Над городком ползли низкие, тяжелые тучи, на некоторых крышах еще белел тонкий слой снега. Было тихо, только от любетовской кузницы доносился стук молота о наковальню да где-то лаяла собака. Пойдем, что ли? Прижимаясь к гумнам, пробрались мы к задворкам домика Шкультеты, приоткрыли слегка скрипнувшие ворота и осторожно, по одному, как воришки, прокрались в сени. Слава богу, с нашими все в порядке!

На следующий день мы отправили Ланку на разведку в Бистрицу, но несмотря на «пассиршайн» — удостоверение, которое ей выдал любетовский нотариус, она вернулась часа через два в изодранной одежде и до смерти напуганная. Она буквально чудом вырвалась из фашистских когтей. У взорванного лучатинского моста, где через Грон люди перебирались по запасному мостику, немцы вылавливали беглецов. Среди них оказался и мартинский священник Бучко. Окруженный гитлеровскими солдатами, он успел шепнуть людям, стоявшим в сторонке: «Бегите, всех забирают в Люпчанский замок». В поднявшейся суматохе Ланка тихонько ускользнула, побежала вверх по берегу к молодому леску, вместе с нею бежали еще несколько человек. Немцы начали по ним стрелять. К счастью, в нее не попали. Вернулась она лесом, тоже прячась за гумнами. А священник Бучко, как и многие другие, так и не вернулся из Люпчанского замка.

В Бистрицу мы все же пробрались тайком. Юлко там даже одним темным вечером тайно обвенчался с Отой Велячиковой, которая с риском для жизни перешла через горы в Любетову. Это было удивительное венчание. Со священником Голчиком мы условились, что придем в церковь, когда наступит темнота, по одному, и только те, кто необходим для этой церемонии: жених, невеста и двое свидетелей. Венчание прошло удачно. Удалось даже свадебное путешествие в Липтов по фальшивым «пассиршайнам». Я тоже поехал с Юло и Отой, но они остались в Ружомбероке, а я отправился к отцу в Сельницу — у меня уже давно не было о нем никаких сведений.

До родного села я добрался вечером, прошел гумнами — тут мне было полегче, ведь знал каждую вербу. Падал легкий снежок, он щекотал ноздри, затуманивал очки. Черт бы побрал эти очки!

Я зашел в ригу, оттуда под навес хлева и огляделся. В горнице и в кухне горел свет. Я озяб, вошел в хлев и услышал пыхтение лежавшей на подстилке коровы. Погладил ее и в ту же минуту услышал, как в доме открылась задняя дверь: Голос учителя Гуски произнес по-немецки: «Gute Nacht wünsche ich, gute Nacht, Herr Kapitän...» [1] Ага, значит, дело худо — у нас стоят немцы. Я высунулся в дверь, но только услышал удаляющиеся шаги Гуски. Ничего — переночую в хлеве! В свободном стойле, предназначенном для теленка, было довольно много свежей соломы — там я и улегся. Разбитый, усталый, заснул сразу и спал сном праведника.

На рассвете меня разбудил визг Марки. Открыв хлев, она увидела торчащие из стойла ноги. Подойник выпал у нее из рук и покатился по каменной дорожке. Когда я приподнялся и сел, зашуршав соломой, она открыла от изумления рот и сдавленным голосом, по слогам выдавила из себя: «Ой, да это ж мо-ло-дой па-ан! Ой, бо-же ж мой!..»

Успокоившись, Марка рассказала, что у нас поселился немецкий

[1] Спокойной ночи желаю вам, спокойной ночи, господин капитан *(нем.)*.

офицер. Капитан, что ли. Он, мол, очень приличный человек, родом из Вены. Говорит, что Гитлеру капут. Я могу, мол, смело идти в дом.

И тут в памяти моей вдруг встали детские годы — годы первой мировой войны. Тогда у нас в доме тоже жил капитан и тоже австриец, сабля которого так мне нравилась. Он ушел со своей частью на восточный фронт и в первые же дни был убит. Через несколько дней, как мне стало потом известно, был убит и этот, теперешний — в сражении с нашими партизанами совсем недалеко от Сельницы.

Вскоре я установил связь с нашими сельскими «чапаевцами» — почтальоном Волько и учителем Яно Кляучем,— смелыми и суровыми парнями, которые сражались у Белой скалы за свободу родного края.

— Эх, был бы я моложе, и я бы пошел с ними,— вздохнув, сказал отец.

Было ему тогда семьдесят шесть лет.

■

Фронт и приход Советской Армии я пережил уже снова в Банска Бистрице. Убежище у меня было в семье Данко, на Углиске, и у родителей Оты Велячиковой На Тросках. В доме Данко было важное преимущество — две прачечные. Да, обыкновенные прачечные, но это означало, что одну из них, не навлекая никаких подозрений, можно было использовать как тайник. Окошко, выходившее в сад, я замаскировал поленницей из саженных бревен. К двери из подвала привалил подходящий по размеру старый шкаф. Получился идеальный бункер — с водопроводом, канализацией, с электричеством, а стало быть, и с радио. Советская Армия была уже в Брезене, но фронт там задержался на более долгое время, чем мы рассчитывали.

В тайнике у Данко вместе со мной скрывались Матушка, Яно Орсаг, Шаньо Слюка и его сын Штефан, Лацо Дробка, Адуш Данко, некоторое время и молодой Бакосс. Худо было то, что как раз над нашими головами через несколько дней поселились два немецких офицера, реквизировавшие у Данко лучшую комнату. Узнав об этом, мы изменились в лице.

— Нам надо немедленно уходить,— сказал Адуш.— Если они нас обнаружат, расстреляют всю мою семью.

— Нет,— возразил Яно Орсаг, старый вояка, еще со времен первой мировой войны,— как раз наоборот. Под лампой всегда темнее. Именно тут нас никто искать и не будет.

И мы остались. В стенке старого шкафа была вынимающаяся доска, через которую можно было пролезть и при условии «чистого воздуха» даже подняться в комнаты верхнего этажа. Мы договорились с дочкой Адуша — Олинкой, хорошей пианисткой, что когда она заиграет торжественную мелодию, необходимо сохранять полную тишину, не слушать радио, не кашлять — подобно Шаньо Матушке, который именно тогда сильно простудился и кашлял как древний старик, и мы по знаку Олинки вынуждены были накрывать его с головой периной. Зато как только она заиграет вальс, можно благоденствовать и даже выйти наружу. Сигнализация наша действовала безотказно. Мы ее придерживались, хотя, конечно, не раз цепенели, прислушиваясь к топоту немецких сапог, особенно если он был торопливым и неожиданным. А что, если господам офицерам взбредет на ум спуститься вниз?

И взбрело. Но не тем, что жили над нами, а какому-то немецкому патрулю, даже с собаками, который перевернул в соседних домах все вверх дном. Но старый Орсаг, предусмотрительный и мудрый, и тут нашел выход: перед шкафом и вокруг него он насыпал какие-то

пряности и перец, стертые в порошок. «Теперь пусть нюхают сколько им угодно»,— проворчал он, успокаивая нас.

Не знаю, насколько это помогло бы, но патруль с собаками возле нашего тайника не появлялся, и у нас отлегло от сердца.

Пока мы отсиживались в своем убежище, Адуш усиленно занимался русским языком. Был у него какой-то старый учебник, и он его целыми днями не выпускал из рук.

— Ничево́, ни́чево, ничево́,— мучился он с ударениями.— Ну как же будет правильно?

— Да оставь ты нас в покое, ты — «ничево́»! — сердились мы.

— Ну нет, ребята, русский учить надо!

— Ничево́...

А я писал стихи. Позже ставшая известной «Песня благодарности» была написана именно тут, у Данко в прачечной, когда, наконец, послышался долгожданный мощный гул советских орудий.

Но как раз накануне того, как фронт подошел к Бистрице, мы ушли от Данко. Первого советского солдата я приветствовал у Велячиковых. На Тросках. Никогда не забуду его имени. Звали его Виктор Степанов. Мы вышли из простреливаемого убежища. Бистрица горела. Неподалеку от Стреборной площади стлался густой черный дым. Было двадцать пятое марта 1945 года. Вербное воскресенье. Боже мой — это же символично! Символично вдвойне. Я понял это, глядя на горящую Бистрицу. Квартал, где жили Велячиковы, назывался «На Тросках» — «на развалинах». Я встрепенулся. Вбежал в дом, отыскал бумагу и ручку. Название стихотворения у меня уже было, была в голове и главная мысль — надо было только облечь ее в слова и ритм.

Еще глаза мне щиплет,
мне сердце скорбь разъела,
я выхожу из пекла
растерянно, несмело.

Смотрю с тоской на землю,
на отпечатки ада:
еще от страха гибнут
вокруг остатки стада.

Но дьявольские вихри
уж стихли меж развалин,
лишь дым повис на сучьях,
бессилен и печален.

Ищу себе подобных
средь щебня, гари, пыли...
А притчи-то об аде —
они ведь правдой были!

Из этих груд, обломков
я все же выйду к людям,
в измученную землю
сажать деревья будем.

Душа без стука входит
в разрушенные зданья,
дабы познать на тризнах
всех душ людских страданье.

И пусть, чтоб смыть всю сажу,
прольется слез немало —
сердца не заржавеют,
они не из металла!..

Мне человек дал руку.
Ее тепло вбираю.
Чему послужим, брат мой,—
вновь аду или раю?

Март 1945

Не стану рассказывать о Девятом мая — славном дне окончания мировой трагедии, о котором уже сказано много мудрых и прекрасных слов. Расскажу лишь о том, что навсегда оставило в моей памяти неизгладимый след. Это было вечером того незабываемого дня. Я читал с балкона ратуши на площади, которая теперь носит славное имя Словацкого национального восстания, «Песнь благодарности».

В малом зале ратуши было много известных деятелей и генералов. Все на радостях и выпили и веселились. Люди на площади плясали, пели. Со стороны Урпина доносился пулеметный и пушечный салют. Только было я взялся за бокал шампанского, как меня вытолкнули на балкон.

— Читай стихи!

Листок, на котором они были записаны, хранился у Орсага.

— Янко, ради бога, дай мне тот листок,— успел я крикнуть ему в дверях балкона.— Я ведь не знаю на память!

Он стал шарить по карманам и, найдя его наконец, передал мне, когда я уже был на балконе перед многотысячной толпой.

Пусть песнь звенит в просторе чистом —
такому дню она под стать:
вовек, вовек теперь фашистам
посевов наших не топтать!

Здесь враг зверел в безумстве яром,
и кровь, и слезы наши пил,
пока юнак стальным ударом
ему хребет не раздробил.

Ты победил в жестокой драке,
наш русский друг, наш русский брат!
Тебя за подвиг твой словаки
и славят и благодарят.

Входи! Тебя цветами встретим
мы, что от смерти спасены.
И мать с улыбкой скажет детям:
«Не бойтесь. Больше нет войны!»

И гимн великой доброй силе
мы высечем на гребнях скал,
чтоб помнить тех, кого взрастили
Москва, и Волга, и Урал...

Пусть песнь звенит в просторе чистом —
такому дню она под стать:
вовек, вовек теперь фашистам
посевов наших не топтать!

Говорили мне потом многие, особенно те, кто слушал внизу, на площади, что прочитал я стихи хорошо, с пафосом, без которого тогда, наверно, просто невозможно было бы их читать. Ну, не знаю, сам я этого не помню, потому что все мое внимание было поглощено ликующей толпой. Помню только, что, вернувшись в зал, в совершенном изнеможении упал в кресло. Знаю и то, что эти стихи многим показались, да и сейчас кажутся, слишком патетическими, даже схематичными. Но я бы попросил критиков принять во внимание настроение

автора, когда он их писал. Я и хотел их написать такими, какими они получились,— простыми, понятными всем, выражающими чувства тысяч людей в лаконичной поэтической форме и самыми доступными словами. Они останутся, я знаю вопреки критике, не только документом тех славных дней для меня и моих близких друзей, но и отголоском мыслей и чувств тысяч людей Словакии. Наши мысли и чувства были одинаковы — и тогда, и теперь.

Неделя бежала за неделей, и на всех нас в Бистрице, да и не только там, наваливалось множество забот. Тот, кто чувствовал себя настоящим патриотом, не мог безучастно смотреть на разрушенные города и села — многие из них были сожжены дотла,— на взорванные мосты, развороченные дороги, уничтоженные линии связи, на всю нашу порушенную жизнь.

В Бистрице мы стали издавать новую газету — «Ватра»; поскольку у нас не было ни одного линотипа, набирать ее приходилось вручную. Александр Матушка стал главным редактором. Меня назначили заместителем уполномоченного по информации, которым был Михал Хорват, и ко всему еще поручили подготовку торжеств в ознаменование первой годовщины Словацкого национального восстания. Мой аппарат размещался в конфискованной вилле. Здесь мы оборудовали и временную радиостудию. Работали, сменяя друг друга, дни и ночи напролет. Добраться до Братиславы можно было только на автомашине, и то лишь через Банска Штявницу,— мостов вокруг, даже временных, еще не было. Густав Гусак, тогда уполномоченный министерства внутренних дел в Братиславе, из рук в руки передал мне в своем кабинете около полумиллиона крон на подготовку торжеств.

— Но ты в ответе,— сказал он.— Не только за деньги, а и за все! Не то худо будет!

Он рассмеялся.

— Но у меня нет ни одной машины,— заметил я.— А железные дороги, как известно, не действуют.

— Спустись вниз во двор и выбери себе машину. Возьми самую лучшую.

Полмиллиона я оставил на письменном столе и выскочил из кабинета. Во дворе увидел большие красивые лимузины, но шоферы посоветовали мне взять маленький «адлер», который был в отличном состоянии. Я сел в машину и в кармашке на дверке обнаружил документы на имя Карола Стрменя, культуратташе Словацкого государства в Берлине. Вот это да! Ну, а теперь едем. Быстро взбежал я наверх забрать свои полмиллиона, еще быстрее сбегал к Михалу Хорвату, который находился на площади Гвездослава. Там получил документы на «адлер» и в придачу автофургон с шофером, что нам для подготовки празднества было очень кстати.

На «адлере» я и вернулся в Бистрицу. Тут же заехал к Паволу Майлингу, на которого была возложена хозяйственная сторона подготовки празднества, и трясущимися руками передал ему эти полмиллиона. Отдал и вздохнул с облегчением. Таких огромных денег я никогда прежде и в глаза не видывал, а вот теперь, в такое время, да по таким небезопасным дорогам, доставил их из Братиславы в Бистрицу.

Мы в Бистрице готовились к первой годовщине Восстания под лозунгом: «Поезда приходят в Бистрицу!». И осуществили его: в конце августа к нам пришел первый празднично украшенный железнодорожный состав из Братиславы. На всем пути следования жители восторженно встречали и провожали его, радуясь результатам своего совместного труда. Огромную признательность заслужили и бистрицкие железнодорожники, которые за рекордно короткое время привели в полный порядок вокзал и пути. Так было повсюду. На нашем

автофургоне мы доставили из Ружомберока две тысячи метров полотна, попросили местный комитет «Живены», возглавляемый Ирой Орсаговой, сшить из него знамена. И бистрицкие женщины покрасили полотно и сшили знамена. Бистрица, пожалуй, никогда еще не была такой нарядной, как тогда. Из Банска Штявницы мы привезли и два миллиона излюбленных сигарет «Липа» — к огромному удовольствию курильщиков, потому что в то время с куревом дело обстояло плохо.

Итак, по порядку. Уже мы ждали только своих самых почетных гостей. Прибыло к нам все правительство во главе с президентом Бенешем, первый советский посол в Праге Зорин, американский посол Стейнгарт и много других высокопоставленных гостей, маршалов и генералов. Забот и хлопот у нас было хоть отбавляй. Под сооруженной на площади Словацкого Восстания главной трибуной ночью дежурил патруль госбезопасности. Из ближайших домов пришлось на время выдворить всех жителей. Больше всего досталось хлопот и волнений заместителю уполномоченного министерства внутренних дел Мирко Клементису. Да и начальнику местного отдела госбезопасности полковнику Рудольфу Викторину тоже. Ничего удивительного — ведь в то время по стране еще скиталось много всяких мерзавцев. И население отнеслось к этим мерам с полным пониманием.

Но я не могу не вернуться на несколько дней назад. В самый разгар приготовлений, когда спать мне удавалось едва ли три-четыре часа в сутки, прекрасным августовским утром, часов примерно в пять, я сел в наш «адлер» и, взяв курс на Сельницу, поехал за отцом. В Старогорской долине по обеим сторонам дороги еще видны были следы бомбардировок, громоздились обломки пушек и танков, но природа так и сияла в лучах восходящего солнца. Буки на Штурце сверкали. Я весело и все громче напевал, испытывая истинное блаженство. А отчего? Просто оттого, что живу, что светит летнее солнце и я еду к отцу, который меня, я твердо знаю, ждет не дождется и тоже радуется победе. На вершине Штурца я остановился, хлопнул дверкой, протянул к солнцу руки и зауюкал, как наши горцы. Долина ответила эхом, бесконечно милым эхом, так хорошо мне знакомым с детства. С одной стороны мне откликался Липтов, с другой — Верхнегронский край, вся моя безгранично прекрасная родная земля...

Отец с радостью поехал со мной. Марка как следует снарядила его в дорогу, даже завернула нам с собой изрядный кусок сала, и сразу же после обеда я повез его в нашу принаряженную Бистрицу. Следом за нами из Ружомберока приехали Юло с Отой. Так что в эти торжественные дни вся наша семья снова собралась вместе. Ничего большего я тогда и не желал. Нет, все-таки желал. Мне нужно было разрешение, и не чье-нибудь, а самого начальника безопасности Рудольфа Викторина. Я попросил его, чтобы моему семидесятисемилетнему старику отцу разрешили войти в одну из пустых квартир напротив трибуны. Нет, он не будет высовываться, никто его не заметит — только чтобы он мог, спокойно сидя, смотреть на этот парад, иначе ему это будет не по силам. Викторин оказал мне эту любезность, за что я ему очень благодарен. Итак, стоя на трибуне, я все время одним глазком поглядывал украдкой на то окошко, в которое смотрел сидевший в глубине комнаты отец, и временами различал его спокойное, счастливое лицо. Вечером он нам дома, в семейном кругу, подтвердил: «Дети мои, вы даже представить себе не можете, как я счастлив...»

Через два дня, когда высокопоставленные гости разъехались, уполномоченный Хорват устроил в горном отеле возле Лучатина банкет для сотрудников, которые способствовали необычайному успеху празднования. Среди прочих были там, конечно, и мои ближайшие бистрицкие друзья: Матушка, Орсаг, Данко, а также мой отец и брат

Юло. Мы выпили и повеселились — пожалуй, заслуженно. Отец сразу нашел общий язык со старым Орсагом, уроженцем Вышнего Кубина, они разговорились о кубинских ярмарках и оравских селах, которые отец в свое время почти все объездил, потом выпили на брудершафт и даже пытались затянуть оравскую песню «Осадка, Лещины — два соседних села»...

А через год мы с отцом расстались уже навсегда. В солнечный октябрьский день проводили его на сельницкий погост и положили рядом с мамой. Проститься с ним пришло множество людей со всей округи. Умер «липтовский патриарх», как назвал его Янко Смрек в своем переданном по телеграфу соболезновании.

Осиротел наш сельницкий родительский дом. Отцовы яблони отдали хозяину свой последний урожай. Я положил ему на могилу сорванное с дерева созревшее яблоко.

А печаль, охватившая тогда мою душу, так меня и не покинула. Брат Юло, который, когда мы скрывались в горах, очень сильно простудился, через несколько месяцев после смерти отца поехал лечиться в санаторий, но ему уже не смогли помочь даже самые знаменитые врачи, его коллеги. Скоротечная чахотка сломила сопротивление организма даже такого крепкого парня, каким был он. Через год и три месяца после смерти отца умер мой младший брат, тридцатипятилетний доктор медицины Юлиус Плавка. Он оставил после себя годовалого сына Виктора, названного так в честь покойного брата. Это имя он дал ему, сам уже тяжело больной, предчувствуя близкую смерть.

С тем, что родители лежат в земле, в конце концов смиряешься, но почему же двое таких молодых лежат рядом с ними?! Боже мой, как же это я остался совсем один, стареющий, с мучительной занозой в сердце, которую уже никогда не удастся вытащить? Только вот стихи помогают мне заглушить боль. Они — моя жизнь, моя песня. Я не могу не петь.

Завершая свой рассказ о прошлом, я хочу сказать, как потрясло меня сообщение о проекте гидростроительства на Липтовской Маре, жертвой которого падет и моя родная Сельница, тропинки моего детства и деревья — единственное, что еще осталось от чудесной поры моей молодости. Но пусть большая вода новых времен утолит, наконец, неутоленную жажду до последнего дыхания жадно влюбленного в жизнь человека.

КАДДУР М'ХАМСАДЖИ

Цветы ноября

РАССКАЗ

Перевод с французского Н. СВЕТОВИДОВОЙ

1

Занималось хмурое осеннее утро. Глаза маленького Надира, повлажневшие на холодном ветру, блестели, точно две крохотные черные оливки. Не отрываясь смотрел он на пышную хризантему, выделявшуюся среди других своей величиной и золотистым цветом. Веки его покраснели, а он, забыв обо всем на свете, с восторгом глядел на великолепный цветок. От напряжения на глазах у него выступили слезы, но и сквозь их прозрачную пелену он продолжал созерцать солнечное чудо: ему нравились золотые лепестки и скрытое в сердцевине цветка огромное око, которое, подобно настоящему солнцу, что встает на горизонте, возвещая о рождении нового дня, излучало сияние.

Мальчик как бы обнимал цветок взглядом и в то же время искал волшебных путей, чтобы проникнуть вглубь, постичь тайну его свежести, красок, запаха, самого его существа.

Маленькая рука робко потянулась к ярким лепесткам, а другая все сжимала ручку желтого пластмассового кувшина для молока.

— Не надо, малыш, не трогай цветы.

Надир живо отдернул руку. Цветочный ларек словно выплыл из тумана, очертания его прояснились, и мальчик снова очутился перед лавкой старого Жозефа.

Казалось, Надир внезапно уснул на главной улице деревни, а теперь пробудился. Он протер глаза, поднял полуопущенные веки.

— Да ты никак не проснешься, Надир? — ласково спросил господин Жозеф простуженным голосом. Долго ли простудиться в такую сырую, дождливую погоду, да еще осенью! — А отец твой, поди, и не вставал еще?

Господин Жозеф дружил со всеми в деревне. Он помогал и детям и взрослым, его любили за душевную доброту и за непоколебимое мужество, с которым он, вопреки злословию своих соотечественников, водил дружбу с «туземцами». Лицо этого старика, всегда приветливое, было усеяно веснушками, под клетчатой фуражкой светились удивительно живые глаза, ходил он неизменно в темном, лоснящемся на локтях и коленях костюме и со всеми был одинаково терпелив и кроток.

Все видели, как этот неутомимый труженик день-деньской сновал по просторной лавке, принадлежавшей его брату, землевладельцу. Старик торговал продуктами с фермы брата: молоком и сыром, свежими овощами, семенами, иногда фруктами, а сегодня вот выставил на продажу и цветы, которые выращивал сам. Благодаря этому он мог посылать немного денег своему единственному сыну Огюсту, которого вот уже несколько месяцев, как забрали в армию.

Мальчик долго глядел на сгорбленного старика, едва державшегося на ногах от усталости, потом произнес нерешительно, жалобным голосом:

— Не знаю, что сегодня такое с мамой. Она какая-то странная...

— А отец, поди, и не вставал еще? — снова спросил старый Жозеф.

— Я не видел. Вы же знаете, господин Жозеф, по четвергам и по воскресеньям, хотя в школе и нет уроков, меня все равно будят и посылают за молоком.

— Не жалуйся, малыш. Твой отец честный человек, и ему приходится гнуть спину на моего двоюродного братца Робера. Кто же, кроме тебя, даст ему передохнуть? Так что ты, когда не ходишь в школу, должен помогать...

Он поправил фуражку и высморкался в большой платок.

— Сегодня первое ноября, праздник всех святых,— продолжал он, невесело улыбаясь.— Стало быть, ты, как и я, работаешь даже по праздникам.

Слова эти понравились мальчугану, а поскольку в носу у него свербило от пронизывающей сырости, он тоже извлек из кармана платок и последовал примеру старика.

— Э-эх! — только и сказал он в ответ.

— Так-то вот! И я сегодня продаю цветы, да только не много наторговал. Плохой день, нет удачи. Что поделаешь!..

Лица их омрачились. Старик закашлялся.

— Красивые у вас цветы,— сказал мальчик, размахивая кувшином.— Это и есть хризантемы, цветы ноября?

— Да,— подтвердил господин Жозеф, кивнув головой.— А ты разве не знал? Чему же вас в школе-то учат?

Надир покраснел до ушей, он был примерным учеником и теперь сконфузился.

— Ну и ну! — проворчал старик, заметив смущение мальчугана.— Видно, на уроках вам и про день поминовения не рассказывают.

Улыбнувшись, он стал объяснять мальчику, стараясь рассеять неловкость.

— Вот, гляди,— он загнул свой большой изуродованный ревматизмом палец.— Первое ноября — это праздник всех святых. А второе ноября,— и он загнул указательный палец, тоже изуродованный ревматизмом,— день поминовения.

Но на Надира это не произвело особого впечатления. Он промычал что-то невнятное и снова стал вертеть в руках кувшин, желтизна которого сегодня казалась тусклее обычного.

— Мне холодно.

— Прости, малыш,— сказал старый Жозеф, и рука его словно одеревенела в воздухе.— Ты прав, я, видно, свихнулся, если вздумал учить тебя спозаранку. Входи, сейчас я налью тебе молока. Меня и то ревматизм вконец замучил по такой-то погоде... Я ведь с четырех утра на ногах....

Он взял у мальчика кувшин.

Улицу, над которой нависла тяжелая тишина, вновь заволокло туманом, свет фонарей казался теперь тревожным и таинственным.

Было первое ноября тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года. В половине седьмого утра маленькая деревушка еще спала глубоким сном. Как всегда в эту печальную осеннюю пору, серое, низкое небо нависло над скопищем жалких домишек и замшелые черепичные кровли казались одинаково серыми. Улицы словно вылиняли, деревья, исхлестанные проливными дождями, почернели, будто оделись в траур, и шагали, как привидения, вдоль тротуаров по колено в грязи. В холодном воздухе слышался звон колоколов невидимой в тумане церкви, возвещая о наступлении праздника всех святых, но звучал он печальнее заупокойной мессы. Редкие, призрачные тени прохожих торопливо пересекали пустынную улицу, погруженную в сон.

— Держи, малыш!

Маленький Надир дважды поблагодарил старика. Мальчику было жаль этого человека, чье прерывистое дыхание свидетельствовало о старческих недугах и тяжко прожитой жизни. Чтобы хоть как-нибудь выразить свое сочувствие, Надир спросил о том, что старик любил больше всего на свете и «хранил как зеницу ока».

— А где же ваша газель, господин Жозеф? Я что-то не вижу ее в клетке.

Старик даже не взглянул на клетку, стоявшую в дальнем углу лавки, между мешками с картошкой и штабелями досок.

— Беда приключилась! Открываю я нынче лавку, а клетка пуста, хоть плачь. Искал-искал, нет газели, да и только! Право слово, она будто испарилась!

— Испарилась? Как это испарилась? Может, кто-нибудь открыл клетку? — засыпал его вопросами Надир, искренне огорченный.

— Я думал, это подстроил мой брат Альфред. Знаешь, сынок, он ведь меня терпеть не может, виной тому всякие семейные неурядицы и вообще... Ну да ладно!.. Правда, оказалось, тут он ни при чем. Будь уверен! Рассуди сам, ведь не для того же он отобрал эту газель у араба, чтобы теперь выпустить ее на волю. Он берег ее для сына, которого должна была родить его новая жена! Не будет у него ни сына, ни дочери, ни от этой жены, ни от другой! Это я, Жозеф, тебе говорю!.. У нас, малыш, как и у вас, господь бог не прощает людям, которые мучают других... Мне стало жаль несчастное животное. И я сказал: отдай мне газель, пускай побудет у меня, покуда у тебя нет сына, а потом я верну ее тебе... И вот что вышло! Я успел уже сбегать на ферму! Когда я ему сказал, что газели нет в клетке, что, мол, нельзя же держать ее там вечно, он не поверил. Сам пришел сюда. Поглядел своими глазами. Увидел разбитую форточку. Видишь, вон там. Я сказал, что этого никак быть не может, газель ведь не птица, она не летает. Он меня чуть не избил. Схватил за горло. Твердил, что и я виноват тоже. Вот тебе и на! Я ему еще раз повторил, что нельзя же держать газель в клетке вечно. Да что там говорить! Такая красивая газель — и в неволе! Газель — все равно что сама свобода. Ее в клетке не удержишь. Ну и орал же он на меня, а ведь я постарше его. Сказал, что выгонит меня в шею, что я ни на что не гожусь, что все деньги он один нажил! Тут он, конечно, прав. Я сроду не наживал денег, не хотел, я не ему чета. Еще бы, ясное дело, прав, потому что я стар, а он молод и богат! Он мне выложил все напрямик, припомнил, как кормили меня и сынишку моего, который теперь в армии! Чего только не наговорил!.. А я сказал, что господь бог каждому отпускает по заслугам и что, может быть, газель-то сбежала обратно к своему арабу.

— А она и вправду к нему сбежала?

— Я говорю, может быть! Все может быть! — сказал старик с ласковой улыбкой, угадывая невольную радость мальчика.

Надир тоже улыбнулся.

Он уже собрался было перейти улицу, как вдруг у самого входа в лавку резко затормозила машина, окатив его грязью. Из нее выскочили четверо в военной форме и, оттолкув мальчишку в сторону, сразу набросились на старого Жозефа. Тот в страхе забормотал что-то невнятное, поперхнулся, закашлялся.

— А ну, без лишнего шума! — угрожающе прикрикнул на него офицер.— Ты и есть Жозеф?..

Тот не успел даже ответить.

— Ясно, что ты! Нам приказано тебя арестовать. Твой сын дезертировал этой ночью. Там разберутся, может, ты тоже заодно с теми.

«С теми». Жозеф прекрасно знал, кого имели в виду пришельцы, когда говорили «с теми». С одной стороны были помещики, с другой — все остальные, «те».

Жозефа душил кашель, он не мог вымолвить ни слова, но все же попытался вырваться из рук солдат. Старик храбро отбивался, но что поделаешь, возраст... От отчаянья он едва не задохнулся.

Надир словно окаменел, он стоял в полной растерянности. Широко раскрытыми, удивленными глазами смотрел он, как несчастный, беспомощный старик, в которого мертвой хваткой вцепились с обеих сторон солдаты, старался задвинуть цветы в лавку, чтобы закрыть дверь. И тут-то этому доброму человеку пришла в голову неожиданная мысль. Он выбрал ту самую пышную хризантему, которая так понравилась Надиру, и, увлекая за собой солдат, шагнул к нему.

— Возьми, малыш! — произнес он сдавленным от волнения голосом.— Это тебе.

Старик успел еще погладить мальчика по голове.

— Беги поскорее домой, тебя ведь мама ждет,— добавил он глухо.

На глазах у маленького Надира военная машина увезла куда-то в туман ни в чем не повинного старика, который дружил со всеми в деревне, а деревня, как назло, спала в это время мертвым сном, и никто не слышал заунывного звона ноябрьских колоколов. Как грустно на улицах! И все еще моросит дождь.

Надир свернул в переулок, где тоже не было ни души.

■

Вернувшись домой, он увидел, что около его матери хлопочет почтенная старуха, повивальная бабка, принимавшая всех младенцев в деревне. И ей помогают другие женщины. Все началось неожиданно, вскоре после того как Надир ушел за молоком. В доме стоял какой-то особый запах, запах новорожденного.

...А отец? Неужели он так и не встал?

Надир поставил кувшин с молоком, а хризантему не выпускал из рук. Он услышал женский голос, по всей видимости, то был голос доброй и отзывчивой соседки Келтум, которая давно уже молила бога о том, чтобы и у нее был ребенок:

— К счастью, все кончилось благополучно для нее, бедняжки!

Послышались и другие голоса, потом опять явственно прозвучал голос Келтум:

— Не таков у нее муж, чтоб не ночевать дома. Я просто уверена, что бедняжка родила до срока от волнения. Но теперь все в порядке, все хорошо!

Затем донесся слабый голос матери, она сказала, глотая слезы:

— Позаботьтесь о моем сыне Надире. Взгляните, может, он уже пришел. Бедный мальчик, я скрыла от него, что отец не ночевал дома.

Надир, чувствуя, как колотится у него сердце, вошел в комнату, со

слезами бросился к матери. Хризантема упала на кровать рядом с новорожденным.

— Смотри, смотри, Надир,— произнесла мать, лаская его и силясь улыбнуться.— У тебя теперь есть брат. Мы назовем его Буалемом, так хотел твой отец.

Надир поднял на нее глаза, лицо его сразу осунулось, побледнело.

— Что с отцом? — прошептал он и разрыдался.

Несчастная мать закрыла глаза, скрывая навернувшиеся слезы.

А через некоторое время, когда из города доставили газеты, деревню облетела удивительная весть, вмиг поднявшая всех на ноги.

«ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ ГОРСТКИ МЯТЕЖНИКОВ» — крупным шрифтом было напечатано во всех газетах.

II

Но прошло несколько недель, и эта «горстка», закаленная в мужественной борьбе, стала воплощением совести всего народа, ударным отрядом тщательно подготовленной революции. По всей стране, едва всходило солнце, из уст в уста передавались такие радостные, но еще непривычные слова: АНО—ФНО[1], а вечерами воцарялось молчание, дабы почтить первых борцов, погибших во имя свободы и независимости своей страны.

■

— Мама, чего еще ждать? Мне уже семнадцать. Я хочу быть достойным своего отца.

Мать, которая заканчивала в этот миг стирку, тяжело вздохнула, пристально взглянув на сына, точно впервые увидела его после долгой разлуки. Худое лицо ее, почерневшее от усталости, на котором казались живыми одни лишь огромные, измученные работой и голодом глаза, осветила радостная и в то же время скорбная улыбка. Слава аллаху! Сын вырос, стал сильным, красивым юношей, таким же смуглым и темноволосым, как его покойный отец. А Надир кончал укладывать свой вещевой мешок.

— Я уже потеряла одного,— с грустью сказала мать.— Подумай о своем младшем брате, Буалеме, подумай обо мне. Что будет с нами? Опять начнутся невзгоды, опять нас станут мучить, как мучили все это время из-за отца. Расскажи им, как нам тут живется.

Надир склонился к матери, с нежностью обнял ее:

— Я ж не за смертью туда иду.

Несчастная мать закрыла глаза, стиснула зубы, чтобы не заплакать. Она уже слышала эти слова в тот день, когда уходил ее муж.

— Я иду защищать нашу честь,— продолжал Надир горячо, словно не замечая тревоги матери.— Я иду, чтобы положить конец нашей нищете. Разве удалось мне чего-нибудь добиться с тех пор, как меня выгнали из школы? Ничего, ровным счетом ничего! Если бы мне хоть дали закончить начальную школу, тогда еще, может быть, мне удалось бы наняться на работу... Только вот к кому? К этому расисту Роберу? Или к Альфреду, который безо всякой жалости убил своего брата Жозефа?.. Нет, мать. Мне надоело так жить, я твердо решил жить по-новому. Да и не я один. Вся молодежь берется за оружие.— Он гордо вскинул голову.— Ты же знаешь, мама, для освобождения нашей родины нужны все ее сыновья. Вспомни, что ты сама говорила мне, когда

---

[1] Армия национального освобождения — Фронт национального освобождения.

я был еще маленьким и все плакал, звал отца. Я-то помню твои слова. Только это и могло меня тогда утешить: «Отец твой ушел не потому, что разлюбил нас, а потому, что хотел доказать нам свою любовь». Неужели ты забыла или отвергла теперь то, что сумела внушить мне с детских лет?

Она опустила голову, закрыв лицо худыми, костлявыми руками. Тело ее содрогалось от рыданий, она вся сжалась в комок. Маленький Буалем, катавший шары на циновке, постеленной прямо на земляном полу, испугавшись, подбежал к матери и с громким плачем вцепился в ее платье. Она взяла его на руки и прижала к себе, стараясь успокоить.

— Не плачь, сынок. Это ничего. Это ничего,— повторяла она сквозь слезы.

— Прости меня, мама,— сказал Надир упавшим голосом.

— Ничего, ничего,— твердила она, целуя обоих сыновей.

И все-таки Надир попробовал еще раз ее убедить. Выслушав его, она покачала головой, потом прошептала чуть слышно, пытаясь совладать с мучительной дрожью:

— А разве матери, и особенно вдовы, не заслуживают сострадания?.. Чего ты хочешь от меня? Чтоб я сказала, что люблю тебя? Что я желаю тебе удачи? Что я не буду тебя оплакивать? Да, да, наверно, я должна была это сказать. Потому что так надо. И себе я должна была внушить то же самое... Да еще добавить к этому, что горе, которое принесла мне гибель твоего отца, беспредельно, но я, быть может, даже не замечу твоего отсутствия... Да, да, может, так и надо было сделать. Сколько сейчас матерей, у которых сердце — сплошная рана, так что одним ударом больше, одним меньше... Быть может, и в самом деле нестерпимую боль причиняет лишь первый удар, и хотя рана затягивается... А может, мы, матери, живем лишь для того, чтобы рождать на свет мужчин, которые, в свою очередь, живут, чтобы сражаться против зла в этом мире, может, и так. Все может быть, сынок...

Приоткрыв рот и перебирая пальчиками, Буалем смотрел на мать. От ее горячего, прерывистого дыхания слезы его высохли. Он не мог понять, что происходит. Надир же, напротив, внимательно слушал, нежно обняв мать за плечи, глаза его были печальны. А она продолжала:

— Видишь ли, Надир, вряд ли существуют мерки, которыми можно измерить страдание. От меня требуется лишь мужество. Одно лишь мужество. Да поможет мне бог.

Она прошептала молитву, опустила на пол Буалема и снова принялась за стирку. Надир поцеловал ее и сказал ласково:

— Мне пора идти, мать.

Она ни о чем больше не спрашивала, только грустно, понимающе кивнула. Он взял вещевой мешок, ушел к себе в комнату и оставался там до тех пор, пока за ним не пришли какие-то двое парней. Она во что бы то ни стало хотела их проводить, они отказывались, но она настояла на своем и дошла с ними до самой площади, где к этому времени уже началась демонстрация. Народ скандировал: «Да здравствует Алжир!» — а растерявшиеся солдаты лишь бессмысленно размахивали руками, словно испорченные заводные игрушки.

И вдруг, выворачивая скамейки вместе с асфальтом, на площадь ворвались, точно дикие звери, два броневика и танк.

Возгласы слились в сплошной тревожный гул, над толпой взметнулись сжатые кулаки, а к тротуару тем временем подкатили два бронетранспортера и застыли в ожидании добычи. Но на этот раз речь шла не просто о «классической» демонстрации и не «обычных» в таких случаях арестов следовало ожидать... Лилась кровь...

Женщин было больше, чем мужчин, они толпились кучками, не страшась солдат, отгонявших их ударами прикладов. А некоторые, сорвав с себя белые покрывала, размахивали ими высоко над головой. Мужчины же, в которых было направлено гораздо больше смертельных выстрелов, пытались укрыться за развалинами старой крепостной стены, за столиками кафе, раскиданными танком в разные стороны. Повсюду на тротуарах лежали распростертые тела мужчин, старых и молодых, а под белым покрывалом застыло безжизненное тело женщины.

И все-таки бурлящая, яростная масса неустрашимо двигалась, безоружная, но исполненная мужества; взбудораженные люди в толпе выкрикивали угрозы, рыдали, кипели гневом, пели «Кассамэн» [1], бросая вызов вооруженным до зубов солдатам.

Молодая женщина развернула алжирское знамя, вышитое золотом и серебром. Со всех сторон послышались пронзительные женские крики, слившиеся в один протяжный, нескончаемый вопль. То был условный сигнал, и тотчас толпа рассеялась, люди поползли вдоль стены. Одна, две, и вот уже сразу несколько женщин упали, сраженные пулями, их тут же растоптали вражеские солдаты, следовавшие за ними по пятам. Где-то совсем рядом протрещала автоматная очередь, она косила подростков, пригвоздив одного к окровавленной стене. Солдаты рассыпались цепью, они безжалостно стреляли в толпу, стараясь не выпустить живым ни одного демонстранта. Женщины почуяли опасность, разгадали, что их хотят поймать в чудовищную западню, и подали сигнал тревоги, успев сообщить своим место общего сбора. Одна из них тормошила другую, пытаясь вывести ее из оцепенения. Но тщетно. Та была мертва.

— Да ведь это моя соседка! — в отчаянии воскликнула женщина.

В тот же миг густое облако слезоточивого газа окутало площадь. А солдаты стреляли, били, топтали, сметая на своем пути все живое. Из окон и с балконов неслись истошные крики: «Мерзавцы... Феллага...» Танк преградил дорогу беглецам, и те, сраженные ударами прикладов по головам, падали на своих товарищей, распростертых на земле.

Вдруг, перекрывая отчаянные вопли, прозвучал резкий свисток, и тут же во всех четырех концах площади грянули выстрелы. Застрекотали автоматы. Кто-то отчаянно звал на помощь, слышались стоны, жалобы, причитания. На площади творилось нечто невообразимое. Потом крики смолкли, и над площадью, подобно новому облаку газа, нависло давящее, тягостное молчание, которому, казалось, не будет конца. Оно витало над землей, где в лужах крови лежали десятки раненых людей.

Из тех, кто не сумел убежать, в живых остались лишь несколько мужчин и женщин. Они стояли у стен, подняв руки вверх; на их бескровных, помертвевших лицах застыл ужас. Для них-то и предназначались два бронетранспортера. Женщин загнали в один, мужчин — в другой, и они двинулись неизвестно куда.

Офицер, командовавший операцией, спокойно, как ни в чем не бывало, приказал произвести повальный обыск во всем квартале.

Темнело. Колтум, с перекошенным от ужаса лицом, то и дело прикрывала рукой распухшие, покрасневшие глаза. На коленях у нее лежал маленький Буалем, обессилевший от слез. Сквозь мокрые ресницы он видел что-то длинное и безжизненное, покрытое белой простыней: то была его мать, его бедная мать, она уснула вечным сном, он никогда больше ее не увидит, не услышит ее голоса. Вот она лежит посреди

[1] Песня национально-освободительной войны.

пустой комнаты, и скоро сюда придут соседи, чтобы проститься с ней навсегда.

Ночью никто их не беспокоил. И хотя все с тревогой ждали солдат, те, против обыкновения, не явились. До самой зари звучали молитвы, старый-престарый талеб с глубоко запавшими глазами без устали читал Коран охрипшим голосом.

Всю ночь Келтум и четыре соседки сидели у тела. Келтум вспоминала жизнь покойной, которая прошла у нее на глазах, думала о Надире, с нежностью смотрела на Буалема — теперь она возьмет сиротку к себе. Порой у нее прорывались рыдания, ей вспоминался ее молодой муж, которого арестовали в прошлом году и замучили насмерть в лагере Борари, она до сих пор не могла примириться с этим. Тяжело вздыхая, размышляла она о том, что в деревне почти не осталось мужчин. Время от времени Келтум склоняла свое измученное, скорбное лицо над маленьким Буалемом и целовала его.

Уже рассвело, а военные патрули все еще продолжали обыскивать дома. Бряцанье оружия, торопливые шаги, неясный шепот, все это приводило в смятение людей, томившихся в ожидании за запертыми дверьми.

— Надо быть мужественными, дочери мои,— прошептал едва слышно выбившийся из сил талеб.— Впереди еще много испытаний. Это только начало. Но аллах не оставит нас своею милостью. Он призывает нас к борьбе, и мы боремся, наши храбрые джунуды отважно сражаются... Да, дочери мои. «Ведь помощь только от аллаха, поистине, аллах — велик и мудр!»

III

Потребовалось в самом деле немало мужества, и не только в ближайшие дни. Шли месяцы, годы. Война продолжалась, ужасная, жестокая война. Алжирцы боролись и умирали ради свободы и независимости своей страны, во имя славы и достоинства своего народа. А для армии колонизаторов и оасовцев то была война, во время которой они могли безнаказанно удовлетворять свою подлую расовую ненависть.

■

— Дай хоть немножко поспать, тетя Келтум,— жалобно пробормотал Буалем, поворачиваясь на другой бок.— Ведь сегодня не надо идти в школу, сегодня праздник Первого ноября!

Слышно было, как шумят листвой деревья, раскачиваясь под холодным утренним ветром. По небу бежали белые облака, и стекла в окнах, на которых застыли мелкие капельки дождя, моросившего всю ночь, тоже казались белыми.

— Знаю, сынок,— прошептала она, склоняясь над ним с материнской нежностью.— Но надо идти за молоком. Твоему брату Надиру пора уходить, он спешит на демонстрацию.

Буалем мигом соскочил с постели.

— Ах, да! Ведь он и меня обещал взять с собой. Я так хочу посмотреть на демонстрацию!

Келтум улыбнулась и, взяв его за подбородок, звонко поцеловала в щеку. Мальчик взглянул ей в лицо и заметил на щеке слезинку.

— Ты плачешь, тетя Келтум?

Она смахнула слезинку. А он, не понимая, в чем дело, продолжал расспросы:

— Почему у тебя белый муслин на голове?

Ей стало не по себе, и она отвечала чуть слышно:

— Это знак траура, бедный мой малыш.

Она отвернулась и ушла на кухню: ей хотелось скрыть слезы.

Буалем быстро умылся и кроме желтого пластмассового кувшина для молока решил прихватить с собой игрушечное ружье, подарок брата. Он так долго плакал, выпрашивая это ружье, что Надир не выдержал и купил малышу игрушку, хотя, сказать по правде, дело не обошлось без вмешательства Келтум.

Около умывальника, перед большим, ярко освещенным зеркалом Надир заканчивал бритье, с особой тщательностью подравнивал свои красивые черные усы. Осторожно провел он рукой по шее, там, где до сих пор не зарубцевался старый шрам. Он прикрыл глаза, с улыбкой покачал головой. «Да, в шестьдесят первом я чуть было не погиб»,— подумал он. После того как Алжир стал свободным и независимым, Надир каждое утро неизменно испытывал радость бытия. «Слава аллаху!» — прошептал он благоговейно, как заклинание.

И вдруг до слуха его донеслись чьи-то всхлипывания: плакала Келтум. Он поспешил к ней:

— Не надо, тетя Келтум. Не плачь. Грешно плакать в праздник.

Закрыв руками лицо, она сидела на деревянном табурете подле окна, и плечи ее вздрагивали. Здесь, в полутемной кухне, Келтум, женщина, словно лишенная возраста, не старая и не молодая, казалась прекрасным изваянием из гранита, олицетворявшим Мать, которая оплакивает своих детей, или безутешную Вдову, что ожидает встречи с вечностью. И если бы не сотрясавшие ее рыдания, можно было бы подумать, что она застыла навеки в тусклом свете пасмурного утра.

— Не надо плакать, тетушка, умоляю тебя,— повторял Надир, обнимая ее.— Не надо.

В голосе его было столько нежности, что бедная женщина разразилась безудержными рыданиями. Она дрожала всем телом, и, наконец, горе ее вылилось в словах:

— Ничего, это пройдет... я не виновата... Столько всего... вспомнилось... Твоя мать... Твой отец... Мой муж... Но... ничего... ничего..:

Она отстранила его и мало-помалу успокоилась, слезы у нее на глазах высохли.

— Да, тетушка,— сказал Надир, тяжело вздохнув,— кто в такой день не вспоминает своих близких! Но, слава богу, наши матери и отцы, наши сестры и братья погибли не зря. Страна наша завоевала независимость, и теперь мы можем жить свободно и счастливо. А чтобы быть достойными памяти героев, павших в борьбе, мы должны теперь думать о том, как строить новую жизнь, в этом должен участвовать каждый.— Ясная улыбка осветила его лицо.— Да, поэтому и тебе непременно надо пойти сегодня на праздничную демонстрацию. Она состоится на той самой площади, ты ведь знаешь. Пойдем со мной, тетя Келтум, сделай это ради моей матери, ради всех, кто в тот день бросил вызов врагу, крикнув «Да здравствует Алжир!»

Келтум уже успокоилась, но по-прежнему хранила молчание.

— Так ты пойдешь со мной?

В окно было видно, как посветлело хмурое ноябрьское небо. На кухне стало не так мрачно.

— Ты не хочешь пойти на площадь, где погибла моя мать? Пойдем, прошу тебя.

Она прижала его к своей высохшей груди, обняв за широкие, сильные плечи, и вдруг почувствовала, что счастье переполняет ее душу.

— Да, сынок, мы пойдем на площадь Павших Борцов все вместе.

Поцеловав его в лоб, она стала готовить кофе.

Вскоре, размахивая букетом цветов, вернулся Буалем, радостный и оживленный. Он нес на плече свое ружье, из ствола которого торчал большой золотисто-желтый цветок.

— Посмотри, что у меня есть! — крикнул он, поставив кувшин с молоком на низкий столик.

Надир, принаряжавшийся по случаю праздника, не обратил внимания на младшего брата.

— Какие красивые цветы! — воскликнула Келтум.— Кто тебе подарил такой букет? А что это за цветок?

— Большой? Да это хризантема. Она мне очень понравилась, и молочник подарил ее мне.

Только теперь Надир поднял глаза. Он долго смотрел на брата, на букет, на огромную хризантему и желтый пластмассовый кувшин. А в памяти его всплывали иные образы. Первое ноября 1954 года. Серое утро. И дрожащий от холода мальчуган, с восхищением разглядывающий в лавке старого Жозефа огромную, пышную хризантему, выделявшуюся среди других своим ярко-золотистым цветом. Глаза его затуманились, он прищурился, точно вглядывался в незримую даль. Ему казалось, будто он, как в тумане, видит вновь тщедушного, словоохотливого старика, чей хриплый голос терялся где-то вдалеке, так что слов никак нельзя было разобрать. В холодном ноябрьском воздухе раздавался глухой звон колокола. Вокруг было пустынно.

Вдруг туман рассеялся, и он отчетливо, словно наяву, увидел старика с трясущейся головой, который отбивается от солдат, не дающих ему подарить мальчику хризантему...

Ноябрьский цветок в ружейном стволе! Кончилась война, а желтый кувшин до сих пор целехонек! Страдания, смерть — все это только для живых! Глупо, конечно, но Надир все думал и думал о том, что его мать и отец погибли, а этот дурацкий кувшин по-прежнему невредим!

Надир, понурив голову, тяжко вздохнул. Потом с необычайной серьезностью обратился к Буалему, тщательно выбирая слова:

— Это сын господина Жозефа подарил тебе ноябрьские цветы?

— Да,— ответил мальчик, протягивая ему букет.

— Он, как и его отец, дружен со всеми в деревне,— заметила Келтум, и тут только стало видно, до чего она постарела за эти годы.— Как хорошо пахнут розы!

— Да,— задумчиво произнес Надир.— Теперь ноябрьскими цветами стали розы. Ты правильно сделал, малыш, что сунул хризантему в ствол своего ружья...— Он глубоко вздохнул и продолжал: — Перед демонстрацией мы зайдем на кладбище и положим цветы на могилы наших героев...

У Келтум сжалось сердце. Но она и виду не подала, только поправила белый муслин на голове.

Робкие солнечные лучи пробились сквозь низко нависшие облака. Ветер утих. На улицах стало оживленней.

Вскоре Надир, Буалем и тетушка Келтум, их приемная мать, успокоившиеся и преисполненные чувства собственного достоинства, гордо шагали с цветами в руках к кладбищу, слившись с огромной толпой.

А в ясном, нежданно голубом небе солнце, вырвавшееся на волю из плена черных туч после долгой ночи, возвещало о рождении нового дня.

АДВАР АЛЬ-ХАРРАТ

Вокзал

РАССКАЗ

Перевод с арабского В. ШАГАЛЯ

Поезд размеренно постукивал, навевая тоску своей нескончаемой монотонной песней. Вялую тишину вагона нарушала лишь настойчивая дробь колес. Он и сам не заметил, как задремал, убаюканный непрерывным перестуком. Этот звук, обгонявший поезд, обладал способностью усыплять. Но он прогнал дрему и открыл окно. Бледный, припорошенный пылью свет ворвался в переполненный вагон и закачался в его узком пространстве, насыщенном смрадным дыханием усталых людей, которых гнала вперед слепая сила мчащегося поезда.

Ветер Александрии, растянувшейся под вечерним небом, устремился в окно. Поезд содрогался, совершая последний рывок к городу. Обозначенный изогнутой лентой огней, город подмигивал, суля покой и исполнение самых заветных желаний. Ветер доносил прохладу моря. Утешением ложилась она на сердце. Тогда, оторвавшись от окна, он снова сел на свое место и как будто бы провалился в душный мешок вагона.

Прямо перед ним высился огромный, могучего телосложения военный в черном мундире. Утихомирился, наконец, хныкавший ребенок. Прижавшись к материнскому животу, он сосал тощую длинную грудь. По-прежнему бродил из вагона в вагон продавец арахиса, волоча за собой огромную корзину с бумажными кульками. Следом шествовал слепой шейх, он предлагал перечную мяту и переписанные от руки суры Корана. Бесенятами носились дети. Они успели охрипнуть и устать, но все еще скакали меж пассажиров, выпрашивали лимонад или кока-колу, гремели ведрами с водой и бутылками. Но вот и они сдались, и их сломила усталость и духота. Детские головы упали на деревянные скамьи, и поезд завладел ими, как своей собственностью. Он мотал их по жестким лавкам под ритм колес.

...Его глаза устали от тусклого вагонного света. Было слышно, как чмокал малыш, этот человеческий комочек, жадно требующий жизни. Очень хотелось пожалеть его — как будто бы от его сострадания малыш станет сильнее. Он будто растворился среди этого скопища людей и перестал принадлежать самому себе. Долгие часы, проведенные в замкнутом пространстве вагона, породнили его со спутниками. С этим уставшим господином, который прижимает к груди сумку, пере-

вязанную шнурком (замок, видимо, давно сломался); с военным, что всхрапывает в тяжелом сне или надсадно кашляет, страдая от тяжести собственного живота и долгого сидения на одном месте. Кажется, ему близка и деревенская женщина в национальной одежде, с лицом, на котором читались следы постоянных невзгод, и крестьяне, уроженцы Верхнего Египта, за чем-то едущие в город. На время поездки жизнь выпустила всех их из тисков, оставив отметины своей жестокой власти на огрубелых, изрезанных глубокими морщинами лицах, на заросших подбородках, не знающих прикосновения бритвы, на ветхой, никогда не стиранной одежде.

С далекого пустынного горизонта, утонувшего в море, снова прилетел ветер. Он ворвался в вагон резкими яростными порывами и разметал зловоние плотной человеческой массы, сбившейся на жестких лавках.

Поезд сбавил ход, отчетливей сделался перестук колес. Вдоль поезда побежали дома. Вагон ожил. Спустились с полок корзины, сползли чемоданы, одеяла, матрасы, завернутые в мешковину тюки. Крестьянка приподняла ребенка на плечо, и он разорвал вагонную суматоху своим надрывным криком. Женщина попросила старого изможденного господина спустить с полки корзинку и клетку с птицей, привычно бормоча: «О господи, клянусь пророком...» Тот засуетился, стащил с полки тяжелую поклажу, едва держась на ногах под ее тяжестью. Пошатнувшись, он, чтобы не упасть, невольно прижался к женщине и почувствовал, как приятно ему это нечаянное прикосновение. Военный застегнул ремень, отхаркался в красный платок и стал прилаживать тарбуш поверх шерстяной такии[1]. Пассажиры готовились к выходу, открывали окна, сновали по вагону. Раздражались по пустякам, кричали друг на друга и, как дети, радовались, что наконец-то приехали.

Поезд медленно входил в ярко освещенный вокзал. Дал резкий длинный свисток под сводами стеклянной крыши и, прежде чем остановиться, в победном раже забряцал, загремел, затрепетал всем своим стальным телом. Так, величественно подняв голову, замирает на месте породистый конь, когда его останавливают на полном скаку.

Стремительными ручейками растеклись носильщики в голубой униформе, подпоясанные широкими кожаными ремнями. Протягивая руки к окнам, они на лету подхватывали заработок: корзины, чемоданы, маленьких детей. А на перроне толпились дамы и господа: «Носильщик! Носильщик!»

Люди тащили свои сумки, спешили к сверкающему огнями городу. Громким эхом отзывался грохот поездов, перекрывая гул тысячи голосов.

Он ступил на платформу: ноги, онемевшие после долгого сидения, постепенно обретали силу. Вдалеке он увидел пассажиров первого класса. Сверкая новыми сумками, они быстро удалялись. За ними, ни на шаг не отставая, следовала толпа детей, кричащих, зовущих, тянущихся к своим родителям и близким.

И он почувствовал, что там, за вокзалом, и его ожидает город со своими тихими, полупустыми улицами, гостеприимный город, несущий покой и мир.

Он направился к лестнице, ведущей к подземному переходу: хотел оторваться от толпы, скопившейся около узкого выхода. Пустота тоннеля обдала его сырым запахом подземелья. Стены тускло поблескивали белым кафелем. По широким ступеням спускался он,

[1] Тарбуш и такия — арабские головные уборы.

совсем один, в незнакомый ему мир, где дребезжащим гулом отдавалось далекое эхо вокзала и шум близкого города. Гладкие, будто полированные стены отражались одна в другой.

И он почувствовал, что счастлив, счастлив до бесконечности, и это удивительное чувство целиком захватило его. Он один, совсем один в этом подземном царстве, светлом, ярком, бесконечном! Но вдруг этот мир, еще мгновение назад принадлежавший только ему, заполнило что-то чужое. За своей спиной он ощутил легкие шаги, услыхал какой-то звук, ощутил движение воздуха. Что это, он и сам не знал. Зато он знал твердо, что «это» поджидает его. Наблюдает, высматривает, следит. Выбирает момент, чтобы напасть.

Ноги его немеют, и оглянуться нет сил. Медленно, опасливо спускается он по ступенькам и чувствует, как позади «это» уже властвует безраздельно.

Чей взгляд сверлит его спину? Ему страшно обернуться назад. Широкая пустынная лестница уходит вниз. Оттуда, сверху исходит страх. Кто-то наблюдает за ним оттуда, и он не может вырваться из сетей этого невидимого взгляда. Наконец, лестница кончилась, и он, завернув за угол, под надежным прикрытием стены, оглянулся. Здесь, в безопасности, он ликовал. Ему удалось ускользнуть от глаз, неотступно следивших за ним!

Сильные электрические лампы заливали проход ослепительным светом. Снова ощутив себя свободным, он ускорил шаг. Шел быстро, и белые стены тоннеля, мерцающие бликами огней, точно раздвигались перед ним.

В самом конце тоннеля, там, где он становился шире, уходя в стороны многочисленными боковыми лестницами, он заметил что-то похожее на живое существо. В причудливом соединении рук и плеч угадывались двое. Складки одежды казались окаменевшими. Все вокруг замерло тишиной библейского пастбища, на котором застыли фигуры древних. Как завороженный, он шел вперед. Пусть будет что будет. Гулко отдавались его шаги. Отчетливее вырисовывались фигуры людей, прислонившихся к белой запотевшей стене. Он увидел девочку и изможденного, тщедушного человека, который держал ее на руках. В руке ребенка, плетью повисшей на спине мужчины, были зажаты старые лотерейные билеты, скрепленные ржавой металлической скрепкой. Старая рубаха цвета хаки прикрывала эту худую спину, которая казалась безжизненной. Оба, девочка и мужчина, прижимались к стене, похожие на два высохших цветка. Две головы с густыми свалявшимися волосами утонули в лохмотьях. Его они не заметили.

Лестница вывела на платформу. Лабиринт столбов, колонн и указателей был решительно разрезан прямыми линиями рельсов. Платформы были пустынны. Под сводами стеклянной крыши вокзала, еле пропускавшей бледный свет ночного неба, замерли поезда, похожие на гигантских доисторических насекомых. Вокзал оцепенел. Брешью зияли огромные станционные часы с остановившимися стрелками. Откуда-то издалека слабо доносились звонки одинокого трамвая.

И тут он почувствовал себя запертым в клетку. Во что бы то ни стало вырваться отсюда, сломать эти решетки, разбить этот стеклянный колпак, убежать от этих часов с остановившимися стрелками! Он бросился вперед, к выходу, маленький, затерянный в ночной пустоте.

У небольшой двери он увидел сначала троих, потом четверых станционных рабочих. Приблизившись, насчитал пятерых. Все пятеро сидели и смотрели на него без всякого любопытства. Их равно-

душные фигуры закрывали от него выход. Лица, застывшие в угрюмом оцепенении, требовали: предъяви билет — тогда выйдешь. Сердце его упало. В этот миг он осознал: он никогда не выйдет отсюда. Круглые, навыкате глаза на грубых толстых лицах, сухие, прокаленные солнцем морщины, небритые подбородки. На черной форменной одежде выстроились медные начищенные пуговицы, словно ряды металлических глаз, холодно рассматривающих его. Этих людей не интересует, кто он. Да и что он для них? Предъяви билет, и только...

Он побежал назад. Бежал задыхаясь, бежал так, словно от скорости бега зависела вся его жизнь. Каждая секунда, что он оставался на вокзале, увеличивала тяжесть преступления, усугубляла его вину, неотвратимо приближая момент расплаты. Ему нет и не будет прощения — у него нет билета! Бежать — и как можно скорее! Исчезнуть — и притом немедленно! И он бежит. Бежит, как не бегал еще никогда в жизни.

Вокзал, огромный и величественный, точно храм, совсем безлюден. Он здесь один, совсем один. Он пытается вырваться из-под власти этого пространства. Но платформы вытягиваются под ногами, растут и множатся, принимая фантастические очертания. И что за наваждение! Куда бы он ни бежал, куда бы ни бросался, всякий раз он попадал на одну и ту же платформу. Те же самые, уже много раз виденные рельсы. Те же платформы, набегавшие слева и справа, замыкались кольцом вокруг него...

Когда он приближался к выходу для пассажиров первого класса, ему показалось, что там никого нет. Надежда вновь затеплилась в нем. Но внезапно перед ним возникли те же лица, те же пустые глаза, безразлично устремленные на него.

Как выйти отсюда? Что делать? Как спастись? И снова лихорадочный бег, которому нет конца. В который раз он влетает на одну и ту же платформу. И снова бежит, чтобы только не стоять на месте.

Вдруг — о счастье! — забор. Тяжело дыша, он подбегает к нему, с надеждой хватается за тонкие железные прутья, не в силах оторвать взгляда от фигур, охраняющих выход. Его руки становятся продолжением, неотделимой частью трухлявой металлической решетки. Прямо за забором, совсем рядом — большая привокзальная площадь. Но его гипнотизируют обращенные к нему сумрачные грубые лица, отдающие синевой заросшие подбородки. Колени слабеют, ноги становятся ватными. И вдруг мысль, которая мучительно бродила в нем во время его лихорадочных метаний по перронам вокзала, сделалась отчетливой до боли. Он никогда не сможет преодолеть эту преграду.

...И снова он услышал, как, надрываясь от радости, засвистел их поезд, возвратившийся из дальней дороги. Веселые огни заливали вокзал праздничным сиянием, сверкали и кружились диковинные часы, теснились на платформе прибывшие пассажиры. Подталкиваемый со всех сторон, он вышел из вагона, держась за материнскую руку. Как он рад, что они наконец приехали, что долгий утомительный путь позади!

Шум вокзала оглушил его. Под огромными сводами раздавались взрывы смеха, гудение голосов, свистки паровозов и громыхание маневрирующих составов. Сквозь плотно спрессованные ряды пассажиров прорывались возгласы носильщиков. Призывные гудки такси время от времени разрезали привокзальную суету. Экипажи всех видов и размеров то бросались наперерез друг другу, то, скучившись, замирали на мгновение, образуя живой клубок. Запруженная толпами пассажиров площадь плыла в волнах мягкого света. После тусклого полумрака поезда яркие огни вселяли радость...

Но вдруг что-то толкнуло его изнутри. Внезапный прилив страха сжал горло. Матери не было рядом. Он потерялся! Он потерял мать в этой толпе, занятой только собой! А люди все шли и шли. Непрерывный поток незнакомых, чужих людей.

Он был совсем один в этом огромном мире. Дороги домой он не знал, как не знал улицы, на которой родился и жил. Ни своего дома, ни матери, ни братьев он не увидит больше. В отчаянии он бросился назад, проталкиваясь в густом потоке людей, рвущихся наружу, и потонул, затерялся среди них. Ему хотелось кричать во все горло, хотелось звать на помощь, но от страха он потерял голос и только беззвучно шевелил губами. Его надрывного внутреннего крика никто не слышал.

Он потерял мать. Теперь ему суждено скитаться по этому таинственному городу. Он будет бродить между трамваями и повозками, автомобилями и людьми. Будет идти куда глаза глядят по длинным пугающим улицам. Будут мелькать стены домов, молчаливые и чужие, и среди них он не найдет родных стен отчего дома... Он чувствовал себя маленьким и ничтожным в безликой толпе. Горячий пот заливал лицо. Рука страха сжала в кулак его маленькое сердце.

Мальчик бежал и бежал, натыкаясь на чьи-то колени и сумки, ничего не видя сквозь теплые соленые слезы. Он слышал свой голос, зовущий мать. Этот жиденький звук был затоптан шагами прохожих. Но мальчик продолжал звать, безотчетно надеясь, что чья-то участливая рука наконец протянется к нему. От страха и усталости он задыхался. Слышал ли кто-нибудь его в пустыне толпы? Мальчик не знал.

Он бежал и бежал, не переставая звать на помощь.

Критика

М. ЛАНДОР

ВЫСОКАЯ ПРОЗА «КРАСНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ»

(К спорам о тридцатых годах в США)

Времена кризиса казались невероятно далекими, когда в литературных кругах США слагали гимны «обществу изобилия»; эти времена словно приблизились, когда было открыто существование «Другой Америки». Старые пролетарские романы, столько лет служившие мишенью для дешевых сарказмов университетских профессоров, вернулись в круг американского чтения. И критики, стремившиеся пробудить общественную совесть, ввели их в контекст духовной жизни 60-х годов.

Прежде всего они отметили в этих книгах, из которых и лучшие были написаны не всегда умело, но всегда о пережитом, те качества романа, что стали редкими в литературе с уже расхожими антигероями и разреженной эстетической атмосферой. В особенности роман Джека Конроя «Обездоленный» поражал ныне своей реалистической свежестью. Там герой, выросший на допотопной шахте «Обезьянье гнездо», получал суровое жизненное воспитание: за ночной сменой на фабрике резиновых набоек — детройтский конвейер, за холодной ночлежкой с бетонным полом — работа мостильщика в адскую жару. Книга Конроя донесла до наших дней опыт поколений, важный для всей Америки. Конечно, романы 30-х осветили и перемены в стране, но ирония истории состояла в том, что судьба парий и жертв «общества изобилия» едва ли стала лучше. Социолог Майкл Харрингтон изучал жизнь нью-йоркского гетто; в послесловии к массовому изданию известного романа Майкла Голда «Евреи без денег» он сравнивает изображенный там жизненный уклад первых иммигрантов со своими впечатлениями. Это сравнение заставляет отметить теперь на Ист-Сайде и куда большую разобщенность, и привычное чувство безнадежности, сменившее упования на «американский успех».

Как видим, пролетарские романы поры кризиса живут и сегодня. Но их возвращение отнюдь не ведет еще к пересмотру наиболее ходовых в либеральной критике представлений о 30-х годах. «Законодателями» выступали тут влиятельные после войны литераторы, отшатнувшиеся от радикализма (крайними приверженцами которого, обычно не столь долго, они были сами). С их легкой руки и повелось представлять это десятилетие как духовно и художественно немощное. В своей книге «Америка со дня на день» (1948) С. де Бовуар рассказала, как удивили ее суждения бывших «левых» интеллигентов, объявлявших чуть не всю довоенную американскую прозу — от Хемингуэя до Колдуэлла, от Стейнбека до Райта — чуждой национальной Традиции. Получалось, что «за исключением Фолкнера все писатели, которых мы любим во Франции, противоречат этой традиции. Они впали в поверхностный реализм, лишенный красоты». Подобный эстетический суд чинился после войны часто. И нынешний спор о 30-х поэтому много шире, чем спор о тех или иных, даже самых громких, именах. Дело идет о том, как оценивать всю эту художественную эпоху.

«Это было ничем не примечательное десятилетие, которое романтизировали до неузнаваемости». Так отзывается о 30-х Роналд Берман, автор книги «Америка в шестиде-

сятые». Разумеется, дискредитировали то десятилетие куда больше. У Бермана были солидные предшественники, и весь его духовный склад отнюдь не оригинален. Преподаватель из Калифорнии, ошеломленный размахом и сложностью антивоенного движения и других движений протеста; либерал-скептик, готовый поиронизировать над «новым позолоченным веком» после войны, но выставляющий подлинным жупелом последующее время дерзкого отрицания; критик, подчиняющий свой обстоятельный обзор духовной жизни США предвзятой мысли: вмешиваясь в общественную жизнь, интеллигенция теряет свое лицо. Поэтому тридцатые для Р. Бермана — лишь дурной пример, их духовные и моральные ценности он попросту сбрасывает со счета; а художественную жизнь тех лет удостаивает нескольких лапидарно-уничижительных фраз. «Что касается литературы, очевидно, что не было другого, столь же бесплодного, времени. Кто теперь читает прозу 30-х или открывает тогдашние эссе?» [1]

Эти фразы вполне можно счесть либеральным клише — столько раз они повторялись в годы холодной войны в академических выступлениях. Но к началу 60-х годов в самой либеральной среде чувствовалось стремление *исследовать* литературную жизнь «красного десятилетия». Этому стремлению и ответила книга Даниэла Аарона «Писатели слева» (1961), сразу получившая немалый резонанс. Обычные до того скоропалительные приговоры заставляли тем более высоко оценить в ней широту привлеченного материала и объективный тон; а уважение автора к людям стойких левых убеждений (во время подготовительной работы он беседовал с несколькими пролетарскими прозаиками) слишком отличалось от маккартистских нравов, еще недавно проникавших и в университеты. Поэтому М. Голд и отметил достоинства этой основательной книги в январе 1962-го в газете «Уоркер». Само собой, он не забывал, что книга Аарона «не марксистская». Но действительно, самые здравые и свежие ее пассажи трудно было бы встретить еще за несколько лет до того в либеральной критике.

Хотя бы этот: «Никак нельзя утверждать, что все реалистические романы, опубликованные в тридцатые, вдохновлялись коммунизмом, но его доктрины поддерживали господствующий радикальный дух, который поднимал многих писателей над мелкими и ничтожными заботами и придавал некое достоинство даже самым любительским литературным изделиям».

Или другое место. Проблемы, занимавшие компартию в первой половине 30-х годов, говорит Аарон и перечисляет эти проблемы, от «тяжелого положения голодных и лишаемых крова» до «стачечной борьбы рабочих», стали заботами самих писателей. «Короткое время американские писатели выпускали романы, стихи, пьесы, критические работы и репортажи, в которых затрагивали грубовато и иногда сильно самые неотложные проблемы американской жизни» [1].

Однако и эти свежо звучащие пассажи дают почувствовать, что именно восприятие тридцатых как художественной эпохи у Аарона весьма уязвимо. Перед его глазами по преимуществу «средний» литератор: от «радикального духа» тех лет он переходит к романисту с нешироким жизненным горизонтом, а то и просто к любителю; и грубоватые трактовки американских проблем упоминает раньше, чем впечатляющие, уже потому, что их было больше. Разумеется, это приводит к явному обеднению эпохи. Ведь несильные писатели играли в 30-е заметную роль лишь тогда, когда открывали нечто новое; в общем же литературное лицо «красного десятилетия» — это лицо большой литературы, проникшейся «радикальным духом». Трудно обойтись и без критерия долговечности. Аарон неспроста говорит о «кратковременном» интересе писателей к общественным бедам: для него вся пора, когда писатели были «слева», значительна, но очень неустойчива и скоротечна,— и духовно 30-е замкнуты в четких границах, это движение сходит на нет к 1940 году. Словно мастерские и глубоко пережитые отклики на события дня не шагнули далеко за этот рубеж,— а грубоватые или любительские изделия не воспринимались и в 30-е как однодневки. Словно на исходе десятилетия не появились вещи, в которых преломился весь его опыт, важный не для одной Америки,— и не стала видна дистанция между подлинно социальным искусством и наивными критическими рецептами, в которых не было недостатка ни в годы кризиса, ни после. Но Аарон, акцентируя в 30-х преходящее, показывает крупным планом все детские болезни левизны в литературе. И именно это, в свою очередь, акцентируют в его книге те, кто хотел бы, в отличие от автора, уже не столько «открыть», сколько «закрыть» ту эпоху, символизирующую для них безголовое бунтарство. Упомянутый Р. Берман пишет: «По крайней мере, во время тридцатых интеллектуалы добровольно и настойчиво прилагали усилия, чтобы деклассироваться». И помещает сноску: «Лучший отчет об этом дал Даниэл Аарон в «Писателях слева». Так с похвалой об этой книге отозвался и автор, выставляющий всю эпоху 30-х художественно-эфемерной.

Но тридцатые прочно вошли в американскую культуру именно потому, что не были отгорожены от других десятилетий. Их ведущие литературные фигуры, как правило сформировавшиеся раньше, были демократами в традициях Джефферсона и Линкольна,— но в атмосфере «красного десятилетия» этот демократизм и смог получить современную окраску. 20-е, с их бунтарским порывом, оставили этому десятилетию свои открытия и нерешенные проблемы. В 30-е перед литературой возникли новые пробле-

[1] Ronald Berman. America in the Sixties, N. Y., 1968, p. 49.

[1] Daniel Aaron. Writers on the Left, N. Y., 1961, pp. 392, 160.

мы, и последующим десятилетиям эти годы оставили свой поиск, требующий продолжения, и художественные решения, поныне остающиеся современными.

Это было творчески насыщенное время для *многих* — и ветеранов, и дебютантов. Ниже пойдет речь о *нескольких* — из числа самых крупных и представительных мастеров прозы. Тех, кто открывал в американской истории и повседневности то, что затрагивает весь свет,— и до наших дней. Это истинные голоса десятилетия, саму память о котором старались стереть рьяные «охотники за ведьмами», внушавшие, что за всем «красным» — адское пламя. Десятилетия, остающегося для отзывчивой и передовой Америки художественно полновесным и близким позднейшим тревогам.

I

В 1966 году романист и эссеист Гарвей Сводос выпустил антологию «Американский писатель и великая депрессия». В нее вошли вещи разного плана — от зарисовки с натуры до очерка-исследования, от образцов лирики до отрывков из эпоса. Здесь было представлено больше тридцати имен—и рецензент «Сатердей ревью» Гренвилл Хикс особо отмечал в книге «волнующий материал, подписанный всем известными именами, которые обычно не ассоциируют с депрессией». Первым он приводил такой пример:

«Уайнсбург, Огайо» Шервуда Андерсона до сих пор проходят по курсам американской литературы, но не многие помнят его «Америку в замешательстве»; однако Сводос находит в ней три или четыре места, вызывающие поразительно живой отклик».

На этом примере мы остановимся. Действительно, эти очерки отлично показывают, что писатель, органично вошедший в мир кризиса, может многое сказать и современному миру. Они напоминают о том, что часто забывали в либеральной среде после войны: *репортаж, обращенный к национальной теме*, был в 30-е высоким искусством,— преемственная связь с ним сохранялась и в образцах эпоса тех лет, включая «Гроздья гнева». Поэтому, говоря об «Америке в замешательстве» (1935), мы выделяем важный аспект прозы этого богатого и сложного периода.

За этой книгой были годы, проведенные писателем в гуще кризиса: заботы и тревоги тех лет рано стали его собственными.

В конце 1930-го Андерсон просит известных граждан поддержать стачечников одного городка Виргинии, отчаянно борющихся за право организоваться в профсоюз. Вскоре начались выселения, исход стачки был предрешен. Тогда-то писатель и выступил перед 2000 бастующих и постарался дать им понять, что они, еще вчера забитые, причастны к вековой борьбе человечества. В неказистом южном городке, привыкшем к нищете и дубинке, он проводил параллели между стачкой — и завоеванием Великой хартии вольностей, стачкой — и революциями, французской и американской. Об этом своем выступлении Андерсон рассказал в одном письме, посланном в январе 1931-го,— а несколькими днями позже отправил другое письмо, выразив свое, к тому времени уже продуманное, писательское мнение: «Рассказ о жизни в Америке следует вести, хотя бы отчасти, изнутри фабрики».

Призывая освоить новую реальность, писатель все 30-е годы спорил и с левыми доктринерами, склонными упрощать задачи литературы и сужать ее сферу. Для него дело шло о продолжении и углублении поиска 20-х годов: стачка заставляет по-новому взглянуть на запутанные и несложившиеся судьбы стольких американцев в век стремительного индустриального развития.

Этот подход сказался и в романе Андерсона, вышедшем в самый разгар кризиса: «По ту сторону желания» (1932). Писатель чутко уловил, как изменили стачки весь облик Юга и как поразили замшелых, сытых и скорых на расправу южан дерзкие стачечницы, с их новыми словами и новыми песнями. Но в романе о кризисе Андерсон пытался (как и в других своих книгах, однако уже в свете иного опыта) разобраться в современном человеческом мире, с его бедами и возможностями, нравственными утратами и потребностями. Этим и определяется значение книги, несильной как художественное полотно, но нащупывающей путь, важный для всей американской прозы. Поэтому книга не прошла бесследно для американских прозаиков—отталкивались ли они от нее или шли дальше за Андерсоном. Большой интерес, то сочувственный, то полемический, вызвала она у А. М. Горького. И, судя по множеству его пометок на принадлежавшем ему экземпляре, у него нашла отклик в этом романе о 30-х чисто андерсоновская критика и поиск. Он отметил, например, слова героини об американских мужчинах, в которых в известную пору умирает духовное. И другие слова этой героини, чьи новые требования к жизни—вызов окостеневшей морали и дедовской логике «респектабельного» Юга: «В современном мужском мире слишком много мысли — и недостаточно мысли».

И до 30-х Андерсон говорил, каким открытием были для него «Записки охотника», но особенно часто эту вещь Тургенева он вспоминал именно в 30-е. И теперь не только потому, что ему была внутренне близка тургеневская новелла и весь этот цикл новелл как художественное единство. Андерсон полемически связывал с этой книгой и свое представление о революционном искусстве. Он имел в виду, что Тургенев, оставаясь прежде всего художником, действительно помог освобождению крестьян,— и настаивал в годы кризиса, что дело художника проникать в глубь национальной жизни, находя человечески-прекрасное в низах. Поэтому старые путевые

очерки и были ближе собственной позиции Андерсона, чем самоуверенное доктринерство тогдашних журналов. «Америка в замешательстве», тоже цикл путевых очерков, перекликается с теми, старыми: мыслью о перемене проникнуто целое, складывающееся из весьма несхожих частей.

Два очерка (из отобранных ныне Сводосом) выглядят контрастными, но и дополняют друг друга. В обоих различимы темы красоты среди убожества, поиска среди тоскливой монотонности. В первом девушки с гор, работающие на фабрике вискозы, тайком собрались вечером, чтобы организоваться в профсоюз: и в этот момент привычное уныние и безразличие после рабочего дня отступили перед возбуждением, вернувшим их лицам и фигурам горную красоту,— и новым чувством товарищества и достоинства. Очерк начат описанием фабричного города, где здания, стоящие всего несколько лет, кажутся уже поблекшими и обветшалыми; и юность понурых текстильщиц, с уже различимыми чертами профессиональной болезни, выглядит столь же неестественно укороченной. Но на тайном собрании, вместе с рабочим достоинством, появляется новая красота — и этот момент Андерсон стремится закрепить. Хорошо бы заменить, говорит он в конце эпизода, обязательный, унылый и уже разваливающийся монумент на главной улице другим. «Как бы я хотел видеть одну из этих маленьких горянок, с тонкими чертами и крепким телом, изваянную в камне настоящим художником, на главной улице этого городка».

И другой эпизод, о безработном. Потрепанное пальто поверх комбинезона и кепка, надетая немного набекрень, словно с вызовом — «О'кей. В конце концов, я не хуже кого другого». Горечь, прорывающаяся в речи бывшего главы семьи, когда он сетует, что не может делать женской работы — стряпать, стирать. И гордость, с которой говорит о своем деле, о машине и фабрике даже тот, для кого не оставила места современная технология. Безработный здесь — янки, проживший всю жизнь на Юге,— восхищается Грантом: полководец северян умел видеть войну как целое, не отдельные битвы; может, и мы, надеется он, увидим как целое то, с чем оказались лицом к лицу. Писателю импонирует жизненная крепость героя — и более чем понятно его смятение; но заключает он очерк словами о том, что считает «самым патетичным»: это «неумирающий такой американский оптимизм» у рабочего, покинутого его цивилизацией.

В комментарии к этому очерку Г. Сводос отметил, что одни и те же качества Андерсона ставят в тупик критиков и делают его дорогим бесчисленным читателям. Речь шла о близости и уважении автора к своему собеседнику, о самом типе ищущего героя и автора, ищущего вместе с героем. При том, что кругозор его, разумеется, совсем иной: за встречами на Юге и Среднем Западе Андерсону открываются противоречия, ощутимые поныне; за отдельными драмами встает драма национальная. «Америка в замешательстве» — репортаж долгого дыхания, одна из самых живых и типичных книг 30-х годов.

О том, как много значил репортаж для всего движения литературы тех лет, совсем по-другому свидетельствует пример Хемингуэя. Тогда же, в 1935 году, писатель послал в «Нью мэссис» свой знаменитый очерк «Кто убил ветеранов войны во Флориде». Тут отклик на события дня всего нагляднее получал национальный размах и разворот — и прежде всего в репортаже сказалось то новое направление, которое приняла в 30-е художественная мысль Хемингуэя.

Защищенная Америка, привыкшая к успокаивающим газетным штампам, оказывается в очерке лицом к лицу с жалко-беззащитной, брошенной умирать в период ураганов, только и способной уцепиться перед смертью за вечнозеленые манглии. Тут автор, «я», встречавший несчастных ветеранов в кабачке Ки-Уэста и находящий знакомых среди раздувшихся трупов в Пятом лагере,— все время переходит в емкое «вы», обращенное ко всей стране. Оно обращено и к модному писателю, тому, что найдет в газетах все, что нужно для его романа. Очерк не дает ему — и всем его благоденствующим собратьям — отвернуться от страшной манглиевой чащи. «Вы» окрашено тут горькой национальной самокритикой. «И вот вы идете вдоль канавы, там, где еще сохранилась канава, и вода теперь спокойная, прозрачная и синяя, и всё почти так, как зимой, когда приезжают миллионеры, только тогда не бывает мух, москитов и запаха мертвых, которые всегда пахнут одинаково, в какую страну ни приедешь,— и вот теперь они пахнут так же на вашей родине». И в конце очерка — последнее обращение к мертвым братьям, ветеранам.

Памяти мертвых посвящено и другое выступление Хемингуэя в «Нью мэссис» — «Американцам, павшим за Испанию». И тут его слово в левом журнале предназначено для всей нации: ибо «наши мертвые», бойцы батальона Линкольна, удерживавшие высоты Харамы, достойны своей истории. И Испания дала Хемингуэю почувствовать, сколь современна эта история. В кратком очерке о чудом уцелевшем последнем командире батальона, молодом коммунисте М. Вулфе, он представил его так: «долговязый, как Линкольн, худой, как Линкольн, и не менее храбрый и хороший солдат, чем любой командир батальона при Геттисберге. Он остался жив и цел по той же случайности, по какой после урагана остается стоять одна высокая пальма».

Небольшие выступления в «Нью мэссис» оказались очень органичны для Хемингуэя — и неотделимы от его большой прозы. Все его тяготение к левым кругам определялось его творческим развитием. Естественно при этом, что Хемингуэй и среди литераторов-коммунистов отстаивал свое понимание литературы. «Мы с тобой выбрали самое трудное ремесло»,— говорил он М. Голду. И добавлял, что писать дьявольски тяжело,— «если по-настоящему писать!» Из тех же мемуаров Мирко Марковича, где приводятся эти слова, мы знаем, что в по-

ру работы над испанским романом Хемингуэй считал вполне нормальной критику товарищей [1]; а из переписки с Милтоном Вулфом, опубликованной в «Американ дайлог» [2], видно, что товарищеские отношения сохранялись у Хемингуэя и с теми, кто с солдатской прямотой критиковал его и кому он столь же по-солдатски, отнюдь не стесняясь в словах, мог ответить. Главная линия размежевания пролегала для Хемингуэя вовсе не между теми, кто принимал или не принимал в левой среде его последние вещи (хотя он и не забывал отметить, что такие американские коммунисты, как М. Маркович и Стив Нелсон, поняли его лучше других). В 30-е годы Хемингуэй с полемической резкостью отделяет себя от литературных норм и нравов мира имущих,— и особенно невыносима для него буржуазная спекуляция на левизне. В «Иметь и не иметь» попросту исхлестан модный писатель Ричард Гордон. Тот, что взялся за роман о жизни рабочих, имея о ней самое трафаретное и бульварное представление. Презрительное «Эх ты, писатель!» он слышит, наконец, от долго сдерживавшейся жены,— это относится и к тому, что Гордон меняет «свои политические убеждения в угоду моде...» И не такое приходится выслушать ему о своих книгах от высокого коммуниста-ветерана, которому Гордон не забыл сообщить, что его новое произведение будет «о Гастонской стачке».

Берясь за тему «Иметь и не иметь», Хемингуэй оставался собой, каким он предстал уже в книге «В наше время». Ибо его тревожное и катастрофическое восприятие эпохи 30-е годы не только не сняли, а, напротив, обострили. Им проникнуты его нарочито-неторопливые описания: и там, где негр насаживает макрелей на крючки (в последний день ловли, перед тем как толстосум, не заплатив, улетит на самолете), и там, где Гарри собирает автомат, предусматривая во всех деталях, как его пустит в дело,—и традиционная «полнота объекта» тем более окрашена зловещим предчувствием. А когда подробно описана бело-зеленая лодка, с мертвыми и умирающим, которую несет течением, и в поле зрения то рыбки, то медузы,— сам умиротворенно-жуткий тон говорит здесь о сосуществовании природы и смерти совсем недалеко от условного мира Ки-Уэста, с его смеющимися туристами и белыми яхтами.

Но именно рядом с традиционно-хемингуэевским так отчетливо видно новое в этой книге, например, образ состоятельной Америки на яхтах в 24-й главе. Здесь появляется хлебный маклер, с его старческими тревогами и длинным списком разоренных и погубленных им простаков,— и, оказавшись в одной с ним «галерее», в более резком и безжалостном освещении предстают и фигуры, которые могли бы найти себе место в «Фиесте». Изощренная литературная культура сочетается в портретах яхтовладельцев с едкой безошибочностью наблюдений бывалого репортера — и рассказ о владельцах сияющих яхт так же оборачивается национальной самокритикой, как и очерк о ветеранах. Достаточно вспомнить пассаж об «отечественной традиции» кольта и смит-вессона, к которой прибегали разоренные самоубийцы, и то, как расписаны достоинства «этих великолепных изделий американской промышленности, таких портативных, таких надежных, так хорошо приспособленных для того, чтобы положить конец американскому радужному сну, когда он переходит в кошмар...» Весьма непривычные 30-е годы подсказали Хемингуэю эту иронически-горькую пародию на привычно буржуазную рекламу.

Каждый художник того времени шел своим путем, и нередко эти пути расходились. Но перед лицом общественных бед снова и снова ощущался «единый фронт». Когда полицейские чины Детройта постарались запретить продажу книги Хемингуэя в этом городе, Ш. Андерсон немедленно высказался так: «М-р Хемингуэй — великий писатель. Ничто из того, что он пишет, никому не может причинить вреда. Было бы куда разумнее бороться со злом, которое он изображает, а не с ним самим».

II

Атмосферу острой полемики, сопровождавшую прозу 30-х, порой не разряжало и приходившее к ней мировое признание. Оно оставалось незаконным в глазах академического мира,— и автора, читаемого на всех континентах, преследовали академические колкости. Достаточно привести запальчивый пассаж об одном из самых известных, взятый из солидного обзора У. Торпа «Американская литература в XX веке».

«Бедный Юг! «Нежные» романисты девятисотых годов изображали его сентиментально до неузнаваемости; а Колдуэлл дал вульгарную его трактовку, которую Франция, Россия и Япония принимают как трезвую (и желанную) правду» [1].

Здесь сквозит недоверие не только к художнику, но и ко всей *правде гротеска*. Это второй важный аспект прозы 30-х, на котором мы остановимся,— и он, действительно, повсюду ассоциируется с Колдуэллом скорее, чем с кем-либо еще.

В лучших его вещах всегда чувствуются «здесь» и «теперь»,— и они далеко выходят за эти рамки. Уроженца Джорджии глубоко интересовали и фермерская Новая Англия, и фордовский Детройт,— он видел свои края в перспективе всей «Американской земли» (как назван его первый сборник). В автобиографии «Называйте это опытом» (1951) он оглянулся на давнюю поезд-

[1] «Иностранная литература» № 8, 1966.
[2] "American Dialog", October—November, 1964.

[1] Willard Thorp. American Writing in the Twentieth Century. Cambridge (Mass.). 1960. p. 262.

М. ЛАНДОР
ВЫСОКАЯ ПРОЗА «КРАСНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ»

ку в эти края, с их запустением и отчаянием, в конце 1930-го; мучительно сдвинутая Америка кризиса формировала само его искусство. И там же писатель говорит о своей теме, не снятой для него и в пору процветания. Это — «воздействие нищеты на человеческую душу». Колдуэлл заставил пережить ее людей разных стран и поколений, найдя к ней смелый подход в своей прозе 30-х.

Широко известны у нас два рассказа, говорящие о разрушении естественных чувств: «В гуще людской» и «Дочка». В обоих берутся крайние случаи: голод и мать (отдавшая свою малолетнюю дочь на поругание), голод и отец (убивший свою дочь, которая просила ночью есть). И оба, как ни различны они по всему своему строю и внутреннему движению, открывают нечто всеобщее в горьких ситуациях кризиса.

Рассказ «В гуще людской» начат с описания мертвой жизни служащего трамвайной компании: «У Джека был серебряный значок, золотой значок, маленький бронзовый трамвай на цепочке карманных часов и оловянный жетон с цифрой «7», почти стершийся». Джек и о женитьбе заговаривает, когда едет с Корой в трамвае по служебному билету,— и дом снимает неподалеку от трамвайного парка. Насколько отупляющая была вся эта жизнь, становится особенно ясно, когда он умирает: Коре трудно отличить его, мертвого, от живого («Дома Джек всегда спал»), а компании — отличить этого, мертвого, Джека, от других Джеков, тоже Миллеров. Рассказ предлагает гротескную пару: безликий человек с жетоном, исчезающий незаметно для компании,— и неизвестно откуда взявшийся у трамвайной остановки «м-р Джонсон», паяц с тротуара, визгливый, трясущийся. В его шутовстве сквозит подленькая осмотрительность, и она оттеняет растерянность Коры, для которой безразлично уже все, кроме голода в семье. От Джеков Миллеров к «м-ру Джонсону»: так все мрачнее открывается «гуща людская».

Совсем иное движение рассказа в «Дочке». Судьба издольщика, обобранного хозяином, обезумевшего — после того как его дочь столько раз днем и ночью просила есть, дается тут в совершенно разном восприятии шерифа и толпы. Шериф — добрый, «домашний», трусоватый; отведя Джима в тюрьму, идет завтракать и приносит ему поесть. Выстрел для шерифа не в диковинку, скорее обычен, он успокаивает Джима: «Ты только не волнуйся, как-нибудь обойдется, приятель»,— ему главное, чтобы и сам Джим, и другие, за стенами тюрьмы, вели себя смирно. Но для толпы, знающей Джима, это что-то чрезвычайное, разом обнажившее неестественность того, что происходит у них на Юге повседневно. «Да разве это можно, Джим, взять да убить маленькую девочку? — сказал кто-то». Это голос толпы, намеренно нерасчлененной, состоящей и из тех, кто пришел рано и кто случайно проезжал мимо. Толпа — напирающая, горланящая, начавшая думать — идет освобождать Джима, а шериф от греха подальше возвращается домой. За всей его «домашней» фигурой с котелком в руке — повседневная бесчеловечность, а толпа сильна человеческой солидарностью. «Дочка» говорит и о гибели, и о возрождении естественного.

В прозе Колдуэлла времен кризиса напору жестоких впечатлений неизменно противостоит и плебейская жизнерадостность, вызывающе-далекая от мещанских прописей, и бьющий через край юмор, столь же далекий от литературных условностей. Не удивительно, что эта проза так рано нашла отклик — и так «привилась» — во Франции. Но и редкие для литературы США качества и достижения таланта можно было оценивать слишком по-разному. В связи с появлением повести «Акр господа бога» (1933), кстати, первой колдуэлловской вещи, вышедшей во французском переводе, У. Торп замечает: «Наконец-то Америка получила автора фабльо». Либеральная широта тут как будто бы налицо, но за ней все та же ученая снисходительность к не очень серьезному автору. А ведь на это «фабльо» сослался и Фолкнер, говоря о своей известной шкале творческой дерзости; Колдуэлл, на его взгляд, принадлежал к первым творцам поколения,— и первых его книг, «Акра господа бога» и рассказов, было бы достаточно для целой литературной карьеры. Это было сказано уже ближе к нашим дням, в 1957-м. А на исходе 30-х, обозревая в своей известной речи в Париже весь путь американской прозы, Драйзер выделил колдуэлловский «Акр», столь характерный для десятилетия. Он увидел в этом «фабльо» одно из замечательных произведений, «в которых освещены экономические и социальные условия нашего времени».

Причудливый ландшафт этой раблезиански-сочной и пряной повести как будто бы далек от социальной реальности. Тай Тай Уолден предоставил выращивать хлопок своим, не слишком усердствующим издольщикам-неграм, а сам с сыновьями уже много лет роет землю, думая найти золото. Однако сквозь эту красочную ситуацию сразу же проглядывают традиционные фермерские добродетели, которые выглядят трагикомичными в новые времена: и трудолюбие (Тай Тай долгие часы не вылезает из душной ямы), и религиозность (один акр своей земли он отдал богу, но раскопки заставляют его все время отодвигать этот акр: непременно должна быть божья землица, но и золото, конечно, должно достаться ему, а не церкви). То, что кажется поначалу фантасмагорией, неожиданно вводит в мир кризиса куда вернее, чем обычные сценки с натуры. Чудак-фермер соотносится с другими колоритными и живыми фигурами,— и гротескный мир повести получает массу точек соприкосновения с Югом кризисных лет.

Толстяк Плуто, кандидат в шерифы и не очень привечаемый ухажер одной из дочерей Тай Тая, жалуется на «тяжелые времена»: расторопные конкуренты везде и всюду, эта пора так же выявляет местных охотников до должностей, как щелок «блох

на спине у собаки». Голодные времена преломлены в фарсе: не только Тай Тай, но и его негры думают не столько о хлопке, сколько о золоте,— а Плуто и представить себе не может, на что он будет жить, если его не выберут. Над раскопками фермера больше всего насмехаются в повести двое. Его сын-нувориш Джим Лесли, разоривший массу сборщиков хлопка и не церемонящийся с бедными арендаторами в городе, произносит вполне «разумные» речи: надо обрабатывать поле, а не рыть ямы. И Вилл Томпсон, муж одной из его красавиц дочерей, все прохаживается по поводу нелепых поисков Тай Тая: ему, фабричному, кажется куда разумнее работать у машин и получать зарплату «по субботам». Однако гротеск у Колдуэлла всепроникающ,— и чудаческое оборачивается всеобщим: обрабатывать землю зовет прижимистый нувориш, а о субботней зарплате говорит тот, кто давно уже ее не получал: на фабрике Вилла хозяева срезали зарплату, и там уже много месяцев стачка.

Заброшенная ферма сопоставлена в повести с южным городком во время стачки. Вслед за Андерсоном (перекличка с его романом здесь очевидна) Колдуэлл стремится лирически «обжить» фабричный городок: красота и горе оказываются рядом в его поэтических пассажах. Красота юных ткачих и шумящих фабрик у реки, в Долине, за увитыми плющом стенами; горе ткачей с окровавленными губами и набитыми волокнами легкими, их жен, голодающих в желтых домах компании, у холодных печей, месяцы стачки — и отчаянно задающих дежурный вопрос, не пустили ли фабрику. Однако и в городе, как и на ферме, Колдуэлл смело переходит от трагедии к фарсу: земная природа дает о себе знать и в век фабричной апатии. Юмор, помогавший народу пережить столько времен упадка и отчаяния, проникает и всю эту книгу.

С народной закалкой связана здесь и сама художественная дерзость Колдуэлла, его резкие сдвиги не только от трагедии к фарсу, но и от самого жалкого — к эпическому.

Это особенно проявилось там, где рассказано о самовольном пуске фабрики,— и в финальных сценах. Вилл Томпсон включает ток — и герой фарса, фабричный выпивоха и «язычник», которому приходилось и сигать из окна в чем мать родила, становится героем эпоса, воплощением общих надежд и общей силы. Меняется в этот день и толпа фабричных — после месяцев ожидания к своим станкам идут люди, не опускающие глаза: утреннее солнце бьет в окна фабрики и отражается на их лицах. Когда фабрика занята, минуты эпического торжества: в знак возобновления работы рубашки ткачей летят из всех окон на зеленую землю. И — горькое возвращение, после того как убит смельчак Вилл и остановлена фабрика: медленная понурая толпа, солнце словно покрыло тонкой пленкой крови бледные спины. Сама смерть Вилла дается в разных поворотах: человек народа стал легендой («Он принадлежал теперь всей Долине Лошадиного Ручья»); смерть освободила его от того, что предстоит другим — тем, кто будет еще на фабрике вдыхать в легкие хлопковые волокна. Но народ переживет любую трагедию,— поэтому и возможен тут резкий сдвиг к фарсу, к детским страхам кандидата в шерифы, боящегося, как бы в фабричном городке ему не перерезали горло от уха до уха.

Еще более резкими переходами изобилует последняя глава повести. Джим Лесли приехал в своем роскошном автомобиле на запущенную отцову ферму, думая увезти красавицу Гризельду, жену брата,— тот стреляет в нувориша,— а Тай Тай, трагикомичный в своих беспомощных попытках помирить сыновей, теперь все повторяет, что на его земле пролилась кровь. От умирающего Джима Лесли, человека новых времен, повесть переходит к эпическому концу фермерской традиции: и она в корчах. Кровь заставила Тай Тая иными глазами взглянуть на свою изрытую землю. Привычную до того, что, возвращаясь домой, он жаждал увидеть груды красной глины у ям,— и существовала особо точно описанная техника, как после дождей, с помощью пожарного шланга, вода спускалась из более высоких ям — в лежащие ниже: в этих описаниях эпическая «полнота объекта» преломлялась в трагикомическом гротеске. А теперь Тай Таю открылось запустение и заброшенность всей его земли без зелени и растительности; и нет больше веры, что найдется золото (единственное, что может вернуть фермеру вроде него самостоятельность былых времен), и нет сил засыпать ямы, чтобы земля зазеленела. Фермер-философ, поклоняющийся языческой красоте и оценивший пейзаж, поднявший простой вид до искусства, в доме злосчастного Джима Лесли чувствует конец своего мира. Но, если на заветном акре совершилось убийство, пусть этот акр теперь всюду сопутствует сыну, которого будут преследовать власти. А если земля больше не зазеленеет, остается яма, куда спускается со своей лопатой Тай Тай в конце повести.

Так стачка и весь фон кризиса, «тяжелых времен», оказались органичными в повести, чей гротескный мир имеет отношение к миру отнюдь не только 30-х годов. Важно, что у фигур Тай Тая и Вилла тут сходная основа, столь же фарсовая, сколь и эпическая. Конечно, Фолкнер, видевший в своем бедном фермере Энсе Бандрене («Когда я умираю», 1930) то фарсового краснобая, то живое воплощение вековых утрат и горя, должен был оценить эту повесть. И оценить в ней ту смелость, с какой искусство закрепляет происходящее «сейчас» — и по соседству с ним. Но романист из Миссисипи, воспитанный на Джефферсоне, никак не мог быть в эти годы безразличен и к «злобе дня». Его затрагивало и то, что могли первыми открыть, по горячим следам, в ходе самого кризиса — и у него на Юге—

М. ЛАНДОР
ВЫСОКАЯ ПРОЗА «КРАСНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ»

пролетарские романисты. В его библиотеке хранилась книга Грейс Лампкин «Заработать хлеб насущный» — с фолкнеровским автографом, помеченным 1 сентября 1932,— иначе говоря, книга была прочитана сразу. Был в его библиотеке и роман о стачке уже не в южной, а калифорнийской долине: книга молодого Стейнбека «В сомнительной схватке». И если до сих пор нет недостатка в критиках, для которых проза Фолкнера 30-х годов глухой стеной отделена от 30-х годов, то Драйзер, например, всегда смотрел на дело совершенно иначе. В Париже он назвал Фолкнера вместе с Колдуэллом как представителей «подлинной литературы Америки», а до того, в 1934-м, в беседе с корреспондентом «Правды», имея в виду социальную остроту их романов, мог назвать Фолкнера и рядом с такими именами, как Конрой и Голд.

Разумеется, творец Йокнапатофы резко выдвинулся в литературном мире; и не только его проза, но и его уединенная жизнь в глуши ставили его особняком. Однако Йокнапатофа сложилась именно в 30-е годы, став, вероятно, наиболее значительным достижением этих лет. Писатель из аристократического рода глубоко пережил эту самую тревожную и самую «демократическую» в нашем веке американскую эпоху.

Это вполне проявилось в том, как осветил он совсем другую эпоху — гражданской войны — в рассказах, составивших том «Непобежденные» (1938). Для Фолкнера это было возвращение к его первоосновам: он не раз вспоминал, что та война жива для него с детства — и больше всего он узнал о ней от своих незамужних теток, не примирившихся с поражением. Здесь рассказы о войне — это и рассказы о детстве, на первом плане подросток Байард Сарторис и его черный товарищ по играм, Ринго. И в таком подходе к войне — неожиданная критическая острота, не всеми замеченная. Романтика Юга с первого эпизода снижена здесь до детской игры,— и в атмосфере игры открываются шаткость и неотвратимый крах всего плантаторского уклада. Война, ставшая легендой, изобилует трагикомическими перипетиями,— и на глазах у Байарда доблесть южных воинов и церемонный кодекс южных леди теряют свой идеальный вид, если не становятся попросту гротескными; а незапятнанная добродетель, чудаческая с самого начала, сходит на нет в атмосфере отнюдь не ребячески-безгрешной игры. Но уже вскоре за детской игрой открывается в глубине сцены самое серьезное: негры, взволнованные вестью об освобождении. И это — в среде преданных, «патриархальных» слуг. Молодой Луш возбужден приближением войск северян: «Генерал Шерман пройдет всю землю, и вся раса выйдет на волю!» Но старуха Лавиния, много повидавшая на своем веку, смотрит на вещи реальнее: «Ты что, думаешь, на свете хватит янки, чтобы побить всех белых?» Так рядом с возбуждением привычная трезвость и комизм как реальная поправка к патетике. Но во всей этой книге, по-фолкнеровски трагикомичной (весь тогдашний Юг для него не менее «сдвинут», чем современный, кризисный — для Колдуэлла), выделяется патетическое описание негритянской лавины, спешащей к реке Иордан. Это образ библейского горя и библейской мечты: не считаясь с расстоянием, запыленные, потные, идут все, кто может идти, не замечая никого и ничего вокруг, только слышится тихое пение и шелест ног по дороге,— и всю толпу ведет уверенность, что впереди Иордан и пришло, наконец, небесное царство на земле. В этом новом изображении негров, с их исступленной мечтой и неизменно-горькой долей, всего непосредственнее сказался в книге опыт 30-х годов. Тогда же, в 1939-м, эту поразившую его сцену выделил в книге Фолкнера Элио Витторини.

Время помогло писателю-южанину по-новому увидеть негров, со всей их многострадальной историей. Оно помогло ему в иной перспективе увидеть и судьбу фермерства.

Как известно, «Деревушка» была начата еще в конце 20-х годов, но вышла в 1940-м — и несла на себе печать пережитого десятилетия. Десятилетия, когда внимание Фолкнера привлекали общественные движения разных стран, включая и Испанию, и Китай, и, конечно, его особенно затрагивала в столь разных странах и движениях активная роль крестьянства. В 1938 году он заявил по поводу Испании, что был и остается «противником Франко и фашизма, всех мятежных действий против законного правительства и преступлений против народа республиканской Испании». Как и Хемингуэй, он менялся вместе с временем, оставаясь собой; как раз о Хемингуэе он сказал очень точно в 1957-м, что «По ком звонит колокол» посвящен той же проблематике, что и остальные его книги,— и в известном смысле каждый писатель пишет всю жизнь одну книгу,— но на этот раз именно Испания заставила его сделать новую попытку разрешить свою основную тему. «В действительности он не писал прежде всего об Испанской гражданской войне, а писал об условиях человеческого существования, со всем волнующим и трагичным, что поразило его в ходе этой войны». Точно так же и «Деревушка» была извечно фолкнеровской книгой о фермерах, с гротескными фигурами, переходами, поэзией,— но страницы о давно минувших днях фермерской вольницы заставляли почувствовать, как прочны корни в современности у писателя-эпика, остро воспринимающего в своей южной глуши и то, что происходит в других концах планеты. С поэзией деревенской вольницы связан и размах всей трилогии, и неминуемое поражение Сноупсов.

В «Особняке» непосредственно сказался и опыт времен кризиса. Ведь судьба каторжника Минка, его мытарства и весь его столь непарадный американский опыт — все это по материалу не так уж далеко от известной нам прозы и лент 30-х, вплоть до фильма «Я — беглец из кандальной команды». Но в том-то и дело, что общий опыт,

проведенный через Йокнапатофу и человека Йокнапатофы, возвращается к нам преображенным и неповторимым. Неповторима и Линда — и едва ли не наиболее существенно, что без нее, как будто бы посторонней в Йокнапатофе, не полна фолкнеровская вселенная. Фолкнер, как и Хемингуэй, мог спорить с коммунистами, упрекая их в узости; но более широкий взгляд на век, проникающий «Особняк», неотделим от появления рядом с южанами-донкихотами странной женщины из мира благородного политического действия.

Перед самой смертью Фолкнер сказал в одной беседе, что «помнит депрессию». В связи с этим шел разговор о позиции писателя. Фолкнер заметил, что, если тебя волнует социальное зло, это непременно скажется в твоих книгах: Фолкнер предостерегал от риторики и дидактики, от забвения того, что искусство есть искусство. Собственно, «Особняк» лучше всего и показывает, что он имел в виду. Показывает он и то, что 30-е годы оставили след и в литературе следующих десятилетий. Именно глубокое художественное исследование жизни, во многом изменившейся после войны, требовало пристально вглядываться и в Америку 30-х. Военная каторжная тюрьма, столь сильно показанная в армейском романе Джонса; выселение негритянской семьи, с ее нищим скарбом, где джойсовски-детальное перечисление пестрых предметов наводит на горестные мысли о всей негритянской истории — в романе Эллисона «Человек-невидимка»; трущобы Чикаго, где все призрачно, но так реальна безысходность нищеты для думающего разносчика чеков из рассказа Беллоу «В поисках мистера Грина»,— закрепленные высоким искусством образы «трагической Америки».

■

Американские 30-е годы нашли немедленный и широкий отклик у антифашистской интеллигенции Европы. И в первую очередь надо назвать итальянских писателей, участников Сопротивления, воспринимавших американскую прозу как кровно-близкую. Элио Витторини работал над переводом «Акра господа бога», а Чезаре Павезе, поначалу отталкивавшийся от Фолкнера, очень высоко оценил его «Непобежденных» и выпустил свой перевод «Деревушки» в 1942 году. А в 1947 он писал в туринском издании «Униты», в статье «Вчера и сегодня»: «В те годы американская культура дала нам возможность увидеть, как развертывается, словно на гигантском экране, наша собственная драма».

Но если 30-е годы получили такой мировой резонанс — и в самих США отнюдь не умерли для лучших писателей «процветающих» 50-х, — то либеральная американская публика, не без помощи Маккарти, привыкла судить о них уничижительно. Поэтому так легок оказывается путь от либерального полупересмотра шаблонных представлений о них в стиле Аарона к возвращению на «исходные» (к началу 60-х), негативно-пренебрежительные позиции в стиле Бермана.

На этом фоне резко выделяется Сводос со своей антологией. Он исходит из того, что 30-е были замечательной культурной эпохой. И справедливо относит к ней как высокие образцы прозы, так и работы первооткрывателей и далеко не всегда мастеров, вводивших в искусство новый опыт; убедительно говорит об особой роли репортажа в литературной жизни десятилетия; рассматривает ведущие фигуры американской прозы как искренних радикалов, обеспокоенных национальными бедами. Все это было не столь часто в США в 1966 году, когда Сводос выпустил антологию,— остается не частым и сейчас.

Однако резкое противопоставление 30-х и послевоенных лет в литературе выглядит у Сводоса несколько схематичным (и в предисловии к антологии, и в статье для «Нью-Йорк таймс», напечатанной до ее выхода, в 1965 году). 30-е, на взгляд Сводоса, были окрашены широкой трактовкой национальной темы; тогда задавали вопрос: «Кто мы такие?» Послевоенные же писатели предпочитают задавать вопрос: «Кто я такой?» А тем временем разговор об обществе, на своем уровне и в своих спекулятивных целях, заводят авторы ходких книг. В давнем и недавнем прошлом и европейские мастера автопортрета «не уклонялись» от попыток схватить образ своего мира. Тем более ясно, что это — традиционное дело романа. Поэтому Сводос и говорит в своем предисловии, что новому поколению есть чему поучиться на опыте 30-х.

Но ведь потому и получил такую популярность среди этого поколения Вулф, что оно нашло в его романах близкое себе «я». Лучше вести аргументацию от американской традиции лирической прозы, от самопознания, требующего и познания всего мира, от «я», расширявшегося, как у Вулфа в 30-е, и сужавшегося, если не становившегося банальным, у стольких послевоенных писателей. В больших вещах и Эллисона, и Беллоу герои как раз спрашивают себя, кто они такие,— и за горькими встречами и сценами поры кризиса им открывается, внутри разросшегося современного города, жизнь «глубинной» Америки. Линия лирической прозы, восприимчивой к общественным бедам, не прерывалась в США, сколько бы ни хоронили в либеральном кругу наследие довоенных лет.

Споры вокруг 30-х получили новую остроту в связи с выступлением радикального историка Кристофера Лэша против тех, кого он назвал «интеллектуалами холодной войны». Речь шла о группе, включающей видные литературные фигуры: нередко они принимали на веру и поддерживали официальные мифы — и при этом без конца сеяли недоверие к самым основам критического мировоззрения, общего для интеллигенции

М. ЛАНДОР
ВЫСОКАЯ ПРОЗА «КРАСНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ»

кризиса. Именно в этом кругу и поддерживалось представление о художественной несостоятельности 30-х годов. Поэтому выступление Лэша против этой группы, убедительно доказывающее, что ее общественная активность, особенно в период маккартизма, не принесла чести американской культуре, очень важно.

Однако не менее важна в его книге «Агония американской левой» (1969) общая постановка вопроса о радикальной традиции. Поколение 60-х годов, к которому принадлежит Лэш, оказалось отрезанным от предшествовавшего радикального опыта. Тем более остро он чувствует, как необходима радикальная традиция — и ее непрерывность — для всей культуры. И в студенческом движении, и в движении борьбы за гражданские права он видит повторение детских и порою крайне несимпатичных крайностей, которые можно было наблюдать и у прежних поколений. И если позиции самого Лэша порой дают почувствовать, в каком радикальном «вакууме» он рос и формировался, то безусловное сочувствие вызывает его ориентация на зрелость и глубокое усвоение опыта прежних поколений. В связи с 30-ми годами он ставит, например, вопрос о безбоязненном художественном исследовании жизни и догматических предписаниях, исключающих его. Вопрос этот не раз возникал с тех пор, в частности, когда иные литераторы-негры встретили с предвзятым и резким осуждением роман Элисона. Однако позицию этого автора, открывшего новое в негритянской жизни, поддержал такой ярко выраженный человек 30-х годов, как Лэнгстон Хьюз; поддерживает ее и Лэш.

Разумеется, исследование высокой прозы и высокой традиции 30-х годов с точки зрения глубоко понятой традиции американского радикализма еще впереди. Но и сейчас ясно, что не было в США художественной эпохи, когда они были бы так органично связаны — и так поддерживали друг друга.

Д. ЗАТОНСКИЙ

СТРАНИЦА АВСТРИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Бруно Фрей недаром начал свое вступительное слово к сборнику «Мимо течет Дунай. Современная австрийская новелла» (М., «Прогресс», 1971) с вопроса, обладает ли его родина самостоятельной национальной литературой. Это вопрос коренной, и споры вокруг него ничуть не моложе самого понятия «австрийская литература». Алоиз Блюмауэр возражал в 1782 году берлинцу Фридриху Николаи: «Австрийское государство, которое во всем остальном проявляет мужскую зрелость, в области литературы все еще считается несовершеннолетним и вынуждено принимать дорогостоящие поучения со стороны чуждых, непрошеных духовных наставников».

И за двести без малого лет, что с тех пор утекли, не так уж много изменилось, хотя австрийская литература успела дать миру Грильпарцера и Штифтера, Шницлера и Гофмансталя, Рильке и Музиля, Стефана Цвейга и Кафку, Рота и Верфеля, Броха и Додерера. Напротив, кое-что даже усугубилось. Особенно с того времени, как Австрия превратилась в небольшую республику, которая к тому же семь лет провела в насильственном «аншлюсе» с германским соседом.

Где начинал печататься Роберт Музиль? У Мюллера в Мюнхене и у Ровольта в Берлине. Кто выпускает книги Додерера? Мюнхенское издательство «Бидерштайн». Кто открыл и разрекламировал в самые последние годы Томаса Бернхарда, Петера Хандке, Г. Х. Артмана, Герхарда Рюма, Герхарда Фрича? Западногерманские книготорговцы, западногерманская критика. Финансовая мощь и сравнительно обширный читательский рынок позволяют им при случае даже пойти на риск. Но это не благотворительность, не меценатство. Помимо обычных барышей, выигрыш состоит еще и в том, что у австрийских собратьев как бы отнимается право на самобытность. Всех их — давно умерших и ныне живущих — растворяют в едином потоке германской литературы. Духовный «аншлюс» продолжается, даже после конца политического...

И австрийской литературе нелегко. В ее распоряжении, кажется, только два более или менее жизнеспособных отечественных издательства («Отто Мюллер», Зальцбург, и «Стясны», Грац-Вена) и лишь один-единственный журнал — австрийский ежемесячник «Литератур унд критик». Предшественник этого журнала — «Ворт ин дер цайт» — был первым в истории страны изданием такого рода, продержавшимся десять лет подряд. «Литератур унд критик» стоит на ногах еще крепче — так, по крайней мере, уверяют его редакторы. Но весной 1969 года один из них (Герхард Фрич) покончил с собой. «Мотивы этого акта отчаяния,— объясняют основатели «Фонда Герхарда Фрича — Общества содействия австрийским авторам»,— следует не в последнюю очередь искать в той чрезвычайно критической ситуации, в которой сегодня находится австрийский писатель».

Но этот писатель несомненно существует. В чем же его особенность? Уже Франц Грильпарцер в эссе под названием «Чем отличаются австрийские художники от прочих?» (1873) пытался ответить на этот вопрос — и «прочими» для него были только немцы, ибо несхожести с кем-нибудь другим никто, собственно, не оспаривал. Австрийцам, по Грильпарцеру, присуще стремление к наглядности, конкретности, чувство

меры, искусство изображения; для немцев же (особенно под «пагубным влиянием» Гегеля) характерна тяга к безграничному прожектерству. И очень похоже противопоставляет друг другу австрийца и пруссака Гуго фон Гофмансталь: первый стабилен, традиционен, предметен, не чужд гедонизма, склонен иронизировать над самим собой; второй—подвижен, антитрадиционен, карьеристичен, самодоволен и влюблен во все грандиозное.

Такое сталкивание лбами неких среднестатистических (и, следовательно, в природе не существующих) «национальных типов» не лишено надуманности, предвзятости, наивности. Не придавая им абсолютного значения, не будем все же вовсе пренебрегать наблюдениями Грильпарцера и Гофмансталя. Тем более что они подтверждаются при рассмотрении вполне определенных творческих индивидуальностей.

Сочиняя в 1924 году газетную заметку о Музиле-рассказчике, Альфред Дёблин был далек от того, чтобы оценивать этого писателя как «австрийца». И в конце заметки Дёблин противопоставил ему Франка Ведекинда не в качестве «немца», а просто потому, что «это ужасное заблуждение критиков: каким бы то ни было способом связывать Музиля с Ведекиндом...» Но самое интересное — причины, по которым (как считает Дёблин) их нельзя связывать: «...они — растения, происходящие из совершенно разных стран; и как личность, и как художника целый мир отделяет догматика и моралиста Ведекинда от математика, приверженца теории познания, скептика Музиля». Не правда ли, здесь есть сходство с грильпарцеровскими или гофмансталевскими собирательными портретами?

«Несмотря на гофмансталевскую схему «Пруссак и австриец»,— пишет в своей книге «Молчание сирен» (1968) литературовед Гейнц Полицер,— ...я не могу со всей определенностью сказать, в чем своеобразие страны, из которой происхожу, и в чем «духовный склад» литературы, которой уделяю столько внимания в этой книге. Тем не менее своеобразие, особый «духовный склад» существуют... «Австрийское» — больше, чем традиция или ландшафт, больше, чем наследие или интонация; склонность к «бегству от величественного», к «самокритике» присуща нашей литературе, однако ни в коей мере не исчерпывает ее специфики».

Эта специфика — производное от исторических судеб как страны, так и самой литературы.

То, что можно бы назвать «австрийским самосознанием», возникло и, главное, стало усиленно культивироваться где-то около 1806 года. В том году здешний монарх из Франца II, сюзерена Священной римской империи германской нации, превратился во Франца Первого, императора Австрии. Тем самым Австрия как бы отказывалась от претензий на главенство в «немецком мире». Все ее внимание сосредоточивалось на тех (по преимуществу славянских) землях, которые она захватывала в ходе многовековой борьбы за это главенство и даже определенным образом ради него: ведь Габсбургам непременно надо было стать достаточно сильными перед лицом бранденбургских, саксонских, баварских, вюртембергских и прочих соперников.

В качестве одного из следствий этой идеологической переориентации начинает складываться представление, что под «австрийской литературой» следует разуметь весь комплекс литератур, развивавшихся в границах бывшей Австро-венгерской монархии. Нет сомнений, сосуществование в этих границах накладывало определенный отпечаток на самых различных чешских, венгерских или балканских писателей. Тем не менее стать на точку зрения, отстаиваемую ныне, например, Йоганнесом Хесле, значит по сути отказать доброму десятку народов в духовной самостоятельности. И еще это значит признать, будто то, что соединили Габсбурги, оказалось не более или менее случайным политико-географическим конгломератом, а чем-то вроде органического единства, средоточия воли и духа «Центральной Европы».

Это, кстати, и было идеей министров кайзера Франца, когда они его из «второго» переделывали в «первого». Идея консервативная, направленная на сохранение, оправдание уже существующего, а не на завоевание будущего. Ощущение исторической неподвижности являлось новым способом самозащиты для стареющей, анахроничной уже державы.

Здесь — по мнению триестинца Клаудио Магриса, автора книги «Габсбургский миф в австрийской литературе» (1963),— и следует искать начало этого «мифа». Он вырастал на представлениях о надклассовой патриархальности, сверхнациональной идилличности, мудром либерализме, «которые более столетия служили, — как справедливо замечает Магрис,— ...острейшим инструментом власти и духовной опорой габсбургской монархии».

Однако легенда о сказочной дунайской империи по-настоящему овладела чувствами некоторых австрийских писателей уже после того, как ее карточный домик, сдутый ветрами войны и революции, рассыпался. И все эти писатели, по Магрису, без всякого исключения стали «пленниками габсбургского мифа».

В самом деле, скажем, для Стефана Цвейга (когда он стал изгнанником в годы второй мировой войны) «вчерашний мир» его полузабытой родины превратился в «золотой век безопасности»: «Все в нашей почти тысячелетней австрийской монархии казалось навеки созданным, и само государство выступало в качестве высшего гаранта этой нерушимости... Каждый знал, чем обладает или чем ему обладать полагается, что позволено и что запрещено. Все имело свою норму, свою определенную меру и вес».

Время между 1871 и 1914 годами не одним австрийским художникам виделось «золотым веком», но у австрийских видение это повторяется навязчивее. И не только по причинам, названным Магрисом. Послереволюционная Австрия — крохотный обломок им-

перии — попала в парадоксальное положение «провинции своего собственного прошлого», как назвал это Пауль Крунторад, бывший редактор журнала «Литератур унд критик».

Кто бывал в стране, не мог этого не заметить: обломки былого величия на каждом шагу. Один из них — Вена, столица, в которой живет чуть не четверть нации, огромная голова на скромном туловище. И австрийские писатели тоскуют не по Францу-Иосифу (пусть некоторым даже кажется, что по нем), а по масштабу, размаху, богатству впечатлений, конфликтов, событий, идей — одним словом, по всему, без чего немыслимо возникновение и развитие великой культуры.

Венгры, чехи, словенцы, поляки ничего не потеряли от крушения империи — наоборот, они получили возможность развивать свою национальную культуру. Австрийская же культура утратила живой контакт с окружавшими австрийцев народами.

Славянские, например, литературы (в границах габсбургской монархии) никогда не входили в ту единую «австрийскую», которая примерещилась Хесле: слишком сильны были центробежные силы. Но что до литературы Австрии на немецком языке, то вне влияния славянского мира она лишилась бы львиной доли своеобычности.

Айзенрайх пишет о Додерере: «В нем снова стало истинным нечто, превратившееся уже было в пропагандистское клише, а именно, что Австрия, особенно Вена, и вправду лежит между частями света и является мостом, перекинутым над вообще-то разделяющей пропастью».

Сегодняшняя официальная и полуофициальная Австрия стремится вернуть хоть что-нибудь из утраченного: ей желательно, например, снова видеть Вену метрополией «центральноевропейского духа».

У министров свои цели, у писателей — свои. И австрийских писателей, налаживающих связи с соседями, необязательно подозревать в некоем «имперском» политиканстве. И все-таки мечта объединить литературы Центральной Европы на «венской основе» не просто утопична, она еще и мечта вчерашнего дня.

«Короткое замыкание австрийской послевоенной литературы,— полагает Пауль Крунторад,— можно определить следующим образом: современные писатели понимают, что из величия Музиля, Броха, Рота ничего не извлечешь для себя (все трое обозначают конечный пункт как по технике, так и в смысле эволюции культуры). Но современные писатели опасаются признать, что с этой традицией нет более точек соприкосновения, и начинают копировать, даже преувеличивать самые заметные признаки старого... Традицию не используют как трамплин для броска вперед, напротив, в ней видят врата, ведущие к царству мифа, которое уже per definatorem несет в себе величие».

Так, весомость австрийского прошлого вроде бы предписывает настоящему консерватизм. И Айзенрайх уверяет, что было в австрийской литературе три генерации (поколение Грильпарцера, затем то, которое родилось до 900 года, и, наконец, современное) и будто всем им в равной мере присущи чувство дистанции, отказ от политической активности, недоверие к быстрым переменам, сомнение в достоинствах модернизма.

Помню, как в ходе организованной «Австрийским обществом литературы» международной писательской дискуссии на тему: «Литература как традиция и революция» (это было в апреле 1967 года) Айзенрайх произнес, попыхивая трубкой: «Когда я смотрю на произведения модернистского искусства, мне по большей части приходят в голову слова, сказанные кем-то о нацизме: «Что ново, то дурно, а что хорошо, то не ново». Это — осуждение модернизма «справа». Да, собственно, и нацизма тоже, поскольку Айзенрайх назвался... «монархистом». Правда, лишь из-за того (как сам объяснил), что сейчас у них республика, а будь монархия, ему бы пришлось податься к республиканцам...

Есть тут, вероятно, элемент игры, даже какого-то нарочитого вызова, эпатажа—как, впрочем, и во всей пресловутой симпатии австрийцев к патриархальному.

Так не преувеличивают ли Крунторад и Магрис прочность этой симпатии, тем более ее неизбывность? Зальцбургский филолог Вальтер Вайс полагает, что преувеличивают:

«Противопоставляя габсбургскому мифу,— пишет он,— некий совершенно иной мир, но столь же абсолютный, так же принимаемый за высший масштаб, как на другой стороне адепты австрийской идеологии принимают за него все австрийское, Магрис искусственно сужает свой кругозор и отказывается от необходимой дифференциации».

В самом деле, Австрия (даже Австрия давняя) знает не одних только иронических скептиков и консерваторов: достаточно вспомнить мятежного поэта первой половины XIX века Николауса Ленау. Да и среди авторов, представленных в сборнике «Мимо течет Дунай», есть по меньшей мере два человека, биографии, убеждения и творчество которых никак не мирятся с магрисовым штампом. Это Гуго Гупперт — ветеран рабочего движения, поэт и переводчик, знаток советской поэзии. Это Франц Кайн— борец против фашизма, узник концлагеря, партийный журналист, чьи лучшие вещи (новелла «Мимо течет Дунай», давшая название всему сборнику, 1961, и роман «Поднялся фён», 1962), такие *австрийские* и в то же время одухотворенные идеей перестройки мира, выдвинули его в первый ряд писателей его поколения.

Это примеры не только убедительные, но и, так сказать, лежащие на поверхности. А стоит присмотреться и к тому, что не бросается сразу в глаза. Например, задуматься над вопросом: так ли уж скептичны

Д. ЗАТОНСКИЙ
СТРАНИЦА АВСТРИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

австрийские скептики и консервативны консерваторы?

Среднее поколение австрийских писателей после второй мировой войны начинает привлекать к себе внимание. То есть мир интересуют именно Рот, Музиль, Брох, Верфель.

Впрочем, даже Магрис готов признать, что «...как раз в бурные годы своего кризиса пронизанная традиционализмом и тоской по прошлому габсбургская культура выработала некоторые из самых жизнеспособных ферментов культуры современной... Эти ферменты сохраняются (от Кафки до Музиля) литературой прямо-таки потрясающе модерной».

Что же это за «модерность»?

В романе «Человек без свойств» (1923—1942) Музиль писал об Австро-Венгрии: «Она, согласно конституции, являлась либеральным государством, но ею управляли клерикалы. Ею управляли клерикалы, но население исповедовало свободомыслие. Перед законом все граждане были равны, но не все были гражданами».

Эта картина настолько далека от идиллии, что трудно вообще понять, почему Магрис и самого Музиля, и его роман относит к «габсбургской культуре». Ведь писатель вполне отдает себе отчет в реальных противоречиях огромной, немощной империи, где изъеденное ржавчиной средневековое зло усугублялось новым злом буржуазного распада. Все там сдвинулось со своих мест, все перепуталось, смешалось, извратилось, приобрело оттенок фантастический, вид причудливый. Страна, в которой история шла с таким запозданием, может быть именно по причине отсталости и нежизнеспособности, опередила в развитии (или лучше сказать: «разложении»?) некоторые классические твердыни капитала.

Каждый из больших австрийских художников чувствовал, что после крушения двуединой монархии кончается целая эра в жизни человечества. Монархия — и при жизни своей, и тем более после смерти — служила им «моделью», на которой они изучали судьбы всего буржуазного мира.

Разумеется, каждый из них воспринимал происходящее по-своему. Кафке, например (из особой личной да еще и особой пражской перспективы), оно виделось в огнях Апокалипсиса. И не потому, что он скорбел о существующем и уходящем. Может быть, он даже острее некоторых своих коллег, сохранивших верность реализму, ненавидел окружающее; но он был одинок, потерян и ничего не ждал впереди... Йозеф Рот, напротив, не воспринимал мир как параболу, а старался в «Иове» (1930) или в «Марше Радецкого» (1932) закрепить его с помощью тщательнейшего социального анализа. И хоть анализ этот не лишен порой некоего иррационального привкуса, в целом возникала картина ироническая, остро-критическая, но в то же время окрашенная симпатией к старой Австро-Венгрии. А Роберт Музиль взвешивал, выверял, вычислял: в экспериментальных целях, во имя постижения истины, ради разоблачения усталой, опустошенной, катящейся в пропасть системы. Он менял местами добро и зло, правду и ложь, сравнивал их, сталкивал, пока им же созданная великолепная сатира не начинала вытекать между пальцами, не поглощалась релятивизмом мысли.

Каждый, кто впервые встречается с австрийской литературой, не может не обратить внимания на странную двойственность. Скажем, Франц Верфель в «Сумерках одного мира» (1937) превозносит «мудрую и грандиозную статику» габсбургской власти, «которая выражалась в поразительной способности оттягивать решения, обходить или дробить проблемы». И все же писатель великолепно сознает, что «статика» — не более как трусость приговоренной к смерти формации, ибо «каждый шаг, даже самый короткий, ведет к бездне».

Это—двойственность не только литературы, а и самой действительности. Ведь соткана она была в старой Австрии из множества парадоксов, которые не могли не отливаться (кроме всего прочего) и в парадоксы стиля — рационального и гротескного, предметного и символичного, скептического и чувствительного одновременно.

Устойчивая, бюрократически регламентированная поверхность жизни и ее зыбящиеся, ежесекундно грозящие обвалом глубины, где каждый шаг ведет к бездне,— таковы характерные признаки современного западного бытия. По крайней мере, в наиболее развитых странах: они поражены духовным недугом, не менее опасным и не менее мучительным, чем экономические кризисы 20—30-х годов.

Но разве австрийские художники не встретились с чем-то подобным еще в «золотые дни» Франца-Иосифа, уютного и легендарного монарха? И разве, например, новелла Стефана Цвейга «Амок», рассказывающая о вулканической деятельности на дне человеческой психики,— не попытка шлифовать те новые зеркала, в которых отражаются, преломляются социальные конфликты века?

Для авторов сборника «Мимо течет Дунай» (все они, исключая лишь родившегося в 1902 году Гупперта, принадлежат к третьему поколению австрийской литературы) традиции поколений предшествующих — может, и нечто парализующее, но в еще большей степени подстегивающее, плодотворное.

Критика уходящего мира продолжается, причем ведется она в тех же выработанных Ротом, Верфелем, Брохом, Музилем формах; только модель видоизменилась: теперь это «вторая республика», то есть и обломок империи, и современнейшая капиталистическая страна.

Крунторад, тоскующий, в отличие от Айзенрайха, по модернизму, пишет: «Образ человека в сегодняшней австрийской литературе остался в общем и целом поверхностно-психологическим. «Демоны» Додерера (у него есть роман под таким названием.— **Д. З.**) — это не демоны подсознательного, архетипового, эмоционального, а демонизация классовых различий».

Собственно, это и есть плодотворная традиция. Изображение «классовых различий» и всяких других реальных общественных противоречий — хотя и поданных, разумеется, в чисто австрийском, «демонизирующем» ключе — нетрудно найти у Ингеборг Бахман в новелле «Все», и в «Как мы убили Стеллу» Марлен Гаусхофер, и во «Всемирном театре Брессе» Томана, и в «Недолгой жизни Джо Кавона» Трамина, и в «Бунте фотографа» Фрича, и в «Приветствии наблюдательному совету» Хандке, и даже в «Связанном» Ильзы Айхингер.

Айхингер как будто ближе всего стоит к Кафке, к угрожающей, туманной безнадежности его притч. Однако и в «Связанном», и в другой ее, обошедшей все немецкие антологии, новелле, «Зеркальная история» (там жизнь некой умершей от подпольного аборта женщины «раскручивается» в обратном направлении — от конца к началу), авторская мысль прозрачнее, легче поддается «реалистическому прочтению».

Фантазмы, даже почти «мистика» помогают иногда пробить брешь в примелькавшейся обманчивости повседневного. К примеру, в «Гадании» Леберта это еще не так заметно, зато бросается в глаза читателю его романа «Волчья шкура» (1960): в поселке под символическим названием Швайген (молчание) противоестественные события срывают маски обывательской невинности с затаившихся нацистских убийц.

Кроме того, и Леберта, и других от соскальзывания к нереалистическим формам как бы оберегает неизменная «предметность», «чувство меры», скептическое «бегство от величественного» и «ужасного». В частности, почти все они остаются верны тому тончайшему, филиграннейшему психологическому анализу, который рассерженный Крунторад назвал «поверхностным» и который столь часто встречался именно у австрийских новеллистов.

Новелла здесь жанр традиционный, особенно распространившийся на переломе столетий. По преимуществу новеллистом, блестящим ее мастером, был Артур фон Шницлер. Писал новеллы, изящные, пронизанные неким аристократическим «томлением духа», и поэт Гуго фон Гофмансталь.

Мировое признание завоевала новеллистика Стефана Цвейга. Правда, его поколение — Рот, Брох, Музиль — хоть и не чуралось малых эпических форм (из-под пера Верфеля вышла даже классическая, по-моему, современная новелла «Лестница отеля», 1927), прославилось главным образом своими романами. Писатели, представленные в этом сборнике (кроме Ингеборг, Бахман и Гупперта — по преимуществу лириков), это прозаики, работающие в разных жанрах. Каждый из них написал не по одному роману. Но, пожалуй, интернациональное имя, тем из них, кто его, конечно, имеет — Айзенрайху, Айхингер, Фричу,— создали новеллы.

Тот, кто с этой книгой ознакомился, может считать, что получил довольно верное представление об австрийской литературе сегодняшнего дня.

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

(Интервью с Алфредо Диасом Гомесом)

Имя бразильского драматурга Алфредо Диаса Гомеса известно далеко за пределами его страны, в том числе и в Советском Союзе. Игорь Фесуненко, советский журналист, работавший в Бразилии, неоднократно встречался с Диасом Гомесом. Во время этих встреч и бесед бразильский писатель рассказывал о своей литературной работе, о становлении поколения литераторов, к которому он принадлежит, о проблемах современной бразильской драматургии, театра, кино. Советский журналист взял у Диаса Гомеса интервью для «Иностранной литературы». Мы печатаем это интервью в переводе с португальского и с комментариями Игоря Фесуненко.

Кабинет Алфредо Диаса Гомеса, разместившийся в хозяйственной пристройке небольшого особнячка в одном из тихих кварталов Рио-де-Жанейро, напоминает театральную библиотеку или музей: две его стены закрыты стеллажами с работами писателей и драматургов десятков стран мира. Две другие оклеены от пола до потолка театральными плакатами и афишами спектаклей, поставленных по пьесам хозяина этого дома. По ним можно было бы изучать географию Бразилии и остального мира. Советский Союз и Эквадор, Чехословакия и Испания, США, Польша, Аргентина знакомы с творчеством моего собеседника. Впрочем, на стенах этого кабинета нет афиш двух спектаклей по пьесе «Исполняющий обет», которые доставили бы Диасу Гомесу особое удовлетворение, хотя он и не видел их. Один из них был поставлен под бомбами американских агрессоров в джунглях Южного Вьетнама самодеятельным театром Фронта национального освобождения. Другой — в горах Венесуэлы многие годы играли партизаны, сражавшиеся против антинародной диктатуры Ромуло Бетанкура.

Думается, что эти два спектакля свидетельствуют о социальной значимости пьес Диаса Гомеса не меньше, чем «Золотая пальмовая ветвь», завоеванная на Каннском кинофестивале 1962 года фильмом, поставленным по той же пьесе.

Хорошо знакомы с творчеством драматурга и советские люди. В нашей стране опубликованы пьесы «Вторжение» и «Обет». С большим успехом прошел по киноэкранам Советского Союза фильм «Исполняющий обет». Вильнюсский и Рижский драматические театры инсценировали пьесу «Вторжение».

Такова творческая «визитная карточка» моего собеседника, которого я прошу рассказать о себе и своем творчестве.

ДИАС ГОМЕС. Я не был вундеркиндом, но писать начал, когда мне было лет десять. А первую опубликованную пьесу написал в пятнадцать лет. Она назы-

валась «Комедия моралистов» и получила премию Национальной службы театра. На мой взгляд, она была слабенькой, страдающей всеми недостатками, которые обычно свойственны творчеству молодых авторов.

Первая моя пьеса, увидевшая сцену,— «Козья ножка» — была поставлена в сорок втором году, когда мне исполнилось девятнадцать лет, театром Прокопио Ферейры, самого знаменитого в то время актера. Затем, в эпоху, когда бразильское правительство флиртовало с фашизмом, я написал антифашистскую пьесу «Завтра придет другой день». Вслед за ней были написаны «Зека дьявола», затрагивающая проблемы «кангасо» — борьбы социальных сил в деревне, и «Доктор Никто», в которой подымались проблемы расовой сегрегации.

Этими произведениями закончилась первая фаза моего творческого пути. «Старт» можно было считать в какой-то мере успешным, ибо один из известных в Бразилии импресарио, помнится, даже заключил со мной контракт, по которому я обязан был писать для него четыре пьесы в год, что достаточно ярко характеризует безответственность и самого импресарио и мою собственную.

Уже в те годы я начал задумываться над такими вопросами, которые не встречали и не могли встретить понимания и интереса у импресарио, да и у публики тоже. Пьесы, над которыми я работал, пытались ставить бразильские проблемы и искать пути к их решению. А в те времена это не интересовало бразильских драматургов. Наша драматургия тогда следовала английским, французским, американским образцам. Тематика и проблематика европейского и американского театров копировались, поверхностно приспосабливались без какого бы то ни было стремления затронуть национальные проблемы. Никто тогда еще не пытался поставить в центре внимания нашего человека, искать образ национального героя. Сценические персонажи того времени были стереотипны, шаблонны. Но к ним привыкли, они были просты, понятны и «удобны». А мои пьесы, в которых подымались острые социальные и национальные проблемы: расизм, кангасо, рабочий класс, борьба классов, воспринимались импресарио как бессмысленные и неприемлемые. Именно в те времена мной была написана пьеса, которая впервые затрагивала вопросы классовой борьбы и забастовочного движения трудящихся. Она, кстати сказать, до сих пор не опубликована и нигде не поставлена.

Мне вспоминается, что именно тогда импресарио, который меня законтрактовал, сказал, что в театре существуют два табу, которые я не должен нарушать: «каждый падре, выходящий на сцену, должен быть добродетелен, и каждый негр обязан быть слугой». А я в одной из своих пьес попытался показать, как негр стремится стать врачом и встречает всевозможные препятствия на этом пути...

Короче говоря, у меня возникли серьезные разногласия с импресарио, и я понял, что мне остаются только два пути: либо подчиниться требованиям, либо прекратить писать. И я выбрал второй путь, поскольку не хотел смириться: ведь в двадцать лет человек бескомпромиссен!

Началась новая фаза в моей жизни. Я написал несколько романов. Очень плохих. Работал на радио, занимался иными литературными промыслами. Так продолжалось до пятьдесят четвертого года, когда я, набравшись мужества, решил вернуться в драматургию.

В то время театр уже начинал меняться. И не только театр. Менялась сама Бразилия. Происходила довольно радикальная смена концепций и убеждений, вызванная глубочайшими изменениями в нашей экономике. Если перед второй мировой войной бразильцы пессимистично оценивали будущее, свои возможности, то в ходе войны и после войны сложились условия для экономического роста страны. Была построена Волта-Редонда — большой металлургический комбинат. Была открыта нефть, и развернулось всенародное движение за ее национализацию. Бразилия стала претерпевать изменения, которые породили перемены в психологии бразильца, заставили его поверить в будущее своей страны. Это отразилось и на жизни театра, толкнуло его на путь реализма.

Именно в это время я и вернулся в театр, стремясь и надеясь помочь созданию национального бразильского театра. Национального не только по проблематике, но и по эстетическому воплощению этой проблематики.

Первая пьеса, написанная по моем «возвращении», называлась «Пять беглецов после Страшного суда». Увы, это была почти катастрофа: пьесу поставили очень плохо, публика ее не приняла. А четыре года спустя я написал «Обет» — пьесу, которую советские люди могут знать по фильму, премированному на фестивале в Канне в шестьдесят втором году, и по ряду театральных спектаклей.

Этой пьесой я и начал поиски новых путей для нашего театра и нашей драматургии. Это была своеобразная закладка фундамента для драматургов, которые придут вслед за мной. После «Обета» я написал «Вторжение» и «Колыбель героя», которые, кстати сказать, были запрещены цензурой за антимилитаризм и за осуждение капиталистического строя. Затем появились: «Святое дознание», где рассказано о полулегендарном факте из эпохи инквизиции, удивительно напоминающем некоторые сегодняшние явления нашей действительности, и пьеса «Доктор Жетулио», написанная в содружестве с поэтом и драматургом Феррейрой Гуларом, которая, как мне кажется, наиболее полно продолжает мои, начатые

«Обетом», поиски новых, сугубо бразильских, средств выражения для бразильских же проблем. Эта пьеса претендует называться новаторской, но ее новаторство — не в оригинальничанье, не в погоне за несбыточностью, а в постановке новых проблем и ради постановки этих проблем. Я считаю, что, когда в театре, да и в искусстве вообще новаторство провозглашается самоцелью, мы неизбежно скатываемся к бесплодному формализму. Форма должна вызреть вместе с новым содержанием, потому что новое содержание требует новой формы.

«Доктора Жетулио» я назвал бы экспериментом, поиском народного театра, поиском свободной, открытой формы спектакля, который и по своей связи с народными представлениями, и по своему новаторству, с точки зрения привычного, традиционного театра, позволяет перенести на театральную сцену проблемы нашего времени и нашего народа...

Спектакль «Доктор Жетулио», поставленный молодежным театром Рио-де-Жанейро «Опиньяо» («Мнение»), весьма необычен. И по содержанию пьесы, и по ее сценическому воплощению. Рассказывает он о хорошо памятной каждому бразильцу трагедии, всколыхнувшей нацию в пятьдесят четвертом году: самоубийстве затравленного реакционерами президента Жетулио Варгаса. Этот властный и своевольный диктатор в последний период своего правления попытался осуществить ряд мероприятий, направленных на высвобождение страны из пут экономической и политической зависимости от США. Инспирируемые агентами империалистических монополий, враги бразильской нации оказались сильнее и хитрее старого президента...

Диас Гомес и Феррейра Гулар перенесли место действия этой трагедии в убогую фавелу Рио-де-Жанейро, готовящуюся... к карнавалу. Надо сказать, что на ежегодные карнавальные шествия каждая «школа самбы», так называется в Бразилии самодеятельный народный коллектив, представляющий на карнавале ту или иную фавелу (или рабочий поселок), выходит со своей собственной театрализованной программой, сюжет которой (сочиняемый самими участниками шествия) строится обычно на основе каких-то интересных и ярких событий и фактов национальной истории. Были времена, когда «школы самбы» отражали в шествиях-представлениях злободневные темы современности, когда от остроумных самодеятельных артистов, режиссеров и композиторов крепко доставалось неповоротливой полиции, нерасторопным губернаторам и даже министрам, путавшим казну со своим карманом. Впоследствии, однако, власти запретили «школам самбы» использовать в своих представлениях политические темы, и поэтому сегодня бразильский карнавал вынужден ограничивать свои порывы индейскими легендами, народными сказаниями и бесконечными вариациями на темы открытия Бразилии Педро Кабралом.

Пьеса «Доктор Жетулио» рассказывает о том, как одна из «школ самбы» решила выйти на карнавал с представлением, воскрешающим историю заговора, приведшего к трагической гибели этого самого популярного в истории страны президента. В ходе предкарнавальных репетиций в фавеле, готовящей это представление, разгораются страсти, в точности повторяющие реальные события, разыгравшиеся полтора десятка лет назад в президентском дворце. Драматические конфликты, закончившиеся гибелью президента, повторяются в жизни негров и мулатов, исполняющих роли генералов и министров. Постепенно стирается грань между карнавальным представлением и жизнью фавелы, действительностью и вымыслом, сценой и жизнью.

Но создатели этой пьесы стремились не только к тому, чтобы доходчиво и понятно (так, чтобы понял любой малограмотный бедняк из фавелы) рассказать о подоплеке политического заговора, круто повернувшего жизнь страны. Они задались целью обобщить уроки прошлого и показать, что силы, погубившие Варгаса, продолжают свое черное дело. Вот как объясняет Диас Гомес свою «сверхзадачу» в этой пьесе.

ДИАС ГОМЕС. Нас не волновала интерпретация личности и деятельности Варгаса. Мы не пытались отвечать на вопрос о том, был он «хорошим» или «плохим» президентом, «кровавым диктатором» или «отцом бедняков». Главное, что интересовало нас: почему каждый раз, когда президент какой-либо зависимой или слаборазвитой страны пытается следовать по пути реформ, отстаивающих национальные интересы, его обязательно свергают? Почему «жетулианская трагедия» столь похожа на иные трагедии других президентов?

Мы хотели показать, что любая попытка осуществления реформ в наших условиях обязательно навлекает на себя упреки в «социализации», в «коммунизме», обязательно порождает национальную и международную реакцию, подымающую, как жупел, призрак «коммунистической угрозы». А так как пытающееся

осуществлять реформы правительство обычно бывает не революционным, а всего лишь реформистским, оно зачастую не может противостоять натиску контрреволюции, и его свергают.

Эти сложные проблемы авторы и постановщики «Доктора Жетулио» решили с помощью персонажей, взятых из рядовой риодежанейрской фавелы. Спектакль имел большой успех и оказал громадное влияние на бразильский театр, ведущий поиски новых путей.

А как расценивает Диас Гомес эти тенденции в развитии театрального искусства?

ДИАС ГОМЕС. Да, театр — не только наш, бразильский, а мировой театр в целом — охвачен сегодня беспокойством. Он чувствует большие перемены, происходящие в мире, и стремится откликаться, сопровождать их. Он чувствует страх перед косностью, он боится того, что не сможет отразить новый мир, оставаясь в плену старых форм. Эту борьбу и это беспокойство можно только приветствовать. Можно радоваться поискам новых форм, путей, ломке табу и ниспровержению предрассудков. Но при этом нужно уметь отделять пшеницу от плевела. Потому что под флагом новаторства, под видом поисков иных путей очень часто мы сталкиваемся с глупым оригинальничанием, с контрабандой, с коммерциализмом. Мы чувствуем, что нас стремятся удивить во что бы то ни стало, что стремятся вызвать шок ради шока, насилие — показом насилия. Мы видим на сценах разгул секса, порнографии. Разумеется, я не против отражения проблем секса на сцене. Не против использования сцен грубости или насилия. Но это должно быть оправдано, это должно быть обусловлено необходимостью эстетического порядка, требованиями эстетики. Законами искусства, а не законами кассы!

Наш бразильский театр тоже не остался в стороне от этого беспокойства, от этих поисков, находок и потерь. Бразильский театр — это театр, обладающий большой политической традицией. Если существует какая-либо традиция в театре, столь малотрадиционном, как бразильский, то эта традиция — политическая.

Даже первый бразильский театр, основанный иезуитами в шестнадцатом веке, был политическим, потому что иезуиты стремились обосновать господство белых колонизаторов над индейцами. Они пытались заменить древних индейских идолов и героев белым богом. Пьесы театра иезуитов стремились заменить древние традиции новыми, принесенными белыми колонизаторами. Иными словами, иезуиты пытались с помощью театра морально покорить порабощаемый ими народ.

И в дальнейшем бразильский театр никогда не уходил от политической традиции. Хотя он впоследствии и не достиг особых высот, хотя в истории театра Бразилии до XX века мы найдем только одного драматурга, крупного и большого — Мартинса Пенна, мы всегда проследим традицию участия театра в жизни страны. Эта тенденция сохраняется до сих пор.

Помимо Мартинса Пенна можно, правда, упомянуть Гонсалвеса Диаса, который был поэтом, но написал несколько пьес.

Затем, в начале двадцатого века, наш театр испытал период застоя. Бледные авторы, стереотипные пьесы, робость в постановке проблем. До сороковых годов нашего века бразильский театр был невыразителен, не оставил традиций и имен. В сороковом — сорок втором заявляет о себе снискавший впоследствии известность драматург Нелсон Родригес. Будучи крайне реакционным по своему мировоззрению, он все же оказал определенное влияние на развитие бразильского театра. Правда, Нелсон Родригес имел весьма мало общего с новыми путями нашего театра и драматургии. Он был предвестником, а не предком.

После Нелсона Родригеса наш театр претерпел большие изменения. Начались эксперименты, погоня за европейским опытом, создание новых театров, групп, школ. И в пятидесятых годах рождается, наконец, сегодняшний театр. Появляется группа драматургов, объединенных общностью представлений и целей, общностью стремлений вывести на сцену бразильца, показать нашу действительность, нашу жизнь. Эти люди верили, что новый бразильский театр должен встать на позицию резкой критики бразильской действительности. Между ними были, конечно, различия, они шли по разным дорогам, но всех их объединяло стремление создать новый, национальный театр.

Кто же они, эти люди?

Это — Суассуна в Ресифе, вдохновляемый традициями средневековья, воплощенными в нашем фольклоре; Жоржи Андради в Сан-Паулу, который пишет о жизни этого крупнейшего бразильского штата, рассказывая о разоряющихся плантаторах кофе, латифундистах, которые видят, как с прогрессом страны постепенно исчезает их могущество. Жоан Франсиско Гуарниери тоже обращается к жизни Сан-Паулу, но подымает проблемы города, борьбы классов, политических движений. В Рио-де-Жанейро появляется Антонио Калладо, пишущий о фавелах и мире преступности. Все они, хотя и по-разному, стремились и стремятся к одной цели: отразить на сцене театра бразильскую действительность. Именно эти люди и представляют сегодняшний бразильский театр. Можно добавить к ним еще мо-

лодого Плинио Маркоса, который на первый взгляд выглядит анахроником, ибо он — натуралист, появившийся в эпоху, когда натурализм кажется уже обреченным на смерть. Но на самом деле он умеет в рамках нового, обновленного реализма поднять ключевые проблемы нашей действительности.

Итак, последние годы ознаменовались поворотом бразильского театра к коренным национальным проблемам. На его сцене появился, наконец, национальный герой, «человек с улицы». К сожалению, нельзя того же сказать о зрительном зале, где «человека с улицы» найти очень трудно. Однажды «Жорнал ду Бразил» опубликовал итоги своих социологических обследований, показавших, что в последние годы театры Рио-де-Жанейро посещают в среднем двадцать пять — тридцать зрителей з а в е ч е р!

ДИАС ГОМЕС. Да, к сожалению, это так: бразильская драматургия демонстрирует сегодня удивительную жизненную силу, но ей приходится бороться с колоссальными трудностями. Наше правительство равнодушно к культуре вообще и к театру в частности. Из-за отсутствия какого бы то ни было внимания или помощи наш театр задыхается, превращаясь постепенно в средство развлечения для ограниченной «интеллектуальной элиты», которая идет смотреть спектакли, направленные сплошь и рядом против нее самой. А зритель, к которому обращены наши спектакли, не может посещать их из-за дороговизны билетов. В этом — горькая ирония бразильского театра, который находится в конфликте с публикой и постепенно теряет ее, вращаясь в заколдованном круге: зритель не может ходить в театр из-за высоких цен на билеты, а театр вынужден взимать высокие цены, потому что аренда помещений, стоимость спектаклей, реквизит, декорации — все это обходится очень дорого, а зрителей... мало. Так рождается противоречие: чем больше внимания театр уделяет «бизнесу», тем меньше общего имеет он с искусством. И наоборот.

Вторая наша проблема — это цензура. Жестокая, безжалостно уродующая любые произведения под любым предлогом и без предлога. Без объявления мотивов и без права на апелляцию.

Несколько лет назад театральная жизнь Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу была потрясена волной терроризма. Бомбы, подбрасывавшиеся в зрительные залы, угрожающие надписи и антикоммунистические лозунги, появлявшиеся на стенах театров, пытавшихся ставить пьесы прогрессивных авторов, потрясли общественность страны. Спектакль «Суматоха» по пьесе Франсиско Буарке де Олланда, обличающий безжалостную машину буржуазной пропаганды, подвергся организованной травле, затем на театр был совершен налет, в ходе которого молодчики из так называемой «Команды охотников за коммунистами» зверски избили актеров и разнесли в щепки декорации и реквизит. Бандиты не понесли никакого наказания, а спектакль вскоре после этого был запрещен цензурой. Какие-то темные личности звонили в отель, где жил наш известный пианист Сергей Доренский, гастролировавший в Бразилии в шестьдесят восьмом году, и требовали, чтобы он немедленно покинул страну. В противном случае ему угрожали смертью... Все эти факты, конечно, не способствовали расцвету бразильского театра, но в то же время нельзя не признать, что в последние годы этот «театральный терроризм» несколько стих. Чем объясняется его возникновение и его нынешнее «умиротворение»?

ДИАС ГОМЕС. Причины возникновения ясны: театр стал трибуной, он стал подымать идеи, спорить, и это пришлось не по вкусу правым, которые организовали серию этих бандитских актов, пытаясь надеть на нас намордники.

Ну, а что касается второй части вопроса... Заметьте, что волна терроризма стихла после принятия в конце шестьдесят восьмого года «институционного акта», упразднившего последние остатки демократических свобод. Бандиты утихли, ибо добились своего. Цензура надела на театр такую жесткую узду, что бомбы и избиения стали уже ни к чему.

Последней пьесой Диаса Гомеса, с которой мне довелось познакомиться, была поставленная в семидесятом году в театре «Принцеса Исабел» в Рио-де-Жанейро «Одорико, всеми любимый» — острая сатира на нравы бразильской провинции. Нечто вроде «тропикалистского» варианта щедринского города Глупова.

Одорико — префект крошечного, затерянного в глуши поселка, мобилизует все силы и средства муниципалитета на создание нового ...кладбища, которое должно увековечить имя префекта в сердцах благодарных потомков. Приходит время открывать кладбище, но, как назло, в поселке никто не умирает. В поисках покойника, необходимого для проведения пышной церемонии, Одорико организует серию трагикомических интриг, жертвой которых оказывается в конечном

счете он сам. И первой могилой нового кладбища становится могила незадачливого префекта...

Пьеса эта была написана в шестьдесят втором году, а впервые поставлена лишь восемь лет спустя. Почему?

ДИАС ГОМЕС. «Одорико, всеми любимого» я написал в то время, когда писать пьесы с полутора десятком персонажей и надеяться на то, что такая пьеса будет поставлена, еще не было, как сейчас, бесспорным признаком слабоумия или психического расстройства, требующего немедленной госпитализации драматурга в специальной клинике.

Сегодня импресарио не читают пьесы, а считают действующих лиц. И когда их количество превышает трех, они глядят на автора с выражением ужаса на физиономии:

— Зачем все это? Вы что, хотите, чтобы на сцене было больше народа, чем в зрительном зале?..

И возвращают такую пьесу, заставляя нас приносить извинения за нашу манию величия.

— Пятнадцать персонажей! Почему ты не напишешь оперу? А наш театр — это искусство синтетическое...

Да, бразильский театр успешно шагает к тотальному синтезу: все персонажи объединены в одном лице. За этим последует другой синтез: в зрительном зале будет один-единственный зритель. Вероятно, именно тогда мы достигнем полного совершенства.

Мой «Одорико» не мог быть поставлен своевременно, так как его сюжет был продан для кинофильма, который не был отснят. И спустя восемь лет эта пьеса уже выглядела каким-то непонятным археологическим памятником забытых веков. Поэтому, когда появился молодой и отважный режиссер, предложивший мне осуществить спектакль по этой пьесе, я сначала, сознаюсь, не поверил. Потом решил, что он, конечно же, захочет, чтобы я «синтезировал» большинство персонажей, сведя их численность до двух-трех. Но нет! Этот режиссер не только оставил все, как было, но даже позволил мне ввести еще один персонаж: дворняжку. Потрясающе! И это все происходило в Рио-де-Жанейро, где на театр принято смотреть, как на бедствие, которое необходимо искоренять!

Как бы фантастично это ни показалось, пьеса была все же поставлена. Ее главный герой — Одорико Осорио — довольно распространенный тип нашего «политика», который встречается не только в провинции. Разумеется, размах демагогических способностей или степень паранойи у таких дельцов бывает различной, но они существуют и будут существовать на всех уровнях — от муниципального до федерального,— потому что являются неизбежным плодом оппортунизма наших политиков и их полной отрешенности от забот и судеб народа.

В шестьдесят девятом году Диас Гомес заключил свой первый контракт с телевидением и начал писать сценарий новеллы «Красное лето». Прежде чем обратиться к этому этапу его творчества, следует сказать несколько слов о том, что представляет собой бразильская теленовелла. Задача эта не из легких, ибо тут нельзя опереться на какие-то аналогии с привычными для нас «телевизионными спектаклями» или «телефильмами». Не углубляясь в законы и специфику этих жанров, постараемся дать самое общее представление о новелле бразильского телевидения.

Получасовые «главы» или, как мы бы сказали, «серии» такой новеллы вы смотрите ежедневно (кроме воскресений) в одно и то же время в течение долгих месяцев. Два с лишним десятка серий «Саги о Форсайтах» показались бы бразильскому телезрителю оскорбительно быстротечными. Еще бы! Ведь он привык к зрелищам, «многосерийность» которых превосходит все наши представления и традиции: двести — триста «глав» — обычная норма такой теленовеллы. А «Агадирский шейх» в шестьдесят шестом — шестьдесят седьмом годах имел около пятисот серий и шел почти два года!

Эти монстры появились в бразильском телеэфире сравнительно недавно, около десяти лет назад, и сразу же завоевали громадную популярность, несмотря на то, что их художественный уровень был поначалу ниже всякой критики. Те первые, неуклюжие экранизации средневековых сюжетов и детективных интриг достаточно красноречиво характеризовались уже своими названиями: «Пещера дьявола». «Сумасшедшая королева», «Я куплю эту женщину», «Человек, который должен умереть» и так далее в том же духе. Первым проблеском явилась новелла Диаса Гомеса «Красное лето» (шестьдесят девятый — семидесятый годы), обнажившая на телеэкране острейшие проблемы бразильской действительности: социальное расслоение, религиозный фанатизм, растлевающую власть денег и даже расовую сегрегацию,

проявлявшуюся еще кое-где. Все это было показано на периферийном «материале»: «Красное лето» рассказывало о жизни небольшого города Сальвадор на северо-востоке страны.

Действие следующей новеллы Диаса Гомеса, «На земле, как на небесах» (семидесятый — семьдесят первый годы), развертывается уже в Рио-де-Жанейро...

В этот город приезжает молодой священник Виктор, которому надоело паразитическое существование в провинциальном приходе. Виктор хочет начать какую-то самостоятельную жизнь. Даже оставаясь священником, он намеревается «делать дело». В Рио-де-Жанейро он встречается с дочерью скромного банковского чиновника. Вспыхивает любовь, но Нивея, так зовут эту девушку, имея подругу, дочь богатейшего банкира Рио, «вращается» вместе с ней в «свете», попадает в сети хитрого и коварного проходимца и погибает, убитая ночью на аристократическом пляже Леблон.

Итак, кто убил Нивею?..

С виртуозностью, которой могла бы позавидовать Агата Кристи, бросая тень подозрения поочередно на всех основных персонажей, Диас Гомес пользуется мелодраматической интригой как хирургическим ланцетом: с ее помощью он вскрывает благополучный мир сытых буржуа. В поисках убийцы падре Виктор и сам попадает в хитро расставленные сети, хотя для него это кончается не столь трагично: его женит на себе подруга его погибшей невесты.

Новелла «На земле, как на небесах» не только приковала Бразилию к программам телестанции «Глобо» и поставила на грань банкротства остальные станции Рио и Сан-Паулу. Она явилась звонкой пощечиной «сильным мира сего». И если после первых серий теленовеллы грузовики везли на станцию «Глобо» мешки с письмами, в которых зрители либо просили «воскресить» Нивею, либо предлагали свои варианты развязки и называли предполагаемых убийц, то спустя полгода руководство телестанции было завалено гневными письмами возмущенных буржуа, требовавших «прекратить глумление над святыми идеалами семьи и религии».

И здесь, на телевидении, срабатывало то же табу: «каждый падре должен быть добродетелен».

С точки зрения нормального человека, падре Виктор был более чем добродетелен: мне кажется, Диасу Гомесу можно было бы даже бросить упрек в том, что этот образ получился у него слишком «голубым». Но с точки зрения «святых традиций» и неприкасаемых догм католической морали падре совершал в этой новелле одно «святотатство» за другим: сначала влюбился и обручился с Нивеей. Затем, вместо того чтобы следовать традиционному рецепту церкви «смиряй себя молитвой и постом», бросился распутывать уголовное преступление и гневно обличать замешанных в нем негодяев, что никак не согласуется с кротким «возлюби врага своего». Потом, пусть из жалости, он женился на подруге погибшей невесты, страдающей нервной болезнью и стремящейся вырваться из-под влияния своего отца-банкира, и в довершение — о ужас! — принял решение снять с себя церковный сан.

Под давлением «общественного мнения» руководство телестанции настояло на постепенном свертывании новеллы. Конец был скомкан, расцвечен розовыми красками. Все непримиримые противники помирились, а падре Виктор, ежели и не покаялся в своих прегрешениях, то, во всяком случае, вынужден был сделать все, чтобы вновь показаться добродетельным.

Последняя новелла Диаса Гомеса «Вторая такса» рассказывает о жизни пролетарских предместий и убогих фавел Рио. Ее герои — водители такси и прачки, мелкие торговцы и грузчики, нищие и полицейские. Мир простых людей с их большими заботами и маленькими радостями. «Вторая такса» вышла на телеэкраны страны в ноябре семьдесят первого года и будет идти до конца нынешнего года, если... ее не постигнет судьба «На земле, как на небесах».

Чем же отличается для Диаса Гомеса работа на телевидении от драматургического творчества? Где он чувствует себя более уверенно: в театре или на телевидении?

ДИАС ГОМЕС. Работа на телевидении неизмеримо сложнее со всех точек зрения. Начиная от физической нагрузки и кончая спецификой жанра. Данте, который целых семь лет писал свою «Божественную комедию», на телевидении с такими темпами провалился бы с треском. Если в театре или кино автор пишет свое произведение до конца и только потом начинает работу режиссер, то с теленовеллой все обстоит иначе: весь сюжет — у автора в голове, сняты, скажем,

двадцать первых серий, а новелла уже пошла в эфир. С этого момента автор становится рабом этой машины: он обязан писать по двадцать страниц в день во что бы то ни стало, не имея даже права заболеть.

И он работает в обстановке постоянной паники, порождаемой показателями ИБОП [1] («смотрят» или «не смотрят» зрители его новеллу), недоразумениями с цензурой, всевозможными техническими проблемами и даже личными и семейными делами актеров. Потому что в течение года, пока идет новелла, артист может заболеть, попасть в автомобильную катастрофу, уйти с телестудии, актрисы могут забеременеть, рожать детей, и все это валится на голову бедного автора, и он обязан быстро и логично разрешать все эти проблемы, находя соответствующие повороты в сюжете своей новеллы.

Это так выматывает, это требует такой физической подготовки, что многие из нас начинают сомневаться, не было ли бы более правильным отнести работу телевизионного автора к категории физического, а не интеллектуального труда. Если говорить честно, наша работа является кратчайшим путем в сумасшедший дом.

Приложив громадные усилия, мы, авторы новелл телестанции «Глобо», добились того, что дирекция предоставляет нам небольшие отпуска между окончанием одной новеллы и началом следующей. Я, например, впервые получил небольшой отдых после двух лет беспрерывного труда. Это дало мне возможность задуматься над тем, что я делаю, и в ходе этих размышлений я решил заняться телевидением всерьез. Я попробовал преодолеть все эти бесчисленные предубеждения, которые имело против телевидения мое поколение, да и я сам. Я решил работать честно и сделать на телевидении действительно стоящую вещь.

Не секрет, что еще существуют среди представителей моего поколения такие, кто с гордостью говорит: «В моем доме никогда не было телевизора» и полагает, что это утверждение является неоспоримым доказательством высочайшего интеллекта. Я считаю это невежеством куда более темным, чем все то невежество, которое может обрушить на нас телевидение.

В конце концов, телевидение уже стало фактом нашей действительности, его нельзя игнорировать, и невозможно думать о человеке сегодняшнего дня без учета влияния, которое оказывает на него телевидение. Конечно, телевидение может не нравиться, может вызывать у нас чувство протеста, но это не значит, что мы имеем право игнорировать его. Посудите сами: вам может не нравиться самолет, но вы же не станете отрицать, что он является самым быстрым из существующих средств транспорта? Псевдоинтеллектуальная поза этакого сноба, забравшегося в свою башню из слоновой кости, является анахронизмом и выдает неуверенность ее носителя в самом себе и его незнание времени, в котором мы живем.

И тут я открыл для себя новые художественные средства, новый богатый язык, дававший мне возможность достичь цели, к которой я столько лет безуспешно стремился в театре,— обратиться к народу.

Я уже говорил, что в театре я был раздираем противоречиями: пытался делать пьесы для народа, но их смотрела элита.

На телевидении же я имею совсем иную, действительно народную аудиторию: ИБОП утверждает, что телевизор смотрят даже преступники! Разумеется, я должен учитывать ее разнохарактерность и искать какую-то среднюю линию, какой-то общий для всех знаменатель. Но это, в общем-то, то самое, что я пытался достичь и в театре: сделать пьесу, которая могла бы привлечь внимание и интеллектуалов, и неинтеллектуалов. Это — не уступка, это — правило игры. На телевидении я не могу, как могу иногда в театре, сделать спектакль «безвоздушным», предназначенным для моего собственного удовлетворения или для моих ближайших друзей. Спектакль, который в театре посмотрят 30 тысяч человек, может считаться успешным, но применительно к телевидению эта цифра теряет смысл.

Помимо размаха и разнохарактерности аудитории существуют и иные специфические особенности телевидения. Как правило, телевизор стоит где-то в зале или в большой комнате, где кто-то смотрит на его экран, а кто-то занимается своими делами, одни входят, другие проходят, третьи выходят, звонит телефон, на кухне шумит чайник... В театре сосредоточенность, сконцентрированность зрителей на зрелище является в неизмеримой степени большей: темный зал, все внимание привлечено к сцене, никто не входит, не выходит, не хлопают двери. Растет напряжение и готовность зрителя психологически и философски углубиться в ситуации, возникающие на сцене. Телевидению гораздо труднее захватить зрителя и увлечь его за собой, чем театру или книге. Поэтому для телевизионного зрелища становится очевидной и неизбежной большая динамичность и поверхностность. И не является ли поэтому телевидение зрелищем, самым близким по духу нашему времени?..

Театр — это искусство с наиболее развитыми средствами выражения и тысячелетней традицией. С его помощью можно выражать себя особенно глубоко.

[1] ИБОП — Институт изучения общественного мнения в Бразилии. *(Прим. ред.)*

Телевидение же еще продолжает поиски своего языка. В театре вам все дано, на телевидении вы должны сами все открыть. Но в принципе, конечно же, не существует препятствий, которые могли бы помешать телевидению создавать подлинные произведения искусства.

Уровень бразильского телевидения в целом довольно низок, но вряд ли стоит винить в этом только само телевидение или его работников. Ведь оно не является каким-то изолированным островом в море национальной культуры. И раз уж мы судим бразильское телевидение, давайте судить всю нашу культуру! Да, у нас нет большого телевидения, но позволю спросить: разве мы имеем большой театр, большое кино или даже большую литературу? Конечно, в любом из этих жанров можно найти отдельные исключения, но это с минимумом доброй воли можно найти и на нашем телевидении.

Телевидение в других странах, в общем-то, не лучше нашего. Всюду имеется своя доля таланта и своя доза бездарности. Поэтому я считаю, что проделанные нами эксперименты, в частности в области создания теленовелл, заслуживают уважения.

Телевидение — это искусство сегодняшнего дня, искусство момента, То, что прошло на телеэкране,— умерло. То, что было сделано вчера, сегодня не в счет. Актера телевидения окликают на улице по имени того персонажа, чью роль он играет сегодня. А завтра, когда он будет жить на экране в ином облике, его станут звать новым именем...

Означает ли сказанное, что Диас Гомес окончательно ушел из театра и что эта коллекция афиш в его кабинете уже никогда не пополнится?

ДИАС ГОМЕС. Нет, не думаю! Я отнюдь не порвал с театром. И хотя быть только театральным драматургом в Бразилии невозможно, я считаю себя драматургом прежде всего. Недавно я закончил пьесу «Освободимся от наших демонов», в которой делаю попытку отразить проблемы интеллигенции нашего общества. Главный герой пьесы — интеллектуал, считающий себя «левым». В обстановке острого политического кризиса он пытается искать правду в самом себе. В этой пьесе я анализирую и политическую конъюнктуру, и мораль, и предрассудки и впервые пробую заняться анализом проблем секса, будоражащих сейчас умы, трактуя их как одно из проявлений социального нонконформизма, несогласия, бунтарства.

Печальная правда заключается в том, что сегодня в Бразилии лишь немногие могут жить творчеством, литературным трудом, театром. Я пытался и не смог. Поэтому приходится делать вещи, которые не хочется делать. Приходится «проституировать», чтобы не молчать. Стараемся проституировать хотя бы наполовину, чтобы спасти остальное. Наша трагедия, трагедия большинства писателей, живущих в капиталистическом обществе, заключается в следующем: мы живем в мире, который хотели бы разрушить, но с которым вынуждены сосуществовать. Мы являемся частичкой механизма, который мы ненавидим, который мы стремимся уничтожить и... которому мы вынуждены служить. И, возможно, наша социальная система даже предвидит этот наш протест, предусматривает его, оставляя нам какое-то ограниченное поле действия, для того чтобы превратить наш протест в продукт своего потребления. Иными словами, эта система допускает некоторые «вольности» протеста, поскольку они создают иллюзию, видимость «свободы».

Мы, интеллектуалы западного мира, вынуждены служить системе, которую мы ненавидим. И в этом — наша трагедия, наша боль. Это — и моя личная проблема...

В заключение я задаю Диасу Гомесу вопрос, традиционный для таких интервью: я спрашиваю, что он хотел бы передать советским людям, хорошо знающим его по фильму «Исполняющий обет», по пьесам, опубликованным и поставленным в Советском Союзе?

ДИАС ГОМЕС. Что я могу сказать советским людям?.. Мы — молодой народ. Мы — страна, которая только рождается, которая находится в процессе становления, самоутверждения. И точно такой же этап переживает сегодня наша культура.

Иногда мы, возможно, кажемся вам странными. Экзотичными. Иногда мы можем быть непонятными в нашем стремлении стать чем-то подлинным, стоящим... И, стремясь к этой подлинности, стремясь искренне выразить себя, мы иногда совершаем ошибки. Но будьте уверены, что, несмотря на это, мы — по крайней мере некоторые из нас — серьезные люди.

И очень хочется надеяться, что мы сумеем донести до вас какую-то частичку души нашего народа, его забот, его волнений. Сумеем рассказать о его манере жить и чувствовать мир. И, может быть, это доставит вам радость...

Публицистика

ИОАН ГРИГОРЕСКУ

ВМЕСТО МАРШРУТА[1]

Мы покинули Москву в конце июня, кажется, 26 числа, но начало нашего путешествия надо отнести к тому дню, когда, ровно за месяц до этого, директор нашего Литинститута, собрав всех студентов из стран народной демократии и глядя на нас глазами человека, приготовившего приятный сюрприз, огласил решение, согласно которому Союз писателей СССР выделяет фонды, необходимые для нашей поездки по Советской стране. С этого дня, вернее, с того момента, когда мы услышали, что каждый может выбрать маршрут по своему усмотрению, мы и стали истинными путешественниками.

Вот уже несколько часов мы жадно изучаем карту Советского Союза, проделывая пальцами по лабиринтам дорог десятки тысяч километров.

Куда же направить путь?

Может быть, на север, к холодным озерам, затерявшимся среди еловых пущ Карелии? Из тех мест наш друг-карелофин Пека, он каждый вечер описывает мне красоты родного края, зовет в гости.

— Поедем к нам,— говорит он.— Я покажу тебе, как на заре северный лебедь выходит из сумрачных фиордов, ты увидишь голубые гвоздики, выросшие у полярного круга, цветущие и плодоносящие яблони, ульи, тяжелые от меда, собранного в краю, именовавшемся раньше «землей погибших надежд». Так называли Карелию до революции. Приезжай и ты увидишь, как преобразил советский человек эту землю. И ты поймешь, что легенда о «земле погибших надежд» — теперь всего лишь легенда.

Куда же направить путь?

Может, в далекую Якутию, к оленеводам и охотникам на моржей, в устье Лены? У меня там тоже друг — Гавриил Макаров.

У родины Гавриила своя неповторимая красота.

— Приезжай к нам,— произносит он якутским напевным говорком.— Вместе будем охотиться. Я покажу тебе оленеводческие колхозы-миллионеры. Только учти — из Москвы до моего родного села более двух недель пути...

Куда же все-таки ехать?

В Ялте живет другой друг — он фотограф. Увидеть бы снова сказочный Крым, жить вблизи горы Ай-Петри, так волнующе напоминающей наш Чахлэу. А мой друг Андрей Ильич знает столько разных историй! Однажды в горах он показал мне тропку, вед-

[1] Введение из книги «Покоренный Терек», 1956 г.

шую к лагерю партизан в Медвежьем лесу. По этой тайной тропке не однажды поднимались к партизанам мирный фотограф и его товарищи.

— Я поведу тебя к оврагу, где под скалой спит вечным сном румынский солдат,— говорил мой друг.— Звали его Тодирицэ. Не знаю, что произошло в душе парня, что коснулось его сердца, но видно, он кое-что понял. Десятки раз он проделывал путь в эти дебри и каждый раз приносил ценные сведения об оккупантах. Он научился говорить по-русски, он стал нам точно брат. Но фашисты выследили его и застрелили там, в лесу. Мы похоронили его и с помощью динамита обрушили на могилу скалу, чтобы память о нем сохранилась.

Куда ехать?

Усумбай Суфиев, второкурсник, приехавший в Москву с берегов бурного Пянжа, с границы Таджикской республики и Афганистана, обещает показать мне мощные совхозы и машинно-тракторные станции, выросшие на целинных землях долин Памира.

— Слушай. Теперь говорить буду я,— начинает он, как всегда, когда хочет что-то сообщить.— Приезжай на Памир, крышу мира. Мой народ уже три тысячи лет властвует в горах Памира. Но родина моя — молодая родина. Двадцать пять лет тому назад Шугнанские горы были белым пятном на карте. Неведомая земля. Когда советская власть пришла в наш край, русским братьям довелось пробираться из Оша, где кончается железная дорога, до Хорога, единственного города на Памире, тридцать с лишним дней по козьим горным тропкам... Приезжай к нам, шугнаны рады гостям. За двадцать пять лет они совершили прыжок через целую историческую эпоху — от рабовладельческого или феодального общества — к социализму. Теперь у нас на Памире хорошие дороги, автомашина добирается за четыре дня из Оша в Хорог, мои шугнаны строят новое общество. Приезжай, я покажу тебе немало чудес.

Глядя на карту, я видел себя то в самолете, парящем над горами и бескрайними равнинами, то на верблюде, пересекающем знойные Кара-Кумы.

Куда же ехать?

Целый месяц я мысленно, и в беседах, и по карте обдумывал маршруты в самые отдаленные уголки обширной советской земли. Карта истерлась, от нее остались одни клочья. И лишь накануне отъезда я вроде бы решился определить свой маршрут. Это был галоп длиной в двадцать тысяч километров, но только в пути я понял, что осуществить задуманное за одну поездку невозможно.

ВАСИЛЕ НИКОРОВИЧ

МЕЖДУ РИГОЙ И ИРКУТСКОМ

30 000 километров по Советскому Союзу

Настоящие записи взяты из книги репортажей о двух поездках по Советскому Союзу — одна с севера на юг, точнее, от Казани и нефтяных районов Татарии через Запорожье до Кубанских степей,— приблизительно 1000 км, другая с запада на восток, то есть от Ленинграда и Риги до Восточной Сибири, до Иркутска, Байкала и Ангары у Братска, затем снова на юг до Центральной Азии (Ташкент, Самарканд и Душанбе). Итак, пройдено 30 000 км. Сказочное расстояние. Еще 10 000 км, и это было бы равно длине экватора. Я почти что обогнул земной шар. Такое впечатление, словно ты объездил не страну, а материк.

Поэтому моя книга могла бы называться «Мирным материком» или «Шестым материком»...

Советский материк — огромный калейдоскоп. Помимо географических и климатических различий здесь впечатляет многообразие языков, культур, обычаев, созданных историей. Речь идет о 15 союзных республиках с их столицами и еще о 19 автономных республиках.

И эту галактику, озаренную Октябрем, автору посчастливилось исследовать в один из самых значительных периодов ее истории, вскоре после полета Юрия Гагарина и после съезда КПСС, принявшего программу строительства коммунистического общества.

Поэтому предлагаемую книгу можно было бы назвать «СССР — второй космический год» или «Откуда начинается путь к звездам». Второе заглавие представляется

мне особенно подходящим, чтобы символически выразить созидательные усилия двухсот с лишним миллионов людей, начавших штурм звездных трасс — неба и коммунизма.

2300-й километр

И вот я, наконец, в самолете «ИЛ-18», летящем на высоте 2000 м над Татарией. Цель наша — нефтяные промыслы, «второе Баку». Но пока что под нами бесконечные белые поля, испещреннные из конца в конец черными линиями: леса под покровом снега.

Самое подходящее время проникнуться атмосферой нефтяной эпопеи, свидетелем которой мне вскоре предстоит стать. Но пока суд да дело, в моем распоряжении всего лишь одна книга и несколько торопливых записей в блокноте. Я перечитываю их, и во мне крепнет ощущение, что я читаю скупое, немногословное либретто перед началом спектакля, красота которого откроется мне, как только поднимется занавес. Но и сама эта программа-либретто впечатляет, в ней набросок важнейших, поистине грандиозных контуров «нового Баку», куда мы направляем свой путь.

В моих записях запечатлено содержание разговора, состоявшегося накануне с одним из специалистов-нефтяников Татарии. В книге рассматриваются проблемы промышленного развития страны, в ней много цифр, диаграмм, но меня, естественно, интересует прежде всего глава о нефтяной Татарии. Казалось бы, ничего сенсационного. Вернее, ничего от тех, привычных некогда для нас сенсаций в газетных статьях, книгах, в скандальной макулатуре, которая и ныне остается столь модной в капиталистическом мире, как только речь заходит о добыче «черного золота».

Ничего от подобных сенсаций не было ни в книге, ни в блокнотных записях, которые я читал. Повторяю: от **подобных** сенсаций. Потому что в том, что я читал, было немало из ряда вон выходящего, скажем прямо — сенсационного. И все же речь шла совсем о другом: это была сенсация нового открытия, новой инженерной концепции, сенсация труда и творчества.

Вот что сказано в книге и в моих записях (признаюсь, мне все-таки ближе данные моего блокнота — они напоминают мне мужественное лицо моего светло-русого собеседника, кажется Петрова, если я не ошибаюсь). Нефтяное месторождение, которое мне предстоит объездить, названное Ромашкинским,— уникальное в мире. Прежде всего площадью: четыре тысячи квадратных километров! Представьте себе только прямоугольник, одна сторона которого равна 100 км, а другая 40 км. И под ним сплошное море нефти...

Другая необычная вещь — инженерная концепция, позволившая заполучить эти богатства. Я бы сказал, что это концепция, достойная общества, строящего коммунизм. При использовании «классических» методов добыча такого огромного количества нефти потребовала бы, как сказано в книге, «многих столетий». Но тут вмешались ученые, они предложили новый, смелый план. Обширное нефтяное поле было разделено на двадцать с лишним участков, вокруг которых была введена под давлением вода. Смелость заключалась не столько в разработке самого метода, сколько в обширных масштабах его применения при отсутствии продолжительного опыта, что, разумеется, было связано с немалым риском. Ленинская премия, увенчавшая усилия коллектива, подтвердила полный успех этого небывалого предприятия.

Успех этот — свидетельство еще одного достижения, необычного в историческом плане и совершенно обычного для такого высокоорганизованного общества, как советское. Ибо новый строй, покончивший с конкурентной борьбой, порожденной частной собственностью, вносит особую гармонию в содружество науки и промышленности, объединяет усилия трудовых коллективов в борьбе за приручение природы. Страна, отправившая первые ракеты в космос, поднимает человека к звездам во всех областях деятельности.

Представьте себе, что бы произошло, если бы месторождение, подобное Ромашкинскому, было бы открыто в капиталистическом мире и сюда ворвались разные, конкурирующие между собой нефтяные компании. Мыслимо ли было бы применить этот широкий, разумный и смелый план? Вот вам в историческом плане факт куда более сенсационный, нежели похищение геологических секретных документов из железной кассы соседнего конкурента.

2700-й километр

К северу от Бугульмы начинаются нефтяные районы. Но гораздо интереснее, чем этот путь среди березовых перелесков и крутояров, который мы проделываем со скоростью 100 км в час, несмотря на моросящий дождик,— человек, сидящий рядом со

мной за рулем нашей зеленой «Волги». Картину нефтяных промыслов Татарии я еще не раз увижу. Человека, сидящего рядом,— вряд ли встречу когда-нибудь еще.

О нем я и хочу рассказать. Об этом плотно сбитом, грузном человеке с тяжелой поступью. В Альметьевске, куда мы вскоре прибыли, я узнал совершенно невероятную вещь: нога у него ампутирована, вместо нее — протез. Каким же образом он умудрялся вести автомобиль со скоростью 100 км в час по мокрому, скользкому шоссе?

...В первый день моего пребывания в Бугульме он возил меня в зеленой «Волге» по городу, показывал достопримечательности. Крепко сбитый, полный энергии, веселый... Я никак не мог поверить, что у него нет ноги.

...Потерял он ее во время войны. Он был водителем танка, участвовал во многих жестоких сражениях и долгие годы оставался невредимым. В одном из немецких городов танк напоролся на мину. Моему водителю ампутировали ногу, и врачи посоветовали ему забыть о баранке. Некоторое время он работал механиком в ремонтной мастерской. Но не смирился. Он вновь освоил старую профессию, ибо она, как он выразился, «скучать не дает».

Протезы он получает в Казани. Каждый год новый. Потому что человек он «с немалым весом», шагает грузно, но от работы своей и не думает отказываться.

Я не мог не сказать — пусть бегло, торопливо — об этом человеке, ибо мне представляется, что своей жизнью, будничными делами он отражает звездное небо нашей эпохи, на котором уже проступают отблески коммунизма. Безвестный Мересьев, простой гражданин Страны Советов...

9200-й километр

«Красный феникс» — в этом придуманном мной названии я вижу высокий символ. Красное — цвет огня, а здесь еще и неба от всполохов сталеплавильных печей, красное — цвет Революции. Кому не известна древняя легенда о птице Феникс, воскресающей из пепла! Так вот Запорожье, как, впрочем, вся советская земля, по-новому осмысливает в XX веке древнюю легенду.

Я шагаю по гребню бетонной плотины на Днепре. Водителя я попросил переехать на ту сторону и ждать меня там. На берегах реки под мирным синим небом видны дома города, корпуса заводов. Низвергаясь через невидимые турбины в великой бетонной стене, свинцовые воды Днепра вырываются на волю и бешено бьются в берега Хортицы, древней земли казацкой вольницы, затем, успокоившись, скользят под тонкой прозрачной мглою, сквозь которую проступают силуэты юрких пароходиков.

Ничто уже не напоминает сегодня о нелегкой, героической и часто трагической судьбе этих мест. Не слышно голосов первых строителей, ни следа от военных пепелищ. Феникс возродился, и ночами над ним полыхают мирные зарницы. «Днепрогэс» и «Запорожсталь» — теперь достояние истории, хотя от начала их строительства прошло всего лишь 30 лет, а со дня восстановления — 20. Красноречивое доказательство бурных ритмов коммунистического строительства: промышленные гиганты оказываются в кратчайшие сроки превзойденными другими еще более крупными индустриальными центрами в Братске или в долине Вахша. Но сие отнюдь не умаляет значения Днепровской гидростанции и завода «Запорожсталь». Это первые яркие страницы в небывалой эпопее строительства первого социалистического общества, это они составили первооснову той технической мощи, которая воплотила в жизнь великий план индустриализации и электрификации, дальновидно разработанный Лениным.

Феникс возродился. Спокойно реют, точно знамена, его мирные зарницы. Небо над ним синее. Но историю этих мест надо помнить, надо знать хотя бы в самых общих чертах; она помогает понять сущность той несокрушимой силы, которая возвела индустриальную твердыню Запорожья, отбросила захватчика, восстановила все из пепла, а сегодня строит коммунизм. Сила эта — самоотверженность советских людей, которая здесь, в Запорожье, вписала в историю одну из самых ярких страниц.

13 000-й километр

Проходя по проспектам, вдоль которых выстроились старые и новые памятники Ленинграда или безвестные дома с магазинами, газетными киосками, постоянно задаешь себе вопрос: каким чудом удалось сохранить все это в целости, когда всего лишь двадцать лет тому назад захватчик осаждал город в течение 900 дней, угрожая ему самым страшным и разрушительным оружием. Как удалось спасти Ленинград? Конечно, для некоторых памятников были сооружены защитные устройства, другие вывезены в безопасные места. Но город, город Ленинград, как удалось спасти?

Перед тобой, как откровение, небывалая страница истории, и ее игнорировать невозможно. Нет, никто не сможет пройти мимо столь важного периода в жизни города, отмеченного несравненным героизмом. Что назвать раньше — волнующие ли свидетельства героизма солдат на огненном рубеже или подвиги мирных жителей, стариков и детей, вынесших не менее губительные тяготы, чем пули? Очевидно, прежде всего надо сказать о высоком человеческом смысле этого несокрушимого коллективного отпора врагу.

Ибо ленинградцы защищали не только старые дома и памятники. Они здесь сражались за все фронты на земле своей родины; Ленинград был для всех для них знаменем. Здесь был Смольный, здесь еще звучали, воплощенные в камень, шаги и призывы бойцов Октября. Ленинград был символом Революции.

Свидетельства героизма ленинградцев поистине неисчислимы. В городе остались художники и писатели, они с добросовестностью летописцев запечатлели дни и ночи осажденной твердыни, дела ее жителей. Пройдут года, но их записи будут вызывать такой же горячий интерес, как описание тяжких испытаний древних Афин, оставленное потомкам бессмертным пером Фукидида.

...И если ныне существует Ленинград с его адмиралтейской стрелой, театрами на Невском, с парком Победы, и если видны уже контуры более чудесного города коммунистического завтра, то это благодаря тому, что прежде существовал Ленинград — колыбель Октября, Ленинград — несгибаемый солдат Великой Отечественной войны. Потому что прежде был Ленинград — город Ленина, город, откуда начинается дорога к звездам...

13 700-й километр

Рига не только большой советский город, столица социалистической Латвии. Для своей республики она нечто большее: половина страны. Здесь проживает треть населения Латвии, а промышленные предприятия выпускают три четверти общей продукции республики. Прибавьте к этому, что Рига — крупный порт на Балтике и, если хотите, историческая хроника страны, увековеченная в ее каменных памятниках. Удивительно многоликий город: в нем соседствуют здание древней пороховой башни и новые строения рыбацкого колхоза, собор, в котором расположен громадный орган, говорят, второй по величине после Реймского,— и предприятия, выпускающие электронную счетно-вычислительную аппаратуру.

У моего собрата по перу, встретившего меня на вокзале, был перевязан палец на руке. Оказывается, он поранил его накануне, охотясь на... кабанов. У рижской писательской организации свой охотничий клуб. Ничего удивительного, если вспомнить, что древнейшим занятием жителей этих мест была охота и рыболовство. Латыши рождаются охотниками и рыболовами.

— А ныне весь мир знает, что мы производим радиоаппаратуру,— продолжает мой коллега.— Марки «Латвия», «Рубин», «Сакта», «Фестиваль», «Гаужа» очень популярны во всей стране и за ее пределами. Большим спросом пользуется также наша рижская мебель. Но, как бывает часто, нам хочется, чтобы в мире знали не только о наших, так сказать, традиционных достижениях. Чтобы такими же общепризнанными стали и наши счетно-вычислительные приборы. И наши электропоезда, и вообще производство самых разнообразных сверхточных машин и инструментов. Это, конечно, лишь отдельные примеры: ассортимент нашей продукции гораздо шире — от суперфосфатов до велосипедов и тканей. Крупный торговый порт, Рига во второй половине минувшего века превратилась в крупный промышленный центр, который по числу рабочих стоял на третьем месте после Москвы и Петербурга. Нынешний высокий уровень квалификации — плод опыта многих поколений рабочих.

...Знаете ли вы, что в Риге есть Атлантическая улица? Новые корпуса домов среди покрытых белой изморозью сосен. Несколько дальше — массивное здание, перед которым поставлена статуя мужчины в рыбацкой робе, длинных сапогах, с мотком веревки на правом плече. Так выглядит эта улица, названная Атлантической. Как мне сообщили, соседние улицы носят названия различных промысловых рыб.

Итак, нетрудно догадаться, что мы — в рыбацком районе. От центра Риги до него — 13 км, но мы все равно находимся в черте города. В массивном здании, перед которым поставлена статуя этого современного Нептуна, разместилось правление рыболовецкого колхоза...

Заместитель председателя, молодой человек с ясным, решительным взглядом, показывает мне фотоальбом. Будни рыбацкого труда, будни отдыха. Прекрасная экипировка, современные суда, механизированный труд. В дни отдыха, дома, на улице, на спектаклях рыбаков и их жен не отличишь от завсегдатаев центральных улиц города.

— Здесь, в нашем колхозе собирал материал для романа «Сын рыбака» Вилис Лацис,— сообщает мне мой собеседник, пока я перелистываю альбом. Этим он, очевидно, хочет намекнуть мне, что членам его родной артели немало довелось испытать на волнах истории. Оно и понятно: коллектив, связанный со столь древним и распро-

страненным в Латвии ремеслом, должен был оказаться непосредственно в центре событий, имевших решающее значение для всего народа. Ибо и здесь, в Мангалу-Даугавгривас творилась история.

Это история бедных рыбаков, которые прошли, как и жители всей Латвии, дорогой нищеты и капиталистического гнета, опаляющей войны и через революцию пришли к социалистическому устройству. Вот почему скромный рыбацкий район мог обеспечить таким богатым материалом создателя романа-эпопеи.

Рижские рыбаки не всегда носили элегантные городские одежды. Да простят мне обращение к цифровым аргументам, но они здесь необходимы: ныне каждый рыбак в Мангалу-Даугавгривас дает стране в в о с е м ь раз больше рыбы, чем двадцать с лишним лет назад в условиях буржуазной Латвии. Таково историческое расстояние от весельной шлюпки до современного траулера, от снасти, полученной по грабительским ценам у купцов, до судов, предоставляемых государством для проведения рыболовной путины в просторах Атлантики. (В старые времена присвоение улице наименования океана звучало бы по меньшей мере иронически.) Это — историческое расстояние от постоянных унижений перед богатым купцом, который не желает понять, что твоя жена заболела, сети унесли волны, и до просторов свободного труда и права на обеспеченную старость. Этим объясняется, почему рыбаки Мангалу-Даугавгривас партизанили в годы войны против гитлеровских оккупантов и не раз перевозили советских солдат в тыл врага.

На пути к морю мы встретили группу рыбаков: они откалывали глыбы льда на берегу какого-то заливчика. Уже теперь заготавливают к летнему сезону запасы холода, нужного для хранения рыбы.

Останавливаемся. Рыбаки в фуфайках и высоких сапогах окружают нас. Среди них сразу выделяется старый Иннус Мартин, краснолицый балагур с хитринкой во взгляде. Нечто вроде латвийского Василия Теркина, достигшего преклонного возраста. Таких нетрудно найти в любом коллективе: шуткой, острым словцом они поддерживают в людях доброе настроение.

— Море требует силы воли,— объясняет он мне.— Жаль, новые времена пришли для меня слишком поздно. Оттого я и понял многое позднее других. Когда он (кивок в сторону заместителя председателя) звал меня в море, я отвечал ему: «А когда же я буду делать детей?» Теперь я понимаю: надо спешить, надо поскорее строить новую жизнь.

Большое удовольствие беседовать с этим рыбаком, сыном рыбака, чьи дети тоже плавают в море, чьи внуки обязательно будут рыбаками. Рядом с ним никогда не соскучишься.

Среди присутствующих нет ни одного молодого человека. На мой недоуменный вопрос мне отвечают:

— Молодым неохота сидеть на берегу. Они в океане...

17 000-й километр

Сибирь! Сибирь! Вы помните эпопею строительства города Комсомольск-на-Амуре? Десятки тысяч молодых людей со всех концов страны явились сюда, чтобы покорить тайгу и болота. Но это было только начало...

Новая индустриальная Сибирь, матерь электрических рек, возводится с каждым новым днем. Плотины, небывалые по размерам комбинаты по переработке металла и дерева возникают посреди тайги, на расстоянии десятков и сотен километров от старых городов.

И потому каждая новая строительная площадка — это подлинная экспедиция. Геологи носят помимо рюкзака и молотка охотничье ружье — на случай непредвиденной встречи с бурым медведем, давним хозяином этих мест. Сперва выкорчевывают дикий лес. Штурм начинается в самых доступных местах, недалеко от железной дороги или реки. Так создается плацдарм для будущих битв. Поначалу строители живут в палатках. Они идут на это с воодушевлением колумбов, различающих вдали контуры неведомых берегов. Сюда со всех концов Советского Союза идут эшелоны молодых людей с путевками комсомола. Едут и ветераны-энтузиасты, принимавшие участие в строительстве гидростанций на Волхове, Днепре или Волге. В скором времени на том месте, где стояли палатки, вырастают благоустроенные дома. Возникают города, асфальтированные дороги. Дикие уголки природы, где с первых дней творения не ступала нога человека, соседствуют с современнейшим оборудованием, созданным в эпоху спутников.

Для строителей будущее носит самые реальные очертания. И вместе с тем оно — частица их существа, постоянный призыв к действию.

Тебе показывают пустырь и говорят: «Здесь будет телевизионная башня». В другом месте: «Здесь будет жилой микрорайон». На дне долины, очищенной от леса, возводят земляной вал. Тебе объясняют: «Здесь будет море. А земляная дамба

будет защищать будущий порт от волн». Для того, кто это говорил мне (это был один из руководителей стройки), море уже существовало. Он уже видел его волны, бури, гавани... Таковы энтузиасты новой Сибири, их тут можно встретить на каждом шагу. Таким энтузиастом был и молодой художник, встреченный мной в Братске. Он звал меня полететь с ним в Усть-Илимск, где в глубине таежных дебрей начиналась новая стройка; и молодой инженер, считавший самым ярким в жизни день, когда он наблюдал великую схватку с Ангарой, перекрытие русла реки; и геолог, о котором мне рассказали, что он долгими годами искал нефтяные месторождения вопреки тем, кто считал, что нефти нет в подземных кладовых тайги,— геолог, который погиб при первом мощном извержении газов, подтвердившем наличие огромных запасов «черного золота».

Этих энтузиастов создала новая Сибирь, идущая к коммунизму. И надо проникнуть в самую гущу этой битвы, стоять плечом к плечу с этими мужественными, энергичными людьми, мечтающими о больших делах; надо видеть тайгу на закате солнца, Ангару, превратившуюся в море, турбины, ярко освещенную плотину; надо убедиться, что все созданное до сих пор — новый город с телевизионной башней, каток, аэропорт — это лишь первый шаг новой цивилизации; что где-то дальше, в других местах, в дебрях тайги высаживается новый строительный десант, ставятся палатки, пробиваются просеки для новых дорог, чтобы ощутить, что эта небывалая битва за укрощение скал и снегов — столь же увлекательна и волнующа, как и упорный, непрестанный штурм звездных трасс, предпринятый космонавтами.

30 500-й километр

Москва — Бухарест. Еду на родину. С каждой минутой все ближе конец моего путешествия.

Я уношу с собой образ огромного советского материка, который я пересек с севера на юг и с запада на восток. И еще, сопровождая героев моих очерков, я перенесся мысленно в просторы Атлантики, в Антарктиду, я даже дерзнул взлететь к звездам. Конечно, сейчас невозможно вспомнить каждую встречу, каждый случай в отдельности. Впечатлений слишком много, они потрясли меня. Все эти 30 000 км пути сливаются в единое чувство любви к строителям коммунизма. И в чувство глубокой признательности к друзьям — писателям и журналистам,— которые помогли мне, искренне и благожелательно, узнать те места, о которых написано в этой книге.

Всюду, от Балтчки до Байкала, мне был оказан дружеский и теплый прием. И я понял, что в первую очередь эти чувства, в какой бы точке Советского Союза я ни находился, были вызваны добрым отношением к стране, которую я представлял.

Можно понять мою радость, когда, находясь и на расстоянии в 2000 км от Дуная и Карпат — в Москве, Ленинграде, Риге, и в 7000 км от родины — в Иркутске или в далеком Узбекистане,— я каждый раз убеждался, что мою социалистическую родину знают и ценят. И я испытывал законное чувство гордости.

Традиционное гостеприимство нашего народа общеизвестно. Оно — выражение великодушия наших людей, любви, с которой мы встречаем наших друзей. Но эти чувства мы испытываем с той же силой, когда мы сами находимся на земле друзей. И их радости становятся нашими радостями.

Эта книга — плод именно такого чувства.

Бухарест, март — август 1963 г.

Перевод с румынского М. ФРИДМАНА

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ

ВО ВЛАСТИ МОЛОХА

Вступление и перевод с немецкого Э. ВЕНГЕРОВОЙ

Западногерманский журналист Гюнтер Вальраф знаком нашим читателям по переводам нескольких его публикаций в № 1 и 2 за 1969 год, вошедших позднее в сборник «13 нежелательных репортажей». За два года (1969—1970) сборник выдержал в ФРГ четыре издания. Неизменный успех репортажей Вальрафа объясняется безошибочной — в смысле ощущения «социального заказа» — интуицией, точностью выбора темы, зоркостью гражданского чувства. Их достоинство — в протокольной достоверности материала, в «эффекте присутствия». Вальраф не только автор, не только режиссер, но и активно действующее лицо тех представлений, которые, став содержанием его репортажей, обнажают самые острые проблемы социальной и политической жизни ФРГ.

Задумывая очередную операцию, разыгрывая очередной «спектакль», Вальраф выбирает себе роль, которая позволяет ему оказаться в точке пересечения противоположных интересов, очутиться в центре событий, проинтервьюировать самых недоступных чиновников, вывернуть наизнанку официальную версию, испытать на своей шкуре, почем фунт пресловутого лиха.

Вальраф способен:

под видом бродяги несколько месяцев прожить в ночлежном доме, чтобы рассказать о нечеловеческих условиях, в которых прозябают там люди дна;

изображая безработного студента, подвергнуть себя поношению разъяренной обывательской толпы, чтобы лишний раз напомнить об опасности фашизма, притаившейся в идеологии и морали обывателя;

выдать себя за сотрудника мнимого «Комитета гражданской обороны при министерстве внутренних дел», чтобы получить подтверждения того факта, что почти на всех крупных промышленных предприятиях ФРГ существуют тайные «отряды гражданской самообороны», то есть вооруженные антирабочие штурмовые группы;

записаться на курсы религиозных чтений в бундесвере, чтобы разоблачить ханжеские, демагогические методы, какими пользуется церковь для воспитания молодых солдат в духе великогерманского шовинизма;

под видом промышленника, наживающегося на производстве напалма, а потому терзаемого муками совести, совершить «турне по исповедальням», чтобы почти у всех высших чинов католического клира получить благословение на «свое» черное дело, и, предав эту позорную историю гласности, показать соотечественникам истинное лицо столпов христианской морали.

Своими дерзкими эскападами Вальраф упорно наживает себе врагов. «Собратья по перу» из официальной прессы не преминули поставить ему в вину нарушение профессиональной этики. А между тем Вальраф пишет правду, только правду, одну только правду. И кроме умения писать обладает волей и выдержкой; способностью переносить крайнее нервное и

физическое напряжение, стремительной реакцией и фантастической памятью.

Профессиональный артистизм — еще один из секретов успеха Вальрафа, успеха, лишним подтверждением которого служат судебные процессы, досье, разосланные по всем промышленным предприятиям ФРГ. Чем больше очередной успех, тем большей изобретательности и смелости требует следующий репортаж.

Ниже мы публикуем репортаж Вальрафа, устроившегося на завод «Фихтель и Закс».

С первого раза мне не повезло. Я позволил себе наглость домогаться того, что для семнадцати тысяч рабочих заводов «Фихтель и Закс» является тяжелой ежедневной повинностью.

— В настоящий момент не нанимаем. Зайдите недели через четыре. Может, тогда возьмем несколько человек,— заявила мне девушка в отделе найма.

Внешность свою я предварительно изменил так, что меня не узнают даже старые друзья. Моя двухлетняя дочка называет меня дядей, а когда я для пробы пытаюсь поздороваться за руку с матерью, она говорит моей жене, что видит этого господина впервые в жизни. Без маскарада никак не обойтись: после двух лет работы на крупных промышленных предприятиях и появившихся в итоге репортажей на меня было составлено досье, разосланное на все заводы — покрупнее и помельче.

Чтобы, несмотря на приостановку найма, получить работу, пускаю в ход банальную хитрость. Нет ничего проще, чем сыграть на тупом чинопочитании, типичном для всех крупных концернов.

Через три дня после первой попытки я прошу провести меня к начальнику отдела найма. В разговоре с ним я ссылаюсь на одного из директоров:

— Мой отец говорил с директором несколько дней назад. Он обещал зачислить меня приказом с сегодняшнего дня. Можете спросить его самого.

Имя босса производит ожидаемый эффект. Подчиненный из отдела найма не рискует беспокоить вопросом всемогущего.

— Зачислить по рекомендации директора. Заполнить анкеты и послать к заводскому врачу,— дает он указание своей помощнице.

Он спрашивает меня, чем я занимался раньше. Моя карта подоходного налога на 1971 год (разумеется, составленная на чужое имя) еще пуста. Во время прежних попыток устроиться на работу пропуски в карте часто вызывали подозрение, будто я только что из заключения. Поэтому я сочиняю версию, подходящую к случаю: дескать, работал до сих пор во Франции в порту на курорте Сен-Тропез, теперь женился, приехал в Швейнфурт, собираюсь здесь обосноваться. Начальник отдела найма клюет на эту историю. Гунтер Закс — директор — Сен-Тропез. Такая логика его устраивает.

Первый барьер преодолен. Приостановка найма проходила под лозунгом рационализации, экономии, профилактики. Хотя заказы пока еще растут, концерн стремится создать у служащих ощущение кризиса, чтобы повысить трудовое рвение. Когда рабочий не уверен в своем праве на место, когда под угрозой его существование, он думает не о правах, а об обязанностях. Тех, кого увольняют с предприятия, другими не заменяют. Их работу поручают служащим, опасающимся увольнения или перевода на неполный день. Таким образом, во времена кризисов, когда приходится туго, производительность продолжает расти, растет прибыль, а число занятых на предприятии сокращается.

Моя измененная внешность — длинные черные волосы — приводит ассистентку заводского врача к выводу, для меня неожиданному.

— Ты — где — жить? — спрашивает она меня, отворачиваясь к картотеке.

Я отвечаю без акцента, она переходит с ломаного на нормальный немецкий и говорит мне не «ты», а «вы». Однако когда к ней обращается турок, которому расплющило в машине палец, она снова ведет себя с ним будто он полный идиот (всего несколько минут назад он беседовал со мной на хорошем немецком языке). Турок, для которого такие порядки, видимо, не внове, пытается сделать вид, что не замечает унизительного обращения, и вымученно улыбается.

Я сдаю мочу и кровь на анализы. Потом заводской врач ощупывает мой костяк и проверяет подвижность суставов.

— Завтра, в четверг, в восемь утра будет ответ,— говорит он.

Если все будет в порядке, меня зачислят немедленно.

Врач говорит «в восемь». Начальник отдела найма сказал «в семь». Я прикидываю, что врач рангом выше, но на всякий случай являюсь к половине восьмого. Я просчитался. Компетентное лицо, хотя и не перегруженное работой в связи с приостановкой

найма, демонстрирует мне все свое могущество. Он только что «дал по мозгам» одному греку, который хочет забрать свои документы. Иностранный рабочий использовал по назначению кнопку с надписью «Просьба звонить».

Окошечко матового стекла открылось:

— Ты что, не можешь подождать, пока к тебе выйдут? Думаете, мы ради вас тут прыгать обязаны? — рычит шеф на грека, который по крайней мере пять минут собирался с духом, чтобы нажать на кнопку. Нагло растолковав иностранцу, что это все равно не по его части, он спроваживает его к окну напротив. Потом с треском захлопывает свое окно.

Грек осторожно стучит в закрытое окно напротив. Человек, который открывает, тоже весьма оскорблен, ему помешали. Он нехотя дает понять, что обращаться надо было не к нему,— интересно, почему эти иностранцы не замечают специально для них установленных кнопок, да еще с надписью «Просьба звонить»? Окошко захлопывается. Грек, подавленный и растерянный, не решается на дальнейшие попытки. Он садится на краешек скамьи и качает головой.

Теперь на кнопку нажимаю я. Снова отчрывает прежний начальник.

— Ваш коллега сказал, что нам следует обратиться к вам,— говорю я.

Молча, с оскорбленным видом он оформляет бумаги грека. Когда грек уходит, он набрасывается на меня.

— Вытворяют здесь кому что заблагорассудится! — орет он.— Я сказал «в семь», а сейчас без четверти восемь. Можешь отправляться домой. А если в понедельник не явишься ровно в семь, можешь вообще оставаться дома.

Я пытаюсь ввернуть, что врач назначил мне к восьми, но он пропускает это мимо ушей, а когда я прошу зачислить меня хотя бы с пятницы, а не с понедельника, он заявляет со злорадством:

— Я сказал «в понедельник» — иначе вообще не являйся, нам такие не нужны, не успел начать, а уже...

Так, наказанный и заранее ознакомленный с порядками концерна, я в понедельник прихожу на завод «Зюд» в первую смену.

Пропуск тоже угрожает наказаниями: «За предъявление другим лицом — немедленное увольнение».

Первые несколько дней я работаю «на подхвате», сверлю отверстия в амортизаторах, несколько тысяч отверстий в смену. Никто не ознакомил меня с правилами техники безопасности. И никто не сказал, сколько я заработаю за день. Часто при сверлении скапливается стружка, которая очень мешает. Попытайся я смахнуть ее рукой, это привело бы к глубокому порезу или ранению сухожилия. Мне объяснили, как обращаться со сверлильным станком, но невнятно и противоречиво. Мастер сказал, что сверло надо направлять без физического усилия — оно включается автоматически. Позже наладчик говорит мне, что если при этом изо всех сил нажать на рычаг, то сдельно заработаешь больше, так как покажешь лучшее время. Я так и делаю и в первый же вечер возвращаюсь домой со страшной ломотой во всем теле, однако меня не покидает убеждение, что, несмотря на мускульные усилия, сверло движется ничуть не быстрее, чем обычно. Потом я узнаю от одного рабочего, что здесь на большинстве станков постоянно ведутся эксперименты с целью повысить выработку, даже за счет безопасности труда.

(Например, фирма «Брукс» поставляет заводам Закса станки для нарезки трубок диаметром 15 мм. На заводах Закса эти станки переделывают таким образом, что они нарезают трубки до 30 мм и, кроме того, выполняют еще две другие рабочие операции. Этот рабочий говорит: «Нас не спрашивают. Перенапряженные станки чаще останавливаются, наша сдельная оплата да и техника безопасности под угрозой, но в общем фирме это выгодно, и она за наш счет наживается».)

Когда два года тому назад завод «Зюд» был переведен на американскую систему сверхточного хронометража, МТМ, некоторые рабочие пытались протестовать. Руководство фирмы аргументировало: «Не нравится — можете убираться, наймем на каждое ваше место двух иностранцев». Несколько сот рабочих последовало тогда этому совету и уволилось. Сейчас более 80% рабочих завода — иностранцы, которые подписывали контракты на несколько лет и не имеют права переменить место работы.

По системе МТМ работа разлагается на несколько основных движений. Все, что не служит непосредственно быстрейшему выполнению операции, исключается. Единица времени ТМУ, принятая для системы МТМ, равна 0,000001 часа. Чтобы установить эту единицу времени, сотни рабочих были «зафильмованы» — в прямом и переносном смысле. За работой, во время перерывов, при ходьбе, даже в уборной, частично съемка велась скрытой камерой. МТМ низводит человека до уровня робота. В инструкции внутреннего пользования, распространенной отечественной фирмой, изготовляющей

оборудование, говорится: «МТМ не может применяться для деятельности, требующей умственных усилий». В другом параграфе с сожалением констатируется: «По физиологическим причинам вращение с помощью руки возможно только на 180°». Операция «задуматься» рассматривается в графе «Непроизводительная деятельность», поскольку она «вызывает задержку в исполнении движения».

В качестве нормы производительности рассматривается хороший средний результат. «За 100% принимается производительность труда среднетренированного рабочего, который может выдержать рабочий ритм в течение целого дня без переутомления».

Практика на заводах Закса выглядит таким образом, что рабочий должен выполнить 120—130% нормы, чтобы получить нормальную заработную плату.

Через несколько дней меня переводят на конвейер. Здесь меня обучают: приставляют к одному рабочему, который очень старается все мне объяснить, но, как выясняется, сам не очень-то разбирается в деле.

Шум от машин настолько силен, что он рычит свои объяснения мне прямо в ухо, но и тогда я часто его не понимаю или переспрашиваю по два-три раза. Он отвечает за две ленты конвейера длиной 15 метров каждая. До введения системы МТМ он обслуживал только одну. «Мы зарабатывали на несколько грошей меньше,— объясняет он мне во время перерыва,— но не было такой запарки». И еще: «Если я на тебя как-нибудь наору, ты не сердись, нервы сдают». Мы постоянно находимся в движении, постоянно кружим вокруг обеих лент конвейера, связывающих по четыре объединенных поточной рамой станка. Мы должны постоянно замерять точность амортизаторов, переналаживать станки; измеряемые величины все время меняются, а если в результате амортизаторы не проходят в контрольное отверстие или под лупой обнаруживается грязь или пятна, нам грозит это вычетом из зарплаты. Чаще так случается днем, и тогда мой товарищ становится еще нервознее и загнаннее и даже начинает бегать. Одновременно он глазами и ушами следит за станками. Если какой-нибудь из них вдруг запыхтит, он бросается к нему и нажимает на красную кнопку безостановочной работы. Тогда станок должен быть заново налажен либо с него снимают точильный камень или меняют его.

Один наладчик сообщает мне, что, если услышу характерный шум сбоку от станка, надо бросаться в укрытие, потому что это значит, что из него, как снаряды, вырываются части амортизаторов. Станки-то старые, их просто кое-где заново отполировали, а некоторые совсем почтенные, еще того времени, когда фирма «Закс» была образцовым национал-социалистским предприятием. «Неизвестно, чего от этих станков ждать»,— говорит наладчик, пытаясь втолковать мне, как следует регулировать точность (я регулирую, а точность еще хуже, чем раньше). Еще он объясняет, что ни в коем случае нельзя лезть в станок, если амортизатор заклинит, это многим стоило пальцев. Об этом я узнаю через неделю, в течение которой я неоднократно на ходу вылавливал из станка застрявшие амортизаторы, как это делает мой коллега, когда не укладывается в норму времени.

Даже в перерывах нет отдыха. Шум почти тот же. Чтобы не терять времени на наладку, рабочие не выключают станки. Почти никто не позволяет себе сходить в туалет. Нужно бежать вниз, на другой этаж, подменить друг друга невозможно, а оба конвейера сразу нельзя остановить надолго — не то посещение уборной станет в копеечку! Кто может позволить себе терять одну-две марки штрафа? Туалеты для рабочих (у мастеров два отдельных с ключами): просто просверлено отверстие в полу — стоя быстрее, на двери мелом — «Мочитесь, сволочи!». На клозетах для рабочих значится: «Для мужчин», «Для женщин». На клозетах для служащих — «Для дам», «Для господ».

Молодой рабочий: «У нас туалетной бумаги не положено. Закс ведь экономит. Я как-то говорю мастеру, что иду в туалет, а он мне: «Ты смотри, как бы тебя не засекли хозяйские шпики. Меня вот тоже как-то застопорили, а потом упрекали, что слишком долго мочусь. А еще как-то ученики первого года торчали в клозете минут десять. Тогда начальник учебного цеха Рихтер пошел туда, а у него ключи (специально на заказ делал), и запер их, чтобы проверить, соблюдают ли они правило о запрещении курения на территории предприятия. Открывает одну кабинку, смотрит, не курит ли кто, потом другую, закрывает, проверяет, а они как раз занимались известным делом».

Я не знаю, как зовут рабочего, который инструктирует меня, он тоже не знает моего имени, это лишнее. Мы должны реагировать на машины, а не на людей, и если мы перекликаемся, предупреждаем друг друга, когда станки останавливаются или еще что-нибудь не в порядке, мы употребляем слова вроде «эй», «хэлло» или «осторожно», причем шум стоит такой, что слов все равно не разобрать, а прорывается только какое-то уродливое подобие речи, мало чем отличающееся от шума машины.

Тот, кто обслуживает два конвейера, может стоять на месте не более 10 секунд. А если он тем не менее позволяет себе сесть, то начинает нервничать, что в этот момент где-то допускают нарушения норм и может произойти авария. Ему не нужно никакого надсмотрщика и надзирателя — эту функцию выполняет машина, она не отличается излишней снисходительностью.

Сдельная работа по системе МТМ на конвейерах не оставляет никаких резервов, из человека выжимают все соки, в лучшем случае можно выгадать передышку, если в станке что-нибудь не ладится, зато потеряешь заработок. Но даже последняя возможность выцыганить у машины 1—2 минуты скоро исчезнет. Рабочий-испытатель, проходящий мимо, сообщает нам: «Сегодня ночью мы пробовали пускать станок таким образом, чтобы не приходилось уменьшать скорость, чтобы станок сам ее регулировал. Тогда вам вообще никаких перекуров, будете бегать, как заведенные. Со следующего года это введут». Он быстро описывает круги пальцем вокруг станков, показывая, как это будет выглядеть. До сих пор можно было выкроить 1—2 минуты передышки, если число деталей оказывалось больше предписанного.

Из машин брызжет точильная жидкость и масло. Волосы и кожа покрываются слоем жира, у многих волосы выпадают и появляется зуд. У одного рабочего, который постоянно чешется, образовались язвы на ногах. Запах масла не отстает, сколько ни мойся. «Вы теперь по-настоящему пахнете фабрикой»,— говорит мне хозяйка, у которой я живу на квартире.

Проходит неделя моей работы в утреннюю смену у Закса — подъем в пять, ровно в шесть начало смены на заводе «Зюд»,— и вдруг я осознаю, что живу в Швейнфурте не только эту неделю, как мне казалось все время. Я ведь приехал сюда как журналист, как полутурист и до своего поступления к Заксу прожил три недели, чтобы осмотреться. Я воспринимаю два совершенно различных города с двух совершенно различных точек зрения.

«А вообще-то, знаете, человек ко всему может привыкнуть, и, с одной стороны, это хорошо, с другой — плохо. Я убежден, что рабочие говорят: «Конечно, я за систему МТМ»,— ведь они благодаря ей больше зарабатывают. А дело в том, что они надрываются и лезут из кожи вон, чтобы заработать как можно больше — в этом вся логика». (Представитель дирекции завода «Зюд» — ученице, которая спросила его, что такое МТМ.)

Иностранцы на заводе «Фихтель и Закс» особенно часто попадают в аварии. Для концерна это невелика потеря, потому что действуют долгосрочные договора с Грецией и изношенные рабочие заменяются свежими. Там, где ощутимее отчуждение труда, неуверенность в завтрашнем дне и страх, там наиболее велика и опасность аварий. Один немецкий рабочий рассказал мне о своем товарище-иностранце: «Деталь заклинило, а там был один грек, он залез в станок рукой, хотел сдвинуть эту штуку, в этот момент рукоятка опустилась и ему придавило фалангу пальца, давление-то пятнадцать атмосфер, он как заорет, зовет меня. Я подошел и сразу выключил гидравлику, чтобы снять давление, он вытащил руку и смотрит на палец, а палец плоский, как почтовая марка, не толще ногтя. И что, думаешь, он пошел к врачу? Он его потер, пока палец немного не пришел в норму, и при этом здорово стонал. Я ему говорю, ты иди в санитарный пункт, но он ни за что. Мне, говорит, нужна работа, я не хочу назад, в Грецию. Тут я пошел к мастеру, рассказываю, что случилось, мы его силой отправили в больницу на санитарной машине».

Греческий рабочий Арис Каракостас работал у Закса четыре года. В январе он получил производственную травму, которой могло не произойти, и остался калекой, чего тоже можно было избежать. Семья Каракостаса живет еще в заводской квартире. Несколько дней назад его выписали из больницы, и я захожу к нему домой.

Фрау Каракостас рассказывает: «Станок, пресс этот, был уже два дня как испорчен. Муж все говорил, что он сломался, а они ему: ничего, ничего. Я там не была, муж мне рассказывал. Он потом после аварии встретил в городе одного немца, который работал на этом станке до него, и тот ему сказал: «Да, Каракостас, авария все-таки случилась, надо же! Я раньше работал на этом станке; как увижу, что он сломался, выключаю его и больше не работаю». А почему так вышло с моим мужем? Почему он не мог выключить станок? Потому что он иностранец?»

Рабочий Каракостас: «Я каждые четверть часа сообщал, что станок не в порядке. Пресс останавливался то слишком высоко, то слишком низко. Это запрещено. За два дня до этого, когда у одного немца станок только немного разладился, пришел наладчик и выключил его. Вот и случилось то, чего я все время боялся. Пресс опустился, я потянулся, вытащить руку уже не могу: она стала тонкая выше запястья, как карандаш. Я крикнул соседу, чтобы позвал слесаря или наладчика, я был совсем спокойный и сознания не потерял. Он их привел, а они: «Что случилось, что случилось?» Я говорю, не видите, что ли, выключите станок, а он включил обратный ход, и пресс только опустился немного по моей руке, я говорю, давай обратно, а он не слышит. Если бы я не заорал, мне бы всю руку расплющило. Они просто дали обратный ход. Только когда я заорал, они остановили станок, я смог вытащить руку. Я ничего не по-

нимаю, рядом стояли три станка незанятые, исправные, а меня заставили работать на сломанном. Или им травма нужна была? Может, у них как раз было слишком много греков?

Из руки ни капли крови не вытекло. Я пошел к санитару, и меня врач отправил потом на машине в больницу св. Иосифа. Мне сперва сделали рентген, а потом пришлось ждать два часа. Я спрашивал врачей, что случилось с моей рукой. Примерно в час дня приходит молодой врач, брюнет такой, в очках, с рентгеновским снимком. Я видел, что на снимке моя рука. Я спрашиваю, это моя рука, что с ней? «Спокойно, не волнуйтесь!» А что рука у меня пропала, я узнал только через два дня. Когда ко мне в больницу зашел один мой товарищ, я думал, рука у меня еще есть. Зачем врач это сделал: не спросил ни меня, ни мою жену — она меня ждала внизу у входа. Разве я раб? Я потом спрашивал у специалиста во Франкфурте. Они говорят, что при таких травмах никогда не делают ампутаций и даже если бы я попал в городскую больницу в Швейнфурте, мне руку бы не отрезали. Я знаю других греков, которым в больнице св. Иосифа собирались отрезать пальцы, но они говорили «нет» и выписывались, ложились в другие больницы. У них и сейчас пальцы есть. Их хоть по крайней мере спросили. А со мной вышло прямо как на войне, когда тебя подстрелят и никто не пытается использовать все возможности, а просто чик — и готово, нет руки или ноги».

Фрау К.: «Я тоже у Закса работаю. Когда с моим мужем случилось несчастье, я заболела нервным расстройством. Я все думала о том, что муж потерял руку, а ведь он играет на гитаре, он не может без гитары жить. Это его хобби, и он собирался стать профессиональным гитаристом».

Рабочий К.: «Я исполнял на гитаре фламенко. Я двенадцать лет учился в Греции. У меня дипломы нескольких музыкальных школ, я пять лет выступал по радио. Я собирался в конце января уволиться, потому что портил себе руки у пресса, а другой работы мне не давали. Мы хотели с двумя друзьями организовать турне, нас Теодоракис звал в Париж. Мне оставалось дотерпеть до конца января, чтобы получить юбилейные 560 марок, а если бы уволился в начале января, мне пришлось бы выплачивать юбилейные фирме».

Фрау К.: «Я очень болела после этого. Не могла спать, не могла есть, сначала четыре недели, потом еще две недели. За это время я получила три письма из отдела, занимающегося больными. Они писали, что я должна обратиться в амбулаторию, и я пошла в амбулаторию. Они меня спросили, отчего я болею. Я сказала, они тогда прислали мне второе письмо, где было написано, во что обходятся фирме Закс больные, а в третьем письме было написано, что тех, кто много болеет, увольняют».

Рабочий К.: «Я не писал своей матери, что случилось с моей рукой, потому что у меня во время войны погиб брат в Германии, в концлагере Дахау. А то мать подумает, что сперва один сын в Дахау, а теперь у второго рука...»

Больница св. Иосифа отказывается выдать рентгеновский снимок. В сообщении фирмы «Фихтель и Закс» об этой аварии имеется лишь краткая пометка: «Правая рука, тяжелое сплющивание». О последствиях — ни слова.

БЕНДЖАМЕН СПОК

ДОСТОЙНОЕ И НЕДОСТОЙНОЕ

(Отрывки из книги)

Я посвятил свою жизнь изучению детей и выработке рекомендаций, как вырастить их хорошо приспособленными к жизни и счастливыми. А теперь я вижу всю тщетность подобных усилий, если затем этих детей испепелит безумная война или если, став взрослыми, они разочаруются в жизни из-за того, что общество, которое они унаследовали, заняло неверную, уклончивую позицию в вопросах нравственности, извращает свои внутренние и внешнеполитические цели, потому что его правители одержимы жаждой власти, и упрямо игнорирует предназначение человека, созданного для любви и творческого созидания.

Перечисленные мотивы выглядят настолько различными, что их, казалось бы, нельзя объединить. Но, на мой взгляд, их связывает воедино чрезвычайно важная для общества убежденность в значении моральных критериев.

С годами для меня становится все более очевидным, что тяжелейшие проблемы Америки — преступная война, расовая дискриминация, нищета, которой могло бы не быть,— порождены не отсутствием знаний или средств, а нравственной слепотой или растерянностью. Я вовсе не хочу сказать, что нравственное негодование само по себе может служить верным руководством к действию,— ведь любой индивид или группа людей всегда способны найти моральное оправдание своим поступкам. Нет, но, описав полный круг, я в конце концов понял, укрепился в убеждении, что в любых вопросах необходимо учитывать моральные факторы.

■

Большинство американцев, считающих себя мыслящими людьми, всегда, на мой взгляд, разочарованы, но не осознают этого. Они вовсе не утратили веры в материальные достижения цивилизации. Они гордятся космическими кораблями и искусственными сердечными клапанами. Утратили же они веру в человеческое достоинство. Эта тенденция, по всей вероятности, зародилась ранее, но особенно очевидной она делается в последние годы. Романы и пьесы становятся все циничней и циничней. Подчеркиваются примитивные, животные свойства человека, словно художники хотят сказать: «Вот каковы люди на самом деле. Все остальное — мишура». Одна современная пьеса, пользовавшаяся большим успехом, состояла в основном из взаимных оскорблений мужа и жены, рисовавших друг друга в самом гнусном свете.

Живопись когда-то изображала людей, на которых было приятно смотреть. Теперь людей рисуют — когда рисуют — уродливыми и искаженными. Современный танец обращается к движениям, которые в прошлом были бы сочтены неуклюжими или глупыми. Серьезная музыка сменила гармонию на диссонансы, как будто только в резких звуках заключен смысл. Я не пытаюсь судить, насколько хорошо или вечно современное искусство, и не утверждаю, что все предшествующее было лучше. Искусство должно развиваться или оно погибнет. Я только указываю на воплощение нашего неверия в то, что прежде считалось достойным восхищения в человеке; теперь, когда люди собираются вместе, разговоры нередко подменяются оскорбительными шутками и взаимным подкалыванием, а прежние общепринятые выражения сменяются руганью.

Повышенный интерес к материальным ценностям в Америке, возникший как результат борьбы первых поселенцев за существование и укрепленный заманчивыми возможностями, которые сулили природные богатства страны, возможно, привел к

тому, что американцы несколько слабее ощущали свою духовную личность, а огромная обезличенная промышленность, заинтересованная только в прибылях и экспансии, подчинила человека машине, отняла у его работы внутренний смысл и лишила его достоинства.

Может быть, благодаря молодости нашей страны возник и еще один фактор — отсутствие уважения к старшему поколению и его ценностям. В других частях света детям прививают уважение к родителям, верность их убеждениям, а родители почитают взгляды дедов. В Америке же отец говорит: «Сын, если ты не добьешься большего, чем добился я, значит, ты немногого стоишь».

Таким образом, представление человека о себе беднеет, теряет цельность. Так уж устроен человек, что когда в нем видят всего лишь «животное» или «эгоиста», он начинает требовать от себя меньше.

Я полагаю, что разочарованность человека основана на глубоком непонимании им собственной природы. Конечно, человек находится в близком родстве с животными, но верно и то, что он сильно от них отличается. Благородство, духовная жизнь и творчество — задатки всего этого заложены в нем от рождения. В наши дни к этим словам относятся весьма скептически не только из-за всеобщего скептицизма, но и из-за готовности молодежи всюду видеть лицемерие старшего поколения, а потому я укажу, какой смысл я в них вкладываю. Благородство подразумевает веру в других людей и собственные высокие устремления. Благородный человек преклоняется перед мужеством, верностью, великодушием, целеустремленностью, способностью к созиданию и развивает их в себе. Благородство — это то, что побуждает человека посвятить себя служению обществу, или науке, или же созданию настоящей хорошей семьи.

Духовная жизнь человека — если только он не окончательно испорчен — опирается на его способность реагировать на такие нематериальные стимулы, как красота в природе или в искусстве, доверие детей, нужда беспомощных людей, смерть друга, пусть даже после долгой разлуки.

Творческая жизнь подразумевает не только занятие искусством или литературой, но и изобретения, научную деятельность, инженерную мысль. А искусство и наука, разумеется, составляют сущность цивилизации.

■

Маленькие дети (особенно в возрасте от трех до шести лет) боготворят своих родителей, находятся под их влиянием и подражают им, но не тем, которых знают соседи, а идеализированным, так как дети всегда переоценивают мудрость, силу и обаяние своих родителей. В этом беспомощном возрасте дети постоянно ощущают, как много значит для них родительская любовь, а потому и сами учатся бескорыстной любви к родителям и другим людям. А это в свою очередь становится со временем основой их привязанности к собственным детям и доброго отношения к людям вообще. Медицинские наблюдения свидетельствуют, что те несчастные дети, которые не получают любви, никогда не смогут сами одарить ею.

Молодежь вовсе не всегда права, точно так же, как и взрослые. Но когда назревает время реформ, критическое отношение молодежи к догматам старшего поколения позволяет ей с большей легкостью распознавать новые возможности и с большей смелостью искать новые решения.

Главная проблема подростка и молодого человека, как показал Эрик Эриксон в своих книгах «Юноша Лютер», «Личность, молодежь и кризис», это проблема обретения собственной личности, осознание себя как отдельной и независимой индивидуальности.

Молодые люди, если у них есть мужество, стремятся избежать компромиссов и среднего пути, отчасти потому, что они нередко чувствуют, как компромиссы губительно сказались на их родителях. Молодой человек с духовными запросами постоянно готов обнаружить у своих родителей признаки лицемерия. Он готов отвергнуть их моральные нормы и свободно избрать свои собственные, хотя совесть порой и препятствует ему в этом. Однако, если бы он убедился, что родители не следуют правилам, которые исповедуют, он мог бы впредь не относиться к ним серьезно. Типичным примером может служить юноша, которому его близкие прочат отцовскую профессию. Он не имеет ни малейшего представления о том, что ему хотелось бы делать, но он твердо знает одно: того, что делает его отец, он делать не хочет.

И если прежде молодежь, взрослея, отказывалась от своих негативистских позиций, то теперь все больше молодых людей продолжает сохранять свои ранние идеалы. Таким образом, протест, казавшийся временным явлением, сейчас перерастает в сильное и постоянное стремление к коренной ломке, какой не знало прошлое.

■

Много лет я был бескомпромиссным сторонником гражданских свобод и осуждал лицемерие, обычно сопутствующее применению законов о нравственности. Однако зараженность современного кино, литературы и искусства тем, что я назвал бы эпатажной порнографией, и равнодушие к этому блюстителей закона заставили меня несколько изменить мою позицию: я нахожу здесь одну из тенденций, приводящих к процветанию жестокости. Поборники гражданских свобод мотивировали свои возражения против цензуры и законов о нравственности следующими соображениями: незыблемых определений

непристойности и пристойности не существует, так как содержание этих определений меняется в зависимости от времени и места; запрещенными оказываются открытые и честные попытки поставить определенную проблему из самых лучших нравственных побуждений, а хихикающее смакование двусмысленностей закон допускает; нет доказательств того, что непристойности кого-либо развратили; и ограждать детей, если они в этом нуждаются, должны родители. Все эти доводы несут в себе немало истинного, но они не затрагивают ни единого из позитивных оснований для введения законов о нравственности и норм общественной морали.

В середине двадцатого века американская публика и апелляционные суды быстро раздвинули границы того, что следует считать пристойным. Оставлена весьма ограниченная территория — «жесткая» порнография,— и границы ее по-прежнему все так же трудно определить. По-моему, для обоснования юридических и житейских норм приличия вовсе нет необходимости доказывать, что сексуальное преступление взрослого человека или потеря невинности подростком были прямым следствием или чтения такой-то книги, или просмотра такой-то картины. Однократный опыт не может оказать на человека такого воздействия. Однако различные психологические наблюдения ясно показали, что нравственные нормы каждого отдельного человека всегда меняются — в ту или иную сторону, в зависимости от той этической атмосферы, которая его окружает. Это относится и к сексуальному поведению, и к насилию. Эксперименты показали, что после просмотра фильмов о насилиях люди становятся хотя бы немного, но более жестокими по отношению к другим.

Человек преодолел варварство, ставя себе более высокие идеалы и подавляя, преображая свои животные инстинкты. Шкала его нравственных ценностей, разумеется, изменяется, по мере познания вселенной и самого себя меняется его мироощущение. В лучшие моменты человек пытается жить согласно со своими идеалами, и он старается подкрепить их юридическими и моральными кодексами. Особенно такие кодексы нужны детям с их высокой восприимчивостью и привычкой доверчиво полагаться на взрослых. Назначение этих кодексов состоит еще и в том, чтобы сдерживать тех взрослых, которые не уважают признанные нормы морали, кому недостает самодисциплины. И, на мой взгляд, ничто не свидетельствует о том, что необходимость в таких кодексах отпала. Просто мы живем в эпоху, когда маятник общественных нравов качнулся от культа приличий, характерного для конца девятнадцатого века, к нынешним требованиям терпимости.

В прежние времена родителям с идиллическими взглядами на плотскую любовь, отвергающим идеи насилия, было сравнительно легко оградить своих детей от нежелательных влияний. Скажем, ребенок попадал в театр, только если родители считали, что спектакль для него подходит. Благодаря относительно строгим требованиям закона и цензуры книги и журналы, выставленные в соседних киосках, также не таили в себе неожиданных опасностей.

Сейчас положение изменилось. Пределы дозволенного в изданиях, лежащих на прилавке, в большинстве случаев определяются только личной этикой владельца магазина. По телевизору, который доступен детям в любую минуту, показываются зрелища все более откровенные и натуралистические. Подростки, даже в тех семьях, где следят за их воспитанием, смотрят кинофильмы по собственному выбору.

Мне кажется, освобождаясь от нашего так называемого пуританского прошлого, мы потеряли ориентацию. Многие просвещенные родители, все еще придерживающиеся строгих убеждений, боятся, что не сумеют передать их детям, так как им не на что опереться. И многие дети, как свидетельствуют сообщения детских психиатров и школьных воспитателей, страдают от глубочайшей внутренней растерянности. Многоопытные же судьи боятся прослыть консерваторами.

Резкое и вызывающее нарушение запретов в этой сфере способно причинить большой вред обществу в целом и особенно детям, даже если их искренне пытаются оградить. Риск еще больше возрастает, когда преступность, в частности преступность подростков, и так уже достигает неслыханных размеров, а широкая публика смакует показ жестокости по телевидению. Как мне кажется, вера в назначение и достоинство человека утрачена обществом в беспрецедентной степени.

Истинные писатели, чьи книги выдержали проверку временем, разумеется, обращались, подчас шокируя читателей, к неприглядным сторонам действительности, но делали они это с большим тактом, всегда имея в виду важные социальные, нравственные или художественные проблемы. Я согласен с тем, что культуру, подобную той, которая была в конце девятнадцатого столетия в Америке, зажатую в тиски ханжества и чопорности, следовало «встряхнуть», чтобы вернуть ей честность. Это и происходило постепенно в течение последних пятидесяти лет.

Но, по моему глубокому убеждению, нынешнее положение вещей не имеет ничего общего с этим процессом очищения. Теперь на моральные общественные нормы ведут атаку главным образом писатели, художники и режиссеры, не отличающиеся особой художественной или социальной взыскательностью.

Разумеется, больше всего мне бы хотелось, чтобы широкая публика просто отворачивалась от подобного рода зрелищ и чтобы такого рода режиссеры вынуждены были бы прекратить свою деятельность именно по этой причине, а не по требованию закона и судов. Однако, поскольку вряд ли в течение ближайших двух десятилетий можно ожидать от всей публики подобного здорового отвращения, я пола-

гаю, что следовало бы принять определенные законодательные меры.

Я признаю, что представления о непристойности и грубости меняются от эпохи к эпохе. Я не отрицаю, что предлагаемые мной меры могут задержать на долгие годы выход в свет какого-нибудь художественного шедевра, что будет потерей для тех, кто лишится его. Я согласен, что рассуждаю так же, как все цензоры и пророки, грозившие миру гибелью. Но с другой стороны, ведь страны и цивилизации действительно гибли, когда они теряли веру в себя и отрекались от истинно моральных норм.

■

Самая страшная из наших проблем состоит в том, чтобы уберечься от оружия, которое мы же изобрели. Эта проблема осложняется и нашей привычкой закрывать глаза на грозящую опасность, если мы не видим, как могли бы избежать ее. И большинство из нас готово рисковать ядерным уничтожением, лишь бы избежать обвинений в недостатке патриотизма или в чудачестве из-за своей антивоенной деятельности.

Я присоединился к движению борьбы за мир в 1962 году, когда обсуждался вопрос о возобновлении ядерных испытаний. Я понимал, что по мере того, как все больше и больше стран будет испытывать новое оружие, выпадение радиоактивных осадков увеличит во всем мире число заболеваний раком и лейкемией, а также приведет к тому, что все больше детей будет рождаться уродами.

И еще я понимал, что вооруженная до зубов Америка, самодовольная и самоуверенная, все больше перестает контролировать агрессивность своих детей.

Осенью 1964 года я выступал по радио и телевидению, агитируя за избрание Линдона Джонсона, потому что он обещал прекратить эскалацию войны во Вьетнаме, он даже благодарил меня по телефону. Когда три месяца спустя он начал резкую эскалацию войны, моя тревога и антивоенная активность резко возросли.

Трагическая война во Вьетнаме — лишь один эпизод применения политики силы, которую наша страна пытается проводить во всем мире. И свою агрессию мы пытаемся оправдать с помощью самообмана, рожденного нашим параноическим страхом перед коммунизмом. Этот страх губительным образом сказывается на нашей политике, как внешней, так и внутренней. И он приведет нас к самоуничтожению, если мы не сможем излечиться и построить мир, живущий в дружбе.

■

На мой взгляд, вряд ли даже в будущем найдется более наглядный пример того, как нации втягиваются в войну из-за стремления к господству и параноических подозрений, рожденных собственной агрессивностью, чем американская эскалация войны во Вьетнаме.

Когда вьетнамский народ в 1954 году под руководством Хо Ши Мина, наконец, победил после восьмилетней войны за независимость, по Женевским соглашениям Вьетнам был временно разделен на две зоны, с тем чтобы французы и горстка привилегированных вьетнамцев (богатых землевладельцев и высших чиновников), сражавшихся на стороне французов, получили бы время для улаживания своих дел на юге страны. Не далее чем через два года было обещано провести выборы с целью объединения всего вьетнамского народа под властью одного правительства, которое он предпочтет. Специалисты сошлись во мнении, что 80% населения проголосовало бы за своего национального героя — Хо Ши Мина. Однако президент Эйзенхауэр и государственный секретарь Даллес решили помешать южной половине Вьетнама проголосовать за Хо Ши Мина, попытавшись создать на юге страны американскую сферу влияния вопреки своему обещанию соблюдать Женевские соглашения. Даллес с помощью кардинала Спелмана отыскал проживавшего в Соединенных Штатах некоего Нго Дин Дьема, вьетнамца, принадлежавшего к привилегированной верхушке, и водворил его в Сайгон в качестве диктатора.

Американская марионетка Дьем оказался реакционным, жестоким диктатором и вскоре стал крайне непопулярен в стране. Он отменил не только общенациональные выборы, но также и традиционные выборы в сельских местностях. Он возвратил богатым землевладельцам те земли, которые Хо Ши Мин раздал до этого крестьянам. Он переполнил тюрьмы людьми, не согласными с ним.

В 1960 году в Южном Вьетнаме вспыхнуло крупное восстание против Дьема — так называемое вьетконговское восстание. Восставших поддерживало буквально все население страны, и за два года в их руках оказалось три четверти Южного Вьетнама. Наше правительство при трех президентах — Эйзенхауэре, Кеннеди и Джонсоне, нарушая таким образом как наши обязательства перед ООН, так и Женевские соглашения, играло все более и более активную роль в попытках подавить восстание. Эйзенхауэр поставлял оружие и деньги. Кеннеди послал двадцать тысяч «военных советников». А в феврале 1965 года президент Джонсон, убедившись, что инертное сайгонское правительство и армия стоят на пороге полнейшего краха, внезапно перешел к эскалации войны и начал бомбардировать Северный Вьетнам, а также посылать в Южный Вьетнам американских солдат, численность которых со временем достигла полумиллиона.

Президент Джонсон продолжал повторять, что войну вызвала «агрессия с Севера», хотя на самом деле (что подтверждается «Белой книгой» нашего собственного

правительства, если читать ее внимательно) северовьетнамцы, не считая немногих добровольцев, не оказывали военной поддержки южновьетнамским повстанцам, пока президент Джонсон не начал бомбардировки Северного Вьетнама. Это яркий пример того, как агрессор перекладывает ответственность за свою агрессию на жертву. Джонсон часто заявлял, что мы сражаемся за свободу южновьетнамского народа, хотя на самом деле мы были главной опорой одного ненавистного народу диктатора за другим (Дьем был убит своими соотечественниками), а единственными вьетнамцами, действительно желавшими нашего присутствия, были землевладельцы, чиновники и спекулянты, которые раньше сражались против своего народа на стороне французов.

Самым тягостным была та легкость, с какой Джонсон обошел все препятствия, созданные для того, чтобы охранить Америку от воинственности ее президента. Джонсон нарушил свою клятву соблюдать конституцию, когда развязал военные действия, не дожидаясь, чтобы вопрос о войне был решен конгрессом. Он заявил, что резолюция относительно инцидента в Тонкинском заливе была равнозначна объявлению войны; однако сенатская комиссия по иностранным делам докопалась, что случай, давший Джонсону основание потребовать этой резолюции, то есть неспровоцированное нападение Северного Вьетнама на наши военные корабли, в действительности места не имел, что все это было ложью. Наш флот вооружил сайгонскую эскадру, напавшую на порт в Северном Вьетнаме, причем нападение было совершено с ведома и при активной поддержке наших военно-морских сил.

Джонсон пустил в ход грубое давление на десятки сенаторов и конгрессменов, пытавшихся сначала выступать против войны, как некоторые из них рассказывали мне. Он обвинял тех, кто отстаивал мир, в поддержке врага. Он неоднократно заявлял, что с радостью прекратил бы бомбардировки при малейшем намеке на готовность противника вести мирные переговоры. Однако от дипломатов нейтральных стран стало известно, что наши противники несколько раз изъявляли такую готовность, но Джонсон игнорировал это и умышленно усиливал эскалацию.

Когда наши руководители поняли, что для одержания победы одного превосходства в оружии и численности войск недостаточно, они прибегли к грубейшим нарушениям законов ведения войны: мы отравляли урожаи, обрекая на голод гражданское население, сравнивали с землей целые деревни, а их жителей переселяли в лагеря, сбрасывали на деревни бомбы с напалмом, нанесли тяжелейший ущерб многим городам Северного Вьетнама, применяли страшные осколочные бомбы против гражданского населения и передавали сайгонской армии пленных, обреченных на пытки. Все это запрещено международным законом.

В течение двух лет большинство американцев, включая сенаторов, членов палаты представителей и журналистов, принимали заявления президента на веру, не сопоставляя их с реальными фактами. Виднейшие промышленники и представители интеллигенции подписывались под газетными заявлениями, поддерживая лживую версию Джонсона о причине войны, словно правящий класс чувствовал себя обязанным сплотить ряды, невзирая на факты.

Когда Джонсону сообщили о неминуемом крахе сайгонской армии и правительства, он, как сообщают, сказал: «Я не желаю быть первым президентом, проигравшим войну». При этом он не задался вопросом, справедлива ли эта война и даже отвечает ли она интересам его страны. Когда позднее стало очевидно, что наша интервенция терпит неудачу, он поклялся, что никогда «не подожмет хвост и не убежит». Джонсон как будто сказал даже, что для него нет большей радости, чем видеть звезды и полосы американского флага на чужой земле.

Подведем итоги вьетнамской войны на нынешнем ее этапе: израсходовано 100 миллиардов долларов, убито 50 тысяч молодых американцев и миллион вьетнамцев, сотни тысяч детей остались сиротами и разлучены с семьями, вследствие чего они вырастут эмоционально неуравновешенными, шесть лет висит над нами опасность ядерной войны — и все лишь для того, чтобы Линдону Джонсону и Ричарду Никсону не пришлось признать провала политики силы. Разумеется, их предшественники, советники, конгресс и американский народ разделяют с ними ответственность за эту войну.

Вьетнам — это не отдельная ошибка американской внешней политики. Чтобы избежать повторения чего-либо подобного, американцы должны понять, что за вмешательством Соединенных Штатов во внутренние дела Вьетнама стоит стремление к господству. В 1953 году, когда мы оплачивали 80 процентов расходов на содержание французской армии в Индокитае, за год до окончательного поражения Франции, вместо которой позже пришли мы, президент Эйзенхауэр заявил: «Предположим, что мы потеряем Индокитай... Поступление столь необходимых для нас олова и вольфрама, которые мы получаем оттуда, прекратится. Таким образом, когда США голосуют за предоставлении Франции четырехсот миллионов, мы голосуем... за нашу мощь и возможность получать то, что нам нужно из богатств Индокитая и Юго-Восточной Азии». В 1945 году в «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт» была помещена статья под названием «Почему США идут на риск войны ради Индокитая. Это ключ к контролю над всей Азией». В статье говорилось: «Перед победителем откроется один из богатейших районов мира... США решили удержать его любой ценой».

Мы, американцы, считаем себя добросер-

дечным народом, придерживающимся в отношениях с другими принципа «живи и давай жить другим» и обладающим достаточным количеством собственных благ, чтобы не зариться на чужое,— наоборот, всегда готовы щедро помочь другим странам, попавшим в беду. Мы настолько в это верим, что не перестаем замечать экспансионистскую агрессивность наших военных, промышленных и финансовых институтов.

В реальности же американская политика всегда была настолько агрессивна, насколько ей позволяли средства. Мексиканская война 1848 года явилась итогом нашего явного стремления захватить две пятых Мексики. Испано-американская война была спровоцирована американцами ради многих стратегических, финансовых и политических целей, а вовсе не из такой уж горячей симпатии к кубинским революционерам. Наша доктрина Монро служила вовсе не для защиты стран Латинской Америки, как нас учили в школе. Она была предупреждением европейским государствам, что в Западном полушарии мы будем господствовать одни, что нам и удалось претворить в действительность как в экономическом, так и в политическом отношении. Время от времени мы считаем необходимым предпринимать вооруженную интервенцию — в Мексику, Никарагуа, Гаити и Доминиканскую Республику. В других странах мы поддерживаем перевороты, что особенно четко проявилось, когда мы прибрали к рукам контроль над зоной Панамского канала.

После второй мировой войны военная, политическая, финансовая и промышленная мощь Америки возросла. Благодаря НАТО США установили военное господство в Западной Европе. Они содержат тысячи военных баз на территориях тридцати иностранных государств. Во многих странах имеются филиалы американских корпораций или даже некоторые отрасли промышленности находятся в руках американцев, в итоге мы в значительной степени контролируем экономику этих стран, чему сопутствует соответствующее политическое и культурное влияние, которое, несомненно, наносит ущерб этим странам.

Я против того, чтобы Америка совершала империалистическую агрессию, называя это защитой от коммунизма, не только потому, что это несправедливо по отношению к стране, на которую мы напали, но и потому, что этот самообман может в конце концов привести нас к самоуничтожению. Ведь никого, кроме нас самих, мы тут не обманываем.

Тем американцам, которые надеются на более мирную внешнюю политику, следует ясно представлять, что́ наше правительство творит в Латинской Америке, так как именно там скорее всего вспыхнут новые войны типа вьетнамской.

Экономика стран Латинской Америки находится в состоянии глубокого упадка. Земля там принадлежит горстке богачей, которые сопротивляются реформам и вместе с фирмами США владеют всей промышленностью стран. Прослойка мелких собственников относительно очень мала. Сельскохозяйственные рабочие все больше впадают в нищету в связи с быстрым ростом населения, низкими ценами на сельскохозяйственные продукты на мировом рынке и высокими ценами, по которым им приходится покупать промышленные товары, чтобы местные и американские дельцы могли получать сверхвысокие прибыли, в несколько раз превышающие соответствующие прибыли в США. В большинстве этих стран установлены военные диктатуры. Наше министерство обороны поставляет им оружие. Правительство там чаще сменяется в результате переворотов, а не выборов. Однако подавляющее большинство переворотов представляет собой отнюдь не социальные революции, совершаемые на благо угнетенного народа, а просто одна военная клика сменяет другую.

Наши дельцы и чиновники госдепартамента охотно сотрудничают с любой реакционной диктатурой. И с открытой враждебностью относятся к прогрессивным правительствам, которые иногда приходят к власти в этих странах в результате выборов или революции и которые, естественно, заинтересованы в земельной реформе, национализации таких ключевых отраслей промышленности, как нефтяная и угольная, и уменьшении непомерных прибылей США. Однажды я был включен в состав дипломатической делегации в одну южноамериканскую страну, и меня поразила откровенность чиновников государственного департамента, которые рекомендовали нам сосредоточить все внимание только на обеспечении интересов наших промышленников, о нуждах же народа этой страны не было сказано вообще ни слова.

Наше центральное разведывательное управление, которому предоставлены весьма широкие возможности для вмешательства посредством заговоров и подкупов во внутреннюю и внешнюю политику других стран, никогда не предпринимало попыток свергнуть реакционные правительства, а только народные, так как, по мнению некоторых наших должностных лиц, они слишком терпимо относились к коммунистам или, по мнению наших промышленников, угрожали их интересам.

Людям одних со мной взглядов кажется трагичным, что Америка, достигнув небывалой мощи, предстала в глазах других наций боязливой, подозрительной, враждебной и надменной. Америка, рожденная революцией и в течение ста пятидесяти лет слывшая страной свободы, теперь стала оплотом всех реакционных сил на земле и охотно помогает свергнуть любое правительство, пусть даже пользующееся в своей стране всенародной поддержкой, если только оно угрожает американским капиталовложениям или политическому влиянию.

БЕНДЖАМЕН СПОК
ДОСТОЙНОЕ И НЕДОСТОЙНОЕ

Возрастающее в слаборазвитых странах отчаяние неимущих, которых сейчас больше, чем когда-либо, будет неизбежно приводить к социальным революциям — при помощи голосования или оружия. И Соединенным Штатам следовало бы, преодолев свою паранойю, оказывать слаборазвитым народам конкретную помощь в технике, здравоохранении и образовании, что сделало бы их нашими друзьями. А также и финансовую поддержку, но через ООН, чтобы наша помощь не оказалась бы средством контроля над этими странами и их эксплуатации. Иначе США неизбежно превратятся в самую изолированную и ненавидимую страну во всем мире.

■

Почему такая богатая и мощная страна, расположенная далеко от наиболее сильных коммунистических государств, боится коммунизма больше всех других государств?

В качестве первой причины я бы назвал индивидуализм американцев. По сравнению с гражданами более старых стран, с их приверженностью к традициям, мы менее охотно позволяем государству или другим институтам ограничивать нас во имя общего блага. Мы считаем себя вправе истощать почву, уничтожать леса, загрязнять воздух и превращать реки в сточные канавы, если таким образом можем заработать лишний доллар.

Кто из либералов старшего поколения способен забыть кошмарное время, когда сенатор Джозеф Маккарти, голословно обвинив сотни сотрудников государственного департамента в том, что они коммунисты, сумел в конце концов застращать государственного секретаря Даллеса, сенат и президента Эйзенхауэра? Самое же страшное заключается в том, что значительное большинство опрошенных американских граждан верили его обвинениям и одобряли его противозаконные методы. Он единолично отнял у миллионов американцев право вступать в какие-либо организации, кроме самых лояльных, и так их запугал, что они до сих пор не рискуют вернуть себе это право.

Комиссия палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности (теперь переименованная в комиссию по вопросам внутренней безопасности) в течение десятилетия переезжала из города в город, публикуя списки тех, кого она вызывает для проверки, и бездоказательно намекая, что они коммунисты или попутчики. Нередко в результате только этого люди лишались работы. Эта комиссия не разоблачила никаких тайных врагов страны и не внесла в законодательство ничего, достойного внимания. Реальная ее деятельность сводилась к тому, чтобы запугать и принудить к молчанию тех, чьи взгляды ей не нравились. Тот факт, что в конгрессе ее постоянно поддерживало значительное большинство, хотя ее действия полностью противоречат конституции, показывает, насколько глубоко болезнь проникла и в конгресс, и в широкие слои населения. Две сходные комиссии функционируют и в сенате.

Федеральное бюро расследования немало потрудилось, чтобы лишить нас интеллектуальной и политической свободы.

Эдгар Гувер также использовал страх перед коммунистами и их попутчиками. Однако тщательный анализ показывает, что те, кого он объявлял попутчиками, не имели к коммунистам никакого отношения. Просто это были те либералы и радикалы, чьи взгляды он не одобрял. Такая нетерпимость к инакомыслящим ясно доказывает, что он не имеет ни малейшего представления об истинной сути демократии.

Наша страна напоминает полицейское государство. Но понимают это пока лишь те, кто на себе испытал полицейские репрессии: негры, борцы за гражданские права, участники антивоенных демонстраций, протестующие студенты. Конгресс утверждает законы, которые превращают осуществление конституционных прав представителями этих групп в преступление. Инквизиторы из конгресса преследуют их за их взгляды. ФБР ведет за ними слежку. Полиция избивает их и сажает в тюрьмы. Тех, кто становится жертвой полицейских насилий, обвиняют затем в нападении на полицейских. Немало моих близких друзей испытали все это на себе. Все большее число американцев, включая меня, приходит к выводу, что империалистическая внешняя политика и внутренние репрессии ввергают нашу страну во все более и более тяжелое положение. Если мы правы, а правительство получает все большие возможности принуждать к молчанию недовольных вроде нас, это только ускорит неизбежную катастрофу.

■

В нашей истории и в нашем характере, на мой взгляд, имеются факторы, которые объясняют, почему мы так легко взяли на себя роль мирового агрессора. Наша страна заселялась людьми достаточно жесткими и бесшабашными, чтобы порвать все старые связи и смело ринуться навстречу известным и неизвестным лишениям. Мы грабили, обманывали и уничтожали индейцев. Мы плохо обходились с каждой новой волной иммигрантов. Мы веками угнетали и унижали негров, иногда линчевали их, убивали из-за угла, бросали бомбы в их церкви. В областях, которые только начинали заселяться, человек в первую очередь полагался на свои пистолеты, а правосудие вершилось самозваными судьями; и мы все еще восхищаемся этими варварскими порядками. Из недели в неделю мы весело смеялись в кинотеатрах, глядя, как четвероногие персонажи мультипликационных фильмов падают с огромной высоты, попадают в огонь, взрываются. Вот уже двадцать с лишним лет взрослые и дети следят за всяческими зверствами на телеэкранах, и им все еще мало.

Количество военных игрушек в наших магазинах продолжает увеличиваться. Преступность, и в частности преступность среди подростков, последние двадцать пять лет стремительно росла, и нет никаких признаков замедления этого процесса. В трех из пяти последних наших президентов стреляли. Когда было сообщено об убийстве Джона Кеннеди, некоторые школьники встретили эту весть восторженным воплем.

Итак, мы всегда были жестоким народом, и наша агрессивность питалась своими же успехами. К тому же в двадцатом веке возникло отталкивание от викторианской чопорности, породившее решимость более не стыдиться наших грубых инстинктов. И все это увенчалось вакханалией жестокости на телевизионных экранах.

Газеты помещают письма читателей, содержащие требования вроде: «Мы должны дать урок коммунистам в Азии» или «Мы должны навести порядок на Кубе», как будто весь мир обязан считаться только с нашими желаниями, как будто мы имеем право и возможность навязывать их силой. Члены конгресса все время, пока идет война во Вьетнаме, заявляют, что для ее окончания нам следует более энергично осуществить ее эскалацию или применить ядерное оружие, что показывает, как далеко отступают они от позиций человечности, с какой легкостью они требуют, чтобы мы обрекли на смерть и неописуемые ужасы миллионы людей, никогда не причинивших нам никакого зла. Рекомендация генерала Кертиса Лемея бомбить Вьетнам так, чтобы там вернулся каменный век, не уступает в жестокости самым зверским выдумкам гитлеровских палачей.

Мы обязаны взглянуть в лицо фактам и, как это ни неприятно, признать, что в этом отношении мы недалеко ушли от варварства. И опасность возрастает во сто крат, поскольку речь идет о стране, способной благодаря своей мощи влиять на судьбы мира.

■

Мы — те, кто видит опасность,—должны организовать политическое движение, которое покончило бы с антикоммунизмом и империализмом и пеклось бы только о народном благе. Для этого, в частности, необходимо упразднить комиссию по вопросам внутренней безопасности при палате представителей и аналогичную сенатскую комиссию, ограничить задачи ФБР преследованием только уголовных преступников и иностранных шпионов, запретить ЦРУ заниматься организацией заговоров и подкупами и ограничить его деятельность разведкой.

В конечном счете есть только один способ воспрепятствовать тому, чтобы все новые и новые страны обзаводились ядерным оружием,— для этого должны начать разоружение те страны, которые его уже имеют. Несомненно, идея разоружения вызывает яростное противодействие самых мощных институтов и сил нашего общества. Армия и комиссия по атомной энергии, естественно, всегда считают наше оружие недостаточно мощным и будут бороться против каких-либо ограничений. Надо помнить, что многие секторы нашей промышленности жизненно заинтересованы в производстве все более совершенных и новых видов оружия. Конгрессменов и сенаторов заботит не только оборона сама по себе, но и экономическое значение военных контрактов для местной промышленности.

Любое обсуждение возможного шага на пути к разоружению (как мы видели на примере соглашения по частичному запрещению ядерных испытаний) порождает у подозрительных и воинствующих элементов конгресса, прессы и части публики твердое убеждение, что предлагаемое сокращение вооружения обязательно окажется для США более опасным, чем для всех остальных стран мира. Они не в состоянии понять, что накопление атомного оружия соответственно уменьшает безопасность любой страны в мире. Они не в состоянии поверить, что полезное для одной стороны может быть полезным и для обеих.

Грядущие поколения назовут контраст между тем, что мы делаем, и тем, что должны были бы делать, чудовищным.

Решение таких насущных для нашей страны проблем, как проблема нищеты, расовой ненависти, плохого жилья, нехватки учебных и лечебных заведений, приходится откладывать, пока нашей агрессии во Вьетнаме не будет положен конец.

В былые времена, когда вспыхивали эпидемии или начинался голод, люди оказывались бессильны бороться с ними. Теперь мы имеем в нашем распоряжении знания и средства, достаточные для перестройки мира. Мы топчемся на месте, потому что у нас не хватает творческой фантазии, настойчивости и дерзания начать.

Наша величайшая надежда — наши дети. Дети не боятся новых идей. Они готовы бескорыстно служить благородным идеалам. Значительную часть нашей молодежи уже отличает прекрасное сочетание благородных устремлений и трезвого мышления. Они не считают нужным мириться с окружающей жестокостью, глупостью и алчностью. Они уже присоединяются к беднякам и неграм в их борьбе за облегчение своего положения. Сотни молодых людей брошены в тюрьмы, потому что они не хотят убивать вьетнамцев. До сих пор родители и учителя прививали молодому поколению убеждение в том, что они должны в первую очередь стремиться к личному успеху и благополучию. Если мы сумеем научить их радости служения другим людям, то им будет гораздо легче, когда придет их черед, создавать

БЕНДЖАМЕН СПОК
ДОСТОЙНОЕ И НЕДОСТОЙНОЕ

прочные семьи, жить более дружно с другими людьми, обрести счастье и, главное, содействовать спасению мира.

■

В 1962 году, когда я стал участником движения за мир и разоружение и понял, что все мы зависим от произвола военно-промышленного комплекса (и его пособников — конгресса, прессы и руководства профсоюзов), когда я понял, что война во Вьетнаме является только эпизодом постоянной борьбы американских промышленников и правительства за усиление своего контроля над другими странами, я пришел к выводу, что нам вряд ли удастся спасти мир, если мы будем пытаться преобразовывать нынешнюю демократическую или республиканскую партии, которые финансируются промышленными и деловыми кругами, и что поэтому мы должны организовать новое политическое движение, недвусмысленно антиимпериалистическое по своему характеру и заботящееся об интересах простых людей.

Ущербность нашей демократии связана отчасти с ростом и слиянием больших городов; отдельный гражданин начинает ощущать себя слабым, беспомощным, не имеющим значения. А это в свою очередь порождает у некоторых чиновников безразличие, черствость и безответственность. Перед нами стоит настоятельная необходимость отыскать пути к разделению городов-гигантов на относительно небольшие районы с самоуправлением, чтобы вернуть гражданину не только его веру в то, что община помнит о нем и заботится, но и в то, что он сам обязан помогать своим соседям и оказывать содействие в управлении государством.

И в отношении своей работы человек нуждается не только в праве голоса относительно ее условий, но и в ощущении того, что он является участником какого-то творческого, созидательного процесса и вносит свою лепту в превращение этой работы в нужную и полезную для других.

■

Чиновники, издатели газет и частные лица, которые считают строжайшее поддержание закона и порядка единственным ответом на всякое проявление недовольства или уличные беспорядки, принадлежат к группам, глубоко удовлетворенным существующим положением вещей, а потому боящимся любых перемен. Давняя способность человека видеть только свою сторону вопроса позволяет им закрывать глаза, например, на вопиющую беззаконность унизительной дискриминации негров, которая длится уже более ста лет. Они ни разу не выдвинули веского возражения, когда борцы против войны во Вьетнаме указывают на ее полнейшую беззаконность и безнравственность. Они отказываются признать тот факт, что студенты, предъявляющие требования руководству университетов, вовсе не стремятся обеспечить какие-либо особые привилегии для себя. Студенты протестуют против сотрудничества университетов с военщиной, против несправедливости по отношению к неграм и преследований, которым подвергаются преподаватели, принимающие участие в прогрессивных общественных движениях. И к обструкциям они прибегают, только если университетские власти игнорируют их требования, пока они держатся в рамках закона и порядка, или же без конца тянут с ответом.

В сохранении закона и порядка заинтересованы все люди. Но если законы несправедливы или же открыто попираются теми, кто обязан их блюсти, мужественные борцы против несправедливости в конце концов обязательно обретают широкую народную поддержку. Именно так и осуществлялся в прошлом наш социальный и политический прогресс. В Декларации независимости сказано, что народ имеет право восстать, если законные средства не дают результата.

Меня, как и многих других, кто подвергался преследованию за наши методы борьбы против несправедливости, нередко обвиняли в том, что мы ставим себя выше закона или же позволяем себе выбирать, каким именно законам мы будем подчиняться, а каким — нет. Люди, выбирающие путь гражданского неповиновения, это — убежденные борцы, которые сознательно отказываются подчиняться некоторым законам, потому что считают их неверными и чудовищными, и которые готовы отвечать за последствия своих действий, чтобы привлечь внимание общественного мнения к творящимся несправедливостям и положить конец узаконенному произволу. Впрочем, сам я находился в несколько ином положении, когда предложил моральную и финансовую поддержку молодым людям, отказывавшимся по велению совести воевать во Вьетнаме. Я верил, что война во Вьетнаме абсолютно противозаконна, в чем меня убеждали как сообщения в прессе, так и история. Я верил, что нюрнбергский принцип, установленный нашим правительством и его союзниками и примененный против немецких и японских военных преступников, которые на его основании были приговорены к смерти, относится и к американцам. Согласно этому же принципу человек обязан не подчиняться приказам своего правительства, если эти приказы представляют собой преступления против человечности или против мира. Применять же этот принцип избирательно значило бы превратить закон в насмешку. И я верил, что этот принцип международного права аннулирует в отношении незаконной войны все законы и уставы, касающиеся военной службы. Таким образом, я верил, что не только не нарушаю закона, а, наоборот, отстаиваю его.

Консерваторы, реакционеры и даже некоторые из тех, кто считает себя либералом, буквально неистовствуют в своих бешеных нападках на протестующих студен-

тов. Они называют их оголтелыми анархистами, которые поставили себе целью уничтожить свои университеты и свою страну. Особенно гнусным примером я считаю провокационные подписи под фотографиями вооруженных студентов-негров Корнеллского университета, из которых следовало, что они ворвались в здание с оружием в руках, тогда как на самом деле это оружие принесли им друзья, когда стало известно, что консервативные белые студенты готовят вооруженное нападение на участников их сидячей забастовки.

Чем объясняются эти потоки клеветы, которые обрушиваются на молодых радикалов? Многие люди постарше пугаются мысли, что справедливое общество, которого требуют студенты, лишит их привилегий или даже уверенности в завтрашнем дне. Они сердятся потому, что молодежь не желает следовать навязываемой ей роли послушных подмастерьев. В глубине души (не признаваясь даже самим себе) они чувствуют, что радикалы действуют из самых благородных и бескорыстных побуждений, однако им легче ненавидеть радикалов и нападать на них, внушая себе и другим, будто радикалы — это изверги.

Почти всегда студенческие беспорядки в последнее время возникали после того, как студенты неоднократно в самой вежливой форме просили обсудить их предложение — как исправить то, что они считали несправедливым, но от них только нетерпеливо отмахивались или пытались отделаться неопределенными обещаниями. И только когда они прибегали к чрезвычайным мерам — например, занимали здание факультета,— им удавалось убедить ректора, что к их требованиям следует отнестись серьезно.

Иначе говоря, те, у кого есть власть, будь то администрация университета или любое правительственное учреждение, редко добровольно поступаются своей властью и идут на уступки в ответ на вежливые просьбы и делают это, только если понимают, что иначе будет хуже. Собственно говоря, власть имущие (включая прессу) даже не трудятся скрывать своего пренебрежения к тем, кто просит чего-то, не имея иных средств поставить на своем. Участники движения борьбы за мир убедились в этом на своем опыте. Негры сделали этот горький вывод, более ста лет выслушивая поучения и пустые обещания белых. В таком же положении находились и рабочие, прежде чем они организовали профсоюзы и добились права бастовать. Известно это и малым странам, зависящим от произвола более могущественных соседей. Вот почему пресса, широкая публика и администрация университетов должны либо признать за студентами право голоса в управлении университетами, либо прекратить свои жалобы, когда студенты добиваются своей цели, применяя давление.

Я не пацифист, хотя и уважаю точку зрения пацифистов. Я одобрял войну против Гитлера, и я поступлю точно так же, если появится новый Гитлер. Если бы мне предложили вообразить кризисную ситуацию, при которой я мог бы прибегнуть к насилию, я бы сказал, что без колебаний примкнул бы к восставшим, если бы американский президент упразднил конституцию, распустил конгресс или начал без суда сажать американцев в концентрационные лагеря. Я не утверждаю, что такой взгляд абсолютно правилен или самый лучший, я только поясняю свою точку зрения.

Всем американцам, не принадлежащим к воинствующим защитникам закона и порядка, необходимо понять, что почти во всех насилиях, которыми последнее время сопровождается подавляющее большинство попыток протеста внутри США, практически всегда повинны власть имущие. Беспорядки в негритянских гетто, как правило, вспыхивают в результате какого-нибудь очередного полицейского произвола (а ведь речь идет об отчаявшихся людях, которые постоянно испытывают на себе жестокий полицейский гнет), причем почти всегда жертвой полиции или национальных гвардейцев оказываются ни в чем не повинные прохожие-негры. Молодежь, имеющая по конституции право на выражение протеста и пытающаяся использовать это право, устроив демонстрацию перед Пентагоном и в Чикаго, так же оказалась жертвой, а не зачинщиком насилий. В некоторых университетах студенты занимали учебные здания, что представляет собой нарушение закона, однако не уголовное преступление, поскольку не сопровождалось насилиями над личностью и не являлось покушением на чью-либо собственность, так как здания эти предназначены для использования их студентами и преподавателями. Тем не менее против этих студентов применялось такое неоправданное насилие и с такой яростью, что многие прежде нейтральные их товарищи и профессора стали на их сторону, чего, конечно, не случилось бы, если бы студенты или их требования были бы неблагоразумны...

Молодое поколение — вот наша главная надежда на смелый социальный прогресс. Я верю, что решимость молодежи принять участие в строительстве более справедливого и доброго общества и ее готовность к борьбе за него будут возрастать и дальше. И я думаю, что, получив работу и обзаведясь семьями, эта молодежь в подавляющем большинстве не отступит на более консервативные позиции, как это обычно бывало в прошлом.

Перевод с английского И. ИРБРУСОВА

Д-р Спок ставит диагноз

Когда в 1962 году наша семья впервые оказалась на американском берегу, старшему сыну было четыре года, младшему не исполнилось и двух. Встречи с тамошними педиатрами было не миновать. Вскоре состоялось знакомство с доктором Бенджаменом Споком — поначалу заочное и довольно интригующее.

— А вы читали Книгу? — спрашивали американские врачи и знакомые. Слово «книга» произносилось подчеркнуто и уважительно, с определенным артиклем: «THE BOOK».

— Какую? — осведомлялся я.

— Книгу.

— Но, простите, как название?

— Книга.

Речь наверняка идет о Библии, подумал я про себя (ведь Библия в переводе с греческого значит — книга). Я ошибся, но не очень. Оказалось, две Книги соперничают между собой на американском рынке — Библия и Книга д-ра Бенджамена Спока. Именно так называют последнюю миллионы американских матерей и отцов, хотя на обложке напечатано: «Уход за ребенком». Уже свыше четверти века это — настольная книга едва ли не каждой американской семьи. Ежегодно ее покупает около миллиона родителей. Хемингуэй и Стейнбек не знали таких огромных тиражей.

Когда автора спрашивают о причине такого феноменального успеха его труда, он скромно отвечает:

— Книга написана просто и понятно. Снабжена подробным алфавитным указателем — удобно пользоваться. А кроме того, она недорога.

Все это так, но ведь за два с половиной десятилетия на книжном рынке США появилось множество руководств по уходу за детьми, написанных довольно доходчиво, имеющих предметные указатели и не очень уж дорогих. Отчего же Книга столь долго остается вне всякой конкуренции? Почему именно ее переводят на многие языки мира? [1]

«Секрет» труда д-ра Спока, по-моему, вот в чем. В тревожные минуты, когда с вашим сыном или дочерью «что-то не то», вы раскрываете Книгу и обнаруживаете не только компетентный совет опытного педиатра, но и задушевное слово воспитателя, неподдельно любящего ребенка, а в ребенке — Человека. Едва ли не на каждой странице между строками невольно читается: цените в вашем сыне и дочери Человека, воспитывайте Человека.

«Он настоящая личность со своими собственными идеями». О ком это пишет д-р Спок? Оказывается, о мальчугане в возрасте от трех до шести. И автор убежден, что эту человеческую личность, хоть и крошечную, надо оберегать и уважать, а ее «собственные идеи», хотя пока и маленькие и подчас неожиданные, не гасить, а развивать в «естественном» гуманистическом направлении.

В мир ребенка Бенджамен Спок пришел по призванию. Еще в детстве, будучи старшим сыном в большой семье янки из Коннектикута, он помогал матери ухаживать за маленькими братьями и сестрами. В колледже одно время подумывал, не пойти ли учиться на архитектора, но как-то на летних каникулах ему пришлось подрабатывать в загородном детском санатории. «Я наблюдал, как хирург-ортопед лечит детей, больных полиомиелитом, и понял, какую помощь он приносит им,— вспоминает Спок.— Я решил: хочу быть врачом». Вскоре он поступил в медицинскую школу при Колумбийском университете, а в 1933 году на дверях в одном из нью-йоркских домов появилась табличка: «Бенджамен Спок, м. д.» (доктор медицины).

Разных врачей повидал я за океаном: одни заботились о пациентах, другие — о долларах. Молодой Спок остался верен клятве Гиппократа, не жалел ни сил, ни времени для исцеления малышей. Его коллеги диву давались: откуда у Спока берется столько бескорыстного терпения — внимательно и чутко выслушивать нескончаемые исповеди обеспокоенных матерей.

— А мне нравится, когда мать высказывается до конца,— пояснял доктор.— Это помогает нам обоим. За все время своей врачебной практики я старался смотреть на положение вещей с точки зрения матерей. Запоминал их вопросы и свои ответы, а потом посещал их и выяснял, помогли ли мои рекомендации. Так и накапливался мой практический опыт.

В 1946 году богатый опыт родил знаменитую Книгу. С ее выходом в свет пришли заслуженные слава и почет, профессура в университете Уэстерн-ривер в Кливленде, солидный доход до 80 тысяч долларов в год, жизненный комфорт. В 60-е годы, когда Споку пошел седьмой десяток (он родился в 1903 году), начиналась, казалось бы, завершающая глава «саксесс стори» — «истории успеха», как любят говорить барды американского образа жизни о своих преуспевающих соотечественниках. Позади — плодотворный врачебный, научный и педагогический труд, впереди — безмятежный

[1] На русском языке эта книга вышла двумя изданиями.

заслуженный отдых. И не сомневайтесь: Спок умеет отдыхать — лучше всего на борту своей яхты, бороздящей воды Атлантики и Карибского моря. Ему хорошо в дружном семейном кругу: с женой-другом Джейн, с двумя сыновьями и внуками, Дэнни и Питером — настоящими личностями с собственными идеями.

Да, открылась новая глава в биографии Бенджамена Спока, однако она никак не вписывалась в стандартную «историю успеха». Д-р Спок стал не благодушным и умиротворенным пенсионером, а, по его же словам, мятежником.

В этот период мне и довелось лично познакомиться со знаменитым врачом — не в больнице и не на борту его яхты, а в водовороте антивоенного митинга в американской столице. Высокий, худощавый старик в роговых очках, одетый необычайно консервативно (пиджак с жилетом, белый платочек в нагрудном кармане, золотые часы с цепочкой), чувствовал себя как-то неуверенно в непривычной для него разношерстной уличной «аудитории».

— Патриций среди плебса,— иронически фыркнул кто-то из вашингтонских коллег-репортеров.

Д-р Спок удивился, когда я попросил у него текст речи на митинге. Раскрыв портфель и вынув машинописные странички из аккуратной стопки, он сказал:

— Вы первый журналист, спрашивающий о тексте. Я приношу тексты выступлений на каждый митинг, но пресса почему-то не интересуется тем, что я пишу и говорю сейчас. Это молчаливый намек: доктор, занимайтесь вашими бэби, а в политику не суйтесь — не ваше дело.

Тут выражение застенчивости и нерешительности исчезло с лица старого врача. Голубые глаза сверкнули стальным блеском из-под роговых очков.

— Но это мое дело! — твердо сказал он.— Не для того я всю жизнь посвятил лечению и воспитанию детей, чтобы потом, возмужав, они гибли на поле брани или несли смерть в другие края.

Я спросил Спока, что послужило толчком к его активному участию в политической жизни США на старости лет. Вот вкратце что я услышал. Эволюция взглядов врача была долгой и мучительной. Он родился и был воспитан в очень консервативной семье «стопроцентных американцев» Новой Англии, приверженцев республиканской партии. В молодости уверовал в стандартные постулаты американизма, дружил исключительно с «избранными» WASP (белыми англосаксонскими протестантами), голосовал за кандидатов партии республиканцев— откровенных реакционеров.

— Любой разговор об американском империализме я считал красной пропагандой. Был убежден: мы, американцы,— хорошие парни, несущие человечеству благо.

Жизнь шаг за шагом колебала консервативные представления об американской действительности. Первыми просветителями оказались жена, Джейн, увлекавшаяся в девичестве социализмом, и нью-йоркские рабочие-швейники, детей которых он лечил. Мало-помалу доктор отошел от земляков-консерваторов к демократам-либералам. Но, по иронии судьбы, сильней всего подтолкнули Спока к радикализму некоторые президенты США, которые, так сказать, доказали теорему от обратного. Во время президентских предвыборных кампаний Джон Кеннеди, а затем Линдон Джонсон пытались заручиться поддержкой популярного педиатра, ибо знали (как писала газета «Вашингтон дейли ньюс»), что миллионы матерей так же верят автору Книги, как Священному писанию. Спок активно поддержал Кеннеди на выборах 1960 года, но через два года был потрясен, когда «его избранник» приказал возобновить испытания ядерного оружия. «Я внезапно осознал логику бесконечной эскалации гонки вооружений,— вспоминает доктор.— Моя совесть подсказала мне: я должен что-то сделать». Он снял белый халат и вышел на улицу Кливленда с протестом против угрозы ядерного побоища. Этот первый шаг было сделать очень трудно. Спок волновался: «Все происходило как в кошмарном сне — будто я иду по улице без одежды». Но он не попятился, а пошел вперед. Был избран сопредседателем Национального комитета за разумную ядерную политику.

Самый отрезвляющий урок, по мнению самого Спока, ему преподал президент Джонсон. На выборах 1964 года он обратился к доктору за помощью в борьбе против республиканского соперника — ястреба Голдуотера. По авторитетному суждению видного летописца президентских выборов Томаса Уайта, именно Спок нанес наиболее «ошеломляющий удар» по голдуотеровщине: его активность на выборах была той гирей, которая перевесила чашу весов в пользу «трезво мыслящего» Джонсона. Президент лично по телефону горячо благодарил Спока и обещал быть достойным его доверия. Через несколько месяцев доктор, как и миллионы других граждан США, увидел, что его обманули и предали: началась новая бешеная эскалация агрессии во Вьетнаме. На этом горьком опыте Спок убедился, что любые джентльменские соглашения и компромиссы с власть имущими не стоят ломаного гроша. Его протест против империалистических авантюр звучал все резче и решительней. Человек, десятилетиями слывший «символом американизма и патриотизма», ниспровергал казенные американские ценности и публично утверждал новый, антиимпериалистический патриотизм.

В октябрьском «марше на Пентагон» Спок предстал уже несгибаемым антивоенным борцом, прекрасным во гневе и в любви к народу и человечеству. В моем репортерском блокноте сохранилась запись его речи на митинге, не опубликованной ни в одной американской газете. Д-р Спок говорил:

— Нас вовлекают глубже и глубже в кровавую бойню, в которой гибнут бесчисленные сотни тысяч мужчин, женщин и детей Вьетнама, а также тысячи молодых американцев. Мы убеждены, что эта война катастрофична для нашей страны во всех отношениях. Именно мы, протестующие против войны, стараемся спасти родину.

В те же дни я стал свидетелем «преступления» Спока против «закона и порядка». Вместе с виднейшими деятелями американской культуры он принес в министерство юстиции около тысячи военнопризывных карточек и во всеуслышание заявил о солидарности с молодыми парнями, не желающими быть интервентами, хотя и знал, что за такое «преступление» ему грозит тюремное заключение. Через несколько месяцев заокеанская Фемида посадила на скамью подсудимых гордость национальной медицины и педагогики. Приговор — два года тюрьмы и штраф в 5 тысяч долларов — был отменен под мощным напором требований общественности.

Судебный опыт раскрыл Споку глаза на многое: он понял, что власть имущие готовы обрушиться с репрессиями на любого инакомыслящего — даже самого именитого. Просвещение доктора продолжалось.

В конце 60-х годов он пишет новую, «не совсем медицинскую» книгу. Писал он ее долго, урывками между маршами и митингами, лекциями и судебными заседаниями. Писал, перечитывал, советовался с друзьями, перечеркивал написанное и снова писал. Вышедшая в самом конце 60-х годов книга «Достойное и недостойное» вскоре была снова переработана автором для второго издания: некоторые положения он публично признал непродуманными и ошибочными. Ее композиция в самом деле несколько рыхловата. Д-р Спок размышляет о самых разнообразных явлениях и проблемах американской жизни — от воспитания человеческих чувств до истории возникновения американской войны в Юго-Восточной Азии, от растления буржуазной культуры до роли корпоративного капитала. Его глубоко возмущает как патриота и гражданина **недостойное** в современных Штатах, а круг того, что он считает **недостойным** человека, необычайно широк. И, на мой взгляд, эта многоплановость и даже, быть может, противоречивость сообщают книге своего рода достоверность живого человеческого документа новейшей американской истории. Перед читателем — зеркало расколотой, поляризированной, раздираемой противоречиями, ищущей Америки наших дней. Конечно же, очень трудно бывшему консерватору и либералу, коннектикутскому патрицию найти точные, исчерпывающие ответы на вопросы о причинах и следствиях «американского кризиса» — социального, политического и морального. Над автором тяготеет влияние духовных пастырей его молодости, в частности психоаналитика Фрейда, когда он рассуждает об агрессивных импульсах, якобы заложенных в природе человека, о решающем влиянии половых стимулов на формирование личности и т. д.

Однако пытливый, ищущий ум д-ра Спока в конечном счете вырывается из плена фрейдизма, и автор приходит в итоге к весомому выводу: человеческую личность в США калечит и уродует, делает агрессивной и ущербной не что иное, как культ насилия, система расизма, антигуманизм крупного бизнеса и прочие неотъемлемые факторы американского образа жизни. Шаг за шагом Спок обнаруживает, что главный источник всех бед в американском обществе — это засилье корпоративного капитала, всевластие военно-промышленного комплекса. Индокитайская авантюра Пентагона — уже не аномалия в истории США, как когда-то считал автор, а закономерное проявление агрессивности внешней политики США, порождение «неустанных попыток американской индустрии и властей усилить свой контроль над другими районами земли».

В свете реальных фактов жизни, увиденных и продуманных наблюдательным ученым, рушатся иллюзии и версии, навязанные Споку с молодости. Для него нынешняя Америка — уже не страна «добрых парней», пекущихся о благе человечества, а «сильнейший оплот реакции в сегодняшнем мире, готовый свергнуть любое правительство независимо от того, насколько оно популярно, если оно угрожает американским капиталовложениям или мощи». Это — страна, где «большинство думающих людей разочаровано», где «утрачена вера в достоинство человека». И в его глазах виновником новейшей американской трагедии оказывается большой бизнес — «огромная, безличная индустрия, сосредоточенная исключительно на прибылях и экспансии, подчинившая человека машине, лишившая его работу смысла и отнявшая у него достоинство».

Свои социально-моральные диагнозы автор «Достойного и недостойного» старается ставить так же тщательно и добросовестно, как прежде определял болезнь ребенка. Когда он ошибается, а потом обнаруживает свою ошибку, то всегда честно пытается исправить ее. Один из интересных новых этапов деятельности д-ра Спока — созданная по его инициативе «Народная партия» с весьма радикальной программой, задуманная как противовес двухпартийной системе монополистического капитала. Все ближе подходит он к выводу о неизбежности и необходимости социалистических преобразований.

«Достойное и недостойное» — отнюдь не завершение исканий старого врача и педагога. Напряженный поиск реальных ответов на проклятые вопросы американской действительности продолжается.

С. ВИШНЕВСКИЙ

Культура и современность

Заметки на полях

НАДО ПОБЕДИТЬ!

Открытие того, что объединяется общим понятием: культура. Открытие искусства. Открытие литературы. К этой мысли снова и снова возвращался Курт Хагер в своем докладе о культурной политике СЕПГ, сделанном на шестом пленуме ЦК СЕПГ и опубликованном в газете «Нойес Дойчланд». Разумеется, открытие культуры, искусства, литературы совершается из века в век, но каждая эпоха, каждый исторический момент придают этому открытию свои особенности. Эта истина, сама по себе давно известная, обретает в выступлении секретаря ЦК СЕПГ конкретный смысл. К. Хагер говорит о том, как совершается открытие культуры, искусства, литературы в Германской Демократической Республике семьдесят второго года. При этом слову «открытие» он придает двойное значение.

Во-первых, оно означает, что в ГДР культура, искусство, литература становятся достоянием всех. Подтверждая это, Хагер приводит цифры, которые говорят сами за себя. Каждый четвертый гражданин ГДР — постоянный читатель какой-нибудь библиотеки. Количество посетителей музеев за год возросло примерно на 20 миллионов человек, домов культуры и клубов — больше чем на 35 миллионов человек. И это, по словам Курта Хагера, объясняется тем, что в стране создается «атмосфера учебы». Большинство рабочих в ГДР имеет законченное специальное образование. 63,5% людей, занятых в сельском хозяйстве, тоже получили специальное образование. Однако культура — понятие несравненно более широкое, включающее в себя не только наличие того или иного диплома. Это, как определяет Курт Хагер, совокупность духовных ценностей, без которых немыслима человеческая личность при социализме. Совокупность таких духовных ценностей предполагает и определенный уровень материального благосостояния, хотя это еще далеко не все. Чтобы культура стала достоянием народа, нужна, по мнению Хагера, «атмосфера доверия», в которой рабочие, крестьяне и интеллигенция, каждый сообразно своим возможностям, делают общее дело. Очевидно, без «атмосферы доверия» невозможна и «атмосфера учебы», складывающаяся в социалистическом государстве, которое в октябре отметило двадцать третий год своего существования.

Цитируя В. И. Ленина, Курт Хагер предостерегает от скороспелого вывода, будто человеческая личность при социализме достигла полного совершенства. Новые духовные ценности создаются, говорит он, снова приводя ленинские слова, вопреки «громадной силе привычки и косности». К тому же жизнь в любую эпоху полна противоречий. Курт Хагер упоминает и противоречия между быстро растущими потребностями и реальными возможностями их удовлетворения, и противоречия между общественным долгом и личными желаниями, и многое другое. И, конечно, учитывает борьбу противоположных друг другу идеологий, в условиях которой формируется человеческая личность в наши дни. Хагер убежден, что в этой борьбе выявляются преимущества социалистического строя, наиболее способствующие всестороннему развитию личности.

Социал-демократы и буржуазные идеологи разных мастей любят, как отмечает Хагер, спекулировать формулировками: «вышедший из-под опеки гражданин», «само-

определение человека», «человеческое достоинство». Однако то, что происходит в капиталистических странах, продолжает он, никак не соответствует этим формулировкам. Не соответствует этому длящаяся годами американская агрессия во Вьетнаме, в жертву которой приносятся не только жизни убитых, но и души убийц, растлеваемые преступной войной. Не соответствует этому и статистика преступлений в странах капитала, в частности в ФРГ и в США.

Восторгающаяся всякого рода насилием «массовая культура», широко популяризируемая в буржуазных странах, ни в какой мере не способствует становлению и развитию человеческой личности, сохранению и укреплению человеческого достоинства.

> «Само собой разумеется, что мы должны решительно противоборствовать влиянию прогнившей империалистической массовой культуры,— говорит Курт Хагер,— а также не допускать ни посредственности, ни идеологической отсталости».

Для становления и развития личности при социализме нужны, перечисляет Хагер, и «культура человеческих отношений», и «культура работы» в городе и деревне, и «обстановка красоты» (речь идет о том, что трудящийся должен жить и работать в обстановке, отвечающей требованиям эстетики), и «осмысленный досуг». Однако едва ли не самое главное значение в воспитании человека — и политическом, и этическом, и эстетическом — имеют литература и искусство.

> «Они,— говорит Хагер,— учат человечнее жить, заставляя нас принимать участие в жизни других людей, в их борьбе, поражениях и победах, разделять их мысли и чувства».

Высоко оценивая познавательную и идеологическую ценность литературы и искусства, Хагер вместе с тем напоминает, что они призваны доставлять людям удовольствие, дарить им радость. Искусство — это и познание жизни, и «открытие прекрасного, которое до поры до времени было скрыто...»

Так Хагер подходит и ко второму значению, которое он придает слову «открытие». Это открытие уже не восприятие творчества, а само творчество: оно совершается писателями, живописцами, скульпторами, деятелями театра, кино, телевидения.

Курт Хагер предупреждает, что не ставит своей задачей давать оценку тому или иному произведению искусства. Если он иногда все-таки дает оценку существующему в искусстве положению вещей, то делает это, к примеру, следующим образом: «Радостно то, что фильмы «ДЕФА» снова завоевывают большое внимание публики». Кто не знает, какой драгоценный вклад внесен в мировое киноискусство прекрасными антифашистскими фильмами, созданными в демократической Германии в первые послевоенные годы и позже! Однако Курт Хагер с полной объективностью говорит о текущем моменте. Он считает, что молодое социалистическое искусство ГДР — а двадцать три года, конечно, лишь малый отрезок времени — «еще только намерено испытать и разработать свои богатейшие творческие возможности». В демократической Германии сразу же после разгрома фашизма выпускались книги таких современных классиков, как Томас и Генрих Манн, Лион Фейхтвангер, Бертольт Брехт и Иоганнес Бехер, Арнольд Цвейг и Анна Зегерс, а впоследствии и несомненно значительные произведения более молодых писателей, среди которых достаточно назвать Эрвина Штриттматтера. Но К. Хагер говорит не столько о достигнутом, сколько о грядущей перспективе.

Цель, которую ставит в своем докладе Курт Хагер, заключается в том, чтобы выяснить, каким должен быть «плодотворный климат», в котором будут произрастать неувядаемые произведения искусства. Это, как он говорит, прежде всего «климат общественной потребности». Произведения искусства, уточняет он, «создаются не по распоряжению, не по изъявлению желаний». Они должны быть внутренней необходимостью для художника и для общества, в котором он творит.

Хагер утверждает партийность искусства, отстаивает принципиальность его «социалистических позиций». Он выражает уверенность в том, что «художники, в подавляющем большинстве своем, преданы рабочему классу и партии». Чтобы создать «плодотворный климат» для процветания искусства, отмечает Хагер, нужно такое руководство, которое «не имеет ничего общего с бюрократическим дирижерством и бездушным администрированием».

Если художник руководствуется партийными документами, в которых находят отражение закономерности общественного развития, то из этого, предостерегает Хагер, вовсе не следует, что его произведения должны быть иллюстрацией к этим документам. Искусство вообще не имеет права быть иллюстративным. И одних благих намерений недостаточно для того, чтобы создать хорошую книгу или хорошую картину.

> «Где же, если не при социализме, должно оставаться в силе: быть художником — значит быть открывателем новых реальностей»,— утверждает Хагер.

И добавляет, что «вне поля зрения социалистического искусства не должны оставаться ни один звук, ни одна краска, ни одна жизненная сфера».

Бесконфликтность, как выражается Хагер, «не к лицу социалистическому искусству». Конфликты есть в жизни каждого человека, они должны быть и в произведении каждого художника. Жизнь задает вопросы, требующие ответа в искусстве. Хагер убежден, что художники найдут на такие вопросы «социалистические ответы». В связи с этим он снова говорит о «твердой социалистической точке зрения, о высоком политическом и нравственном уровне суждений», считая их необходимой предпосылкой правильного разрешения конфликтов как в жизни, так и в искусстве.

«Сахарная пудра как художественный стиль, удобная, плоская гладкость, приукрашенное изображение действительности так же мало пригодны, как и сплошная серая краска,— заявляет Хагер.— Запечатлеть прекрасное в нашей жизни — значит сделать видимым, ценой каких усилий и какого напряжения оно достигнуто».

Курт Хагер считает, что искусство должно сделать видимым, осязаемым, ощутимым и хорошее и плохое в действительности. Для того чтобы бороться с плохим, пригоден смех, который убивает. Хагер говорит и о роли сатиры в искусстве, и просто о юморе, о веселом, развлекательном искусстве.

В общем, многообразию жизни должно соответствовать многообразие искусства, как его содержания, так и его формы. Однако — и на это Хагер обращает особое внимание — немецкое социалистическое искусство в своих истоках было особенно связано с темой рабочего класса. Такую связь, по его убеждению, не следует обрывать, но изображение рабочих и работы не должно быть упрощенным, хотя, к сожалению, подобное случается.

Курт Хагер вообще выступает против какого бы то ни было упрощения в искусстве. В связи с этим он отвергает так называемый «новый реализм», еще в шестидесятых годах получивший распространение в ФРГ. Книги, созданные писателями, принадлежащими к данному течению, представляют собой, как считает Хагер, «механический слепок с жизни».

Курт Хагер высказывается и по поводу современного модернизма, считая его внутренне противоречивым: с одной стороны, он знаменует кризис буржуазного общества, с другой стороны — не признает «реальных сил общественного прогресса». Сплошь да рядом этот модернизм вырождается в «искусство для искусства», а нередко попросту сводится ко всяческим манипуляциям, тем, что в моде.

«Мы ничуть не отрицаем, что субъективное намерение многих модернистских художников предполагает оппозицию империалистическому миру, и поэтому до некоторой степени видим в них возможных партнеров в общей борьбе против империализма,— объясняет Хагер,— однако эти субъективные намерения, так же как и отдельные произведения или даже целые течения внутри модернизма, в которых особенно явно и активно проявляется дух протеста, ничего не меняют в той социальной, мировоззренческой и эстетической непримиримости, с которой противостоят друг другу социалистический реализм и модернизм как направления в искусстве».

Не оригинальничание ради оригинальничания, а истинное своеобразие художнической индивидуальности, а также все прожитое и пережитое художником определяют, по мнению Хагера, творческий почерк. Утверждаемый искусством ГДР социалистический реализм, говорит К. Хагер, предусматривает разнообразие творческих почерков.

«Наше искусство социалистического реализма — в какой бы форме оно ни выражалось, каким бы почерком ни осуществлялось — прежде всего отражение, духовное восприятие действительности, основная форма ее познания,— продолжает Хагер.— ...Искусство социалистического реализма требует глубокого проникновения в мир, такой, каков он есть на самом деле, оно призвано выявлять многочисленные взаимосвязи, открывать возможное в действительном, высказывать суждения об этических и эстетических ценностях, овладевать ими. Оно — и оценка, и отражение, тесно связанное с индивидуальными представлениями и с силой творческого дара...»

Ссылаясь на известные слова Ленина, Хагер призывает беречь таланты. Он говорит, что нужно понимать талант, помогать ему раскрыться в его неповторимых особенностях, что нужно уважать личность художника и его творческий труд.

В выступлении Хагера, обширном по проблематике, есть и следующая мысль:

«Наша партия хочет и ищет сотрудничества со всеми мастерами искусства. Мы приветствуем также и сотрудничество тех художников, которые — не находясь, по своему мировоззрению, на позициях марксизма-ленинизма — одобряют социализм в ГДР из соображений подлинного гуманизма, демократизма и антифашизма или по мотивам христианской этики».

Хагер подчеркивает полезность и целесообразность творческих дискуссий, столкновения мнений, споров. И, как следовало ожидать,— роль литературных критиков в этих спорах. Недостаточно «критиковать критику», хотя бы и заслуженно, нужно добиться того, чтобы она активней и принципиальней помогала совершенствованию культуры, искусства, литературы в ГДР.

В заключение своего доклада Курт Хагер говорит о творческом наследии прошлого, являющемся неотъемлемой частью культуры ГДР. Именно демократическая Германия сразу же после разгрома фашизма заявила свои права на антифашистскую, антимилитаристскую, интернационалистскую культуру прошлого. И эти права означают обязанность продолжать лучшие традиции немецкого искусства былых времен.

Доклад Курта Хагера — не только призыв к выполнению этих обязанностей, но и размышление о том, что мешает и что помогает их выполнению. В этом его значимость, соответствующая переживаемому ГДР историческому моменту.

Выступая на пленуме с заключительным словом, первый секретарь СЕПГ Эрих Хоннекер сказал:

> «Определяя таким образом свою точку зрения на культурную политику Социалистической единой партии Германии, мы отстаиваем культуру в широчайшем смысле слова. Это значит, что мы отстаиваем решения VIII съезда партии, дальнейшее формирование убежденных строителей социализма, которые мыслят и действуют в духе социалистического патриотизма и пролетарского интернационализма. А это, как известно, борющиеся, устремленные вперед люди».

Битва за культуру, искусство, литературу — битва за человека. В этой битве, говорит Курт Хагер, надо победить.

Л. СИМОНЯН

НАУКА О БУДУЩЕМ: ЕСТЬ ЛИ У НЕЕ БУДУЩЕЕ?

В течение последних лет на Западе неуклонно повышает свой статус комплексная дисциплина, ставящая своей задачей «изучение» будущего,— футурология. Давно уже прошли те времена, когда футурологи дожидались очереди перед кабинетами сильных мира сего, когда пропаганда своих возможностей была главной темой их общения с публикой. В наши дни в капиталистических странах футурология не только утвердилась в роли одной из признанных дисциплин, но и получила долгожданные организационные формы. Перечисление центров, комитетов и комиссий, которые в США, Франции, Англии проводят «исследования» будущего, заняло бы несколько страниц текста.

В этих условиях постановка вопроса о том, имеет ли футурология будущее, казалось бы, скрывает под собой либо наивную слепоту, либо злокозненную попытку подорвать столь тяжким трудом завоеванное ею доверие в глазах общества.

Тем больший интерес представляют немногочисленные попытки определить познавательные возможности современной футурологии, научную и гуманистическую ценность вырабатываемых ею прогнозов. Обычно такого рода критический анализ предпринимается либо открытыми противниками футурологии, либо ее наблюдателями «со стороны».

Известный американский философ Роберт Нисбет относится к числу противников современной футурологии, и сомнения в принципиальных теоретико-познавательных возможностях данной отрасли знания он изложил в английском журнале «Энкаунтер», вынеся эти сомнения даже в заголовок этой статьи: «Есть ли у футурологии будущее?». Взгляды Р. Нисбета, логика его рассуждений — а иногда и сам факт отступления от нее — достаточно хорошо иллюстрируют тот круг «наболевших» вопросов, которые возникают в капиталистическом обществе в связи с практической деятельностью футурологов. Размышления Р. Нисбета о возможностях предвидения в современном мире постоянно оборачиваются анализом социальной и культурной роли того предвидения, которое практикуется западной футурологией. Статья его от этого становится вдвойне интересной; более того, мы бы сказали, что именно поэтому она, собственно, и заслуживает нашего внимания.

Каковы общие возражения Р. Нисбета по поводу программы «изучения», «исследования» будущего, выдвигаемой футурологией?

> «Ни технология, ни наука в целом никогда не смогут проникнуть в будущее дальше и с большей точностью предвидения, чем это делало до сих пор и про-

должает делать воображение и предчувствие человека с обычным здравым смыслом, ясновидцев и предсказателей, пророков и писателей-фантастов.

Причина тому проста, и ее можно выразить в суждении, которое имеет большой теоретический подтекст: будущее не содержится в настоящем. Точно так же как настоящее, насколько нам это известно, никогда не было заложено в прошлом...»

Подтверждением того, что будущее «независимо» от настоящего, Р. Нисбет считает влияние на историю многочисленных неожиданно возникающих факторов, событий и эксцессов. К ним он относит прежде всего деятельность «гениев, пророков и маньяков». Если спросить футурологов, пишет Нисбет, почему не оправдались, например, обещания американских экономистов в 30-е гг., что «благоденствие — уже рядом», то они ответят ссылкой на появление Гитлера и, соответственно,— на необходимую переориентацию американской экономики в 40-х гг. Но если это так, продолжает автор, то

«чем же в этом мире, в котором случайные явления столь повсеместны и столь часто играют решающую роль (в виде маньяков, пророков и гениев, появление и деятельность которых футурология вовсе не рассчитывает предвидеть), оправдывается разработка конструкции будущего?..»

С доводами Р. Нисбета о принципиальной невозможности предвидения нельзя согласиться. Дело в том, что в интерпретации области явлений, которые он называет случайностью, Нисбет допускает ошибку. Прежде всего было бы весьма трудно отнести к области «случайных» явлений вторую мировую войну (или какое-либо иное историческое событие подобного масштаба), как это следовало бы из рассуждений Р. Нисбета. Вторая мировая война была подготовлена рядом важнейших экономических и политических противоречий капиталистического мира и явилась логическим следствием политики нацизма. Надо сказать, что в 30-х гг. было написано немало книг-предостережений, и элементарное чувство справедливости требует признать тот факт, что кошмарное будущее Европы под пятой нацизма было описано в этих книгах во всех его существенных характеристиках.

«Случайный» характер «появления на свет» и деятельности «гениев, пророков и маньяков» также не столь очевиден, как это представляется Р. Нисбету. Деятельность каждого человека случайна по отношению к ходу истории. Она перестает быть случайной, если выражает тот или иной «дух времени», ту или иную устойчивую тенденцию. Гитлер сам по себе — психически неполноценный человек, с явной склонностью к маниакальному психозу. Но как руководитель нацистского движения он — нечто большее. Он — выразитель и один из организаторов движения. И в качестве такового он был предвидим. Правда, при этом — в рамках предвидения — его фигура лишается индивидуальных черт: в этом смысле невозможно было предвидеть, что он родился в Австрии, что поначалу он — неудавшийся художник и удавшийся полицейский шпик и т. д. (Хотя, если уж на то пошло, даже многие из сугубо индивидуальных черт тоже поддаются предвидению.)

Однако Нисбет не может выдержать до конца своей позиции принципиального отрицания возможностей предвидения; более того, он не только описывает типы «правомерного» предвидения, но и сам делает попытки прогнозов.

«Ничто в данной статье не должно быть понято так, что я не верю в социальные науки,— пишет он.— ...Могут ли социальные ученые предвидеть? Да, мы можем и делаем это, причем довольно успешно — так мне кажется... Вот очень важный пример. Мы обнаружили, что вопреки бабьим сказкам, распространенным во многих кругах, в том числе в редакциях массовых газет, крайняя бедность как таковая никогда сама по себе не является причиной революционного поведения. Поэтому, когда мы сталкиваемся с какими-либо новыми зонами бедности или слышим о них, то мы можем с полным основанием «предсказать» (разумеется, с учетом обычного коэффициента ошибки), что революционная ситуация не возникнет, если не будут иметь место дополнительные и легко определяемые факторы и обстоятельства: резкий разрыв между требованиями к уровню жизни и самим уровнем или появление в данной зоне политических интеллектуалов, ориентированных на изменения или революцию.

...Я вовсе не подвергаю сомнению тот факт, что можно выработать вполне импозантную картину будущего путем простого переноса в него существующих социальных форм и типов поведения... Так, несомненно, что образцы брачной жизни в будущем будут весьма подобны тем, которые практикуются в наше время. Несомненно, что организации, аналогичные нашим крупным корпорациям, сохранятся и будут оказывать решающее влияние на экономическую и политическую жизнь. Профсоюзы, зрелищный спорт, школы, университеты, церкви, общественные библиотеки, автомобили, национальные парки и т. п. несомненно продолжат свое существование в той или иной форме. Каким бы с точки зрения требований демократии ни было государство в будущем, оно почти наверняка наречет себя и будет считаться большинством людей демократическим».

Такого рода «оговорок» в статье Нисбета много. С его точки зрения, они оправданы тем, что намечаемые им виды «предсказаний» якобы не являются *выведением новых явлений из настоящего*, на чем настаивает футурология.

Но разве научная фантастика прошлого (в лице таких своих представителей, как Жюль Верн или Герберт Уэллс) в своем предвидении открытий, действительно совершенных впоследствии, основывалась лишь на «чистом» провидческом взгляде, а не на анализе возможностей, заложенных в современной им технике и науке? Разве в наши дни уже не стал более или менее ясным механизм рождения пророчеств — то, что в их основе всегда лежит замаскированный «трезвый» взгляд на настоящее? Разве в приводимом Р. Нисбетом примере об условиях революционного взрыва сам он не воспроизводит типичную схему предвидения будущего хода событий, исходя из наличия тех или иных факторов в настоящем? Наконец, Р. Нисбет совершенно неоправданно преуменьшает «футурологическую» значимость предвидения, как он говорит, «обычного движения», «обычной деятельности» и «обычного взаимодействия». Собственно, на каком основании он считает, что перечисленные им формы и явления социальной жизни, характерные для США в 1971 г.,— формы брака, социальные организации, церкви, университеты и т. д.— сохранятся в будущем (в том числе и в ближайшем)? Ведь история неоднократно преподносила человечеству сюрпризы и в этом отношении: общественные перевороты выбивали почву из-под самых, казалось бы, естественных норм и институтов человеческой жизни. Быть может, Нисбет не предвидит в будущем — в условиях США — такого рода переворотов? Но тогда — исходя из чего он их не предвидит?..

Ясно, что позиция Нисбета по крайней мере противоречива. Любая попытка предвидеть будущее в любом из его аспектов и с помощью любой процедуры (кроме, разумеется, оккультной) предполагает обращение к настоящему. И надо сказать, что в нашу эпоху возможности предвидения социальных процессов, тенденций, явлений значительно расширились.

Но дело в том, что в предвидении, изображенном Р. Нисбетом, легко угадывается *конкретный и специфический вид футурологии*, который в наше время настолько активно практикуется в капиталистических странах, что становится для него синонимом футурологии вообще. В сущности, именно с этим типом футурологии и воюет Нисбет, неоправданно приписывая его ограниченности всякой социальной науки.

Мы имеем в виду прагматическую направленность «предвидения» многочисленных футурологических центров на Западе, при которой акт предвидения являет собой проведение прямой линии от настоящего (какого-то данного, локального) к будущему (тоже локальному) без обращения к процессам, лежащим за пределами данной «прямой», хотя бы они и могли оказаться силой, «дезорганизующей» будущее. Именно к этим футурологам обращены полные горечи слова Станислава Лема в его книге «Фантастика и футурология»: «Эти футурологи игнорируют всякого рода трудноуловимые явления прежде всего потому, что их трудно измерить и потому трудно подвергнуть социально-инженерским манипуляциям. Исходная позиция инструментализма толкает этих футурологов к трактовке трудноуловимых явлений в общественной жизни как «шума», как расплывчатых препятствий на пути истинно оптимального действия. Футуролог интерпретирует последствия такого рода трудноуловимых явлений (например, «антирационалистического мятежа», или «бунта против машин») как нежелательные явления, а не как симптомы целостной социальной ситуации.

Но, быть может, именно то, что труднее всего поддается предвидению, скрывает в себе структуру оптимального состояния. Будучи по духу и методам деятельности скорее прагматиком, нежели естествоиспытателем, футуролог таких вопросов вообще не ставит.

Р. Нисбет не только фиксирует главные пороки этой прагматически ориентированной и «самоограничивающей» футурологии, когда пишет о проблемах «предвидения вообще», но он в конце концов указывает на нее и как на непосредственный объект своего выступления. Это происходит, когда он анализирует проблему *целей* предвидения. Плоское, механическое выведение будущего из настоящего, пишет Нисбет, является лишь обобщением установки на *сохранение настоящего в будущем*: будущее предстает в этом случае в виде существующей социальной, экономической и политической системы, в которой меняются лишь количественные показатели и соотношения различных факторов, прежде всего — технических. Самые «смелые» изыскания «организованных футурологов» на Западе в большинстве своем не выходят за рамки такого рода предвидений. Это, по сути дела, апология существующих порядков, и, разумеется, квалифицированное осуществление подобных функций в капиталистическом обществе и хорошо оплачивается, и является гарантией поддержки со стороны государства, о чем с оправданным презрением пишет Нисбет:

> «Если под футурологией иметь в виду перенос настоящего — наличных структур, наличных масштабов действия и движения — в будущее, то у футурологии, несомненно, есть будущее. В этом случае, чтобы стать футурологом, достаточно просто быть аморфным, абстрактным приспособленцем в своих «предсказаниях».

Нисбет довольно точно указывает на связь этой прагматически-конформистской тенденции в футурологии с некоторыми господствующими в последнее время в капиталистическом обществе идеями. Согласно этим идеям (оформляемым в виде социальных и философских доктрин) современное общество представляет собой некую «систему» — внутренне устойчивую и стремящуюся к стабилизации «машину»; всякое изменение в рамках данной системы «запрограммировано» на ее эффективное функционирование, поэтому каждое изменение может стать не только объектом предвидения, но и регулирования.

Критика Р. Нисбета в адрес прагматически ограниченной практики западной футурологии (принимающая нередко форму критики функции предвидения вообще) указывает на остроту проблемы социальных целей предвидения. Те полные внутреннего драматизма вопросы, которые ставит Р. Нисбет в начале статьи: Что нам дает предвидение? Зачем оно? и т. д.,— во многом совпадают с вопросом о том, какими целями должно руководствоваться предвидение в условиях капитализма, если оно рассчитывает выйти за узкие рамки деятельности, способствующей растворению будущего в настоящем. Очевидно, ответ может быть только один — оно должно руководствоваться надеждой на преодоление настоящего (наличного общества в его исходных, существенных социально-экономических характеристиках) в будущем. При этом именно в настоящем — в тенденциях его развития — научное предвидение может найти зерна и перспективу будущего. Марксистская методология в социальных науках доказала и практически подтвердила правильность этого пути как процедуры научного предвидения.

Поэтому вопрос о перспективах науки о будущем — это вопрос о научности ее исходных теоретических принципов и революционности ее мировоззренческих установок. Лишь марксистская социальная наука, утверждающая коммунизм в качестве общества будущего, последовательно реализует эти принципы и установки научного предвидения.

Противоречия, в которые впадает Р. Нисбет, отрицая возможности науки о будущем, объясняются тем, что он определяет ее задачи, исходя из требований к ней, вырабатываемых в системе современного развитого капиталистического общества и рассчитанных на сохранение status quo. Эта исходная ограниченность взглядов Р. Нисбета типична для философов и социологов на Западе — критиков «возможностей научного предвидения вообще». В действительности все, что достигается ими в такой критике,— это фиксация пороков существующей буржуазной футурологии, но никак не доказательство того, что научное предвидение и наука о будущем «не имеют будущего».

Н. НОВИКОВ

МУЗЫКА В «ИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ»

Тезис о том, что музыка стала своеобразным «всеобщим языком» современной протестующей молодежи Запада, все более охотно принимается социологами самых различных направлений. Тем самым как будто допускается, что самосознание человека западной культуры обретает новую, доселе мало доступную ему сферу самовыражения.

Однако при этом далеко не всегда ставится вопрос: каково, собственно, место музыки во внутренней жизни современного человека? В какой мере влияют ритм и стиль жизни «индустриального общества» на способность современного человека воспринимать и понимать музыку? О какой музыке идет речь?

Эти вопросы тем настоятельнее требуют ответа, что критика в с е х установившихся норм музыкального творчества и восприятия музыки занимает значительное место среди нападок идеологов бунтующей молодежи на традиционные «устои» буржуазного общества. В последнее время усилилось внимание западных исследователей к проблематике современной музыкальной культуры, появились критические обзоры музыкального «гошизма». Интересные материалы такого рода были недавно представлены двумя французскими журналами: «Нувель обсерватёр» и «Диоген».

Общий стиль левого музыкального критиканства автор обзора в «Нувель обсерватёр» Морис Флёре определяет как

> «реакцию избалованного ребенка, в ярости разбивающего прекрасную игрушку, которую ему только что вручили».

Гневные тирады поборников новой «революционной» музыки не заслуживали бы пристального социологического анализа, если бы речь не шла о целом ряде общих проблем, в частности, социальной роли и природе искусства вообще. Левыми критиками ставятся под вопрос «притязания» музыки на то, чтобы быть чем-то большим, нежели одна из сфер проявления классовой борьбы или «специфический участок идеологиче-

ского пространства». Как отмечает М. Флёре, французские гошисты, не занимаясь углубленной теоретической разработкой данной проблемы,

> «...выдвигают целый ряд политических постулатов и удовлетворяются грандиозной работой ниспровержения, не обходя своим вниманием ни одну из сфер музыкальной мысли и творчества... Последовательным нападкам подвергаются... все каноны, ремесленнический инстинкт добросовестного исполнения, самый труд в своем принципе... и, разумеется, музыкальное образование... и институты. Все есть в этой критике, за исключением самокритики».

Однако, на наш взгляд, социологически самым важным аспектом такого теоретизирования следует признать исключительно сильную в нем — как и в левацкой литературе вообще — авторитарную интонацию, стремление говорить от имени массы и представлять интересы «человека с улицы». И в этой связи нам кажется чрезвычайно интересным сопоставить материал, подобранный «Нувель обсерватёр», с исследованием известного французского социолога Ж. Фридмана, опубликованным в журнале «Диоген» под названием «Роль и место музыки в индустриальном обществе». Фридман весьма далек от умозрительных и авторитарных заявлений, которые делаются от имени массы гошистскими теоретиками. Коль скоро речь идет о выявлении вкусов и оценок множества индивидов, составляющих эту массу, он предпочитает прежде всего обратиться к результатам многочисленных социологических и статистических обследований.

Как правило, отмечает Фридман, организаторы опросов пользовались понятиями: «классическая музыка» (до Дебюсси, Равеля и Форэ), «современная музыка» (начиная от Стравинского, Бартока, Шёнберга, Веберна вплоть до экспериментов в области додекафонической, алгоритмической, стохастической и т. п. музыки) и «большая», или «великая», музыка. О последнем понятии Фридман замечает:

> «...В анкетах оно часто используется представителями рабочей, крестьянской и иногда мелкобуржуазной среды для обозначения классической и современной музыки в ее противопоставлении музыке народной, джазовой, танцевальной, аккордеону и популярным песенкам».

В своем исследовании Фридман и рассматривает отношение современного человека к этим трем разновидностям музыки.

Итак, сколь основательны утверждения левых критиков о чуждости и недоступности существующей серьезной музыки для понимания массового слушателя? Нельзя отрицать, пишет автор, что вкус к такой музыке распределен очень неравномерно. В некотором смысле можно сказать, что действительно так называемые «низшие слои» общества от нее отрезаны. По данным опроса, выявлявшего оценку различных телевизионных программ широкой массой зрителей, оказалось, что рабочая и сельская аудитория почти полностью отвергает программу «Музыка для вас». Однако, как отмечает Фридман, высказывания по этому поводу, иногда чрезвычайно агрессивные в социальном плане, в целом свидетельствуют о громадном чувстве неудовлетворенности своим музыкальным образованием и об ощущении, что неспособность воспринимать серьезную музыку — это дефект, с которым уже ничего нельзя поделать. Следовательно, делает вывод Ж. Фридман, если и можно говорить о несомненной пропасти, существующей в настоящее время между «большой» музыкой и массовым слушателем, то уж никак нельзя сказать, что массовый слушатель принимает данный факт за доказательство своего превосходства над создателями и исполнителями такой музыки. Он, несомненно, тяготеет к ней, и отрыв от этой сферы духовной жизни вызывает в нем сильное чувство ущербности.

Это противоречивое сочетание влечения к музыке с явным упадком культуры музыкального восприятия вынуждает Фридмана более внимательно проанализировать выявленный анкетами материал с точки зрения его социологического содержания.

Несмотря на то, что Фридманом рассматривается, по сути дела, лишь один аспект современной буржуазной цивилизации — гипертрофированный техницизм и лихорадочная погоня за потребительскими благами,— сделанные им выводы гораздо более широки и позволяют ему поставить одну из основных социально-психологических проблем этой цивилизации. Человек, пишет Ж. Фридман,

> «...оказывается как бы в непроходимых джунглях: неуклонное наступление техники, ее ритм, ее мощь, непрерывное кружение между новыми потребностями и новыми товарами... весь этот мир, созданный человеком, в свою очередь воздействует на него, на строй его чувств, на его разум, на его физическое и моральное равновесие... Человек не умеет полностью поставить себе на службу, на службу своей свободы и культуры ту технику, которую он создает и неустанно совершенствует. Он не умеет подчинить ее себе. В некотором смысле он оказывается недостоин тех великолепных орудий, которые вложила в его руки наука».

По мысли Ж. Фридмана, многочисленные явления, которые на первый взгляд можно принять за свидетельство того, что современный человек перерос традиционную культуру и, в частности, музыку, на деле говорят о том, что он до нее не дорос; эти явления оказываются симптомом определенного культурного инфантилизма, который вообще можно считать серьезной болезнью буржуазного «индустриального общества».

Думается, что в таком суждении Фридмана содержится большая доля истины. Отставание эстетического или, если угодно, культурного в широком смысле слова воспитания от чисто интеллектуального и информативного развития — факт, тревожащий многих западных социологов, которые, между прочим, отмечают, что наряду с несомненными успехами всеобщей грамотности число людей, умеющих читать партитуру, сильно уменьшилось по сравнению, например, с XVIII веком. Сильно сократилось и число исполнителей-любителей.

Вероятно, «массовый» слушатель того же XVIII века, хотя и мало образованный в современном смысле этого слова, был гораздо более подготовлен к восприятию «большой» музыки: вспомним, что «Волшебная флейта» Моцарта была написана для народного театра «Ауф дер Виден», театра городского предместья, где и давалась с громадным успехом.

Анализ Ж. Фридмана дает этому любопытное социологическое обоснование. Автор считает, что большинство факторов, обусловивших кризис восприятия музыки в современном обществе, может быть отнесено на счет негативных аспектов индустриальной цивилизации. Современная социология досуга уже обратила внимание на то обстоятельство, что, несмотря на значительное сокращение длительности рабочего дня в ведущих капиталистических странах, время, уделяемое творческим и духовно плодотворным досугам, практически оказывается ничтожным. Искусственное стимулирование потребностей ведет к тому, что освободившееся время, как правило, отдается под сверхурочную работу, чтобы удовлетворить эти потребности: увеличение материальных благ идет, таким образом, в ущерб духовному развитию.

В этой связи становится ясным, почему Фридман так настаивает на различении понятий — «слышать» музыку и «слушать» музыку. «Слышание», отмечает он, предполагает пассивное восприятие случайно транслируемой по радио или телевидению вещи, и роль собственного выбора и вкуса в данном случае ничтожна:

> «Слушание, напротив, предполагает сознательный выбор программы и сосредоточенное внимание»

В целом, полагает Ж. Фридман, весь строй и ритм жизни в индустриальном обществе поощряет первое и вовсе не благоприятствует второму.

На счет индустриальной цивилизации, по мнению Ж. Фридмана, можно отнести в значительной степени и факт определенного «устаревания» целого ряда классических произведений. «Неоконченная симфония» Шуберта, «Болеро» и «Вальс» Равеля, целый ряд других вещей слишком часто и назойливо передаются по радио и телевидению, и большинство опрошенных полагают, что они «приелись». Порочным считает Фридман и самый способ подачи таких произведений по каналам массовой коммуникации, например, исполнение ноктюрна Шопена в промежутке между двумя эстрадными песенками, что так характерно для американского телевидения. По поводу такого низведения «великой» музыки в ранг обыденного автор цитирует Т. Адорно: «Радио превратило Пятую симфонию Бетховена в мелодийку, которую легко насвистывать».

Наконец, автор отмечает и губительно влияющее на формирование национального вкуса массовое распространение по радио и телевидению музыкальной продукции чрезвычайно низкого качества.

Однако, полагает он, влияние «технической» среды на духовную жизнь современного человека может быть прослежено и глубже. В данном случае речь идет о тяготении определенных слоев образованной молодежи к музыкальному экспериментаторству и ее резко враждебном отношении к классической музыке. В отличие от менее образованной аудитории, которая, как уже отмечалось, просто сожалеет о своей неспособности понимать музыку, здесь это получает программное и идеологическое оформление. Разумеется, автор далек от какой-либо попытки огульного осуждения любого музыкального новаторства, коль скоро речь идет действительно о творчестве. Но он с тревогой отмечает, что для многих слушателей моложе 30 лет обращение к современной музыке является выражением своеобразной позиции «вообще», способом демонстрации взглядов, не имеющих никакого отношения к музыке. Такой вывод позволяют сделать результаты анкеты, проведенной среди 437 студентов Парижского университета, изучающих психологию. Опрос показал, пишет Ж. Фридман,

> «...исключительное преобладание интереса к авангардистским изысканиям. Этот интерес не сопровождается активной работой над собственным музыкальным образованием или даже конкретным изучением методов, которыми ведутся новые музыкальные изыскания. Поскольку опрос проводился в апреле 1969 года в студенческой среде Санзье и Нантерра, я считаю себя вправе задать вопрос, не является ли грубый и резкий отказ от традиционной музыки в значительной степени одним из аспектов грандиозной кампании политико-культурного протеста».

Довольно широко распространено мнение о том, что этот протест направлен, главным образом, против дегуманизирующих сторон буржуазного индустриального общества. Однако скрупулезный анализ, сделанный Фридманом, приводит его к выводу, что именно дегуманизирующее действие капиталистического техницизма преодолевается

молодыми бунтарями далеко не столь радикально, как представляется им самим. Многочисленные заявления адептов «новой» музыки о слишком «эмоциональном», «гармоническом», «индивидуалистическом» и «человечном» характере музыкальной классики заставляют, по меньшей мере, задуматься. Как полагает Фридман, общим знаменателем всех этих заявлений можно считать неприятие «антропоморфизма» традиционной музыки, а если это так, то налицо не преодоление влияния буржуазного индустриального общества, а напротив, подчинение ему всей целостности своей духовной жизни.

Об этих ниспровергателях традиционной культуры Ж. Фридман пишет:

> «По сути дела, они уступают давлению технической среды, мощному течению, многочисленные признаки которого мы можем обнаружить в современной мысли и современном искусстве и которое тяготеет к низложению человека, как такового».

Многие стороны современного музыкального экспериментирования — возникновение понятия «машинной» музыки, враждебность самой концепции индивидуального творчества, олицетворяемого фигурой композитора,— наводят на мысль, что и здесь конечной целью является устранение человека и как субъекта, и как объекта музыкального творчества.

Если принять во внимание ту опасность, которую Фридман (достаточно односторонне) усматривает в непрерывно возрастающем давлении техники на все стороны бытия, то станет понятным, почему «антропоморфная» традиция, воплощаемая музыкальной классикой, кажется автору одним из «самых надежных прибежищ истинно человеческого», залогом будущего духовного возрождения.

В подтверждение своего взгляда на роль музыки в современном обществе Фридман цитирует слова Иегуды Менухина: «Это искусство самое интимное и вместе с тем самое универсальное».

Нам представляется ложной любая попытка описать огромную социальную роль музыки, отмечавшуюся еще философами античности, в терминах злободневного политиканства. Пристрастное социологизирование на эту тему, являющееся, несомненно, слабой стороной современного музыкального «гошизма», говорит о его явной неспособности воспринимать «истинно человеческое» содержание великой музыки прошлого. Такая невосприимчивость к человеческой проблематике искусства вступает в видимое противоречие с исходным импульсом современных молодежных движений протеста, направленных против изощренных форм подавления человеческой личности в современном буржуазном обществе, и сильно снижает их гуманистический пафос. Сектантская связанность узкополитическими интересами вряд ли позволяет «новой музыке» притязать на роль «всеобщего языка» — роль, которую так охотно отводят ей идеологи «молодежной культуры».

К. МЯЛО

АЛЕКСАНДР РОМАНЕНКО

«И СМОЛОЮ ПАХНЕТ ПОРОХ...»[1]

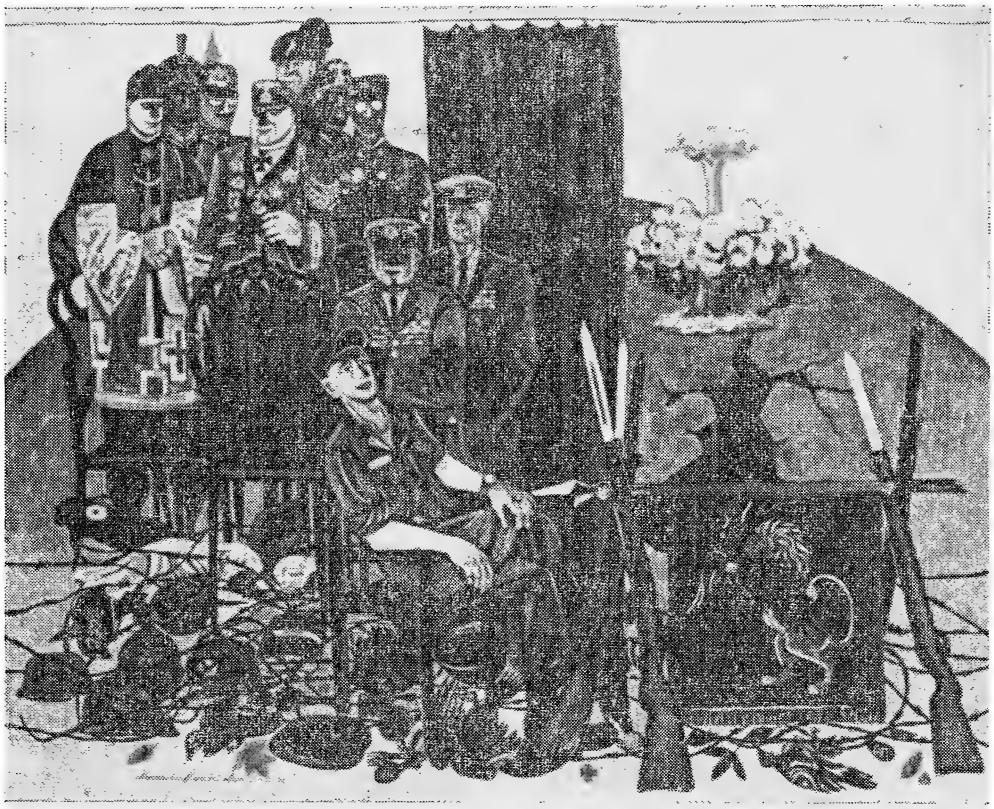
С выставок югославских художников — будут ли это копии средневековых сербских фресок или графические листы крупнейших мастеров современной Словении Божидара Якаца и Франце Михелича, окажется ли это мелкая пластика или памятники монументальной скульптуры, прикладное искусство, живопись или плакат — чаще всего уходишь заинтересованным и даже как бы озадаченным свободным взлетом творческой фантазии, смелостью и непринужденностью решений. После осмотра почти каждой выставки возникает желание продолжить знакомство с художниками.

В лучших своих образцах искусство Югославии, независимо от того, какой национальности принадлежат по рождению его создатели, объединяет важная особенность: оно счастливо сочетает в себе высокую меру эстетики с близостью к окружающей и вдохновляющей художника жизни. Оставаясь личным и пристрастным, чуждым «невесомости» фотоснимка, оно в высших своих достижениях неповторимо отражает своеобразие эпохи, мысли, вкус, надежды современников. Перерастая рамки индивидуального, оно становится всеобщим, всенародным, являясь частью национальной культуры в самом широком смысле слова.

История мирового искусства окажется неполной без удивительных созданий безымянных боснийских каменотесов,

Августинчич Антун. Несут раненого. 1958 г.

[1] Строка из стихотворения словенского поэта-партизана Эдварда Коцбека.



Лукович Александр. Военщина. 1966 г.

авторов единственных в мире «стечаков» — надгробных памятников богомилов, без многоцветных инициалов и миниатюр, создававшихся в тиши келий безвестными монахами на страницах богослужебных книг. А ваятели Далмации, иконописцы Сербии и Македонии, наивная живопись ульев в Словении, филигрань боснийских ювелиров...

От них мысль невольно идет к могучим образам И. Мештровича, к многоцветной мозаике мира, созданной К. Хегедушичем, П. Лубардой, И. Генералићем, Ф. Мразом, М. Станчичем, М. Милуновичем, О. Глихой и многими другими.

Мало сказать, что в Югославии искусство вошло в плоть и кровь, что оно стало необходимостью. В ходе истории народов этой страны оно превратилось в активную силу, формирующую и поддерживающую не только определенные эстетические вкусы, но и основные тенденции общественного развития. В этой связи нельзя не вспомнить об активности группы художников-реалистов «Земля», организованной в 1929 г. в Загребе замечательным хорватским живописцем Крсто Хегедушичем, о боевой социальной программе белградской группы «Жизнь», достойным представителем которой был Джордже Андреевич-Кун, летописец гражданской войны в Испании и народно-освободительной борьбы в Югославии.

Югославские художники, подобно писателям, сыграли особую роль в годы борьбы с фашизмом. В октябре—ноябре 1941 г. под непрерывными ударами врага югославские художники успешно осуществили первую крупную «операцию». В освобожденном сербском городе Ужице Драголюб Вуксанович, Бора Барух, Пиво Караматиевич развернули подготовку к празднованию годовщины Октябрьской революции. Не было материалов для клише в праздничный номер «Борбы» — нашли линолеум и работали самодельными линорезами. Не было фото об СССР — память и воображение подсказали сюжеты. К назначенному сроку выставка о Советском Союзе была готова. Торжественное ее открытие и выход специального номера газеты «Борба» стали важнейшими политическими событиями. Позже выставка с успехом прошла в других городах Ужицкого края, демонстрировалась на освобожденной территории трех крупнейших партизанских отрядов.

А в 1943 году под носом у оккупантов в древнем Сплите группа партизан-

НАРОД В БОРЬБЕ

(Выставка югославских художников)

Рисим Рисимович. Жених. 1960 г.

Милан Цмелич. Объявления. 1961 г.

Заре Джорджевич. Оккупированный город. 1966 г.

Антон-Гоймир Кос. Натюрморт. 1967 г.

Франьо Мраз. Раненые в деревне. 1960 г.

Михелич Франце. Рука мертвой матери. 1957 г.

ских художников успешно провела подпольную выставку своих работ, подготовив для экспозиции даже скульптуру.

Выставки открывались в отрядах и частях освободительной армии, в госпиталях и редакциях партизанских газет, в освобожденных городах и селах.

Свыше ста пятидесяти деятелей изобразительного искусства с оружием в руках участвовали в борьбе народа. Многие из них погибли на фронте, многие были замучены в фашистских лагерях. Оставшиеся в живых продолжали работу. Ценнейшими документами эпохи стали произведения Б. Якаца, И. Шубица, Э. Муртича, М. Детони, Н. Пирната, Б. Шотры, рожденные в годы сопротивления.

Многие из этих работ мы видели на выставках «Два века югославского искусства», 1947 г., и «Современная графика Югославии», 1959 г.

Героическая борьба народов Югославии за свою свободу, за освобождение от фашизма всего человечества, тема народной Революции продолжают по-прежнему привлекать мастеров современного югославского искусства.

Годы идут, из жизни уходят участники этой борьбы, но остаются созданные ими произведения, остается память о всенародном подвиге, бережно сохраняемая идущими вслед. И выставка «Народно-освободительная борьба в изобразительном искусстве Югославии», с успехом прошедшая недавно в Москве и в Минске, свидетельствует о том, что многие молодые художники, для которых события военных лет уже стали историей, видят в них источник постоянного вдохновения.

Новые поколения югославских художников, при всей широте творческого поиска, сохраняют в лучших своих работах высокий гуманистический пафос, свойственный их славным предшественникам.

Среди книг

Издано в СССР

СВОБОДА ПЕТЬ...

Файяд Хамис. Мосты. Перевод с испанского. Москва, «Художественная литература», 1971. 163 стр.

Эта книга — история одной жизни, по большей части рассказанная с ясностью скорее музыки, чем слова. Нам, воспитанным на Пушкине и Некрасове, на поэзии, имеющей прямую и непосредственную связь с историей, порой приходится совершить усилие, чтобы проникнуть в мир, окутанный некой дымкой, в мир, где туманность, неполная ясность, субъективизм входят в условия поэтической задачи.

Стоит ли напрягаться, стоит ли этот мир усилия?

Я думаю, что стоит, что за дымкой скрыто немало существенного, что за туманом различим и талант, и знание жизни, и подлинная боль, и настоящая радость — одним словом, поэзия, только не совсем такая, к которой привыкло большинство читателей. Итак, вглядимся, вчитаемся, вчувствуемся в Файяда Хамиса. Этот кубинец, доселе знакомый нам по отрывочным публикациям, ныне любовно издан «Художественной литературой». Перед нами изящный, даже изысканный том, в котором все — оформление М. Жукова, фотографии Йозефа Судека, портрет автора работы кубинца Николаса Дельгадо и особенно переводы — выполнено талантливо и умело. Н. Булгакова — составитель книги и С. Шмидт — издательский редактор придали ей необходимое единство.

Латиноамериканистам «Художественной литературы» снова, в который уже раз, удалось собрать коллектив поэтов, знающих язык, культуру, все подробности подлинника и в то же время одаренных и профессионально подготовленных. Верлибр Файяда Хамиса передан полноценным русским стихом, иногда приближающимся к ритмической прозе, иногда тяготеющим к метризованному белому стиху. В книге не встречается попыток пересказать верлибр, приспособить его к читательским привычкам.

Файяд Хамис тридцатого года рождения. Иными словами, он принадлежит к поколению, сформировавшемуся еще при диктатуре Батисты.

В первых его книгах много той благородной неясности, которая спасала поэтов от маленьких и больших тиранов, того, что итальянские поэты времен Муссолини называли герметизмом. Все неясно и все понятно, как в музыке, как у Эзопа. Как ни малосовместимыми кажутся музыка и Эзоп друг с другом и с Файядом Хамисом.

Выделю только один мотив, представляющийся мне ведущим:

В те годы была пора испуга, страна испуга,
любовь испуга среди всего, что окружало нас.
В ту пору мое сердце было кулаком
и птицей
желанным плодом бегства, пламенем и
просто оторопью.
темной лаской времени.

А ты была совсем еще дитя, пугливое и
радостное,
там, возле волн,
под вечною слепою слежкой!.. Однажды ты
доверчиво
уснула на моем сердце.
А позже, обняв всю твою жизнь, уснул и я.

(Перевод П. Грушко)

Эти строки из стихотворения «В любви», открывающего рецензируемый том и заим-

ствованного из первой книги Хамиса «Веки и прах», вышедшей еще при Батисте. Как мало в этой книге любви и как много страха!

Стихотворение «Вой» пришлось бы выписывать целиком, потому что от первой до последней строки это и в самом деле вой припертого к стене человека.

Стихотворение «Если отворить эту дверь» куда спокойнее, но и здесь есть строки: «Я боюсь этого... Мне страшно. Я боюсь торопливых шагов, доносящихся с улиц, и меня пугает полдень, насмерть затертый среди лучей. Я боюсь. Я совсем один. И я открою дверь». (Перевод С. Гончаренко)

Конечно, в первой книге Хамиса есть не только ужас, но и солнце, море, зелень, красота Кубы. Но когда в центральном стихотворении сборника возникает дельфин, он «не перестает умирать, и я чувствую, как сам я исчезаю».

В 1954 году Хамис, уже замеченный на родине, уезжает в Париж. У него нет денег. В течение пяти лет он работает маляром, уборщиком, сварщиком, пишет и публикует стихи.

Денег не было и у Хемингуэя, жившего в Париже примерно в таком же возрасте. Денег не было у множества других поэтов и художников, приезжавших в Париж на долгие годы учиться или работать. Однако приведенные строки стихов убедительно свидетельствуют, что для Файяда Хамиса Париж был еще и убежищем. Он тяжело работал, недоедал, он испытал равнодушие огромного города к бедному чужестранцу, но за ним не гнались, его не преследовали.

Включенная в сборник парижская книга Файяда Хамиса «Мосты» (1956—1957), предваряется эпиграфом из Сесара Вальехо: «Знаешь, мама, есть город на свете, и зовется этот город Париж. Город большой, и далекий, и — большой».

В истории живописи понятие «Парижская школа» давно стало общепризнанным. Наверное, это понятие получит признание и в истории поэзии. Уже сто лет без малого выходцы из многих стран мира, беженцы и студенты, рантье и богема, изгнанники и глобтроттеры слагают стихи о городе на Сене, о своем одиночестве в этом столь привыкшем к иностранцам городе, о своей тоске по утраченным родинам.

Книга «Мосты» — прекрасная книга. Однако выпишем полностью стихотворение «Квитанция»:

Старуха, одетая в черное,
пришла получить с меня плату за стул,
семь франков —
за то, чтобы ноги поставить на палые листья,
за щебеты птичьи и крики детей,
за сияющий солнечный день
семь франков.
Квитанция цвета небесной лазури
мне право дает занимать этот стул дотемна.

(Перевод В. Столбова)

Это могло быть написано и не по-испански и не кубинцем.

Совершенно естественно, что в непосредственном соседстве с этими строками в стихотворении «Песчаное небо» сказано: «Зачем ходить кругами по тихому скверу? Мои ноги устали от беготни по улицам, от всех этих встреч с дымом, цементом, плохим табаком, плохим кофе, плохим воздухом...»

После пяти парижских лет судьба Хамиса круто меняется, ломается и его поэзия. Это связано с переломом исторической судьбы Кубы, куда возвращается поэт.

Две последние книги, включенные в сборник «За эту свободу» (1960—1961) и «Источник слова» (1963), написаны и изданы на революционной Кубе.

Это прежде всего ясные, понятные книги. Оказалось, что герметизм молодости был вынужденным. Оказалось, что в новых условиях и для нового читателя Файяд Хамис умеет писать просто. Изменился и сам тон книг. В заглавном стихотворении «За эту свободу» сказано:

За эту свободу петь под проливным дождем
ты должен отдать все!
За эту свободу чувствовать, как к твоему плечу
прижалось твердое и теплое плечо народа,
ты должен отдать все!
За эту свободу раскрываться душой, как
цветок на заре громыхающих фабрик, и освещенных школ,
и хрустящей под плугом земли, и детей,
улыбающихся во сне,
ты должен отдать все!
Нет иного выхода, кроме свободы,
нет иного пути, кроме свободы,
нет иной родины, кроме свободы,
не будет стихов без оглушительной музыки свободы!

(Перевод В. Столбова)

А кончается стихотворение словами: «Все — даже тень свою! Все — даже свою жизнь».

«Страна испуга» первых книг Файяда Хамиса, замученная и запуганная Батистой Куба становится Родиной, которую можно любить без страха и защищать от всего сердца. Вот стихотворение «Назад!». В нем не утрачено ничего из метафорического богатства поэта и в то же время в нем есть исчерпывающая, плакатная, лозунговая ясность.

Поблескивают мачете, поднятые в синее небо; на разбегающихся
межах уже не встретишь гнусно-желтых жандармов; не скалит клыки
одиночество; не видно повозок,
нагруженных горьким тростником
и усталостью; из глубины сахарной плантации медленно бредет кобылка
вечера, приносит с берега реки сладкий запах коры и плодов... Назад,
привидения поместий, где правил бич;
Назад, летучие мыши
с колоколен, источенных мраком!
Здесь — остров труда и радости, здесь — наша земля, сад вечных
цветов, гимны света!

(Перевод П. Грушко)

Еще в Париже Хамис написал стихотворение «На стих Есенина» со строками: «Дождь не кончается, и нам остается выбежать, шагать под дождем «с головой, как керосиновая лампа...»

Кажется, нет ничего политического в восхищении метафорой, тем более что эта есенинская метафора — из лучших в мировой поэзии.

Не будем забывать, однако, что Есенин советский поэт.

Когда Элюар начинал стихотворение словами: «Люблю зверье я знаю Маяковский Так говорил Люблю зверье Свою любовь доказывал он улыбался Собакам и встречал ответную улыбку» (перевод М. Ваксмахера) — это тоже можно было трактовать просто как прошедшую через все бестиарии любовь к животным. Однако именно советского поэта избрала в сочувственники элюаровская любовь к животным.

Я не знаю, какую роль в жизни Файяда Хамиса играла советская культура, но строка Есенина, блеснувшая в старом стихотворении кубинца, обрадует каждого пишущего стихи по-русски.

В сборнике «За эту свободу» есть стихотворение о кораблях: «В голубую и гулкую гавань Гаваны входят громадины-корабли, груженные нефтью и дружбой. Вглядываюсь в них, узнаю странные и простые их имена, дрожащие в складках воды, и чувствую, что не один, что вокруг птицы, деревья и люди, окна и нефть, волны, машины и солнце, небо и снова люди» («Корабли». Перевод М. Самаева).

От этого политического стихотворения тоже тянутся нити к есенинской строчке. Книги Файяда Хамиса, написанные после победы революции,— книги гражданских стихов, простых и ясных

БОРИС СЛУЦКИЙ

ИРОНИЯ И НАДЕЖДА СТАНИСЛАВА ДЫГАТА

Станислав Дыгат. Прощание (роман). Диснейленд (роман). Рассказы. Перевод с польского. Составитель С. Ларин. Предисловие В. Хорева. Редактор М. Конева. Москва, «Прогресс», 1971. 444 стр.

В серии «Мастера современной прозы» издательство «Прогресс» выпустило новый том, который, на мой взгляд, весьма удачно знакомит советского читателя с творчеством Станислава Дыгата — одного из выдающихся представителей литературы социалистической Польши.

Почти три десятилетия назад своим первым романом «Боденское озеро» Станислав Дыгат прочно вошел в польскую литературу. Его книги, рассказы, фельетоны читаются легко, весело, приятно. Дыгату чужд всякого рода формальное трюкачество, его манера повествования непретенциозна, обманчиво проста, но за ней чувствуется большая литературная культура автора.

А между тем Станислава Дыгата нельзя назвать «легким» писателем. Его, кажется, менее всего занимает сюжет сам по себе, ему не свойственно стремление к изощренности формы, его не привлекают темы и проблемы сиюминутные. Одним словом, он отнюдь не бытописатель. Но он современен именно потому, что целиком поглощен художественным осмыслением морально-философских вопросов сегодняшнего дня.

И потому, несмотря на то, что произведения Дыгата отличает прозрачность композиции, поэтическая ясность и музыкальность языка, ключ к ним отыскивается порой не сразу. Когда, например, семь лет назад в Варшаве вышел его роман «Диснейленд», он вызвал что-то вроде «критического шторма». Все о нем писавшие, правда, сходились в том, что это значительное, незаурядное явление в современной польской литературе, а вот толкований и «разгадок» было, наверное, столько же, сколько и рецензентов.

Как ни шаблонно это прозвучит, но, говоря о Станиславе Дыгате, его точнее всего было бы назвать писателем одной темы. Во всех своих произведениях он, по существу, занят одним: исследованием тернистого, полного драматизма пути человека, который иногда с успехом, а чаще терпя поражение, стремится в любых обстоятельствах быть честным не только перед самим собой, но и перед людьми, хочет разобраться в происходящем вокруг, вмешаться, сделать жизнь лучше.

Возможно, поэтому создается впечатление, что и главный герой Станислава Дыгата (прежде всего это относится к романам писателя) всегда один и тот же.

Этот дыгатовский герой болезненно честен, сверхчувствителен ко всякой лжи, притворству, но он весь во власти романтических мифов, и потому жизнь бесконечно щелкает его по носу, таким бесцеремонным и не всегда безобидным манером подталкивая его на правильный путь. Более того, герой Дыгата к тому же с поразительным упорством сам губит свою жизнь, старательно готовит себе поражение, желая достичь победы. А писатель исследует эту парадоксальную ситуацию парадоксальными средствами. Ибо Станислав Дыгат очень любит парадоксы, любит поддразнивать парадоксами.

Романы «Прощание», «Диснейленд» — пожалуй, лучшее из написанного Дыгатом до сих пор,— которые включены в рецензируемый том, как бы дополняют друг друга и вместе с тем отчасти друг с другом полемизируют.

Герой «Прощания» молод, полон сил. Мы знакомимся с ним незадолго до начала второй мировой войны. Он принадлежит к обеспеченной, благопристойной и добродетельной семье, против устоев, обычаев и привычек которой неистово бунтует. Его раздражает «здравый смысл» окружающего буржуазного мирка, неистребимое стремление его обитателей «казаться», а не «быть», притворяться, лгать, приукрашивать собственную духовную пустоту красивыми мифами и до банальности стертыми словами:

Что же всему этому противопоставляет дыгатовский герой? Безрассудство, грубость, граничащую с жестокостью и элементарной невоспитанностью.

С этого, собственно говоря, начинается болезненный процесс «воспитания чувств». Благородные порывы героя комичны и старомодны, ибо они в конце концов укладываются во все те же узкие рамки буржуазной благопристойности и «здравого смысла». Герой «Прощания» — человек интеллигентный, остро переживающий и кризис форм, и кризис самого существа жизни старой, буржуазной Польши, уже уходящих, но все еще живучих «польских мифов». Этот дыгатовский разрушитель сам, однако, отгораживается от жизни, от борьбы еще одним мифом — скепсисом.

«Прощание» — роман, безжалостно рисующий картину крушения подобной пассивной позиции героя, который, правда, в конце концов начинает понимать необходимость не заменять одни мифы другими, а «быть самим собой», необходимость жить, не кокетничая с окружающим его фальшивым миром марионеток, а борясь против него активно, целеустремленно. Но для этого ему пришлось пройти через войну, оккупацию, стать свидетелем краха буржуазной Польши и ее мифов. Герой Дыгата все еще в стороне, он все еще только наблюдает, как мимо идут части Войска Польского, вместе с Красной Армией принесшие его родине — ему самому — и свободу, и надежду на совершенно новую, чистую и счастливую жизнь. А пока он стоит с чемоданом в руке на пороге этой новой жизни, дверь за прошлым захлопнулась, захлопнулась навсегда...

Марек Аренс, герой «Диснейленда»,— ровесник молодого человека из «Прощания». Но это люди разных поколений, даже эпох. Марек вырос уже в народной Польше, хотя по характеру своему он, на первый взгляд, очень напоминает героя «Прощания»: Марек бунтует против затхлого мещанского мирка, как бы отгораживающего его от большого и яркого мира новой, социалистической Польши. Однако бунт его обращен против чисто внешних проявлений мещанства, которое к тому же Марек нередко смешивает с образованностью и душевной деликатностью. И все же эти герои Станислава Дыгата вовсе не близнецы. Молодой человек из «Прощания» бунтует против старого общества, которое он отвергает, а Марек Аренс— в защиту нового, стремясь найти свое место именно в этом новом, социалистическом польском обществе, в новой жизни, которую он целиком принимает.

Правда, как и его литературный предшественник, Марек, загнанный обстоятельствами в угол, не желая этим обстоятельствам подчиниться, ищет, однако, выхода в мире грез и мифов. Он делает это весьма активно, хотя сам (опять дыгатовский парадокс!) оказывается на поверку человеком пассивным: «ни то ни се» — не без оснований отзывается о нем его приятельница. И потому бунт Марека, бунт против пошлости, черствости, грязи — против всего того, что герой Дыгата так искренне ненавидит, оказывается, по существу, бесплодным.

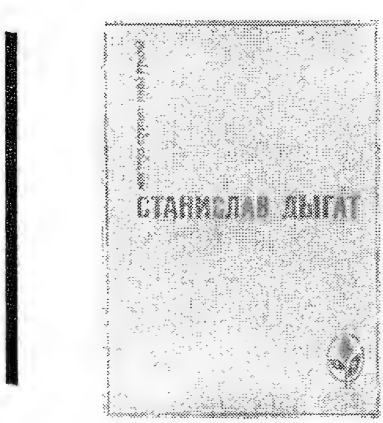
Станислав Дыгат не щадит своего героя, не скупится ни на иронию, ни на гротеск. Он не только высмеивает мещанство, тупость и ограниченность, в каких бы обличьях они ни выступали. Он издевается и над пустой мечтательностью, воюет с эгоцентризмом Марека Аренса, доказывая ему, что химеры и мифы — плохой путеводитель по жизни.

Писатель приводит Марека Аренса к поражению, которое, однако, может стать фундаментом его будущей победы над самим собой. И тут вновь нельзя не заметить, как похожи — несмотря на всю их несхожесть — герои «Прощания» и «Диснейленда».

Странное дело: Станислав Дыгат не только ироничен, он очень часто бывает откровенно саркастичен, размышления его героев, с которыми автор, по-видимому, не всегда бывает несогласен, горьки. Но от романов Дыгата, от всего его творчества веет надеждой, верой в человека, в жизнь. Его книги светлы и оптимистичны.

Откликаясь в свое время на первое издание «Диснейленда», рецензент газеты «Трибуна люду» очень тонко подметил, что если в этом романе Станислав Дыгат что и не высмеял, то прежде всего надежду. Мне кажется, замечание это справедливо было бы отнести ко всему творчеству писателя.

Хотя его любимым литературным оружием были и остаются ирония и парадокс, Станислав Дыгат представляется мне писателем по преимуществу лирическим. Ибо он никогда не теряет надежды на то, что герои его поймут: человек должен и может всегда оставаться самим собой, активным участником и строителем реальной жизни, борцом, а не сторонним наблюдателем, не только критиком. Своим творчеством писатель утверждает мечту, которая прекрасна и созидательна, если сумеешь отыскать ее рядом с собой. Ради этого Станислав Дыгат так безжалостно сражается с мифами, раз-



венчивает прекраснодушные грезы, которые никчемны, смешны, даже враждебны человеку, когда он отправляется за ними в чарующий, но искусственный и мертвый мир — мир Диснейленда.

А. ЕРМОНСКИЙ

СВЕТ И ТЕНИ

Красный бук. Рассказы и повести. Перевод с голландского. Автор предисловия и составитель И. Волевич. Редактор К. Федорова. Москва, «Прогресс», 1971. 223 стр.

Современная литература Нидерландов еще сравнительно мало знакома советскому читателю. Однако в последнее десятилетие наши издательства уже кое-что сделали, чтобы исправить положение: выпущено несколько романов, сборник лирики «Ладонь поэта» («Прогресс», 1964). Под влиянием общей для Западной Европы социально-политической ситуации современная литература Нидерландов, в особенности проза, настойчиво стремится перешагнуть рамки локальной тематики, провинциальности художественного языка, завоевать право быть «общечеловеческой».

Под сим благородным знаменем ее ожидали как несомненные открытия, так и неизбежные потери, а среди них самая опасная — потеря национального лица в угоду безликой авангардистской моде. Для части молодых это было «болезнью роста», которая, естественно, не затронула ветеранов. Духовная зрелость, забота о судьбе человека и страны, уважение к реалистической традиции искусства (слова и кисти) — вот что, нам кажется, поддерживает и объединяет сегодня лучших нидерландских литераторов, признанных у себя на родине и за рубежом. Некоторые из них, уже получившие известность своими романами, драматургией, публицистикой, эссе, представлены в сборнике «Красный бук» образцами малых форм художественной прозы.

Хотя можно было бы, наверно, поспорить с составителем о выборе имен и названий, о трактовке отдельных произведений в предисловии, уместней все-таки будет в краткой рецензии отдать сборнику должное и оценить первый опыт нидерландской прозаической антологии как удавшийся. Действительно, несмотря на небольшой объем, книжка эта знакомит с писателями всех трех поколений — от маститого, универсально одаренного Симона Вестдейка до сравнительно молодого Харри Мулиша, также, впрочем, претендующего на универсальность.

Сборник получился емким и в жанрово-тематическом отношении. Нидерланды, то есть «Низкие Земли», немыслимы без моря, и наше представление об этой стране привычно ассоциируется с суровыми образами мореходов и рыбаков, с польдерами, дамбами и насосными мельницами. Данью этой традиции являются в сборнике эпические миниатюры «Море забирает все» Хейна Фабера и «Ловцы камбалы» Шурда ван дер Схаафа, повествующие об извечном поединке труженика-голландца со стихией. Их сдержанная патетика, трагический финал воскрешают в памяти «Гибель «Надежды», классическую драму Германа Хейерманса, получившего известность в России еще с начала века.

В эпическом тоне выдержана и новелла Анны Бламан, давшая название сборнику. Красный бук — это символ гордости и стойкости нации, его гибель под немецким топором уподобляется гибели патриота в схватке с врагом — одного из «побежденных, но не покорившихся», подобного тому, кого укрывал бук в своих могучих ветвях. После этого «Драма на канале» той же А. Бламан кажется чересчур камерной. Ее героиня Анна Путтерен, немолодая одинокая женщина, «центр своей крошечной вселенной», тоже гибнет — от руки грабителя, принятого ею за тайного поклонника, но эта смерть выглядит нелепой и какой-то незначительной, словно конец мотылька в огне полуночного светильника.

Трагически завершается и «Электротерапия», но это уже, так сказать, иная система отсчета. В своей повести Виллем Фредерик Херманс, блистая присущими ему иронией, тонким психологизмом и живописанием среды (тут вспоминается Мультатули — любимый писатель Херманса), обобщает конфликт современной молодежи с мещанским укладом «отцов». Гимназист Рональд — изгой в семье, дружба ему не суждена — накладывает на себя руки. Со страниц повести веет ледяной безысходностью; писатель давно уже вынес приговор жестокому обществу и не питает никаких надежд на будущее. В родственной тональности написана новелла Яна Волкерса «Снежный человек». Ее главный персонаж, юноша Герман, симулирует потерю зрения, чтобы не видеть опостылевших ему близких. Предмет ненависти здесь тот же — обывательская сытость и благополучие, и буржуазная природа конфликта остается по-прежнему в тумане. Многовековой опыт привил нидерландским художникам особую наблюдательность в отношении детали, но лишь немногим из них было дано видеть скрытый ход колесиков социального механизма. Даже самые искушенные в историзме (как-то: Герман Хейерманс, Герман Гортер, Фредерик ван Эден) воспринимали его через призму аллегории или метафоры либо искали недостающую опору в чисто психологической мотивировке смысла событий.

Проницательным психологом был Симон Вестдейк (он умер в начале прошлого года), из многообразного наследия которого в сборник вошел исторический гротеск «Неверующий фараон». Фараон-атеист, терзаемый одиночеством, находит себе единомышленника среди черни, но тот в конце концов обожествляет фараона. Нельзя сказать, чтобы Вестдейк-психолог раскрылся здесь полностью. Зато второй, фантастический, гротеск — рассказ Харри Мулиша «Что слу-

чилось, с сержантом Массуро?» — яркий пример аллегории. Автор оживил здесь древнюю гвинейскую легенду о каре богов за жестокость; ее сверхъестественный смысл парадоксальным образом вяжется с формой тривиального рапорта, обрамляющего рассказ. Лейтенант колониальных войск докладывает в военное министерство, что его сержант превратился в камень. На ум поневоле приходит образец гоголевского гротеска — «Нос» или «Записки сумасшедшего».

Одна из животрепещущих тем нидерландской литературы второй половины нашего века — духовный и нравственный кризис буржуазной интеллигенции. Реалистическая повесть Алфреда Коссмана «Возвращение» сюжетно строится как некий авторепортаж о мышиной возне, поднятой вокруг избалованного славой актера и драматурга Линкофа, вернувшегося из-за океана в родные пенаты. Прием у бургомистра, у директора зоопарка, вернисаж, удушающие объятия... Линкофу явно нелегко сохранить стремление «держаться на грани веры и сомнения, уберечь себя от унизительного чувства бессмысленности своего существования». Герой Коссмана не знает, как быть дальше, но этого не знает и сам автор — как, впрочем, большинство его собратьев по перу. Удобный выход из положения — отвлечься либо посмеяться над злом, которое хочет быть всесильным,— над деньгами, уродующими человека, и даже над самим собой, как это делает Леонхард Хейзинга («Деньги», «Полуденные духи»).

Память нидерландского народа, изведавшего гяготы оккупации, надолго сохранит ненависть к фашизму, коллаборационистам, войне. Поэтому в сборник органически вошли такие разные по стилю и мысли новеллы, как «ИКС-предатель» Адриана ван дер Фейна — нравственный приговор изменникам родины, уже упоминавшийся «Красный бук», невеселые бытовые юморески Симона Кармиггелта «Воспоминания о войне». Если первая еще дышит героикой Сопротивления, то в последней ощутима та приземленность «утраченных иллюзий», которая пускала корни в сознании рядового голландца, по мере того как на его глазах вновь набирал силу и заговорил о реванше нацизм. Безжалостная картина духовной агонии предателя, который мечется между двух баррикад перед лицом возмездия, и анекдотическая история с парой ботинок, «в смутные годы подполья» присвоенной у рассказчика практичным соседом,— это две крайние грани того реализма, что нашел развернутое воплощение в лучших послевоенных произведениях о Сопротивлении, например, в романе С. Вестдейка «Пастораль 1943 года».

«Вчера», «сегодня» и «всегда» в антологии не изолированы друг от друга. Большинство новелл так или иначе можно связать общей идеей — человеческого выбора, творящего судьбу, позитивно или «от противного» подтверждающего чаяния гуманизма. Ведь «жизнь имеет смысл лишь тогда, когда человек не должен работать ради куска хлеба, когда он может бескорыстно заниматься тем, что ему нравится»,— мечтает незадолго до самоубийства юный Рональд в «Электротерапии». Ему невольно вторит Линкоф из «Возвращения»: «Лучше умереть, чем дожить до полного банкротства».

Бескрылость, ущербность бытия, которую по-разному осознают герои сборника — и «интеллектуалы» и «простые люди»,— проблема не абстрактно-философская, а конкретно-социальная. По-видимому, не случайно и не по желанию одного составителя в сборнике «Красный бук» преобладают рассказы с трагической развязкой, так что рождается впечатление, что в жизни голландского народа гораздо больше теней, чем света. Для писателя в буржуазном обществе трагизм современной жизни — тема более насущная и поэтому более плодотворная, чем ее радости. Она сама просится в литературу, властно выводит ее из мирка национальной узости, заставляет говорить все громче и уверенней.

В. ОШИС

Издано за рубежом

ПОЭЗИЯ РОМАНТИКА, ОПТИМИСТА, ЖИЗНЕЛЮБА

Младен Исаев. Покой за тебе няма. София, Български писател, 1971.

Если этот сборник стихов возьмет в руки читатель, ничего не знающий об его авторе, он, наверное, будет поражен силой и свежестью чувств поэта, его активным отношением к окружающему, его любовью к поэзии, к своей земле, его юношески пылким и непосредственным восторгом перед жизнью.

Да, жизнь — великолепнейшее чудо.
Боготворю ее прекрасный лик.
Пусть нам земля сверкает изумрудом,
пусть согревает нас тепло земли! [1]

(«Преклонение»)

Не правда ли, совсем юношеские стихи? А между тем написаны они Младеном Исаевым накануне его шестидесятилетия, которое он отметил в этом году.

[1] Здесь и далее переводы стихов А. Опульского.

Романтиком, оптимистом, жизнелюбом вошел Младен Исаев в болгарскую поэзию на рубеже 20-х и 30-х годов, прожил жизнь, в которой огорчений и тревог иному хватило бы, чтобы стать навсегда пессимистом, но из всех испытаний вышел прежним романтиком, оптимистом, жизнелюбом, потому что поэт был революционером-коммунистом, а его поэзия — революционной, коммунистической.

Еще комсомольцем Младен Исаев принял участие в Сентябрьском восстании 1923 года, первом в мире антифашистском восстании. Это было боевое крещение, за которым последовали годы напряженной революционной работы, эмиграции, ссылки, тюрьмы. Победа народной власти в 1944 году застала Младена Исаева в концлагере Эникьей, куда он был брошен по решению того же суда, который приговорил к смерти Николу Вапцарова, его товарища по политической и литературной деятельности.

После Сентября 1944 года и возвращения с фронта Отечественной войны, в которой Младен Исаев участвовал добровольцем, он был секретарем Союза болгарских писателей, редактором журналов «Искусство» и «Лучи», членом редколлегий ряда изданий.

1944 год резко изменил жизнь Болгарии, дал ей новое направление, новые скорости, новые оценки. Дарование Младена Исаева, вступившего в эту жизнь уже сложившимся поэтом, было созвучно новой современности, и в наше время популярность поэта отнюдь не меньше, чем в 30-е годы, когда прогрессивная Болгария читала и перечитывала его первые сборники — «Пожары» (1932), «Жертвы» (1934), «Ясность» (1936).

И теперь, хотя «не треплет уже ветер черные кудри» поэта, он по-прежнему в строю «под молниями, где нет ни секунды покоя». Поэт презирает покой, и главная его черта — активность, наступательность. Недаром даже стихотворение, посвященное «молчанию», Младен Исаев превращает в гимн беспокойству (и — что тоже знаменательно — предпосылает ему эпиграф из Блока: «Покоя нет»).

Благословенно беспокойство,
когда, душа, слагаешь ты
в стихи без позы и притворства
дней наших зримые черты!

(«В молчании»)

Долгая и беспокойная жизнь, сорокапятилетний стаж в литературе научили Младена Исаева видеть своего читателя, знать его уровень, понимать то, чем он живет.

В наши дни, как пишет сам поэт в статье «Искренность и свой голос в поэзии», «подлинная, большая революционная поэзия — это художественное творчество самого высокого разряда. Наряду с произведениями, отражающими волнения и тревоги в связи с проблемами мира и войны, со всемирной борьбой между силами прогресса и реакции, наш современник нуждается и в произведениях, насыщенных интимно-философскими размышлениями, картинами вечно воспроизводящейся прелести природы, полных преклонения перед любовью и красотой».

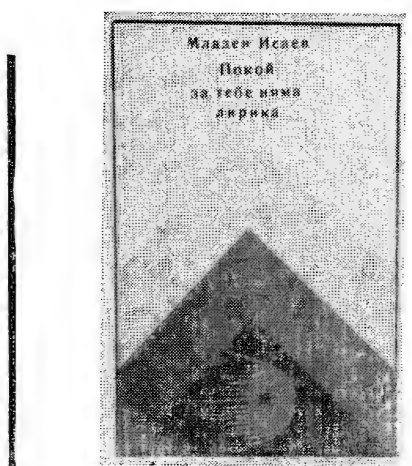
И в трех десятках стихотворений, составивших последний сборник Младена Исаева, озаглавленный «Нет для тебя покоя», поэт сумел рассказать о том, что его волнует, сумел увидеть главное в своем времени. Он воспел созидателей новой жизни — бургасских нефтехимиков, кремиковских сталеваров, добруджанских трактористов, фракийских виноградарей, строителей первой атомной электростанции («Бессонницы», «Симфония рассвета», «Человек с Первой доменной», «Человек с чистой совестью» и др.).

Он рассказал о современных борцах за свободу в странах, где рабочий человек еще не чувствует себя хозяином земли. И не случайно так сильно звучат здесь стихи — воспоминания о боевых днях, о погибших товарищах, стихи, посвященные благодарной памяти тех, кто дал возможность живущим теперь наслаждаться красотой и неповторимостью жизни в новой социалистической Болгарии («Слово убитых», «Голоса совести», «Несломленные», «Баллада об Огосте»).

Очень интересны несколько стихотворений сборника, как бы возглавляемых стихотворением «Ищущая мысль». Кроме названного в эту группу можно включить стихотворения «Ученому», «Циолковский», «Эйнштейн», «Первооткрыватель (В память Юрия Гагарина)», «Курчатов», «Гибель Комарова». Поэт выразил в них любовь своих соотечественников к советским исследователям космоса и к тем, чья «птица мысли» стремится к поиску, к открытию тайн «в бесконечных галактиках и в душах людей».

Читая этот сборник Младена Исаева, мы лишний раз убеждаемся в том, как прав поэт, утверждая, что он «никогда не опускал голову перед врагом с железной силой» и всегда «был начеку, чтоб не исчезла... к миру человеческая любовь».

А. ОПУЛЬСКИЙ



ГЛАВНОЕ — ЗНАТЬ

Giuseppe D'Agata. Primo il corpo. Milano, Bompiani, 1971.

Каждая новая книга Джузеппе Д'Агаты — неожиданность даже для его постоянных читателей: диапазон его писательских интересов необычайно широк, палитра стилей и приемов разнообразнейшая. Ракурс, в каком он видит и рисует мир, всякий раз меняется, но остается неизменным одно: жгучий интерес к действительности, серьезное, бескомпромиссное стремление сделать литературу орудием точного знания, если не решать, то хотя бы ставить проблемы, волнующие современного человека, во всей их сложности.

Если судить о достоинствах писателя по тому, насколько он силен в «человековедении», то у Д'Агаты имеется явное преимущество перед собратьями по перу: он по образованию врач и удачно сочетает литературный дар со свободным владением естественными науками. Советские читатели имели случай убедиться в этом, когда читали его роман 1964 года, вышедший у нас (в переводе Е. Солоновича) под названием «Дети Гиппократа», и когда смотрели сделанный по этому роману фильм с Альберто Сорди в главной роли. Такую безжалостно достоверную книгу мог написать лишь человек, на личном опыте изучивший итальянскую систему здравоохранения и в то же время наделенный недюжинным писательским темпераментом, наблюдательностью, умением подмечать типическое, видеть смешное.

Совсем не похожа на этот роман-памфлет, написанный от начала до конца в реалистическом, бытовом ключе, последняя книга Д'Агаты «Primo il corpo» — «Тело прежде всего». Книга эта необычна и по существу, и по форме. На последней странице стоит «дата написания»: 1469—1969; время действия — пять веков; место действия — Италия и Франция, герой — один в двух лицах: восемнадцатилетний Леонардо да Винчи и его заметно измельчавший alter ego — современный итальянский художник, специализирующийся на зарисовке анатомируемых тел. Действие романа разворачивается в виде двух туго, без интервалов, переплетенных между собой сюжетных линий.

Линия первая: герой рассказывает трем своим ученикам историю, которую он, в бытность свою молодым Леонардо, пережил, возвращаясь из Парижа на родину, во Флоренцию,— историю своей встречи с Франсуа Вийоном. Здесь перед нами откровенный вымысел или, в лучшем случае, домысел; даже та часть рассказа, которая ограничена реальными географическими и временными рамками (Франция 1469 года, ненастная ночь, встреча Леонардо с изгнанным из Парижа Вийоном и его учеником Фирмино, смерть Вийона), не может претендовать на достоверность — Леонардо да Винчи в это время делал первые шаги в искусстве живописи и маловероятно, чтобы он уже тогда ездил к парижскому коллеге за секретом приготовления красок; что касается Вийона, то никому из исследователей его творчества так и не удалось установить, что с ним стало после замены виселицы изгнанием. Но Д'Агата и не настаивает на том, чтобы мы верили его версии буквально, ему важно другое — столкнуть на этом заведомо парадоксальном материале разные точки зрения, контрастные характеры, провести параллели, поразмыслить о природе и о судьбе человека, о том, что такое жизнь и смерть, какова роль знания, науки, в чем назначение искусства и «где оно гнездится».

Вийон умер как жил, великий и жалкий, нищий, хмельной, после разнузданной оргии в грязном заезжем дворе, полный упрямого презрения к общепринятой морали, до последнего вздоха доказывая неправоту тех, что твердят: «Прежде всего дух, духовное». Недоучившийся медик Фирмино, загипнотизированный мощным поэтическим гением учителя, искренне считает, что если вскрыть тело покойного Вийона, обнаружится «источник поэзии» и, следовательно, раскроются искомые секреты мастерства. Леонардо же, как бы разделяя кредо Вийона, презрев запреты (анатомирование трупов еще считалось святотатством), вскрывает тело и обнаруживает «нечто гораздо более важное», нежели «источник поэзии»,— «совершенную, изумительную архитектонику нашего тела».

Ни убогая обстановка, ни боязнь ограбления, ни безобразная эротическая сцена с участием Фирмино, смертельно больного Вийона и глухонемой служанки Бланш, ни боль утраты не могут заглушить в Леонардо радости великого открытия: «Я разом настолько обогатил ум свой знаниями, что у меня закружилась голова, душу объяло смятение, обуял страх, что не смогу удержать в памяти все, что видел, до чего дотрагивался», ведь «нам открылась первооснова всех знаний».

Значит ли это, что Леонардо, а вместе с ним и автор — против духа, за тело, против поэзии, за науку? Нет, вывод другой: цель всякого искусства и всякой науки — познание мира.

Тут возникает еще одна тема, одна из ведущих в книге: тема взбунтовавшихся клеток, нарушивших генетический код, злокачественной опухоли, которая свела Вийона в могилу. Особенно интересно этот лейтмотив развит во второй, современной линии романа.

Д'Агата-медик здесь в родной стихии, научная эрудиция служит ему той твердой почвой, стоя на которой он выдает целый каскад наблюдений, соображений, предположений, пронизанных тонкой и горькой иронией. Главный объект ее — многословный реферат онколога Куадри, то есть самоуверенная и пока еще довольно беспомощная в борьбе со злом века — раком современная медицина.

Первая и вторая сюжетные линии переплетаются. Главное, что их роднит,— не столько аналогичные персонажи (Леонардо и его alter ego, Бланш и Бьянка и др.), сколько общий полемический климат, слияние патетического и комического, причем общий, «сквозной» тон задает любимый поэт автора — Франсуа Вийон, его веселое самобичевание, его «Баллада повешенных» и другие стихи. Основное же различие состоит в том, что герой Возрождения Леонардо побеждает, а итальянский герой наших дней художник-«анатом» терпит поражение: физиологически — в своих интимных отношениях с любимой женщиной врачом-психиатром Бьянкой, идейно — он никак не может пристать к какому-нибудь берегу, и эмоционально — в столкновении с окружающим миром, «состоящим из множества фабрик, производящих трупы».

Был и в его жизни «всплеск»: втянутый в водоворот событий конца второй мировой войны, он участвовал в Сопротивлении, но потом пришли разочарование, неудовлетворенность, скепсис — недуги, типичные для известной части нынешней итальянской интеллигенции.

В двух совсем различных регистрах звучит и язык романа: сцены с Леонардо и Вийоном написаны сочно, образно, возрожденчески натуралистично; современная часть — рациональная, то суховато «научная», то ироничная. На смену вийоновской громкоголосой, циничной буффонаде приходит сдержанная саркастическая улыбка (которая, надо признать, порой разит наповал,— например, интеллектуалов-снобов в сцене «worker-party» на вилле отца Бьянки, где они смотрят в рот наимоднейшему нынче в итальянских буржуазных салонах гостю — «настоящему рабочему от станка»).

Форма, стиль книги претерпели явное влияние кино. (В последние годы Д'Агата создал много кино- и телесценариев.) Отдана дань и чисто формальному новаторству (минимум знаков препинания, диалог столбиками, деление страницы пополам, как в словаре, соответственно двум «потокам сознания» или тексту и подтексту, обозначение обезличенных персонажей — учеников художника буквами А, Б, В и т. п.). Но если создание двух языковых регистров входило в авторский замысел, то вряд ли Д'Агата намеренно добивался стилевой чересполосицы, нарушающей целостность произведения (так, «вставным номером» выглядит автобиография героя).

В книге есть и спорные моменты. Искусственной представляется аналогия, которую автор проводит между бунтом клеток, вышедших из подчинения организму и разрушающих его, и бунтом «леваков», разрушающих социальный организм — общество и государство. Спору нет, материя первична, «тело прежде всего», но отождествлять биологические законы с законами жизни общества, как это порой склонен делать автор, неправомерно. Поистине, наши недостатки суть продолжение наших достоинств! Хоть мы и не ханжи, в романе, бывает, коробит чересчур «замедленная съемка» эротических моментов.

Но это детали. В целом новая книга нашего друга Джузеппе Д'Агаты не может не вызвать интереса, она читается с увлечением, она будит, будоражит мысль.

Ю. ДОБРОВОЛЬСКАЯ

ДОРОГА В «ГРИНЛАНДИЮ»

Graham Greene A Sort of Life. London, Bodley Head, 1971.

Грэхем Грин не в первый раз обратился к жанру автобиографии. О событиях своей жизни он писал в сборнике эссе «Потерянное детство», «Дороги беззакония», «В поисках характера»; факты его биографии хорошо известны из многочисленных интервью с ним. Однако в возрасте шестидесяти шести лет Грин вновь принялся за воссоздание своего жизненного пути. В Англии почти одновременно с автобиографией вышло полное собрание сочинений Грина, в котором к каждому тому самим автором написано предисловие. Автобиография и статьи из собрания сочинений словно продолжают и дополняют друг друга, а в целом воспринимаются как подведение итогов.

Трудное для перевода заглавие «A Sort of Life» сразу же заставляет задуматься над спецификой автобиографии Г. Грина. Пожалуй, наиболее точно английское «a sort of life» соответствует русскому «такая жизнь» или «некий вариант жизни», но все равно оба перевода требуют комментария. Грин, как бы чувствуя эту необходимость, разъясняет в предисловии значение своего названия: «Если нельзя окончить книгу на одре смерти, то любой конец будет приблизительным, и я предпочел окончить это эссе на годах неудачи, которые последовали за опубликованием моего первого романа. Неудача — это тоже разновидность смерти».

Назвав свою книгу «неким вариантом жизни» или одним из возможных вариантов биографии, писатель тем не менее вполне сознательно выбирает временные рамки. В самом деле, почему Грин, жизнь которого переполнена бурными событиями, сосредоточил внимание на начале жизненного пути, почему в его книге мы не оказываемся в столь хорошо известных ему странах Африки и Южной Америки, но медленно бродим по тихим улицам Беркхамстеда?

Эпиграф из Кьеркегора отчасти отвечает на этот вопрос: «Только цыгане и разбойники не возвращаются в те места, где они когда-то бывали». Грин возвращается к истокам своей жизни, поскольку глубоко убежден, что именно в годы детства и юности шел основной процесс становления его личности, формировались черты характера, определившие дальнейший ход его жизни.

Читая автобиографию писателя, мы не раз убеждаемся, что его будущее со всеми горестями лежало на улицах Беркхамстеда и на страницах книг, которые он читал в ту пору. Грин не спеша ведет читателя по своим детским книжным полкам. Романтическое увлечение Африкой и Южной Америкой, воспитанное в Грине романами Хаггарда, Стивенсона и Конрада, в будущем привело к тому, что писатель не раз побывал в этих отдаленных от Европы странах и немало времени отдал их изучению. Ранее знакомство с психоанализом Фрейда (Грин в возрасте 16 лет проходил курс лечения у психоаналитика) также не прошло даром: его следы мы находим как в романах, так и в его теории творчества.

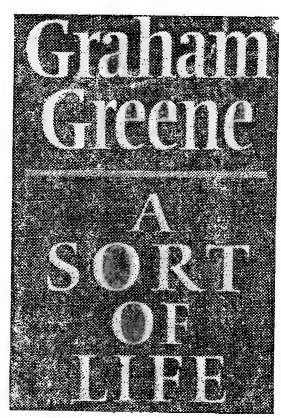
И еще по одной причине Грин называет свою автобиографию «неким вариантом». Жизнь Грина, по его собственным словам,— это очень своеобразный вид жизни, в которой реальные события и люди смешиваются, меняются местами с вымышленными персонажами и вымышленными событиями. Создается впечатление, что люди движутся как бы за кисейным занавесом памяти, поэтому читателя, который будет искать в книге Грина лишь фактическую точность, может постигнуть разочарование. Хотя Грин очень подробно рассказывает нам о членах своей семьи, об их привычках и причудах, на самом деле он говорит о том, как формировался мир его творческих образов. Писатель стремится не к точности деталей, но к точности передачи ощущения жизни, которое он сохранил на всю жизнь,— тоски и никогда не проходящей грусти.

Тоска, с которой, казалось, Грин родился, тяжким бременем легла на его душу, доводила до отчаяния, заставляла искать забвения в вине, наркотиках, в теориях психоанализа, в попытках самоубийства. С годами эта душевная боль переросла в осознание бесперспективности существования, стала требовать какого-то выхода — немого собеседника — и явилась основным стимулом к созданию книг.

Именно это неотделимое от писателя ощущение тоски воскрешает в его автобиографии типичную атмосферу его романов и, более того, дает возможность читателю проследить этапы создания «страны Грина». Хотя в автобиографии нет этого специфического, одновременно реального и глубоко символического, мира, в котором сосуществуют кошмар и тяга к справедливости, где физические и моральные силы людей напряжены до предела, где живут гуманные преступники и бесчеловечные праведники, в ней есть автор, несущий в себе ощущение «гринландии». Есть писатель и человек, душа которого бьется в тисках тоски и который знает лишь один способ противостоять ей — нравственный стоицизм.

Может быть, именно вечное стремление определить добро и зло в человеке или наметить хотя бы зыбкую границу между этими категориями влекло Грина в самые рискованные ситуации, на самый край пропасти... Когда он стоял на этом краю, жизнь приобретала смысл, истинность человеческого поведения становилась очевидной, этот край повергал в головокружительное состояние и одновременно отрезвлял. В одном из таких «крайних состояний» Грин принял католицизм.

Грин посвящает одну из глав автобиографии католицизму, и вполне естественно желание читателей узнать об этой сложной проблеме из «первых рук». Но из повествования получается, что приход писателя к католицизму оказался чуть ли не случайностью. Создается впечатление, что Грин не хочет вспоминать истинные причины прихода к вере то ли потому, что, как он сам пишет, не помнит их, то ли потому, что сейчас, в 1972 году, не считает их убедительными. С этой точки зрения глава даже несколько разочаровывает. Ведь нас интересуют внутренние мотивы, ответ на вопрос, как случилось, что Грин, убежденный в непоколебимости своих атеистических взглядов в своем глубоком недоверии, ко всему сверхъестественному, непонятному и неправдоподобному, стал католиком. Ответ, хотя и очень нечеткий, ответ человека, ко-



торый устал от постоянных внутренних сомнений, читается как бы между строк. Религия обосновывала стоицизм и, казалось, спасала от тоски.

Хотя Грин пишет о вопросах религии бегло, все же можно представить современные взгляды писателя. Сейчас Грин предпочитает понятию «бог» понятие Тейяра де Шардена «ноосфера». Тем самым мы имеем все основания сказать, что понятие бога у Грина абстрактно гуманистично и почти полностью перенесено в сферу этики. Поэтому не следует искать у писателя художественного подтверждения того или иного религиозного тезиса, в своих произведениях он дает нам картину мира, из которого люди изгнали бога, а для Грина это равносильно изгнанию человечности.

Надежда обрести в религии спасение от тоски не оправдалась: период веры стал таким же мрачным, как и период атеизма. Ответа на вопрос: «А что мы, собственно, знаем?» — Грин не получил. Может быть, именно поэтому в романе «Путешествие с тетушкой» Грин дает такой залп по колоннам католического храма, что они рушатся у нас на глазах.

Роман «Путешествие с тетушкой» написан непосредственно перед автобиографией и в целом очень важен для понимания последней книги Грина. В самом деле, разве не были мы вправе ожидать от Грина, автора «Комедиантов», другой тональности повествования в «Путешествии»? Образ Мажьо, человека действенного, борющегося, внутренне честного, ни в коей мере не комедианта, обозначил качественно новый этап и важный сдвиг в творчестве писателя. Однако сдвиг оказался недолговечным. Только четыре года отделяют «Комедиантов» от «Путешествия с тетушкой», но в последнем романе писателя мы попадаем главным образом в среду одних комедиантов, у которых маска уничтожила человеческое лицо. Правда, и в «Путешествии» мелькают подлинные, не искаженные гримасой фиглярства лица: это мисс Патерсон, негр Вордсворт, но они — фигуры второго плана, безжалостно оттесненные миром самой откровенной наживы, безнравственности и эгоизма.

«Путешествие с тетушкой», эта черная пикареска о духовной смерти мира,—произведение, в котором многие интонации писателя получили трагическое, «тупиковое» завершение. Тягостная тональность повествования последнего романа Грина как бы спроецирована в его автобиографию и заставляет автора начать и кончить рассказ о своих юных годах на грустной и даже отчаянной ноте. Жизнь — это серия постоянных неудач: только одни приходят раньше, другие настигают нас позже. Но ведь все неудачно в жизни: мир полон больных, несчастных, искалеченных. А раз так, то Грин считает, что надо поддерживать душевные силы надеждой, «надеяться, пока надежда не создаст из собственных руин свое отображение».

Кредо пессимистов, логически вытекающее из мировоззрения Грина, древнее, как мир. Под ним подписывался в свое время и Бернард Шоу, но, объявив все социальные преобразования бессмысленностью, кидался в бой с несправедливостью. Нечто похожее мы видим и в позиции Грина. А в одном из последних интервью, данном уже после завершения автобиографии, он говорит о солидарности с революционным Чили и с американцами, требующими окончания войны во Вьетнаме.

Это все — разные стороны облика Грина, причудливо соединившиеся в его творчестве: политическая злободневность и постановка бесконечных морально-этических вопросов, находящих свое воплощение в трагической истории души человека, его расщепленного, путаного мировоззрения. Именно эти разные облики Грина заставляют говорить о сложных, вероятно, даже непреодолимых противоречиях, порожденных его мировосприятием. Но мы должны помнить о книгах писателя, основная цель которых — пробудить моральное чувство современников. Однако те же книги показывают, что нравственность, мораль, этика в ситуации тупика, в которую попал западный мир, слишком часто оказываются невозможными, объективно лишая человека какого-либо выхода.

Постоянное ощущение провала, творческой неудачи, чувство неудовлетворенности собой всегда заставляло Грина повышенно строго относиться к своим произведениям и предъявлять все более высокие требования к своему мастерству.

Эта требовательность к себе дала возможность Грину раскрыть в последнем произведении еще одну грань своего творчества. Помимо того, что писатель создает достоверный автопортрет, помимо того, что перед нами рассказ — признание о становлении писателя, перед нами еще и самостоятельная повесть о жизни и развитии юноши, выросшего в Англии в начале XX века.

Е. ГЕНИЕВА

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ШЕСТЬЮСТАМИ СТРАНИЦ «ГЛУПОСТЕЙ»

Jaques Laurent. Les Bêtises. Paris, Bernard Grasset, 1971.

Роман Жака Лорана «Глупости», выпущенный издательством «Грассе», получил Гонкуровскую премию за 1971 год. Присуждение этой, пожалуй, самой почетной во Франции награды за писательский труд всегда бывает в центре внимания. В данном случае скандальная репутация автора превратила обычную шумиху в сенсацию.

Жак Лоран во время оккупации Франции гитлеровцами сотрудничал с вишистами. Его первое, почти не замеченное критикой художественное произведение, роман «Спокойные тела», вышло в 1948 году. За-

тем он надолго замолчал. Передовая Франция платила предателям родины тем, что создавала вокруг них обстановку нетерпимости. Лоран, однако, оказался предприимчивым человеком. В 1953 году он возглавил развлекательный журнал «Парижанка». Примерно в то же время он начинает, постоянно меняя псевдонимы, стряпать легкое чтиво в духе руководимого им журнала. Наибольшей «славой» пользовались его книги «Неожиданная история нижнего белья» и роман с продолжением «Дорогая Каролина», подписанный псевдонимом Сесиль Сен-Лоран.

Под своим настоящим именем Лоран сотрудничает в правой печати. Он становится, как пишет автор предисловия к сборнику его статей «Против течения», «проповедником невмешательства интеллигенции в политику». Но во время алжирской национально-освободительной революции Лоран счел возможным изменить своим идеалам «невмешательства», ратовал за «Алжир французский», поддерживал оасовцев.

И вот в конце прошлого года Лоран выпускает огромную (579 страниц) книгу, получающую Гонкуровскую премию. Роман состоит из четырех частей, соединенных комментариями некоего А. Б., которому автор, будто бы погибший в авиационной катастрофе, поручил издание своей книги. Первая, очень небольшая часть — «Глупости Камбре» — это роман в романе, рассказывающий о приключениях французского солдата в 1940 году. Герой волочится за девушками и дурачит своего капитана, выдавая себя за агента французской разведки. Уже в этой приключенческой повести в стиле Дюма несколько настораживает фривольное отношение к тяжким бедам своей страны.

Однако для Жака Лорана первая часть самостоятельного значения не имеет. Она важна лишь для понимания всей книги в целом, ибо последующие части написаны от лица автора романа «Глупости Камбре». Сначала читатель знакомится с его записками времен второй мировой войны, в которых рассказывается о самом процессе создания этого романа. Они так и названы — «Обследование глупостей Камбре». Затем следуют дневник 1952—1954 годов, в котором автор постоянно возвращается к событиям десятилетней давности, и эссе, где он подводит итоги жизни опять-таки в связи со своим юношеским романом. Но книга Жака Лорана — не просто роман о создании романа. Это подробное жизнеописание безымянного автора (Лоран нигде не называет его по имени). В оккупированном Париже юноша пишет роман. Для него пребывание немцев в родном городе — своего рода метафизическая случайность, как врагов он их не воспринимает: «Эпоха предлагала мне массовую бойню: по всей Европе гремели армии и идеи; я рисковал лишь тем, что напишу неудачный абзац». Он скользит по жизни, как по льду, относясь ко всем переменам со спокойствием авантюриста. То он за деньги выполняет поручения группки анархистов, что после войны дает ему возможность представляться участником Сопротивления, то оказывается одним из посредников несостоявшегося примирения Петэна с де Голлем. К людям этот молодой человек подходит с животным инстинктом потребителя. Он встречается с ними, совершает тот или иной поступок только для того, чтобы описать это в своем романе или уточнить то, что он уже написал. Из многих женщин, с которыми он был связан, лишь одна, Франсуаза, будто бы удостаивается его любви. Но он с ужасом бежит от нее, как только замечает, что Франсуаза принимает их отношения всерьез.

По окончании войны этот юноша-авантюрист, превратившись в авантюриста-взрослого, в поисках острых ощущений вербуется во французский экспедиционный корпус в Индокитай. Вернувшись во Францию, он включается в беззаботную жизнь людей, не думающих о хлебе насущном. В дневнике его мелькают названия отелей, ночных баров и кабачков, где он проводит время с любовницами, имена людей, вымышленных и реально существующих, причем Жак Лоран жонглирует известными фамилиями с оскорбительной бесцеремонностью.

В последней части этот уже немолодой человек, ставший благодаря обширным связям крупным чиновником в промышленном мире, рассказывает о своем понимании жизни. Здесь есть интересно подмеченные моменты психологии человека, но не они обращают на себя внимание. Цинизм, облеченный в форму философских раздумий, становится еще более неприятен. Например, вторая глава, в которой автор обобщает свой богатый эротический опыт, как, впрочем, и некоторые сцены из предыдущих частей романа, вполне достойна опубликования в специальных порнографических журналах.

Последняя фраза книги такова: «Я утверждаю, что любой читатель, который возьмет в руки эту книгу и не отложит ее, бросив взгляд на название, будет знать обо мне больше, чем о каком-либо другом существе в мире».

Что же мы знаем о человеке, от лица которого Лоран писал роман «Глупости»? Для этого человека нет ничего святого. Понятие «Родина» для него просто не существует. «...Я презирал немецкого солдата, который умрет утром следующего дня, и крестьянина, который верил, что умирает за Францию». Движение Сопротивления представлено как цепь случайных событий, переплетение случайных поступков с корыстными махинациями. Он не знает, что такое дружба, к любви относится как к акту чисто физиологическому. Отцовское чувство ему также неведомо: увидев сына, он не испытал ничего, кроме праздного любопытства.

Долгие годы жизненным стимулом этого человека был роман, который он так и не кончил. Одержимость в работе украшает писателя. В данном же случае речь идет скорее о графомании и о любовании самим процессом письма, ибо конечный результат,

роман «Глупости Камбре», не имеет художественной ценности. Отсутствие иных целей делало его автора, с одной стороны паразитом, а с другой — пешкой в руках людей, которые ему платили или в которых он нуждался как в источнике ощущений. В «Глупостях» не видно и намека на критическое отношение Лорана к герою повествования. Последний на протяжении всей книги рассматривает под микроскопом свою бесполезную и порой мерзкую жизнь с бесстрастным бесстыдством эксгибициониста. Именно поэтому можно было бы предположить, что внутренняя жизнь героя будет показана хотя и без авторского осуждения, но полно. Тем не менее и глубокого психологического анализа в «Глупостях» нет.

В рецензии на «Глупости», опубликованной в газете «Монд», Пьер-Анри Симон заметил, что книга Жака Лорана близка к концепции «нового романа». Это отчасти верно, так как фабула «Глупостей» сводится к описанию процесса творчества, что характерно для произведений школы «нового романа». Человек пишет одно-единственное произведение, исправляет и переписывает его много раз, рассуждает, почему написал так, а не иначе.

При оценке книги в целом создается, однако впечатление, что схожесть «Глупостей» с «новым романом» — это обдуманный ход Жака Лорана, решившего подняться до уровня «большой литературы». В отличие от признанных метров «нового романа» Лоран, набивший руку на литературном ширпотребе, позаботился и о «читабельности». Именно этим можно объяснить наличие откровенно порнографических сцен. И написана книга, несмотря на сложность построения, тем же «легким» языком, каким Лоран писал развлекательные романы. «Легкость» происходит оттого, что слова, образы имеют для писателя информационный, а не художественный смысл.

Известно, что в последние годы во Франции в результате сосредоточения издательского дела в руках нескольких крупнейших книжных концернов нездоровый коммерческий ажиотаж вокруг литературных премий особенно усилился. Понятно, что издательство «Грассе» довольно решением жюри — присуждение Гонкуровской премии роману Жака Лорана, поданное прессой как сенсация, удесятерило его доходы.

Нам же это решение понять труднее. Отметив книгу Лорана, члены жюри — а среди них и крупные французские писатели — не просто стали «пособниками книжных коммерсантов», как писал еженедельник «Леттр франсэз», не просто отдали премию произведению антигуманистическому. Они надругались над одним из самых тяжелых периодов в жизни своего народа. Ибо Лоран в «Глупостях» остался тем же коллаборационистом, каким он был во время войны.

Роман «Глупости» сам по себе — это не событие. Событием, огорчительным и противным нашему пониманию роли литературы, является самый факт присуждения Гонкуровской премии подобному произведению.

А. КАРЛОВ

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

«ПРЫГУНЫ» ТОМА СТОППАРДА

Многие английские критики считают постановку Питера Вуда в театре «Олд Вик» пьесы Тома Стоппарда «Прыгуны» самым примечательным событием театрального сезона 1972 г. Как и большинство значительных современных английских пьес, пьеса Стоппарда «Прыгуны» — сатира на буржуазное общество Англии, и, по мнению критики, выводы, к которым приходит драматург, «не только грустные, но и мрачные».

Время действия пьесы — 1980 г. События происходят в доме супружеской пары — Джорджа и Дороти Мур. Он — профессор этики, она — звезда театра музыкальной комедии. Их брак символизирует в пьесе «союз интеллекта и плоти. Союз драматический, но удобный». Дороти проводит время у экрана телевизора величиной со стену ее спальни, остальное время посвящает любовным интрижкам. Джордж занят подготовкой своего выступления на международном симпозиуме на тему: «Каков человек по своей природе — добрый, злой или равнодушный?» Наука заслоняет от него образ жизни его жены.

Одна из главных идей пьесы состоит в том, что наука не только не сделала людей лучше, она мешает им видеть очевидные истины, она не только не создала новые моральные ценности, а заставила забыть старые. Действующие лица придерживаются морали лишь в тех рамках, которые диктует им общественная необходимость, в остальном каждый волен поступать по своему усмотрению. Из пьесы зритель узнает, что в Англии только что избрано новое «либерально - радикальное» правительство, первой акцией которого было закрытие всех церквей. Освободившегося от дел архиепископа, «грубияна и пьяницу», назначили министром сельского хозяйства. Уничтожив таким образом последний «оплот» пуританской морали, правительство занялось космическими делами. Дороти Мур смотрит по телевидению передачу о высадке первых англичан на Луну.

Актер Майк Хордерн в роли Джорджа Мура.

(Еженедельник «Нью стейтсмен»)

Однако и это радостное событие омрачено тем, что один космонавт бросает другого на Луне, а сам исчезает в неизвестном направлении.

Главная мишень сатиры Стоппарда — современные философы. Критика называет пьесу «пародией на современную философию». Ученые-логики не стремятся познать вечные истины, они манипулируют в пьесе дозволенными истинами и на протяжении всего действия весело прыгают в бывшей церкви, превращенной в гимнастический зал. Прыгуны — это философы, как их называют в пьесе — «логические позитивисты». Они — «самые философские из гимнастов и самые гимнастические из философов».

Английский журнал «Листенер» считает, что пьеса Стоппарда «самая остроумная и заставляющая надолго задуматься». Отмечая сумбурность действия и переплетение нескольких сюжетных планов, газета «Таймс», в целом давшая спектаклю положительную оценку, писала, что порой пьеса Стоппарда напоминает абсурдистский «параноический детектив».

ПИСЬМА БЕРНАРДА ШОУ

Известный знаток творчества Бернарда Шоу английский профессор Л. Х. Лоуренс утверждает, что Шоу написано около четверти миллиона писем. На протяжении 70 лет своей литературной деятельности он ежедневно отправлял в среднем по 10 писем. Английское издательство «Макс Рейнхард» выпустило недавно том «Избранных писем Б. Шоу», относящихся к 1898—1910 гг. В него вошли 650 писем, примерно две трети из них публикуются впервые.

Знаменитый английский драматург переписывался не только с друзьями, издателями, читателями. В круг его адресатов входили видные деятели культуры и политики. Шоу писал в Фабианское общество, Шекспировский мемориальный театр, Академию драматического искусства, совет района, в котором он жил, клуб велосипедистов и т. д. Трудно перечислить все темы, которые затронуты Шоу в его переписке. Он рассуждает о важнейших событиях своего времени, назначении человека и искусства, о любви, религии, литературе, социализме, актерском мастерстве, фотографии, алкоголизме и воспитании молодых девушек. Так, например, в письме Л. Н. Толстому он приводит доказательства того, что бога не существует, а в письмах Уэллсу излагает свои взгляды на денежное обращение.

Сборник особенно интересен тем, что именно к этому периоду относится расцвет таланта писателя. Однако значение тома выходит далеко за рамки чисто литературных интересов. «Читая письма, которые наряду с работой над очередной пьесой писал Шоу, — отмечает рецензент,— можно только поражаться, какую большую роль продолжала играть для него в это время общественная жизнь, которая всегда была для него неотделима от личной жизни...»

«Безусловно, ни один английский писатель — пишет еженедельник,— не создал такой полной и увлекательной картины политической и общественной жизни своего времени, как Шоу... Книга представляет интерес для всякого серьезного исследователя этого периода истории Англии — истории жизни идей этого времени. Для читателя становится очевидным, что не только пьесы Шоу выросли из этой действительности с присущей ей культурной атмосферой, но что и сам писатель способствовал созданию того культурного и идейного климата, в котором были написаны его пьесы».

БОЛГАРИЯ

ПАМЯТИ ПОЭТА И РЕВОЛЮЦИОНЕРА

Исполнилось 30 лет со дня героической гибели замечательного болгарского поэта, лауреата посмертно присужденной почетной Международной премии мира Николы Йонкова Вапцарова.

Эта дата была широко отмечена по всей Болгарии.

«Никола Вапцаров — самый значительный, самый могучий поэт нашей страны эпохи борьбы против фашизма,— сказал секретарь Союза болгарских писателей Матей Шопкин в своем докладе на торжественном вечере в Софии.— Он — наша национальная гордость. А в масштабе мировой литературы его имя стоит в ряду яркого созвездия сгоревших в этой борьбе: Федерико Гарсиа Лорки, Юлиуса Фучика, Мусы Джалиля».

Данью памяти поэта и революционера в связи с отмечавшейся датой были также выставка о жизни и деятельности Вапцарова, новое издание книги мемуаров его жены Бойки Вапцаровой, воспоминания друзей и критические статьи, опубликованные на страницах «Литературен фронт».

ВЕНГРИЯ

ДВЕ НОВЫЕ КНИЖНЫЕ СЕРИИ

В издательстве «Академия» начала выходить новая серия книг под названием «Наши современники». Каждая книга представляет собой литературно-критический очерк жизни и творчества одного из венгерских писателей. Серия рассчитана на несколько лет, в течение которых будут выпущены книги о таких старейших писателях, как Лайош Кашшак, Леринц Сабо, Пал Сабо, Арон Тамаши, которых уже нет в живых, а также о тех, кто работает сегодня: Ласло Беньямине, Эндре Иллеше, Дюле Ийеше, Ференце Юхасе, Йожефе Ленделе, Ласло Наде, Яноше Пилински, Ференце Шанте, Иштване Ваше, Шандоре Вереше.

«Настоящая серия,— говорится на страницах книжного бюллетеня «Кёньвилаг»,— первая, в которой в научно-популярной форме, рассчи-

танной и на специалистов, и на широкий круг читателей, не говоря уже о студентах и преподавателях, рассказывается о жизни и творчестве того или иного писателя». В ближайшее время выйдут книги Дердя Раба о Леринце Сабо, Ивана Шандора Ковача о Михае Вади и Золтана Шимона о Ласло Беньямине.

В том же издательстве запланирован выход еще одной серии — «Библиотека муз». Она называется так потому, что предполагает выпуск книг по проблемам эстетики в самых различных видах искусства. Ее авторами будут специалисты не только в области эстетики, но и лингвисты, этнографы, психологи, социологи.

Выходит первая книга этой серии — сборник статей «Искусство и проблема общедоступности». Авторы статей в этом сборнике до определенной степени полемизируют друг с другом, но в одном они более или менее едины: «Общедоступность — не безусловный критерий ценности произведения, ибо доступность исторически изменяющаяся категория»...

Вторая книга этой серии под названием «Семиотика культуры» приурочена к Всемирному конгрессу по проблемам семиотики, который будет проходить в Венгрии.

Памятник Петеру Верешу скульптора Арпада Шомоди.
(Газета «Непсабадшаг»)

ПАМЯТНИК ПЕТЕРУ ВЕРЕШУ

На одной из центральных площадей города Балмазуйвароша открыт памятник известному венгерскому писателю, одному из замечательных мастеров венгерской прозы Петеру Верешу.

Автор памятника — венгерский скульптор, лауреат премии имени Мункачи Арпад Шомоди.

На торжественное открытие памятника на родине писателя собрались друзья Петера Вереша: его соратники по рабочему движению, коллеги по литературному труду, многочисленные почитатели его таланта.

О славном жизненном и творческом пути П. Вереша рассказал на открытии памятника председатель Союза венгерских писателей Йожеф Дарваш.

Он говорил о том, что вся жизнь Петера Вереша была связана с его служением народу, из среды которого он вышел.

ДРВ

150-ЛЕТИЕ КЛАССИКА

В ДРВ широко отмечалось 150 лет со дня рождения классика вьетнамской литературы Нгуен Динь Тиеу (1822—1888), выдающегося поэта-патриота, борца за освобождение страны.

Имя Нгуен Динь Тиеу неразрывно связано с традициями свободолюбия и героизма, борьбы за независимость и свободу Вьетнама.

«Сегодня мы сражаемся не только за независимость родины, свободу нашего народа,— сказал на торжественном митинге в Ханое член ЦК ПТВ, заместитель министра культуры Ха Хюи Зиап,— мы ведем сражение во имя человеческих ценностей и человеческого достоинства, во имя того, что воспели когда-то Нгуен Динь Тиеу и другие наши поэты, во имя того, о чем они мечтали, но не могли осуществить».

«ГОРЫ, РЕКИ, ЛЮДИ»

Польский режиссер Анджей Бжозовский снял фильм

Кадр из фильма «Горы, реки, люди».

(Журнал «Польское обозрение»)

о Вьетнаме «Горы, реки, люди». Главная идея картины не война, а жизнь, которую режиссер стремится показать во всех ее проявлениях.

Зачастую сведения предельно конкретны, взяты из статистического ежегодника: уровень заработной платы, цены, процесс производства сандалий из старых шин. Но все эти сухие данные Бжозовский старается представить в зрительных образах, лишь в некоторых случаях он пользуется титрами, всего два раза звучит дикторский текст.

Рецензент журнала «Польское обозрение» Богумил Дроздовский подчеркивает, что «это действительно иной взгляд на Вьетнам — взгляд, подчас несколько удивленный, но всегда сердечный, полный симпатии и уважения».

ЮБИЛЕЙ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Исполнилось 15 лет вьетнамскому издательству детской литературы «Ким Донг». За эти годы издательство выпустило 970 названий книг, общий тираж которых превышает 20 млн. экземпляров. Помимо произведений вьетнамских авторов широко представлена и зарубежная детская литература.

В самые последние годы, несмотря на трудные условия военного времени, отдельные книги выходили огромными для Вьетнама тиражами — 200 000 и 250 000 экземпляров.

Книги «Ким Донга» получили международные дипломы в 1970 г. в Москве, в 1971 г. в Лейпциге, где издательство было удостоено также серебряной медали.

ГДР

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ПИСАТЕЛЕЙ

Несколько писателей за последнее время выступили в газете «Нойес Дойчланд» с ответами на анкету «Над чем вы работаете?»

Писатель Дитер Нолль, автор известного советскому читателю романа «Приключения Вернера Хольта» (см. «ИЛ» № 5, 6, 7 за 1962 г. и № 8, 9, 10 за 1964 г.), ответил: «Я уже много лет работаю над новым романом. К сожалению, быстро работать не умею. Это история ученого-химика, бывшего рабочего. Его работа, личная жизнь, связанные с этим конфликты составляют сюжет романа».

Писатель Герберт Йобст, также неоднократно издававшийся в Советском Союзе, рассказал: «Я подошел уже к последним страницам истории моего героя Адама Пробста. Работы еще очень много. В конце четвертой книги о Пробсте мой герой оказывается как бы в преддверии новой профессии — профессии писателя».

«Несколько лет назад читатели познакомились с отрывком из моего романа, условное название которого «Франциска Линкерханд»,— сказала Бригитта Рейман.— Сейчас я работаю над последней главой. Написано уже 700 страниц, я надеюсь, что в будущем году книгу увидят мои читатели. Правда, не менее 100 страниц при следующем чтении я наверняка перепишу заново... Этот роман охватывает период в 20 лет. Действие его начинается в первый день мирной жизни и заканчивается в середине 60-х годов. Я рассказываю о людях, сохранивших высокие идеалы, о людях, которых устраивает «маленькое счастье», и о людях, потерпевших крушение».

«За первое полугодие 1972 г. я не подходил к письменному столу 59 дней, — рассказал Эрик Нейч.— Я, правда, занимался полезными общественными делами, но все же первое дело для писателя — писать книги. Сейчас я снова взялся за работу над романом, который пишу уже давно. Мне нужен еще месяц, чтобы передать его в издательство. Кроме того, я работаю над серией романов из шести книг. Я не могу сказать ничего определенного об этой серии, кроме того, что герои — люди моего поколения, поколения сорокалетних.

Я написал также для телевидения первую часть сценария «Наш человек из Дедера» и со дня на день жду корректуру моей новой книги для читателей от 8 до 10 лет «Олаф и желтая птица» с иллюстрациями художника Дитера Рекса».

500-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛУКАСА КРАНАХА

В нынешнем году немецкая и мировая общественность отмечает 500-летие со дня рождения великого жи-

Портреты Мартина Лютера и его жены, написанные Лукасом Кранахом в 1526 году, выставленные на аукционе работ художника в Париже. Предварительно они были оценены в 400 и 600 тысяч франков.

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)

вописца Лукаса Кранаха-старшего (1472—1553). Сторонник Реформации, друг Мартина Лютера, Кранах создавал главным образом картины на библейские и мифологические сюжеты. Творчество Кранаха, в котором нашли выражение принципы искусства Возрождения, глубоко гуманистично. Сохранилось множество замечательных, тщательно выписанных портретов, созданных художником. Принимая участие в движении Реформации, Кранах создал карикатуры на пап. Им исполнены также гравюры на дереве и меди.

Широко известны картины Кранаха «Распятие», «Отдых на пути в Египет», «Адам и Ева», «Венера и Амур».

Постоянная экспозиция произведений Лукаса Кранаха имеется в Дрезденской галерее. В честь 500-летия со дня рождения Кранаха выставка его произведений была развернута в «Замковой галерее» в Веймаре — городе, где художник жил и умер.

НОВЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ФИЛЬМ

Этот телевизионный фильм — о жизни молодой женщины наших дней, пишет рецензент газеты «Берлинер цайтунг» о фильме «Юле, Юлия, Юлиана» режиссера Ульриха Тейна. Режиссер уже не в первый раз обращается к теме любви и семьи. На этот раз его фильм «Юле, Юлия, Юлиана» рассказывает о любви молодой медсестры Юлианы и актера Роберта, их браке и о том тупике, в котором оказываются эти любящие друг друга молодые люди. Слишком по-разному складывалась судьба героев фильма: легкое, безоблачное детство Роберта и трудное детство Юлианы создали у них и разное отношение к жизни, из которого впоследствии рождается взаимное непонимание.

Ульрих Тейн сумел показать эволюцию молодой женщины: из молчаливой, тихой Юле — к горячо полюбившей Юлии, а затем к сильной, мужественной Юлиане, обретающей уверенность в своей необходимости людям. Спасая тяжело больного человека, Юлиана совершает настоящее чудо, и это заставляет окружающих, в том числе и ее мужа, увидеть молодую женщину совсем в другом свете, понять величие ее скромной профессии.

«Юлиана — «тихая героиня»,— пишет рецензент газеты «Берлинер цайтунг»,— все, что происходит в ее жизни, она считает обычным...» Именно таким людям посвятил свой фильм Ульрих Тейн, которому удалось,— как пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд»,— почти с документальной достоверностью рассказать о наших современниках».

ФРГ

ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ О РАБОЧИХ

Молодой западногерманский режиссер Кристиан

Рената Гайслер и Юрген Ройтер в главных ролях телефильма «Юле, Юлия, Юлиана».

(Газета «Берлинер цайтунг»)

Кадр из фильма «Дорогая мама, я живу хорошо».

(Журнал «Шпигель»)

Цивер поставил фильм «Дорогая мама, я живу хорошо» — первый в ФРГ цветной художественный фильм о жизни рабочих.

Главный герой фильма — слесарь Альфред Шефчик (его роль исполняет Клаус Эберт). В 1966 г. он нанимается подсобным рабочим на одно из крупных западноберлинских предприятий и поселяется в холостяцком общежитии. Шефчик не жалуется на жизнь; по словам диктора, комментирующего действие, он привык довольствоваться тем, что ему «дарит день». Однако постепенно тяжелая обстановка на предприятии и в общежитии превращает его в «угрюмого фаталиста». После ссоры с мастером он практически теряет надежду на высокооплачиваемую работу. В нем закипает гнев, но Альфред еще не знает, что предпринять.

Режиссер убедительно показывает, как постепенно зреет само сознание рабочих, складывается рабочая солидарность. Поначалу рабочие не хотят вступать в столкновение с предпринимателями, они боятся для себя неприятностей, молчат, когда на фабрике закрывают один из цехов, молчат, когда из общежития выселяют его обитателей. Своим профсоюзным руководителям рабочие не доверяют, они уверены в том, что те действуют заодно с предпринимателями.

Заключительные сцены фильма показывают стихийно вспыхнувшую забастовку. По отзыву журнала «Шпигель», «забастовка показана столь же убедительно, как и перемена в сознании главного героя, Альфреда, который преодолевает свою летаргию и в конце фильма собирает подписи в поддержку уволенного товарища».

Фильм снимался на западноберлинских предприятиях всего 27 дней. Съемкам предшествовала большая подготовительная работа. Прежде чем приняться за них, Кристиан Цивер вместе с автором сценария, тридцатилетним рабочим-инструментальщиком Клаусом Визе, два года изучал протоколы забастовки, расспрашивая рабочих, профсоюзных деятелей и учеников на предприятиях об их жизни.

В качестве исполнителей режиссер привлек 100 западноберлинских рабочих, и в ходе съемок нередко по их предложениям изменял диалоги.

С точки зрения формы этот фильм, разделенный на четыре главы, с обилием диалогов и статичных кадров, напоминает документальный телерепортаж. Однако, по мнению критиков, он выгодно отличается от документальных произведений на ту же тему (таких, как, например, «Красные знамена лучше видны» Тео Галлера и Рольфа Шюбеля) большей продуманностью и четкостью формы. «Наконец-то рабочие в кино заговорили как рабочие»,— заключает журнал «Шпигель».

ДАНИЯ

НАСУЩНЫЕ ЗАДАЧИ И ПЛАНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ТИДЕН»

«За последнее время в Дании необычайно вырос интерес к марксистской литературе,— заявил недавно глава издательства «Тиден» Йон Поульсен в интервью корреспонденту «Ланд ог фольк».

Все это ставит перед издательством «Тиден» новые задачи. Необходимо не только расширить выпуск марксистской литературы, но найти и наиболее эффективные формы ее распространения.

Кроме традиционных книжных магазинов используются специализированные книжные киоски, книжные кафе — новая форма общения с читателями. Но, разумеется, самое главное — издательство должно всегда немного «опережать» время, мгновенно откликаться на самые актуальные и злободневные события современности.

Рассказывая об изданиях «Тиден» за последние полгода, Йон Поульсен назвал, в частности, «Избранные произведения» В. И. Ленина в 12 томах и двухтомник работ К. Маркса и Ф. Энгельса, которые пользуются постоянным спросом читателей.

Торжественно отмеченное недавно 90-летие со дня рождения выдающегося деятеля международного коммунистического и рабочего движения Георгия Димитро-

ва издательство ознаменовало выпуском его работы «Фашизм — это враг». Большим успехом пользуется книга Анджелы Дэвис «Если они придут ночью», выпущенная в свет в дни самой напряженной борьбы за освобождение отважной американской коммунистки.

В ближайшее время издательство намечает выпустить альбом замечательного датского художника Херлуфа Бидструпа «Рисунки Бидструпа за 50 лет». Готовятся к печати: сборник «Марксистская философия», «Очерки развития датского рабочего движения», «Политическая экономия».

ЕГИПЕТ

ПРЕМИИ ВЫСШЕГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Высший совет по делам искусств и литературы в Каире объявил о присуждении очередных ежегодных премий за выдающиеся работы в области искусства, литературы и науки.

Главной премией по литературе за творчество в целом удостоен Халафаллах Ахмад — автор многочисленных трудов по истории арабской литературы.

Главная премия по искусству присуждена посмертно кинорежиссеру Мухаммеду Кериму — одному из основоположников египетской кинематографии, скончавшемуся недавно в возрасте 74 лет. Как сообщает журнал «Аль-Адиб», Мухаммед Керим, учившийся режиссерскому мастерству в Италии и Германии, начал работать в кино полвека тому назад. В конце 50-х годов он был назначен директором Египетского института кинематографии. С жизнью этого человека связана вся история египетского кино.

Поощрительные премии получили Мамдух Мустафа Абд ар-Разик за книгу путевых очерков «Дальний Восток» и Кемаль аль-Маллях также за книгу очерков «Бумажный салон».

Поощрительная премия присуждена писателю Абуль-Муаты Абу-л-Нага — за роман «Возвращение в ссылку», в центре которого образ Абдаллаха ан-Недима — египетского поэта и борца за свободу в конце прошлого столетия.

МАРДРЮС — ПЕРЕВОДЧИК «ТЫСЯЧИ И ОДНОЙ НОЧИ» НА ФРАНЦУЗСКИЙ

Журнал «Арабика», издающийся в Голландии, поместил рецензию на книгу молодой египетской исследовательницы Хиам Абуль-Хусейн «Доктор Мардрюс — переводчик «Тысячи и одной ночи», которую она в качестве докторской диссертации успешно защитила в Сорбонне.

Жозеф-Шарль Мардрюс (1868—1949) был выходцем из богатой армянской купеческой семьи, осевшей в Каире. Свое детство Мардрюс провел в Египте, а юность в Ливане, где он окончил французский Университет святого Иосифа. Затем он в качестве корабельного врача побывал в Индокитае, Индии, Китае и Японии, а в 1899 г. переехал в Париж, где и жил до конца своих дней.

В Париже Мардрюс стал завсегдатаем литературных салонов. В числе его знакомых были Малларме, Валери, Клодель, Франс и другие знаменитые писатели и поэты, ценившие талант и гостеприимство экстравагантного выходца с Востока.

По совету своих друзей-писателей Мардрюс осуществил грандиозный труд, прославивший его имя. С 1898 по 1904 г. один за другим вышли переведенные им с арабского на французский шестнадцать томов «Тысячи и одной ночи», каждый из которых он посвящал своим друзьям-писателям. Перевод Мардрюса имел огромный успех и много раз переиздавался.

В диссертации Хиам Абуль-Хусейн подробно сопоставляются оригинал «Тысячи и одной ночи» и переложение Мардрюса. Исследовательница устанавливает, что версия Мардрюса не является, вопреки уверениям ее автора, ни буквальной, ни полной. Это, скорее, выполненное с блеском и размахом талантливое поэтическое переложение, чем перевод в собственном смысле слова.

ИНДИЯ

ПРЕМИЯ БЕНГАЛЬСКОМУ ПОЭТУ

Одному из видных мастеров поэтического слова современной Индии, бенгальскому поэту Бишну Де (род. в 1909 г.), присуждена крупнейшая из индийских литературных премий — премия издательства «Бхаратия гьян питх» за 1972 г. Новый лауреат этой премии принадлежит к числу тех литераторов, которые навсегда связали свою творческую судьбу с жизнью народа, с его борьбой за социальный прогресс. Известный индийский общественный деятель и публицист Хирен Мукерджи пишет о нем:

«Больше чем кто-либо иной из современных бенгальских поэтов погружен он в стихию поэзии родного народа; его поэзию по справедливости можно назвать революционной — и по форме, и по содержанию».

Дебютировав в конце 20-х годов в журнале «Прагати» как поклонник Элиота и отдав значительную дань модернизму, Б. Де уже к концу 30-х годов находит свой собственный путь, приведший его к участию в Антифашистской ассоциации прогрессивных писателей и артистов Бенгалии, к сотрудничеству в важнейшем органе бенгальской прогрессивной литературы — журнале «Поричой».

Наиболее значительны сборники стихов Б. Де: «Урваши и Артемида» (1929), «Сыпучий песок» (1937), «Старое письмо» (1941), «Заброшенные земли в Шондипе» (1947), «Ты только двадцать пятый» (1958). Он известен также как критик и эссеист.

Премия присуждена поэту за его последний сборник стихов «Прошлое. Настоящее. Будущее». Ряд произведений Б. Де переведен на русский язык.

АМРИТА ШЕР-ГИЛ — НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ

В Дели была организована большая выставка картин индийской художницы Амриты Шер-Гил.

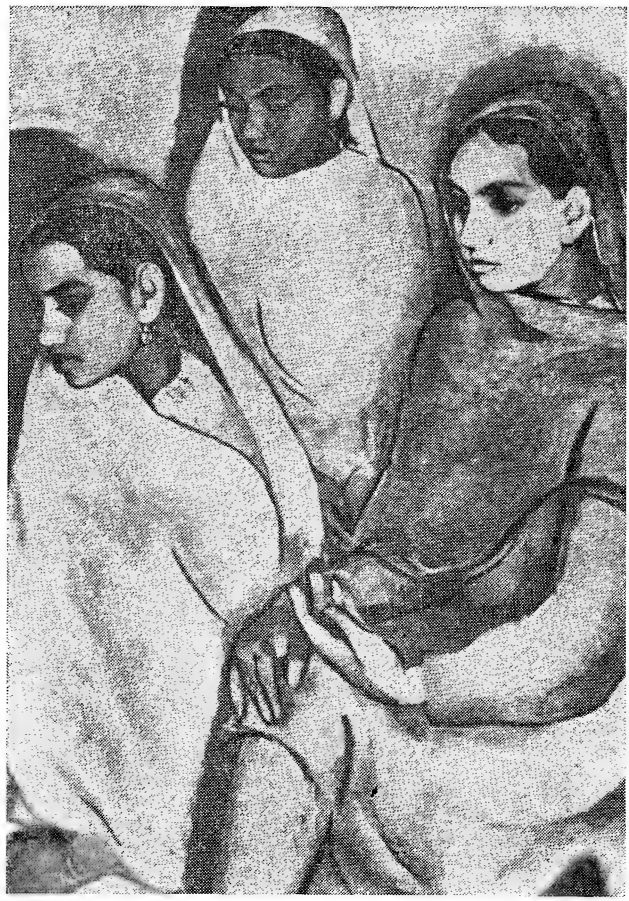
Индия еще не знала такой обширной экспозиции творчества этой крупнейшей художницы, пишет еженедельник «Линк». Помимо богатой коллекции, принадлежащей индийской Национальной галерее современного искусства, посетители смогли познакомиться с многочисленными произведениями, экспонируемыми впервые.

Творчество Амриты Шер-Гил принято считать неотъемлемой частью национального фольклора Индии. Представленные на стендах рисунки и биографический материал помогают значительно лучше понять и осмыслить творение художницы.

К открытию выставки приурочено издание книги об Амрите Шер-Гил. Воспоминания и критические статьи видных национальных художников и искусствоведов знакомят с ее жизнью и творчеством. В сборник вошла большая часть писем и статей самой художницы.

Все эти мероприятия в целом, по мнению рецензента, следует рассматривать как попытку оценить творческое наследие крупнейшего национального мастера с позиций сегодняшнего дня.

Амрита Шер-Гил понимала, что ее судьба неразрывно связана с родиной. «Европа принадлежит Пикассо, Матиссу и множеству других, Индия принадлежит только мне»,— писала она. Плеяда созданных ею женских образов, преимущественно тружениц из бедных семей, с меланхолическими, грустными лицами отождествляется сегодня с образом Индии.



Картина Амриты Шер-Гил «Три девушки»

(Журнал «Линк»)

«Живопись Амриты Шер-Гил, бессмертные скульптуры древней Аджанты и сокровища национальной миниатюры — все это разные грани национального гения Индии»,—заключает критик.

НОВЫЙ СБОРНИК РАДЖАСТХАНСКИХ СТИХОВ

Журнал «Мару бхарати», издающийся в гор. Пилани (штат Раджастхан), сообщает, что вновь созданное в городе издательство «Сарасват пракашан пратиштхан», поставившее целью публикацию новых произведений на раджастхани, начало свою деятельность с выпуска сборника стихов известного раджастханского поэта Горадхансинха Шекхавата «Кирхар» («Пылинка»).

Как пишет рецензент, стихи Шекхавата отличает глубокая выразительность и музыкальность. Этот сборник, состоящий из 50 стихов поэта, представляет собой определенный вклад в становление молодой раджастханской литературы, или, как пишет рецензент, «он служит убедительным свидетельством изменившегося подхода к раджастхани — подхода, отличающегося стремлением поднять раджастхани на новый, более высокий творческий уровень, вдохнуть в него новую жизнь, открыть новую главу в его развитии».

ИРАК

КНИГА О ВЫДАЮЩИХСЯ ПОЭТАХ И УЧЕНЫХ

Журнал «Аль-Адиб» поместил рецензию сирийского критика Рашада Али Адиба на книгу иракского ученого Абд ар-Раззака аль-Хиляли «Иракские исследования и биографии».

По словам Р. А. Адиба, книга аль-Хиляли посвящена исследованию жизни и творчества видных иракских поэтов, ученых и государственных деятелей прошлого и нынешнего веков. Она содержит очерки жизни и творчества поэтов Мухаммеда Риды аш-Шабиби, Мухаммеда Бакыра аш-Шабиби, Джамиля Сидки аз-Захави, Мухаммеда аль-Казвини и крупнейшего иракского ученого-филолога Анастаса Мари аль-Кармели, а также исследование о видном государственном деятеле Мидхат-паше.

В книгу включены также рецензии аль-Хиляли на некоторые работы иракских литературоведов, посвященные знаменитому поэту и философу аз-Захави.

Р. А. Адиб называет книгу аль-Хиляли «выдающимся научным трудом».

ИТАЛИЯ

«ЗАПАХ СЕНА»

Под таким названием вышел сборник рассказов писателя Джорджо Бассани — автора повестей «Пять феррарских историй», знакомых советскому читателю, и романа «Сад Финци-Контини». Эти антифашистские произведения в Италии неоднократно переиздавались. По ним поставлены также фильмы «Долгая ночь 1943 года» (режиссер Флорестино Ванчини) и «Сад Финци-Контини» (режиссер Витторио Де Сика).

Как и все прежние книги Бассани, новые рассказы посвящены родному городу писателя — Ферраре. Вошедшие в сборник рассказы очень короткие (ранее они публиковались в газетах). Все они — воспоминания о детстве и ранней юности писателя, зарисовки, отдельные сцены ушедшей в прошлое жизни Феррары. Однако, несмотря на внешнюю фрагментарность этих поэтичных и тщательно отделанных рассказов, книга, как отмечает критика, сохраняет в целом внутреннее— и тематическое и стилевое— единство. Лирический герой, порой нераздельно сливающийся с личностью автора, а также несколько грустная, элегическая атмосфера всех рассказов объединяют их.

СЕЗОН ПРЕМИЙ

В Риме состоялось ежегодное присуждение литературной премии «Стрега». После предварительных туров голосования в финал конкурса вышли пять романов и повестей: «Страна теней» Джузеппе Десси, «Концентрационный лагерь» Оттьеро Оттьери, «Взгляд в темноту» Гульельмо Бираги, «Голубка» Карло Кальтаниссеты, «Буржуазное сердце» Франчески Санвитале. Жюри присудило премию «Стрега» роману писателя Десси. Судя по отзывам прессы, это добротный роман, написанный в традиционном духе,— именно «обычная» форма этого произведения главным образом и вызывает упреки со стороны некоторых критиков. Над романом Десси работал десять лет — последнее его крупное произведение, роман «Дезертир», вышло в 1961 г.

Второе место по числу полученных голосов разделили книги Оттьери и Бираги. Как полагают некоторые прогрессивные литературные критики, Оттьери заслуживает более высокой оценки и, во всяком случае, гораздо большего внимания, чем книга Бираги. Куда меньше голосов собрали книги Кальтаниссеты и Санвитале.

Премия «Стрега» — одна из самых авторитетных литературных премий в Италии. В этом году она присуждалась в 26-й раз. В числе ее лауреатов — Павезе, Альваро, Моравиа, Бонтемпелли, Солдати, Бассани, Буццати, Томази ди Лампедуза, Кассола, Пьовене и многие другие видные писатели. Финансирует премию «Стрега» промышленник-меценат Гвидо Альберти, известный и как талантливый непрофессиональный киноактер (он снимается, в частности, в фильмах Феллини; советские зрители могли его видеть в фильме Дзурлини «Они шли за солдатами»). Однако дело не только в самой денежной премии, размеры которой сравнительно невелики: премированной книге гарантировано издание тиражом в среднем 50 тысяч экземпляров, что для Италии весьма значительно.

В Милане учреждена новая премия в области поэзии — «Брианца». Жюри присудило свою первую награду сборнику стихов миланского поэта Джулиано Граминьи.

Своеобразная премия присуждалась в Понтремоли, неподалеку от Милана. Эта традиционная премия называется «Банкарелла» («Книжный лоток») и присуждают ее тайным голосованием книготорговцы той книге, которая пользуется самой большой популярностью у читателей. В этом году самой «читаемой» книгой книготорговцы считают новый роман Альберто Бевилакуа «Таинственная поездка», которой и присуждена премия «Банкарелла». Широкий успех этой книги отчасти объясняется резко возросшей популярностью ее автора в определенных читательских кругах после того, как он недавно дебютировал в качестве кинорежиссера, экранизировав некоторые свои произведения. Городок Понтремоли выбран «резиденцией» премии «Банкарелла» не случайно: это родина бродячих торговцев-книгоношь, которые еще в середине прошлого столетия начали продажу книг вразнос по всей Италии.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПЕРЕВОДА

В Италии все больше и больше растет интерес к произведениям советских писателей. Особым успехом пользуется роман А. Фадеева «Разгром», выдержавший несколько изданий. Первоначально эта книга вышла в Италии еще при жизни автора. В первые послевоенные годы интерес к литературе Страны Советов, вынесшей основную тяжесть второй мировой войны, среди итальянских читателей был исключительно высоким. После мрачного двадцатилетия фашистской диктатуры итальянцы хотели как можно больше узнать о Советском Союзе. Издатели Рима, Милана, Модены чувствовали это и приступили к выпуску целой серии произведений советских писателей.

Туринское издательство Эйнауди остановило свой выбор на романе А. Фадеева «Разгром». Перевод книги сделал опытный славист Джованни Ладжелла. Книга вышла в Турине в 1947 г. Роман разошелся быстро, вызвав положительные отклики литературной критики.

Через пять лет «Разгром» был выпущен в том же переводе второй раз в городе Новаре. Публикацию книги осуществили работники типографии «Стелла альпина», где в годы движения Сопротивления печатались подпольные партизанские газеты и листовки. И вот недавно туринское издательство Эйнауди опубликовало роман А. Фадеева «Разгром» в третий раз. И снова книга была хорошо принята читателями и критикой. Видный специалист по русской и советской литературе Дино Бернардини писал, что роман является «классикой советской литературы». По словам Д. Бернардини, «Разгром» выдержал испытание временем, сохранив вместе с тем обаяние непосредственности, блеск прозаического изложения, переходящего в поэзию».

Помимо трех официальных изданий перевода романа, сделанного Джованни Ладжеллой, сохранился и первый перевод «Разгрома». Он был сделан 43 года назад Чезирой Фьори — большим другом Советского Союза, но, к сожалению, ее работа так и не была опубликована.

История этого перевода такова. Римлянка Чезира Фьори, педагог и литератор по образованию, в конце 20-х годов работала в советском посольстве в Италии. Она преподавала советским дипломатическим сотрудникам итальянский язык и сама одновременно изучала русский язык. В посольскую библиотеку часто поступали новинки советской литературы. В одной из партий книг пришел фадеевский «Разгром». Чезира Фьори прочитала эту книгу и заинтересовалась ею. В конце 1928 г. в Италию приехал и сам А. Фадеев. Он направлялся на остров Капри к А. М. Горькому. Будучи в посольстве, А. Фадеев познакомился там с Чезирой Фьори. В ходе беседы возникла идея перевести роман на итальянский язык.

Над переводом романа Ч. Фьори работала увлеченно, она предложила свою работу римскому издателю Берлинджери. Вначале он согласился опубликовать роман, но неожиданно обанкротился и вернул рукопись переводчице.

Вскоре фашистские власти арестовали коммунистку Ч. Фьори и бросили в застенок. Ч. Фьори целый год просидела в одиночной камере и десять лет провела в ссылке. В Рим она вернулась лишь после падения фашистской диктатуры, осенью 1944 г.

Сейчас Ч. Фьори 82 года. Она — ветеран Итальянской компартии и видная писательница, автор ряда художественных произведений. Две ее книги — «Женщина в фашистских тюрьмах» и «Жить воспрещается» — переведены на русский язык.

Рисунок Джакомо Манцу, лауреата премии Мира, посвященный рабочему классу.

(Газета «Унита»)

КАМЕРУН

«ВОКРУГ ОЗЕРА ЧАД»

Так называется сборник африканских сказок, выпу-

щенный камерунским издательством «Кле». Своим появлением эта книга во многом обязана превратностям судьбы ее автора Чумбы Нгуанкё.

В 1956 г. Чумбу арестовали и посадили в тюрьму, где он провел два года. Затем он уехал в Соединенные Штаты. Когда Чумба в 1960 г. вернулся в Камерун, он был опять арестован и без суда и следствия просидел в тюрьме шесть лет. Именно в тюрьме он начал собирать сказки и легенды различных этнических групп, проживающих на территории Камеруна и Чада. Он записывал то, что рассказывали его соседи по камере, просил переводить ему сказки тех племен, языками которых он не владел.

За годы, проведенные в заключении, Чумба Нгуанкё собрал богатейшую коллекцию африканского фольклора, которую переработал затем в сборник сказок. Автор намеренно сохранил старинную форму устного рассказа. Книга получилась живой и интересной. Как замечает рецензент журнала «Жён Африк», «эти безыскусные рассказы содержат подчас больше информации о психологии африканцев и устройстве их социальной жизни, чем некоторые научные труды».

Кадр из фильма «Борьба кубинцев против демонов».
(Журнал «Куба»)

КУБА

НОВЫЙ ФИЛЬМ ГУТЬЕРРЕСА АЛЕА

Кубинский институт искусств и кинематографии выпустил на экраны страны новый фильм режиссера Томаса Гутьерреса Алеа «Борьба кубинцев против демонов». Фильм снят по мотивам одноименной книги кубинского историка Фернандеса Ортиса и повествует о борьбе кубинцев против могущественной испанской инквизиции в XVII веке.

В книге воссоздан известный эпизод кубинской истории: в 1672 г. глава испанской инквизиции на Кубе отец Хосе под предлогом частых набегов морских пиратов приказал перенести городок Ремедиос дель Кайо с берега океана в глубинные районы, где находились его поместья. Жители городка воспротивились этому, и тогда отец Хосе, при поддержке испанского короля Карла II и капитан-генерала острова, предает город огню и мечу.

Ремедиос дель Кайо был превращен в пепелище, но воля его жителей не была сломлена. Несмотря ни на какие угрозы и церковные проклятия, кубинские патриоты вновь восстановили город на прежнем месте.

Фильм Алеа не является простым воспроизведением событий той далекой эпохи. Книга Фернандеса Ортиса питала фантазию режиссера, для него было главным — отразить процесс становления кубинского национального самосознания на протяжении всей его 300-летней истории.

«Фильм «Борьба кубинцев против демонов»,— отмечает критик «Гранмы» Марио Родригес Алеман,— перерастает рамки кубинской проблематики. Он затрагивает исключительно важные идеологические вопросы современного мира».

ЛИВАН

ЦЕННЫЕ СПРАВОЧНИКИ ПО АРАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Труды старейшего ливанского ученого-библиографа Юсефа Асада Дагера служат незаменимым пособием для тех, кто занимается арабской литературой и историей. Главный труд ученого — «Источники литературного исследования» — представляет собою фундаментальный биобиблиографический свод по классической и новой арабской литературе, начиная с доисламской эпохи (V—VI вв. н. э.).

Как сообщает журнал «Аль-Адиб», в скором времени в издательстве Ливанского университета выйдет третья, заключительная часть этого исследования. На 1800 страницах нового тома будут помещены биографии и обзор творчества 550 арабских писателей, живших в период с 1800 по 1972 г.

В том же издательстве выходит другая книга Ю. А. Дагера — «Арабские источники литературного исследования по Ливану», включающая 5400 названий книг

и рукописей, посвященных этой стране.

В 1968 г. вышел из печати подобный этому библиографический свод Дагера по Судану.

МАРОККО

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОИСКИ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

Абделлатифа Лааби считают одним из наиболее ярких представителей молодой литературы Магриба. Он принадлежит к тому поколению, которое стало известным уже после завоевания независимости. Лааби является основателем литературного журнала «Суффль» («Веяния»). Он автор двух книг — поэмы «Раса» и романа-поэмы «Глаз ночи», написанных на французском языке. Тунисский журнал «Жён Африк» опубликовал беседу с Абделлатифой Лааби, в которой поэт высказывает свою точку зрения на важные вопросы развития современной литературы стран северной Африки.

Корреспондент «Жён Африк»: Как вы соотносите ваше творчество с творчеством старшего поколения писателей Магриба?

А. Лааби: Вокруг нашего журнала, первый номер которого вышел в 1966 г., группировались прежде всего поэты. Среди них Местафа Илабури, уже опубликовавший сборник стихов, и Мохаммед Хайреддин, известный во Франции сборниками стихов и романами.

В то время когда мы основали «Суффль», я сказал себе, что возвращаюсь к литературе наших «старших», чтобы затем искать новое. Их литература была для меня «свидетельскими показаниями» Магриба перед лицом Запада. И если она сыграла роль в освободительной борьбе, она сделала это во имя идей французской революции 1789 г. и благодаря непреодолимой тяге к нашим собственным культурным традициям.

Естественно, нельзя требовать от этой литературы больше, чем она могла дать. Ей были присущи глубокие противоречия как по форме, так и по содержанию, объясняемые характером воспитания основных ее представителей, узостью их политических и культурных взглядов.

Что касается молодой литературы, которая начала развиваться в последние годы, она открывает миру совсем другой Магриб. Она грубо сдирает кожуру с неверных европейских представлений о наших странах. Это стало возможным потому, что наше поколение поставило под вопрос претензии определенных кругов Запада навязывать другим народам свои культурные ценности и свои рецепты, так же как ложные ценности и окаменевшие схемы нашей собственной культуры.

Корреспондент: Ваши стихи иногда обвиняют в «недоступности».

А. Лааби: Я не верю только в интеллектуальную силу поэзии. Для меня поэзия — прежде всего устное творчество. Если поэзия не находит отклика в устном звучании, она не выполняет свою миссию. Я пишу для тех, кто способен услышать крик человека. Человека, у которого хотели отнять память. Человека, которого хотели вывернуть наизнанку.

В своих стихах я говорю о колониальном варварстве, о цинизме тех, кто хочет распять нас на крестах или заточить в позолоченный гроб. Я говорю о потере личности.

Корреспондент: Вы стремитесь к новому и в то же время возвращаетесь к тысячелетним традициям, когда вечером, собравшись у огня, кочевники слушали прекрасные и ритмичные сказания.

А. Лааби: В своем творчестве я ищу образ магрибинца, араба. Я хотел бы как можно дальше углубиться в нашу историю, в коллективную память народа и отыскать ответ на те вопросы, которые жгут нам губы сегодня.

Я хочу сказать людям, когда, наконец, будет сброшено ярмо и наступит подлинное царство человека. Я буду и дальше искать, вопрошать, звать. Пытаться вырвать из жизни все ненужное. Это мой путь, и он, думаю, не очень отличается от пути поэтов и писателей в других арабских странах.

Корреспондент: Может показаться странным, что вы средства для самовыражения ищете во французском языке, для вас неродном.

А. Лааби: Конечно, это ставит много проблем. Разве мы выбирали, на каком языке писать? Французский язык был нам навязан известными историческими и культурными ситуациями.

Но я не из тех, кто думает, что использование французского языка является для литературы Магриба своего рода проклятием.

Мы пользуемся лингвистическим инструментом, которым владеем лучше всего, и пытаемся выразить на этом языке самые глубокие мысли нашего бытия, наши радости и нашу горечь. И я не вижу в этом ничего дурного.

Разумеется, литература на французском языке в нашей стране — явление преходящее. Но это ни в малейшей степени не приуменьшает ее ценности и ее вклада в становление нашей новой культуры и литературы.

ПОЛЬША

К 50-ЛЕТИЮ СССР

Театры народной Польши широко отмечают пятидесятилетие СССР. До конца 1972 г. на крупнейших сценах страны будет осуществлено более тридцати постановок произведений классиков советской драматургии и современных авторов. Зрители Варшавы, Кракова, Кошалина, Быдгоща, Жешува, Белостока и других городов познакомятся с пьесами А. Арбузова, В. Розова, И. Дворецкого, Э. Брагинского и Э. Рязанова, А. Макаёнка.

На экраны вышел фильм режиссера Хенрика Клобы «Солнце всходит раз на дню». Это история горной польской деревушки в первые послевоенные годы, с ее трудным и сложным «вживанием» в новые времена и порядки. По жанру это — кинобаллада, в которой широко используются народные поверья, обряды, обычаи. По мнению рецензента журнала «Кино» Божены Яницкой, этот фильм в польской кинематографии — «явление незаурядное».

На снимке — кадр из фильма.

(Журнал «Кино»)

По сообщению газеты «Трибуна люду», на польских сценах будут снова показаны известные и пользующиеся успехом у польской публики творения классиков советской драматургии: «Мещане», «Васса Железнова» и «Егор Булычев» М. Горького, «Любовь Яровая» К. Тренева, «Клоп» и «Мистерия-буфф» В. Маяковского, «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского, «Метель» и «Половчанские сады» Л. Леонова.

Будут также подготовлены инсценировки прозаических произведений Б. Лавренева, К. Симонова и М. Булгакова.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Недавно в Варшаве вышел первый номер всепольского ежемесячника литературной молодежи «Новы выраз». Это название, как отмечает критик Михал Мисерный в газете «Трибуна люду», перекликается с названием молодежного антифашистского издания «Наш выраз», выходившего в 1937—1939 гг. в Кракове и сплачивавшего вокруг себя начинающих прогрессивных литераторов.

Главный редактор журнала Ян Витан определяет в передовой статье новый ежемесячник как трибуну прозаиков и поэтов, родившихся в народной Польше, воспитанных и получивших образование в условиях социалистического строя.

Журнал ставит своей задачей помогать выходу молодежи в большую литературу. Вместе с тем «Новы выраз» открывает свои страницы и для авторов с уже сложившейся творческой индивидуальностью, получивших признание читателей и одобрение критики.

РУМЫНИЯ

«ВЛАСТЬ И ПРАВДА»

Румынская пресса широко обсуждает премьеру киностудии «Букурешть». В разговор включились даже газеты и журналы, не имеющие специальной рубрики кинорецензий. Критика заговорила о «новом этапе румынского кино», об «испытании на зрелость», выдержанном с честью. Причем знаменательно, что речь идет о политическом фильме, который называется «Власть и Правда». Сценарий фильма написал известный прозаик и сценарист Титус Попович. Это его двенадцатая работа в кино. Сценарий «Власть и Правда» критик «Контемпоранула» рассматривает как «еще ненаписанный роман» — столько в нем заложено мыслей,

человеческих страстей, событий.

В фильме сконцентрировано два десятилетия человеческого и социального опыта, прослежена реальная история времени, выраженная в судьбах пяти героев. В нем есть два кульминационных момента: борьба рабочего класса на баррикадах накануне освобождения Румынии, полная героических подвигов и самопожертвования, и победные завоевания на фронте строительства социализма по прошествии двадцати лет. Между этими двумя точками лежит нелегкий путь, который прошли герои фильма, товарищи по борьбе, коммунисты. Жизнь соединяет их или разводит, они идут с ней в ногу или отстают от нее.

Пятеро людей, начавших свой путь с одинаковыми идеалами, оказываются в какой-то момент, «момент истины» или «момент революционной правды», как называют его авторы фильма, по разные стороны баррикады. Пятеро коммунистов, пятеро борцов за победу народной власти в Румынии: Стоян, Дума, Олариу, Петреску, Ману — сражаются плечом к плечу за победу высоких коммунистических идеалов. Различие индивидуальностей, нюансировка характеров, духовный и нравственный облик героев начинают выявляться по мере упрочения и мужания нового общества. Идеалы героев, казалось бы, остаются прежними, позиция оказывается различной.

Выясняется, что энтузиазм Стояна и способность к самопожертвованию Олариу оказываются недостаточными для создания нового мира и особенно для борьбы с самим собой. Герои начинают проигрывать решающие битвы на фронте жизни.

В Стояне человеческая страстность и коммунистическая твердость переплетаются с ограниченностью мышления, с проявлением волюнтаризма и властолюбия, которые мешают ему принять верное решение в самые ответственные моменты жизни.

Дума проходит в фильме путь, обратный Стояну. Он борется за торжество революционной правды. Иные из пятерых героев (Олариу и Ману) подчиняются авторитарному деспотизму Стояна, другие (Петреску) даже с риском для жизни остаются верны нравственным принципам социализма.

«Картина двух десятилетий истории,— пишет в журнале «Театрул» известный писатель и публицист Пауль Ангел,— горька, сурова, жестока, патетична и возвышенна, такова, какой была наша жизнь. Это волнующий исторический и человеческий документ, который частично включает и нашу с вами судьбу, заснятую на пленку и показанную зрителю, чтобы он себя узнал в ней».

США

МИТЧЕЛ УИЛСОН — ЖУРНАЛИСТ

Американский писатель Митчел Уилсон, известный советскому читателю романами «Жизнь во мгле», «Брат мой, враг мой» и «Встреча на далеком меридиане» («ИЛ» № 2, 3, 4, 1956; «ИЛ» № 1, 2, 3, 4, 1961), опубликовал новую книгу. В этой публицистической работе, названной автором «Жажда знаний», Уилсон ставит проблему: что делает людей учеными? Кто они — ученые? Книга рассказывает об условиях работы современных ученых, об их внутреннем мире.

Сам Митчел Уилсон — прекрасно подготовленный физик, ученик таких известных ученых, как Ферми и Раби. Писатель беседовал с учеными разных областей науки в СССР, США, Великобритании, Франции, ФРГ, Израиле, Индии и Японии. Рецензент его книги, известный английский писатель Ч. П. Сноу, указывает на то, что в книге Уилсона содержится ряд интересных суждений и точных замечаний о том, например, что чистая наука никогда не дает быстрый экономический эффект, что трудно сказать, каковы идеальные условия для работы ученого, или о том, что для успешного выявления талантливых людей важен отбор среди детей. Для иллюстрации этой мысли Уилсон приводит пример подобной практики в советском академгородке под Новосибирском.

«С одной стороны,—пишет Сноу,— все, что говорит автор, вполне разумно, но ничего особо нового он не сообщает. Однако в постановке проблемы, которую можно было бы назвать «экологией науки», он необыкновенно интересен, и его интернациональная по духу книга обладает неоспоримой ценностью». Сноу указывает в заключении своей рецензии, что, когда размышляешь о созданной Уилсоном картине жизни ученого в современном буржуазном мире, становится очевидным, что «исследование М. Уилсона может привести к заключениям, горестным для оптимистов».

«ПОБЕЖДАЯ СЕРДЦЕ И УМЫ»

Так называется сборник антивоенной поэзии, выпущенный недавно в Нью-Йорке группой ветеранов войны во Вьетнаме. Название книги представляет собой ироническое использование одного из лозунгов официальной американской пропаганды, пытающейся оправдать те цели, которые преследует во Вьетнаме американская военщина. Ироническое звучание названия усиливается еще и оттого, что первые буквы этого лозунга образуют жаргонное слово, означающее «бить, избивать».

Почти никто из авторов стихов, собранных в антологии, не является профессиональным поэтом. Это книга гневных поэтических свидетельств очевидцев, людей, побывавших во Вьетнаме и глубоко потрясенных ужасами и бесчеловечностью войны.

Стихи, включенные в сборник, лишены сентимен-

Ричард Бенджамин в роли Портного и Карен Блэк в роли Обезьянки в фильме Эрнеста Лемана по известному роману Филлипа Рота «Жалобы портного».

(Еженедельник «Санди таймс»)

тальности и риторики. Это внешне бесстрастные и лаконичные наблюдения над военной действительностью, исполненные душевной боли и горечи. В подтексте всей книги настойчиво звучит вопрос: «Что все это значит?» — и поэты, ветераны этой страшной войны, ищут ответ на него в своих стихах.

В послесловии к сборнику сказано, что задача, которую преследовали авторы,— сделать эти стихи широкодоступными, чтобы их читали вслух, переписывали, пели и цитировали. Эмоциональное воздействие книги столь велико, что, по мнению рецензента «Нью-Йорк таймс бук ревью», читая эти стихи, вы «сдаете экзамен на человечность, и если одно или несколько стихотворений или впечатление от всего цикла не заставят вас плакать, то вы не человек».

ПУТЬ КАНДИДАТА

Молодой режиссер Майкл Ритчи снял фильм «Кандидат». Это острая политическая комедия о предвыборной кампании в США. Герой фильма—молодой адвокат, симпатичный молодой человек, не лишенный некоторых идеалов,— выдвигает свою кандидатуру в сенат США. Он либерал, сочувствует безработным и даже помогает им, что привлекает к нему избирателей. Но у адвоката нет денег на избирательную кампанию, и местные политиканы предлагают ему свою помощь.

Они организовывают кандидату встречи с избирателями, выступления по телевидению. Постепенно эти выступления превращаются в набор политических лозунгов и обещаний, в которые и он сам перестает верить, и постепенно между ним и прожженными политиканами исчезают все различия.

Сценарист фильма Джером Ларнер в свое время был помощником сенатора Маккарти, и ему хорошо известны все закулисные махинации и трюки, без которых не обходятся ни одни выборы в США. Фильм вышел на экраны как раз в тот момент, когда предвыборная кампания в США была в полном разгаре.

ФРАНЦИЯ

КНИГА О РАБОЧЕМ КЛАССЕ

Премия имени Поля Вайяна-Кутюрье 1972 г. присуждена журналисту Фремонтье за его книгу «Рабочая крепость: «Рено» (издательство «Фейяр»).

На завод Рено Фремонтье пришел во время забастовок в мае 1968 г. Все лето он ходил по цехам, конторам, службам этого огромного государственного предприятия, изучая условия работы и жизни рабочих, их политические взгляды, мысли, стремления, надежды. Фремонтье провел 120 интервью с рабочими и служащими Рено. В них речь идет о самых актуальных проблемах французского рабочего класса, о методах и целях профсоюзной и политической борьбы.

«Юманите» отмечает блестящее мастерство журналиста, с которым Жак Фремонтье рисует картину многообразной политической жизни завода. Большую роль в ней играют коммунистические ячейки. Отражено также влияние ФДКТ (Французской демократической конфедерации трудящихся) и объединения профсоюзов «Форс увриер».

Премия имени Поля Вайяна-Кутюрье, известного писателя и поэта, бывшего главного редактора «Юманите», была основана в 1967 г. и присуждается за «настоящую журналистскую работу, которая глубоко раскрывает человеческую и социальную правду, дает честную и смелую информацию».

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АМЕРИКЕ «ЛЕВЫХ»

Под таким названием, как сообщает еженедельник «Экспресс», во Франции вышла книга Э. Вайян — вдовы известного писателя, активного участника Сопротивления и борца за мир Роже Франсуа Вайяна. На русский язык переведены его роман «Пьеретта Амабль» («ИЛ» № 1, 1955), пьеса «Полковник

Фостер признает себя виновным» и другие произведения.

В 1970 г. Элизабет Вайян сопровождала американскую актрису Джейн Фонда в путешествии по США. Вместе с ней она посещала индейские резервации, университеты, где актриса выступала на митингах, протестуя против войны во Вьетнаме и сегрегации негров и индейцев, собирая средства в пользу молодых людей, заключенных в тюрьму за отказ участвовать во вьетнамской бойне.

Во время путешествия Э. Вайян вела дневник, изданный теперь отдельной книгой, где рассказывается, в каких условиях приходится действовать демократическим силам в Америке: каждому негру, каждому индейцу, каждому человеку, который находит в себе мужество, чтобы восстать против социальной несправедливости, бороться за свое право жить на земле достойно, выступать против войны во Вьетнаме, угрожает постоянная опасность.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«...А ЕЩЕ ПРИВЕТ ЛАСТОЧКАМ»

Так называется фильм режиссера Яромила Ирешa, который воплотил на киноэкране трагическую судьбу молодой моравской коммунистки Марии Кудержиковой, казненной фашистами за участие в Сопротивлении («ИЛ» № 1, 1961). Перед режиссером, как пишет рецензент газеты «Руде право» Ян Климент, стояла нелегкая задача: воссоздать образ реального героя, не изменяя исторической правде.

Мария Кудержикова погибла, когда ей было двадцать два года, она отдала свою жизнь борьбе за родину и коммунистическое будущее своей страны. Режиссеру удалось убедительно показать, как крепло мужество героини в тюрьме в ожидании смертного приговора. В самые страшные минуты своей жизни она думала не о себе, а прежде всего о других.

Магда Вашариова в роли Марии Кудержиковой.

(Газета «Руде право»)

Фильм, по мнению рецензента, однако, не лишен недостатков. Его героиня кажется одинокой в своей борьбе, оторванной от движения чешского народа за освобождение от фашизма. Но в целом, как отмечает Ян Климент, новое произведение Ирешa — это удача не только в его творчестве, но и во всей чешской кинематографии.

ЧИЛИ

«РАСКРЫТЬ СВОИ ДВЕРИ НАСТЕЖЬ»

Москву по приглашению СП СССР посетил новый президент Общества писателей Чили поэт и критик Эдмундо Эррера. Он — автор целого ряда поэтических сборников: «Песни тени» (1958), «Дом человека» (1964), «Темный огонь» (1970), «Рай птиц» (1971) и др. Многие его книги были отмечены крупными литературными премиями. В 1970—1971 гг. он был президентом Чилийской писательской организации, а в апреле этого года получил большинство на выборах в правление Общества писателей Чили — основного писательского объединения, в которое входят крупнейшие представители чилийской литературы.

Эдмундо Эррера побывал в СП СССР и в беседе с секретарем правления Н. Т. Федоренко рассказал о задачах и ближайших перспективах Общества писателей Чили.

Общество писателей Чили объединяет в своих рядах более 600 литераторов — романистов, поэтов, очеркистов и т. п. Говоря о задачах писателя и о том, какую большую роль играет писательское дело, Эдмундо Эррера сказал, что Общество писателей Чили должно «раскрыть свои двери настежь, ибо писатели не могут жить в четырех стенах».

Одной из главных задач, стоящих перед ОПЧ, Эррера считает создание своего журнала, так как в настоящее время ОПЧ не имеет печатного органа,— журнала, который выходил хотя бы раз в два месяца и продавался по доступным ценам. «Для того чтобы участвовать в тех прогрессивных процессах, которые происходят сейчас в Чили, писатели должны иметь свой регулярно выходящий журнал». Другая, не менее важная задача — слить воедино усилия ОПЧ и второй писательской организации, которая существует в Чили.

Эррера мечтает о создании национального института искусства и культуры, который стал бы научной и творческой лабораторией нового чилийского искусства.

Эррера рассказал о тех сложных и часто противоречивых процессах, которые происходят в чилийской литературе, хотя подавляющее большинство писателей поддерживают политику Народного единства.

В этой обстановке, подчеркнул Эррера, огромное значение имеют наши контакты с прогрессивными писателями других стран и континентов и в первую очередь с писателями социалистических стран и, конечно, Советского Союза.

Авторы этого номера

ЖАН-ПЬЕР ШАБРОЛЬ — JEAN-PIERRE CHABROL (род. в 1925 г.).

Французский писатель. По окончании лицея учился в Сорбоннском университете, занимался живописью и скульптурой, затем журналистикой, был сотрудником газеты «Юманите». В период гитлеровской оккупации Франции участвовал в движении Сопротивления, находясь в отрядах маки.

Его первый роман «Последний патрон» («La Dernière Cartouche»), посвященный французской молодежи, вовлеченной в колониальную войну во Вьетнаме, появился в 1953 году. В романе «Бу-Галё» («Le Bout Galeux», 1955) писатель рисует широкую картину жизни рабочего предместья, нужды и нравы которого он хорошо знает. Затем вышли романы «Цветок с колючками» («Fleur d'épine», 1957), «Рыжая кошка» («La Chatte rouge», 1963), сборник рассказов «Знаменитое кресло» («L'illustre Fauteuil et autres récits», 1967) и др.

Советским читателям Ж.-П. Шаброль знаком по переведенным на русский язык романам «Бу-Галё», «Божьи безумцы», «Мятежные».

В этом номере мы начинаем публиковать фрагменты из его нового романа «Пушка «Братство» («Le Canon Fraternite», 1970), вышедшего к 100-летию Парижской коммуны.

■

КАДДУР М'ХАМСАДЖИ — KADDOUR M'HAMSADJI (род. в 1933 г.).

Алжирский писатель, пишет на французском языке. Автор пьесы «Без чадры» («La Dévoilée», 1954), романа «Молчание пепла» («Le Silence des Cendres», 1963), сборника стихов «Да, мой Алжир» («Oui, Algérie», 1965), сказки «Петух дровосека» («Le Coq du Bûcheron», 1967). Некоторые его произведения переводились на арабский, английский, болгарский, испанский и другие языки.

На русском стихи Каддура М'Хамсаджи публиковались в сборнике «Да, мой Алжир».

Рассказ «Цветы ноября» («Fleurs de novembre») был напечатан в одноименном сборнике, вышедшем в 1969 г.

■

АДВАР АЛЬ-ХАРРАТ (род. в 1926 г.).

Египетский прозаик, критик, публицист, переводчик и общественный деятель. Автор сборника рассказов «Часы гордости» (1970), критических статей по вопросам театра и драматургии.

Рассказ «Вокзал» взят из сборника «Высокие стены» (1968 г.).

■

ИОАН ГРИГОРЕСКУ — IOAN GRIGORESCU (род. в 1930 г.).

Румынский писатель. В 1955 г. окончил Литературный институт им. Горького в Москве. Автор нескольких сборников рассказов, в том числе «Наваждение» («Obsesia», 1960), «Там, где ветер пахнет нефтью» («Unde Vîntul miroase a petrol», 1961), «Борьба со сном» («Lupta cu somnul», 1969), «Другая смерть» («Cealâltă morte», 1970).

Советским читателям Иоан Григореску знаком по переведенным на русский язык сборникам рассказов «Кинематограф «Мадагаскар», «Птица Феникс» и новеллам, публиковавшимся в периодической печати.

Мы публикуем отрывок из его книги путевых очерков «Покоренный Терек» («Invinsul Terek», 1956).

■

ВАСИЛЕ НИКОРОВИЧ — VASILE NICOROVICI (род. в 1924 г.).

Румынский писатель, очеркист и публицист. Автор нескольких сборников путевых очерков, в которых нашли отражение размышления и впечатления писателя от многих путешествий: «Огненный меридиан» («Meridianul de foc», 1959), «Великая нефтяная арка» («Marele arc petrolifer», 1961), «Путешествие по 5000 улиц» («Călător pe 5000 de străzi», 1965) и др. В 1968 г. писатель выпустил роман «Безумие скорости» («Nebunia vitezei»).

«Иностранная литература» неоднократно обращалась к творчеству В. Никоровича, опубликовав на своих страницах его очерки «400 дней в городе огня» (№ 6, 1959), «Мир солнца» (№ 11, 1959), «Ромео, Джульетта и свет» (№ 10, 1960).

В этом номере мы предлагаем читателю отрывки из его книги «От Риги до Иркутска» («De la Riga la Irkutsk», 1964).

■

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ — GÜNTER WALLRAFF (род. в 1942 г.).

Западногерманский журналист и писатель, член дортмундской «Группы-61» (литературного объединения писателей и поэтов мира труда), работает в документальном жанре. Опубликовал десятки репортажей, три книги, пьесу. Первая его книга очерков «Ты нам нужен» («Wir brauchen dich») с подзаголовком «На фабриках и заводах Западной Германии» вышла в 1966 году (автор после окончания книготоргового училища некоторое время работал на разных промышленных предприятиях ФРГ). Затем вышли «Предварительная биография» («Vorläufiger Lebenslauf», 1968), пьеса «Эпилог» («Nachspiele», 1968), сборник «Тринадцать нежелательных репортажей» («13 unerwünschte Reportagen», 1970).

«Иностранная литература» познакомила читателей с творчеством Гюнтера Вальрафа, опубликовав в №№ 1—2 за 1969 год несколько его репортажей.

Очерк «Во чреве Молоха» («Maloche für Sachs») перепечатывается нами из западногерманского журнала «Конкрет».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (первый зам. главного редактора), **С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН** (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**
Адрес редакции: Москва 109017, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Сдано в набор 8/IX 1972 г. А 11599. Подписано к печати 11/X 1972 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+1 вкл. Уч.-изд. л. 27,14. Зак. 2867.
Журнал выходит один раз в месяц.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394